

ПАРИЖСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПРЕМИЯ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ
ЗА 1980 ГОД

ФЕЛИКС РОЗИНЕР

НЕКТО

ФИНКЕЛЬМАЙЕР

Феликс Розинер

НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР

FELIX ROZINER

A CERTAIN FINKELMAIER

**OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
LONDON 1981**

ФЕЛИКС РОЗИНЕР

НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР

РОМАН



**«ТЕРРА» – «TERRA»
1990**

ПОСВЯЩЕНИЕ

Говорят, что, создав своего героя, автор поневоле повторяет выдуманную им судьбу. Так ли это или нет, но однажды будто кто-то подтолкнул меня: я сделал шаг, за которым стояла эта судьба. До сих пор не знаю, что спасло меня тогда. Но я знаю тех — и их много, близких моих друзей, и друзей мне мало знакомых, — кто спасали роман от почти неминуемой гибели.

Им я обязан, что роман выходит в свет. Всем им, чьи имена не следует сегодня называть, — моим друзьям в России и за ее пределами я посвящаю его.

Феликс Розинер

Январь 1981 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

– *Quel est cet homme?*

– *Ha, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.*

– *Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte.*

А. Пушкин. *Египетские ночи*
(Эпиграф к главе 1)

– *Что это за человек?*

– *О, это большой талант; он делает из своего голоса все что он хочет.*

– *Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны.*

I

В воздухе находились уже несколько часов и летели сейчас далеко за Уралом. Облака внизу, под самолетом, быстро потемнели, за иллюминаторами все исчезло, и в салоне зажгли свет.

Никольский не знал, чем заняться. Он давно прочитал газеты, пересмотрел бумаги, что вез с собой, составил список дел, которые следовало устроить по приезде на место, и даже установил их очередность по степени важности, прекрасно понимая при этом, что реальные обстоятельства не посчитаются ни с ним самим, ни с этим его списком. В каждом городе, в каждом учреждении — свои законы, а существеннее того — свои беззакония, и успех командировки от того и будет зависеть, хватит ли ума и расторопности использовать тамошние порядки себе не во вред, а во благо... И Никольский лениво пожалел себя: вот, в который-то раз едешь за тридевять земель; опять будешь говорить с чужими, вовсе не нужными тебе людьми, выслушивать глупости и отвечать на них с серьезностью и значением... спать черт знает с кем в одной комнате — хуже всего, когда вот так — "срочно, спешно, сегодня же!" — гонят тебя на край света, и номер не забронирован, да и в такой дыре, как этот, как его? — Заалайск, есть ли хоть гостиница?.. Правда, сказать

по чести, поездки эти по-своему хороши, без них совсем пропадешь, продолжал рассуждать Никольский; но тут, как это обычно и бывало, когда являлся соблазн покопаться в себе, он остановился. "Хватит, хватит. Все та же песенка..." — чуть не вслух произнес он, и вдруг его губы, повинувшись внезапному, невесть откуда возникшему импульсу, прошептали: *"Не спотыкайся, загнанный олень..."*

Слова поразили его. Он повторил их еще и еще раз, попытался вспомнить, каким образом, когда задержались они в его памяти; потом оказалось, что к слову "олень" была рифма — "недолгий день", — рифма очень обычная, но Никольский обрадовался ей: ну да, вот он, усталый олень бежит по тусклой тундре, и короткий северный день — тот близко поставленный ему предел, за которым — ночь, смерть, ничто... Так это стихи! — догадался Никольский, и тут его сознание как будто разом осветилось.

Он видел эти стихи в журнале, который читал сосед, — этот странный с худым, болезненным лицом человек, который сидит рядом в кресле. Покупая билет, Никольский попросил дать ему место "А", то есть наверняка, независимо от типа самолета, первое от иллюминатора, и тогда же подумал, что за человек окажется "Б", — тот, кто разделит с ним это нудное многочасовое сидение во время полета. К счастью, "Б" оказался, во-первых, интеллигентным, а во-вторых, и это главное, — молчаливым. Никольскому, при всей скуке и бессмысленности долгих самолетных рейсов и, хуже того, поездок в купейных вагонах, были ненавистны пустые анекдотические и пошлые дорожные разговоры. Сам он отнюдь не был молчалником, умел и выслушать собеседника, но ведь ко всякому общению надо быть расположенным и иметь подходящее настроение; а в дороге — Боже мой, кого только не подкинет тебе судьба! — и вот слушаешь ты, не слушаешь — лезет человек в твою душу, да свою наизнанку выворачивает, а там обычное дело — грязь,

мерзость, несчастья!.. Четверо в купе едут — и у каждого "Крейцера соната" припасена... И все же слова эти про загнанного бедного оленя никак не давали покоя Никольскому. Поэтому он наконец повернул голову вправо и внимательно оглядел соседа.

Никольский увидел резко очерченный профиль: длинный, с отчетливой горбинкой нос, выразительные губы, некрупный подбородок и то особенное устройство коротких век, которые и делают взгляд почти неморгающим и застывшим — словом, "птичьим". Сосед и вправду смотрел неподвижным, отрешенным взором куда-то в спинку переднего кресла, был явно углублен в себя, но Никольский решил не миндальничать — в конце концов, он только спросит журнал...

— Простите, — наклонился Никольский к соседу, — вы не позволите?

И Никольский указал на толстую книжку журнала, лежавшую у соседа на коленях. Тот сперва непонимающе взглянул на Никольского, потом поспешно кивнул, засуетился, неловко стал узкими, непослушными пальцами захватывать край журнала... Журнал раскрылся и начал съезжать с его поддрагивающих острых коленок, Никольский быстрым движением успел журнал поймать, помяв и едва не разорвав при этом страницу. Одновременно и сосед нервно дернулся, наткнулся на локоть Никольского и получил, похоже, весьма болезненный удар куда-то в бок, под ребро.

— Простите, пожалуйста, простите, — испытывая жгучий стыд, бормотал Никольский. Нервозность соседа передалась и ему, и он уже проклинал себя за то, что сунулся с этим проклятым дурацким журналом.

— Ах, ах, виноват, я виноват, я! — возбужденно возражал ему сосед, взмахивал руками и топоришил длинные пальцы. — Я совершенный калека, видите эти грабли, они же ничего не умеют! — И он принужденно смеялся, открывая частые, будто росшие друг на друге зубы. Чувствовалось, что ему

было привычно взять всю вину на себя, так же привычно, как иным — отпихнуть ее целиком, столкнуть на другого... Никольскому же обе эти крайности претили, и к тому же он вовсе не хотел никакого великодушия от этого довольно жалкого человека.

— Перестаньте. Спасибо за журнал. И извините за беспокойство. — Никольский сказал это столь сухо, что собесед мгновенно смолк, отвернулся и, устроив руки на коленях, вскоре замер в своей прежней отрешенной позе...

Журнал назывался "Дружба". Как можно было понять уже по списку авторов, помещенному на титуле, публиковались в журнале переводы из национальных литератур. Полтора-два десятка имен ничего не сказали Никольскому, и он стал перелистывать страницы, быстро проглядывая те из них, где были стихи. Все они оказывались выпренной, немумной риторикой, которую холодный расчет переводчика с трудом сгонял в подобранный размер и окружал пустыми, ненужными рифмами. У Никольского, который стихи читал и многое из поэзии помнил, это вызывало чувство, похожее на брезгливость. Но ближе к концу журнала он нашел то, что искал.

Всего было пять стихотворений, напечатанных подряд, и занимали они как раз журнальный разворот. Без названий, отделенные одно от другого звездочками, все пять имели общий заголовок: *"Айон Неприген. Из лирики"*. А после стихов шла набранная мелким курсивом надпись: *"Авторизованный перевод с языка тонгор"*. Никольский бегло осмотрел нехитрую атрибутику этой публикации и углубился в чтение.

Стихи были превосходны. Неожиданное, по-детски наивное и простое чувство лежало в любой строке; каждое четверостишие слагалось неразрывно, оно естественно переходило в следующее, а стих в целом, как будто после краткой паузы, нужной певцу, чтобы вдохнуть воздуха и поднять

свой голос выше и нести его в еще более дальние пространства, — стих, едва остановившись, увлекал в новый, который звучал и так же и чуть по-другому, нежели предшествовавший ему... Ощущение у Никольского составлялось такое, как от известного *"и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду"*, — ощущение первозданности, совершенства мира; но тут на все ложился еще и перламутровый отблеск Севера, и от строк веяло какой-то необъяснимой, почти неосязаемой тоской. И только в последнем стихе — в том самом, о загнанном олене, — становилась ясна природа этой тоски: все умирает, все исчезает в мире, и прекрасного оленя, лишь только выбьется он из сил, пристрелит хозяин-каюр, и накинутся собаки терзать еще теплое тело. *"Проходит солнце неба середину"*, — прочитал Никольский последнюю строку и вдруг подумал: да, да, вот как и у Данте — *"земную жизнь пройдя до половины..."* Но у Данте была и неземная, а тут... Окончится короткое лето, — и полярная ночь, вечность, холод... Ничто...

Нет, нет, подумал Никольский, ему необходимо оставить эти стихи у себя. Он взглянул на обложку, чтобы запомнить номер журнала, но потом испугался, что его может не быть в продаже, и решил просто-напросто переписать все пять стихотворений.

Он вынул авторучку и записную книжку, высвободил от зашелока и разложил перед собой откидной столик, начал писать. Время от времени он ловил себя на том, что шепчет, повторяя, смакуя ту или иную строку, и что непроизвольно старается писать красиво. Какое-то умиленное состояние охватило его, стало светло на душе: значит, способен? способен еще радоваться, умиляться, погружаться в телячий восторг перед красотой?..

Кажется, он даже стал улыбаться, но быстро прогнал улыбку с лица, почувствовав на себе взгляд соседа. Никольский раздраженно обернулся — и опешил: с близкого, непри-

лично близкого расстояния на него смотрели огромные круглые зрачки, блестящие от переполнявших их слез... Это продолжалось несколько мгновений, потом человек всхлипнул, дернулся и, схватив руку Никольского, прильнул к ней губами...

— Вы что?! — визгливо, с отвращением выкрикнул Никольский и стал вырывать руку из цепких, нечеловечески длинных пальцев...

Пассажиры оглядывались. Наконец этот безумец ослабил хватку, Никольский освободил свою истерзанную кисть, и оба спутника замерли в креслах, чувствуя всю нелепость происшедшего.

— Что это... значит? Это... ужасно! — сдавленно говорил Никольский.

— Да, да, вы правы! Вы правы! — возбужденно, как в бреду, бормотал его спутник. — Но все равно!.. Спасибо... Я не умел поблагодарить!.. Простите меня... Это и вправду ужасно выглядит, но я... я...

Голос его прервался, он задвигал руками и ногами и, выставляя во все стороны то колени, то острые локти, попытался совершить какое-то невероятно сложное для него действие. Оказалось, он доставал из брючного кармана носовой платок, чтобы вытереть им глаза.

— Сейчас я приду в себя, — уже много спокойнее сказал он. — Сейчас. Одну минуту. Все будет в порядке.

В самом деле, скоро он вполне успокоился. На лице его даже появилось подобие иронической улыбки, а в словах, главное же, в том, как он произносил их, — зазвучала едкая издевка. Столь разительный переход в настроении этого субъекта немало озадачил Никольского.

— Итак, истерия, неврастенический тип, комическая внешность, в довершение всего — ручку лобызает! А? — ухмыляясь, говорил сосед. — Тьфу! — Он взмахнул рукой. — Самому теперь противно, каково вам? — простите, честное сло-

во, нервный срыв, вы, конечно, прекрасно понимаете. Ведь вы человек тонко чувствующий, представляю себе, — вы держите авторучку — и вдруг, пожалуйста! — какой-то слюнявый идиот хватается руку и...

— Да послушайте же! — резко сказал Никольский, и сосед прервал свою тираду. — Что за ахинею вы несете? Откуда вам знать, насколько я чувствующий? И вообще... Хватит об этом!

Никольский говорил зло и знал отчего: он был зол на себя, потому что мгновение назад не постарался скрыть своего отвращения; был зол и на этого типа, который, мало того, что понял, какое впечатление производил он на Никольского, — вдобавок еще и в открытую сказал ему об этом.

— Не волнуйтесь, — вдруг проговорил сосед и снова иронически усмехнулся.

Никольского взорвало:

— Да кто из нас волнуется, в конце-то концов?! Я или вы?

— В данный момент — вы, — спокойно отпарировал тот. — Ведь я прав, так? И в том я тоже прав.

— В чем — в том?

— Что вы человек тонко чувствующий.

Никольский молча пожал плечами.

— Ведь вы не просто читали — вы упивались стихами. А на это, знаете, не всякий способен. Да еще переписывать в тетрадочку.

Он явно издевается надо мной, подумал Никольский и почувствовал, что краска заливает его лицо. И в самом деле, сентиментальный болван, будто десятиклассница, списывает прочитанные стишки! Глупо, глупо, как все это глупо!

— Вот ваш журнал, возьмите, — уже почти враждебно сказал Никольский.

— Нет, — сосед отрицательно помотал головой. — Он ваш.

— Благодарю, — едко произнес Никольский и, насколько позволяла сидячая поза, изогнулся в шутовском поклоне.

— Посмотрите на меня. — Человек в соседнем кресле сказал это ровным, серьезным тоном, и Никольскому пришлось взглянуть ему прямо в глаза, пришлось увидеть в них жуткую отрешенность и печаль, глубокую, безнадежную. — Я хочу, чтобы вы поняли. Это я вас благодарю. Это я говорю вам спасибо. Дело в том, что вы прочли мои стихи. Я следил, как вы их читали... Видел выражение лица... Это было для меня!.. Поймите...

И он отвернулся.

II

Те полчаса — сорок минут, что прошли до посадки, странный человек молчал. Молча просидел все это время и Никольский. Беспорядочные мысли не давали ему прийти в себя. Надо было хотя бы внешне казаться спокойным, но сидеть так же неподвижно, как и его сосед, Никольский не мог, и потому то менял позу, то начинал опять копаться в своих бумагах. Стараясь делать все непринужденно, он чувствовал, что это не слишком ему удастся. Когда же самолет стал терять высоту, Никольский изобразил любознательного пассажира, который летит чуть ли не в первый раз и потому проявляет повышенный интерес к иллюминатору, едва в нем начинает что-то мелькать. Приткнувшись к стеклу и глядя на разбросанные редкие огни внизу, Никольский никак не мог отделаться от чувства нереальности происходящего. Нелепый человек, дурацкая возня с журналом, прочитанные стихи, благодарность, проявленная в столь ошеломляющей форме, и наконец признание в авторстве — да что же это за чертовщина все вместе?! Нет, положительно кто-то из нас малость тронутый, думал Никольский. На первый взгляд — тот, сосед. Ну и я тоже хорош... С чего это я так разволновался? "Он возбужден до чрезвычайности", — как выража-

лись когда-то. "Возбужденный до чрезвычайности, граф быстрыми шагами проследовал в будуар, где мадам де Гризо..." Что за вздор? Ладно, граф, посадка, проверьте, не забыли ли вы свои манатки в салоне...

Шум двигателей прекратился, пассажиры встали с мест, затолпились в проходе. Совершив массу ненужных движений, поднялся со своего кресла и сосед Никольского. Он оказался необычайной худобы верзилой ростом что-нибудь под сто восемьдесят пять. Никольский выбрался следом, и пока медленно, с заминками, двигались к выходу, он видел перед собой узкую спину, на которой даже сквозь пальто резко очерчивались лопатки, и видел нестриженный затылок с глубокой, какой-то детской срединной ложбинкой... Дальше, спускаясь по трапу и шагая по темному полю, где сильно дуло, мело поземкой и жестоко морозило лицо, они шли рядом. Разойтись, например, нарочито ускорив шаги или, наоборот, отстав, Никольскому казалось неловким. Ведь не были же они теперь совсем незнакомы — после стихов и всего остального!.. Его спутник, вероятно, воспринимал ситуацию сходным образом, потому что явно старался приноровить к Никольскому свою гусиную походку, да еще то и дело оборачивался боком к нему, сбиваясь с шага, путаясь в полах пальто, судорожно хватая полуоткрытым ртом обжигающий воздух.

Наконец вошли в аэропортовское здание, в небольшой грязноватый с серо-зелеными, пятнистыми от застарелых потеков стенами зал, где было жарко натоплено — круглые осадистые железные печи стояли по углам — и было душно от множества разморенных людей, которые дремали на лавках, торчали около буфетной стойки и атаковывали окошко билетной кассы.

— Ну, прибыли... — проговорил Никольский, рассеянно глядя на эту знакомую до тошноты картину. И неожиданно для себя спросил:

– Куда вы сейчас?

Его новый знакомый вместо ответа с уверенностью сказал:

– Ведь вам в гостиницу? Бронь есть?

Никольский покачал головой.

– Понятно... Сейчас десять, так? Рейс на Москву в половине первого, съезжать из гостиницы начнут через час-полтора, а пока места не освободятся, вам все равно придется ждать. Может быть... Может быть, мы поужинаем?

– Да уж больно паршиво здесь... – с сомнением протянул Никольский и тоскливо взглянул на разрисованную голубыми розами вывеску "Ресторан".

– Здесь?! – всплеснул руками его знакомый и быстро, будто подавившись, втянул шею в плечи. – Здесь вы умрете! – он ткнул пальцем в сторону ресторана. – Зачем здесь? Поедем в гостиницу. В том ресторане все-таки... Там есть шанс выжить!

Никольский засмеялся. Они вышли и как раз успели вскочить в отъезжающий автобус.

Значит, ему не в гостиницу, думал Никольский. Неужели он здешний? Не похоже.

Добрались до гостиницы. Резвый старичок, отбросив газету, вскочил с табуретки, метнулся к ним, стал раздевать, ловко, как салфетку, перекидывая через локоть пальто и шарф, осторожно принимая меховую шапку... Прошли в ресторанный зал и сели у окна, почти в углу, подальше от эстрадки, где под бряканье и стук четырех музыкантов певица – в зеленом тафтяном платье в обтяжку, полная, стареющая, низко пела *"Любовь есть такая планета"* – и будто совокуплялась со своим микрофоном... Взяли полграфинчика водки, шпроты, салат, горячее мясное, кофе, а еще Никольский велел попозже, к кофе, принести сто граммов коньяку. Лимона, конечно, не было. "Конфеточки?" – предложила официантка. Никольский вяло махнул рукой: лад-

но, пусть будут конфеточки... Принесли водку. Никольский налил в рюмки, поднял свою.

— Н-ну... За знакомство? Никольский Леонид Павлович.

— Очень приятно, — ответил его визави и широко заулыбался. — Да-да, пеняйте на себя, с моим именем вам, ой будет нелегко! Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер, с вашего позволения! За ваше здоровье!

— Ого, — сказал Никольский. — Ветхий Завет? За здоровье!

И они выпили. Передавая друг другу баночку, ели шпроты; раскладывали по тарелкам салат и обсуждали, хорошли, и спрашивали предупредительно, не нужна ли соль; наливали по рюмочке еще и еще и говорили что-то вовсе не значащее по смыслу, но приятное, очень нужное в таких-то именно случаях, когда сидят двое и знать еще ничего друг о друге не знают, но узнают вот-вот, сейчас, после этой или после следующей рюмки, и раскроются души, и язык развяжется, и — что там о другом! — о себе вдруг узнаешь такое, чему удивишься, и подумаешь среди разговора: эко ведь как оно у меня, оказывается, а?..

Стало тепло. Мороз, автобусная теснота, сутолока аэропорта и нудные нервозные часы полета сдвинулись далеко, а завтрашние дела — что ж они, эти дела?

— Послал бы я все это подальше к матери, верно? — сказал Никольский, и Финкельмайер Аарон-Хаим Менделевич с ним согласился.

— Верно, — сказал Аарон-Хаим. — Верно, хотя мне и плевать, что это такое и куда. Хотите послать? Матери можно послать любую посылку, она, понимаете, все принимает. У вас какое отправление? Бандероль? Заказная?

— Авиа, — подумав, сказал Никольский. — Авиа, обшитая белой тряпочкой, все швы изнутри. С уведомлением о вручении.

— Ценная, — подсказал Финкельмайер. — Я почту знаю, я на почте...

— Какая, к дьяволу, ценная? Там сплошное дерьмо.

— Продуктовые нельзя! — запротестовал Финкельмайер и поднял вверх такой длинный палец, что он, казалось, состоял по меньшей мере из пяти фаланг.

— Международная, — наклонившись к собеседнику, значительно произнес Никольский. — На экспорт. В джунгли.

— А-а, тогда другое дело, — успокоился Аарон-Хаим Менделевич. — Тогда можно. Удобрять африканские джунгли нашим дерьмом?

— Африканские, — кивнул Никольский. — Там, знаете ли, после колониального господства почва истощилась. Одни лианы. Стелятся по земле. Им нечего обвивать.

— Ай-яй-яй! — опять разволновался Финкельмайер Аарон-Хаим Менделевич и взялся за голову. — Нечего обвивать?

— Решительно нечего обвивать! Так вот, на нашем дерьме там опять появились бананы. Мы им дерьмо, они нам бананы. Бананы есть? — поймал вдруг Никольский официантку.

— Не надо, гражданин, — мягко отстранилась она и пошла дальше.

— Недостаточно еще бананов, — вздохнул Никольский. — Дерьма достаточно, а бананов еще не очень.

— Смотрите, — сказал Финкельмайер. — Вон там сижу я. — Он указывал на один из столиков около самой эстрадки. — Там сижу я в своем лучшем виде. Хотел бы я так жить. Как живет оно.

— А меня там нет, рядом с вами?

— Вас нет. Вам двоиться ни к чему.

— Как ни к чему? Надо все делить пополам. Я налью?

— Валяйте. Вон тот, дремучий, темно-синий костюм в полосочку, видите?

— Дремучий в полосочку. Экзотика. Тигры. Банан без кожуры, — молот Никольский и пытался сквозь табачный

дым и чад от близкой кухни разглядеть кого-то, на кого указывал ему Финкельмайер.

— Егова! — вскричал Аарон-Хаим. — Он идет сюда! Он меня заметил! Я вас спрошу: вы знали один такой случай, чтобы меня не заметили, когда *совсем* не надо, и чтобы меня заметили, когда мне *очень* надо?

— Не было такого случая. Очень сожалею, коллега, — легко согласился Никольский, потому что легко соглашаться с чем угодно было одним из особых удовольствий, которые давала водка. — Всегда соглашаюсь, когда пью и когда... женщины, — с трудом словил свою мысль Никольский и тут, наконец, уже около их стола, увидел тот самый темно-синий костюм в полосочку. Весьма просторный, подумал Никольский, костюм. Даже для этого брюха. Зад, правда, тоже хорош. Но он, по крайней мере, туго обтянут. Ну и лацкан, конечно, с великолепным острым углом, два катета и гипотенуза, — крыло стреловидного истребителя, подъемная сила гигантская, туша кило эдак сто.

— Да подходи, подходи, Манакин, — говорил между тем Финкельмайер и отодвигал свободный стул. — Ты же не хочешь дать мне посидеть спокойно, зачем изображать смущение? Ты же, Манакин, уже не девушка, верно?

Манакин — якут или чукча, решил Никольский — круглый, как шар, солидный человек с маслянистым плоским лицом растянул губы, сомкнул и без того узкие глазки в щелочки и тоненько захихикал. Возможно, глупая шуточка Финкельмайера и в самом деле пришлась по вкусу ему, но скорее всего он притворялся. Сам же Финкельмайер тоже смеялся — с откровенной издевкой смеялся над этим человеком, и в черных глазах Финкельмайера злобно поблескивало, неровные крупные зубы хищновато скалились.

— Милая сценка, — прокомментировал Никольский.

Манакин деликатно усаживался, его зад как бы удостоверился, действительно ли есть под ним сидение.

— Откушайте, сударь. — Никольский налил водки до половины большого бокала и переставил его ближе к Манакину.

— Товарищ кто будет? — спросил Манакин, с улыбкой глядя на Никольского.

— Я буду товарищ Никольский, — ответил он и, не вставая, протянул руку.

— Товарищ Манакин, — серьезно сказал Манакин, осторожно вложил пухлые пальцы в руку Никольского и мелко-мелко ее потряс. — Имя-отчество Данил Федотыч.

— Леонид Павлович, — решил уточнить и Никольский. — Да вы пейте бокальчик-то.

Манакин выпил — глотками, как воду из стакана, и на лице его ничего не отразилось. Не стал он и закусывать.

Аарон-Хаим Менделевич был в восторге:

— Молодец, Манакин! Пусть ответственный товарищ из Москвы знает, как Манакин уважает нашу родную любимую московскую водку! Так сказать, да здоровствует нерушимая дружба народов и монолитное единство нашего общества!

Манакин не обращал на него внимания.

— Товарищ Никольский, — удовлетворенно повторил он. У него получилось "товалисникосски". — По какой линии? — спросил он затем. Голос Манакина был высокий, хрипловатый, с какими-то стертыми, незначущими интонациями.

— По административной. Курирую, — отвечал Никольский, которому было наплевать, как Манакин воспримет его слова. Но тот, похоже, воспринимал их должным образом, кивал головой и с уважением смотрел на Никольского.

— А он у нас по партийной, — продолжал Финкельмайер возносить своего знакомого. — Манакин — инструктор райкома, во! Проводник любых решений в народную массу!

Манакин всей тушей повернулся к Финкельмайеру и все тем же бесцветным голосом возразил:

– Заведующий отделом культуры. С пятнадцатого января, товарищ Финкельмайер.

Аарон-Хаим замер... Челюсть у него отвисла, птичий глаз уставился на Манакина.

– Вэй! Вэй’з мир!.. – наконец прошептал Финкельмайер.
– Так вот оно что, Манакин?..

Никольский ковырял вилкой в мясном. Паясничает или в самом деле испугался? – подумал он о Финкельмайере... И что у него за дела с этим окороком? А дела у них были, это чувствовалось по всему, Манакин неспроста подсел к их столику... Что ж, пусть поговорят, мне ни к чему, у меня своих забот хватает.

– Прошу извинения, – церемонно сказал Никольский и встал. Он прошел в гостиничный вестибюль, разыскал туалет. Выйдя из кабинки, долго мыл руки, при этом вглядывался в висевшее над раковиной зеркало. Из зеркала на него смотрело лицо человека, с которым у Никольского было что-то связано, но он не мог сообразить, что именно. Это было одутловатое, с круто изогнутыми уголками рта и потому немного неприятное, презрительное лицо. И глаза нагловатые, а веки набрякли и красны от курева и бессонницы, под глазами мешки. Правда, у этого типа, кажется, должен быть профиль классически-правильный, по височкам струится благородная седина, но тем паскуднее... ”Старый хрен, наследственный бабник”, – процедил Никольский, и наглая рожа в зеркале покривилась.

Потом он стоял в вестибюле, смотрел в темное окно, за которым по-прежнему вьюжило, и ветер качал обалделые фонари, и ни единой души не было видно. ”*Не спотыкайся, загнанный олень*”, – опять пришло ему на ум. Никольский повернулся и пошел в зал.

Финкельмайер ожесточенно жестикулировал, высоко вздымая подрагивающие руки.

– Да пойми же, дурья твоя башка, это же даровое, –

вдалбливал он что-то Манакину, который сидел с непроницаемой физиономией. — Да-ром! Понимаешь? При чем тут твоя должность?

Манакин молчал. Финкельмайер же увидел Никольского, вздохнул и сказал устало:

— Слушай, Манакин, завтра поговорим. Ты иди. Мы с товарищем Никольским кофе пить будем.

— Нельзя завтра. Надо лететь обратно завтра, — хриловато ответил Манакин и прикрыл глаза. Финкельмайер ненавидящим взглядом уставился на него, потом тихо, с трудом сдерживая ярость, проговорил:

— Хватит, Манакин. Считай, что самолет задержался. Я еще не прилетел. Завтра днем. Да и плевать мне на все это, понял?

— Зачем днем? Нельзя днем, утром надо, — быстро заговорил Манакин.

— Хватит! Днем, я сказал! — взорвался Финкельмайер. Манакин подумал немного, затем с достоинством поднялся.

— До свидания. До свидания, товарищ Никольский, — как ни в чем не бывало распростился он и отошел.

Никольский доедал мясо. На столике давно уже остывал кофе, стояли две рюмочки с коньяком. Водочный графин был пуст, и Финкельмайер просто-напросто опрокинул свой коньяк в рот, а чашечкой кофе запил.

— С одной стороны и с другой стороны, — в раздумье начал он. — С одной стороны, не мешало бы еще посидеть; а с другой стороны — пора взять вам номер. И ресторан закрывают.

Никольский пожал плечами:

— Возьмем бутылку, возьмем номер, придем в этот номер все вместе — вы, я и бутылка — и посидим. Если найдем такой номер, где никто не храпит.

— Найдем! — уверенно сказал Финкельмайер. Он как-то сразу воспрянул духом и заметно повеселел.

Попросили у официантки бутылку, расплатились и вышли в пустой вестибюль. Дремавший в дальнем углу гардероба старичок воробышком запорхал вокруг них, стал подавать одежду, ненужно обмахивая щеточкой плечи, обдергивая вниз рукава и приговаривая при этом:

— Отдохнули? Отдохнули, молодые люди? Это хорошо, с дороги-то это хорошо, в тепле без заботы, вот и отдохнули, спасибо, спасибо, благодарю душевно, доброго здоровьица вам, доброго здоровьица...

Подхватили чемоданчики, и Финкельмайер повел Никольского по темному гостиничному коридору.

III

Они остановились в конце коридора перед плохо прикрытой дверью. Сквозь щель пробивался слабый свет. Финкельмайер негромко стукнул, послышалось, как сдвинулся стул, кто-то встал с места, дверь распахнулась, и из маленького помещения — даже не из комнатушки, а как бы отделенной от коридора ниши, где стояли только стул с тумбочкой, — шагнула миловидная женщина в синем костюме, который, судя по строгому покрою, был формой для служащих этой гостиницы. Женщина вскинула глаза, увидела Финкельмайера и обрадованно заулыбалась.

Поворачиваясь боком и немного отступая, чтобы хоть не в упор наблюдать их, Никольский со смешанным чувством недоумения и насмешки смотрел, как Финкельмайер сгибается, торопливо ставит на пол чемоданчик, при этом пальто, лежащее на согнутой руке, чуть ли не падает, он его неловко хватает другой рукой, а женщина терпеливо ждет с

улыбкой, готовая обнять... Финкельмайер, наконец, выпрямился, она, сделав полшага, подошла к нему вплотную, с трудом дотянулась губами до его небритой щеки и, обнимая, поцеловала спокойно.

— Здравствуй, Дана, — сказал Финкельмайер. — Я приехал, видишь?

— Здравствуй, — сказала женщина, мягко от него отстранилась и сказала Никольскому тоже: — Здравствуйте.

— Добрый вечер, — склонил голову Никольский. Больше всего ему хотелось сейчас удрать.

— Вы познакомьтесь, — бесцеремонно предложил Финкельмайер. И, конечно, не позаботился представить их друг другу: он все возился со своим пальто, подбирая рукава, которых, казалось, было великое множество, и они без конца вываливались, едва Арон успевал их подоткнуть...

— Леонид, — представился Никольский.

— Данута, — сказала женщина и протянула ему ладонь.

Начался диалог, касавшийся только двоих, Финкельмайера и Дануты, так что у Никольского оказалось довольно времени, чтобы достать сигареты и спички, закурить, не раз и не два затянуться и ощутить, как хмель понемногу сходит. Он слушал и не слушал, больше смотрел на них и что-то там отмечал про себя: а она хороша... женственна... какой же это акцент?... полячка?... эстонка?... странная пара... если он с нею спит, ему повезло... но он удивительный тёпа...

— ...только что на дежурство, — говорила она.

— Я же знаю, что смена...

— Как раз двенадцать.

— Вот я и дождался. Прилетели, ну что я пойду? — ты уйдешь сюда...

— Я письмо получила. Ты мое получил? Я писала, что эту неделю в ночь...

— Получил, получил, вот-вот, я и рассчитал, как удачно!

— Ты усталый. Ты пил. У тебя неприятности.

— Неприятности, неприятности... мит компот!

— Будешь долго?

— Я знаю? Хочу быть долго, хочу быть много... — Финкельмайер вдруг рассмеялся.

Никольский подумал: *"Бальмонт: Хочу быть сильным, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать"*.

— Почему ты смеешься?

— Ах, Дана, прости, я пил, я веселый... Неделю? Не знаю.

— Будешь, как нужно. Хорошо. Я так рада. Ты прилетел.

— Прилетел. Ох, до чего же мне там надоело!

— Отдохнешь.

— Отдохну, не отдохну— я очень рад тебя видеть...

"...Я рад, ты рада, он, она, они рады, и так далее в том же духе", — меланхолично говорил про себя Никольский. Бестолковые слова, за которыми неприкрыто слышалась нежность любовников, вызвали в Никольском раздражение, и он отошел к окну. Черт возьми, они найдут, где переспать, а я пока что без ночлега, и неизвестно, есть ли хоть одно паршивое место в этом паршивом отеле, сгорел бы он к матери!..

Погода за окном явно менялась. Там теплело: пурга уже не крутила, теперь уже ветер с треском бил по стеклам жесткой крупой. Долго ли эта парочка будет стоять вот так, друг перед другом? В стекле он видел их отражения. Совсем оглупели, предвкушают близкие развлечения... До чего же тошно! Ему было по-пьяному жалко себя...

— Леонид! — впервые назвав его по имени, окликнул Финкельмайер. — Пойдем, Дана сейчас все устроит.

Все трое поднялись на второй этаж. У Дануты появилась связка ключей, и одним из них она стала отпирать номер, выходящий не в коридор, как это обычно в гостиницах, а в маленький холл, в котором они сейчас и стояли.

— Прóшу. Войдите, — сказала Данута. Никольский отме-

тил, как прозвучало ударение: "про́шу", – и опять подумал, не полячка ли?

Номер оказался неожиданно роскошным. Правда, какая там роскошь в новых гостиницах? – золоченая гнутая мебель сыщется разве что в каких-нибудь царских временах "Астории" или "Национале", что помещаются на старом пяточке столичного центра; а так, во всех этих "Спутниках" и "Туристах", которых понастроено тут и там, и все мало, мало – страна перемещается, летит, ползет, колесит, мчится – кто за приказом в Москву, кто с коврами и детской одеждой обратно – и всем надо где-то поесть и заночевать – какая тут гнутая мебель? какое золото? и зачем они? Дорого и никчемно. Хорошо и то, что есть в номере шкафчик, куда на подломанном плечике можно пальто подвесить... А роскошь... Роскошь – это если в твоём номере умывальник и душ – и поверите ли? – унитаз единоголичного пользования; двухтумбовый стол с настольной лампой, у которой даже и абажурчик-то цел, а не сбит за полгода до твоего вселения кем-то из подгулявших постояльцев; кровать полуторная, не на той сетке, что верещит по ночам при малейшем движении, а на добротном пружинном матрасе...

Все это так и было в номере, куда привела Данута мужчин. Было там и другое: во-первых (нечто совершенно невиданное), дополнительная комнатка с кушеткой, журнальным столиком и двумя креслами, – как бы приемная или миниатюрная гостиная; во-вторых, кроме полированного, без единой царапины, платяного шкафа, имелась еще и посудная застекленная горка с таким сервизом, что он сделал бы честь любой живущей в достатке хозяйке; в-третьих, в углу стоял холодильник; а главное, чему Никольский обрадовался по-настоящему, – на столе был телефон и рядом лежал новенький список абонентов городской сети! Неужели не придется бегать к администратору и с вежливой

улыбочкой спрашивать, не разрешит ли он воспользоваться его телефончиком?..

— Отлично, Данушка, отлично, — говорил Финкельмайер, пока Никольский с откровенным изумлением оглядывал эти царские апартаменты, — Леонид, я чувствую, люксом доволен, мы с ним посидим здесь часок-другой, посидим, поговорим...

— Отлично-то отлично, — прервал его Никольский, — но я же прогорю с этим вашим люксом. Рубля по четыре в сутки? А начальство из центра завалится — меня выгонят?

Данута отрицательно покачала головой.

— Прощу, не беспокойтесь. Конечно, этот номер для обкома, никого в него не пускаем. Но сейчас в области идет актив, сюда не приедет никто, все туда уехали на четыре дня. Живите так что. Живите бесплатно, — добавила она, улыбнувшись.

— А вам не влетит? — ради приличия поинтересовался Никольский, и Данута опять покачала головой.

— Устраивайся, устраивайся, — в веселом возбуждении командовал Финкельмайер и уже отбирал у Никольского чемоданчик, и дергал дверцу шкафа, суетился, и задевал стул, и натыкался на спинку кровати.

Люкс бесплатно! И не выгонят! Ставя на журнальный столик бутылку, Никольский утвердил ее неким символом, застолбил как будто обширное пространство этих комнат, которые отныне принадлежали именно ему и никому другому. Он ухмылялся: уж повезло — так повезло, что там говорить, не часто случается!..

Данута незаметно вышла. Сняв пиджаки, разбирались с вещами; потом достали из горки хрустальные рюмки, сполоснули по-хозяйски, а Финкельмайер протер их мохнатым баннным полотенцем, висевшим в душевой. После этого пришлось выдувать из рюмок ворсинки, а те, что не выдувались, надо было извлекать пальцем.

— Что, снова помоем? Помоем, а? — расстроено спрашивал Финкельмайер.

— Начхать! — ответил Никольский. Он бухнулся в кресло и стал разливать.

У каждого нашлась своя колбаска, у Финкельмайера были апельсины — он привез два килограмма для Дануты, но ради такого случая решил один апельсинчик пожертвовать, — его аккуратно почистили, разделили на дольки и сложили кучкой на блюдечке.

Пили медленно. Изредка переговаривались — так, ни о чем: легко ли было достать билет на самолет; очень ли противен этот город, где кроме заводского клуба и кинотеатра ничего нет, — но, в общем-то, не важен был предмет разговора, как был не важен и сам разговор, — неторопливый, негромкий, с долгими остановками: хороша, по-особенному хороша была безмятежность заповоленного сидения за столом, из-за которого никто — ни жена, ни метрдотель — тебя не выгонит хоть до утра.

Никольский много курил, покуривал и Финкельмайер, и круглый желтый плафон под потолком уже плыл куда-то в сизом дымном тумане.

— *"Проходит солнце неба середину"*, — смакуя каждый звук, растягивая слова, проговорил Никольский. — Пожалуй, из всех пяти, этот стих про загнанного оленя у тебя самый лучший.

— Спасибо, Леня, верно, — согласно кивая, забормотал Финкельмайер. — Ты все понимаешь, ты прав, самый лучший этот, конечно...

— Понимаю? — усмехнулся Никольский. — Слушай, Арон, так что же там написано насчет перевода с какого-то языка? Черт его знает, — ханты-мансийского, коми-пермяцкого?.. Твои стихи?

— Мои-то, Леня, мои... — со вздохом ответил Финкельмайер.

- Ну?
- Что – ”ну”?
- Имя же не твое стоит?
- Не мое.
- Не понимаю.
- А я понимаю?

Почему-то все это задевало Никольского за живое.

– Арон, – боясь, что взбесится, размеренным тоном начал Никольский. – Видишь ли, мне понравились твои стихи...

– Леня, да я вижу!.. – вскинулся Финкельмайер.

– Подожди, – остановил его Никольский. – Ты сначала послушай, что я скажу. Это настоящие стихи. И потом... Как тебе это... Я читаю стихи, слежу за книгами... Короче, вижу иногда, где навоз, а где бриллианты. И уж коли ты мне там, в самолете, выдался, и мы теперь сидим и пьем, – так рассказал бы?.. Поэтов – раз, два – и обчелся. Если есть такой поэт – Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер – я ничего не перепутал, нет? – мне надо бы знать, что он есть. И все тут.

Финкельмайер долго не отвечал. Низкое кресло было ему неудобно, его колени задралась едва ли не выше подбородка, но он сидел не шевелясь, горбя сутулую спину, с неподвижным взглядом, устремленным в пол. И оставался в той же позе и когда он заговорил наконец.

– Почему там написано ”перевод”?.. Если рассказать только об этом, ты мало что узнаешь. А рассказывать все...

– У меня-то ночь. И бутылочку только начали, – ответил Никольский и сухо добавил: – Твое дело.

Никольский наполнил обе рюмки, взял свою, легонько звякнул о вторую, Финкельмайера, выпил и, начав жевать кружок колбасы, стал ждать.

Выпил и Финкельмайер. Он откинулся к спинке кресла, цепко обхватил подлокотники, и тут его лицо – помятое от бессонницы, с усталыми глазами, неправдоподобно огром-

ными от темных синяков вокруг них, — вдруг осветилось детской улыбкой:

— Послушай-ка! Вот что: расскажу-ка я тебе о Черкизове!

IV

— Ты, конечно, знаешь, есть в Москве Черкизово. Дьявол его разберет, откуда это название. Я не интересовался. Есть такие книги по истории названий московских улиц. Но я в них никогда не заглядывал.

Черкизово — это Черкизово. Говорят, Москва — большая деревня; так вот, Черкизово — это местечко. Маленькое еврейское местечко посреди большой московской деревни. Ты удивляешься? Ну, понятно, сейчас-то там всюду понатыкали этих башен, коробок блочных и панельных, метро туда тянут, — хорошеет родная столица, растет в ширину и в высоту. Я разве спорю? Как-то раз поехал я к одному композитору — ему заказали написать цикл советских романсов, так он хотел, чтобы я написал слова. Живет он на Большой Черкизовской, и я еще подумал, что хорошо бы забраться туда, поглубже, в само Черкизово, неужели мне все будет там незнакомо?

Но я не стал забираться. Ты знаешь, почему? Испугался. Вот я — длинный, не такой уж молодой, живу, работаю, деньги есть, — не так чтобы мало, устроен как-никак, одет прилично (шляпа еще, помню; на мне была, интеллигентская мягкая немецкая шляпа, потом я ее где-то забыл) — и вот я такой, в шляпе и при галстукe, вдруг попадаю туда, в то самое в старое Черкизово! Привиделся мне такой кошмар: я, значит, иду, а из-за кривого забора, из подворотни, из окна — смотрят... Старуха растрепанная, седая; старик в душегрейке ватной, в ермолке; дети сопливые, сушку грызут; женщины тащатся с сумками с Преображенского рын-

ка. Остановились. Смотрят. "Вос? Ароша? Это чей же Ароша? Сын старого Финкельмайера, кого потом посадили? Это он идет, да? Так он, я вижу, совсем большой начальник! Ароша, ты разве не узнаешь тетю Хану?"

Ароша не пошел в Черкизово. Ароша пошел к советскому композитору в его новую кооперативную квартиру — за рыбой, чтобы сочинить цикл романсов. Но из этой рыбы — ты представляешь? — ничего не вышло. Я тогда написал стихотворений десять про Черкизово и его обитателей. Все сроки прошли, композитор обматерил меня по телефону и велел отдать рыбу для другого поэта. Тот, к его счастью, был не черкизовский.

Ты, Леня, меня понял? Или еще нет? Я родился в Черкизове — родился и прожил — ох, сколько! — да полжизни, ее первую половину. Родился, мамкину титьку сосал, в штаны писал, потом по этим делам на двор уже бегал. На горшок не сажали, не было принято. Уборная в будочке во дворе, но она для взрослых, а мне, например, уже с года-полутора было интересно с крыльца — и высоко, и далеко, и красиво: солнышко светит, струйка золотом искрится, — ребенок радуется и смеется.

Уборная во дворе, а вода — так та и совсем на улице: из колонки. А вот газ был свой, в доме, на кухне, провели после войны, женщины газа боялись, потом привыкли.

Дом как дом. Не то амбар двухэтажный, не то барак: первый этаж — кирпич, второй — доски. Облезлое кривое крыльцо сгнило; у колонки всегда стоит лужа разлитой воды и понемногу сочится, течет под забором, ручейком, ручейком — и к крыльцу. Тут даже в самую жару слякоть, и уж кто-нибудь из детишек обязательно в этом месиве босый: для городского сопляка такую тепленькую глинистую жижу продавливать между пальцев голых ног — это удовольствие особенное, сладострастное. Двор был с уклоном от улицы — потому, наверно, лужа под крыльцо и подтекала, —

ну и разъезжались перед ступеньками, шлепались. Ох и шлепались! Это у нас называлось "русский поклон". Свои-то привыкли, знали, куда ногу поставить, чтобы не проскользнуть носом в грязь, а вот если кто-то чужой забредал, — тот обязательно нашему дому кланялся.

Примчался однажды ко мне Фимка Круль — учились мы во втором или в третьем классе, — кричит: "Рошка, бежим смотреть! Васькин полковник едет! У него опель-адмирал трофейный! Бежим скорее!"

Надо объяснить, что это за полковник. У Фимки была сестра Адка, — Адина. Мужчины от нее приходили в столбняк — до того она была хороша. Стройна, лицо писаное, волосы роскошные — носила косу до колена — кожа нежная, молочного цвета — ну, Суламифь из "Песни песней". Глупа же эта Адина была на редкость, но это, видите ли, не имело никакого значения: начиная с нас, мальчишек, и до седых стариков — все были в нее влюблены. Женщины — и те относились к ней снисходительно.

Как раз ей исполнилось восемнадцать, она окончила школу — может, семь, может, десять классов, не знаю, устроили ей работу: лаборанткой в медицинском институте или в клинике какой-то на Пироговке. Нацепила белый халатик, пришла к нам, к моей матери: "Тетя Голда, у вас высокое зеркало, можно мне посмотреться?" Смеется, вертится, любитесь, ну и мы с мамой на нее засмотрелись. Мама говорит: "Ты, Адиночка, красавица у нас, побережись теперь должна, уже взрослая стала". Та хохочет: "Тетя Голда, вот именно, взрослая, теперь мне пора влюбиться!"

И влюбилась. Очень просто. Какой-то молодой мужчина стал привозить ее домой на мотоцикле. Они останавливались за два квартала от нас, в Окорочном переулке, но мы-то, мальчишки, их быстро выследили. Он ее ссаживал, и они на прощанье целовались. Он ждал, пока Адка шла до перекрестка, тут они еще разок помашут друг другу ручкой, потом

ее ухажер заводил мотор, разворачивался и уезжал обратно. Раза два мы ему запустили осколком кирпича в спину, но это так, от нечего делать, а вообще-то он нам понравился: во-первых, фронтовик, у него под кожанкой была офицерская форма; а во-вторых, у него был прекрасный BMW — роскошный мотоцикл, тоже, кажется, немецкий, не очень-то я теперь помню такие подробности.

Ну, ладно. Что дальше? Дальше она забеременела. Крик, гвалт, слезы — все, как полагается. Когда в доме немного поуспокоились, — сам понимаешь, мы, соседи, все восемь квартир, принимаем в этой истории горячее участие, переживаем, обсуждаем, ссоримся и даем советы, — когда немного поутихло, стали выясняться подробности. Лихого мотоциклиста зовут Василий. Он и в самом деле успел повоевать с полгодика до конца войны, демобилизовался в старших лейтенантах, поступил в Бауманский. Папаша его и был этот самый полковник из госбезопасности.

Ну, сообщает, значит, Адка своему Ваське, что беременна. Тот не струсил. Что ж, говорит, женимся, у отца денег, барахла всякого из Германии сколько хочешь, прокормит. Она — своим родителям: так, мол, и так, замуж выхожу; он — своим: жениться собираюсь. Адкины родные — ни то ни се: с одной стороны, девка беременна, а с другой стороны — жених-то "гой", русский, каково за русского-то выдавать? — горе родителям! позор! о Господи, за что на нашу голову несчастье послано?! У Василия отец взъерепенился: "Ты что, сам себе враг? Черкизовскую жидовку в жены! Сумасшедший!"

Что ж ты думаешь? наших уломали быстро: Васька на мотоцикле прикатил с бутылкой кагора, с закусками какими-то из коммерческого распределителя, и как вошел — к Адкиным родителям, целоваться, "папа", "мама" им говорит, ни разу по имени-отчеству не назвал. Фимка ко мне влетает, руки трясутся: Васька ему сломанный немецкий писто-

лет подарил — в кобуре, блестит, как новенький, только спуск не работает.

В общем, тут, у нас, все устроилось. Посадил жених Адку в коляску, — коляску, значит, привинтил к мотоциклу, как-никак невеста в положении, бережет ее, — повез к своим. И, казалось бы, все хорошо: полковник Васькин увидал Адочку — и сомлел. То, что было при ней, это ее женское начало, теперь, на втором — на третьем месяце, еще отчетливей проступило: на молочном личике румянец появился; походка, резковатые движения — что-то немного вульгарное, как я сейчас понимаю, в ней все-таки было, — все сгладилось, смягчилось. И Васька, даром что батальонный командир, повел атаку по всем правилам: неожиданно — хлоп! — нате, смотрите! Жена полковничья, мамаша Васькина, слова в доме не имела — на муженька посмотрит — как он, так и она. А полковник туда-сюда, — целый вечер с Адочкой пролюбезничал. Васька ее подучил. "Ты отца про войну спроси". Ну, она и сразу: "Ой, сколько у вас орденов. А у Василия одна только "Отечественная война" второй степени!" Полковник и расцвел.

На другой день Васькин папаша одумался: евреечка хороша, но самому-то ему с ней не спать, а сын, подлец, так подстроил, что не отвертишься: и в дом ее привозил, и сам к ней уже ездил, — если дело дойдет до признания отцовства, то все доказательства налицо. Придется их содержать, делать нечего. "Черт с тобой, сукин сын, поступай, как знаешь. Но я сперва хочу посмотреть на ее еврейское семейство".

Сел полковник в свой "адмирал" и на большой скорости двинул в самое что ни на есть Черкизово. У дома нашего, рядом с колонкой, шофер его, сержантик молоденький, тормозит. Мы все — Фимка, я и остальная шантрапа — тут как тут, глазеем. Сержантик выскакивает, потихонечку матерится — дорогу, которая душу из машин вытряхивает, матом

обкладывает, — к дверце с другой стороны подбегает: "Прошу, товарищ полковник!"

Товарищ полковник свесил блестящий сапог, аккуратно ступил у самой колоночной лужи и — по краю, по краю к калитке медленным шагом. Мы, мальчишки, гурьбою вперед, на крыльцо. Из всех окон глазают, а сверху уже гремят, спотыкаются, сыплются вниз со второго этажа будущие "родственники" — мама, папа и дочка: такой гость пожаловал, чтобы мне такое приснилось!

Вдруг полковник, как гусь, подобрался, побагровел, глаза выпучились — смотрим: едут его подошвы! Едут по этой нашей родимой грязи! Чуть бы влево ему забрать, где ровнее, да разве он знает?!

Мы застыли. Шаг... еще... Ну-ну-ну же, товарищ полковник! — до крылечка всего уже полметра, левее надо, левее...

Плюх!..

И такой был это поклон, какие мы редко видели. Когда полковник с помощью сержанта медленно встал, весь мундир, ордена, физиономия — были одной большой коричневой ляпой, будто, пардон, корова его обосрала.

У нас на крылечке царило полное онемение. Вынул полковник огромный белый платок, встряхнул за угол, приложил к лицу, отерся и — налево кругом — от крыльца к калитке. "Мотор-р-р!" — медведем взревел на шофера, медведем же ввалился в кабину, и сержантик рванул что есть мочи...

...Что ж это я плету и плету, да с такими подробностями? Ну хорошо, чтоб вкратце заключить, — дело было так.

Сыну полковник сказал: "Ребенка ей сделал, хочешь жениться — мне наплевать, женись. Но чтоб вашего духу здесь не было. Вон, в вонючем Черкизове и живите. Деньги давать буду. На внука. Ребенок не виноват..."

Родился-то не внук, а внучка, девчонка-цыганочка, глазастая, кудрявая, никогда не слышали, чтоб заревела: шлепнется об пол — и то смеется-заливается.

Ну, стал жить у нас Васька. Два ли — три года бегал в уборную через двор. Возил Розочку к деду. А бабка, полковничиха, добрая баба, тихая, сама приезжала, от полковника втайне. Розочку баловали, как могли, ни в чем она не нуждалась.

И вот скоро пошло: Васька раз у отца заночевал, другой... Все же, что ни говори: то в Черкизове одна комната — с Адкиными папой-мамой и с Фимкой — вечером свет погасят, так к жене и прижаться-то боишься, диван скрипит, кругом не спят, дышат, ворочаются; а то — квартира шикарная в центре, четыре комнаты, тут тебе и спальня, и письменный стол для занятий, а уж удобства, само собой, все есть.

Кажется, кто-то там у него появился, студенточка, что ли, с которой учился, Адка выследила и — бряк ему! — такой-сякой, изменяешь, да?! Ну и катись к своему папочке! Думаешь, за мной не ухаживают?

Дело было весной, у Васьки сессия, — ну и закатился к папаше на месяц. Адочка девка отчаянная, развернулась: домой два вечера подряд не пришла, Розочка на руках у бабушек — та, Васькина, ездит, охает, плачет, хочет, чтоб все хорошо было. Тут Адкина мать ногу сломала. Куда деваться? Обсудили всем домом, на Адку рукой махнули: ей не до дитяти, женщина бесится, ей мужик нужен. А Розочку полковничиха пусть возьмет, надо об ребенке заботиться, ему там, в городе, хорошо будет.

Приехал опель-адмирал, и со всеми игрушками, с кроваткой, с коляской увезли Розочку.

Скоро еще одна новость: этого медика, у которого Адка работала в институте, в лаборатории, арестовали. Это было еще года за два до дела врачей, но евреев уже начинали забирать кое-где. Вот Адкин профессор, как видно, из первых попался. Лабораторию закрыли, Адка без работы. Что делать? А здесь очередной малый на ее прелести клюнул, граж-

данский летчик. (Горазда Адка была на мужчин в форме.) Влюбился в нее без ума, разводишь, говорит, беру тебя с ребенком, квартира есть, работать не будешь, у меня зарплата — десять твоих.

Адка к Василию: давай разведемся, все равно уже ничего не будет... Рассказывала, что Васька плакал, ну и она тоже поревела. И что же? Полковник Адку позвал в другую комнату и вдолбил ей, чтоб она поняла: "Розочку не отдадим. Просишь развода? Будет развод, но от дочки откажешься, ты ей не мать. И Васька тоже не отец. А мы — мне в отставку скоро, — мы со старухой усыновим ребенка и вырастим. Ясно? Твой-то хахаль новый кто такой, где служит?" Адка, дурочка, и скажи — и фамилию, и аэропорт назвала, и даже сказала, что партийный. Полковник ухмыльнулся, записал: "Ну вот, сама знаешь, в каких органах я работаю. Не согласишься — твоего мужика за моральное разложение быстренько отовсюду выкинут, поняла? Иди, расскажи ему, и подумайте вместе. Ничего, захочет — родишь еще".

Вот и все. Адка из нашего дома уехала, потом иногда появлялась, как там жила она с летчиком — не знаю. Да я же и не про нее начал рассказывать, — про наш черкизовский дом, а вот вспомнилось... Видишь ли, я вот о чем думаю: будь уборная в доме, а не во дворе, ушел бы Васька к отцу? Может быть, и не ушел бы, а ? Или такое: не упади полковник в эту лужу, не поклонись он русским поклоном, — может, взял бы молодых к себе, и жили бы они все вместе, одною семьей, и Розочка с ними? И от чего наша жизнь, как посмотришь, зависит? Где мы живем и как вырастаем! Травою на щелбе, цветком на камнях, и приходит время разбрасывать камни — разбросают, да вот соберут ли? А если соберут, — что цветку?.. Вот он, вырван, валяется в стороне, распластался, измятый... цепляется корешками за землю... Но знаешь ли что? Может, уцепится? Встанет на ноги, и еще

зацветет, и еще застучит в барабанчик победный — загремят семена о сухую коробочку? Может, выживет, — а?

V

— Дом был как дом. Восемь семей в четырех квартирах, у кого — по одной комнате, у кого — по две. У нас — одна, но, надо сказать, и не очень-то мы страдали: было нас четверо — отец, мать, бабушка и я; а у других приходилось на комнату и по шесть, а то и по восемь прописанных.

Жили мы, значит... Копейку считали, но говорить, что мы были бедны... Нет, пожалуй. Мой отец был трикотажником, и от продажи левого товара ему немного перепало — ровно столько, чтобы семья могла сводить концы с концами. Кто в торговле не жил с ворованного? Кто-то, может, и не жил, но среди нас, трикотажников, таких не было.

Что? Трикотажная фабрика? Какая тут фабрика, ее и в глаза-то никто не видал!

— Ой, моя мама, он же не знает, кто это трикотажники! Милый ты мой, я тебе расскажу, ты послушай, и вот, на-ка, подбавь мне... Хорош!.. Будь здоров.

Нет Черкизова без трикотажников. Это надо запомнить.

Взяться считать, — и сейчас по Москве наберется сотня другая лавчонок с этими французскими вывесками "галантерея" и "трикотаж". Ютятся они по рынкам, около вокзалов, в рабочих районах, у заводских проходных, рядом с табачным ларьком и с пивною палаткою. Теперь для галантереи уж и особые магазины строят, а все равно, нет-нет — глядишь, попалась она, голубушка, на пути, палаточка галантерейная. Ну, а в свое-то время, лет пятнадцать назад, — наверно, и сам помнишь, они были на каждом шагу. Товар эти лавочки получали от артелей, которых тоже было вели-

кое множество. И эти всякие артели, кооперации, местная промышленность — темный лес, заповедники, Беловежская пуца. Зубры, волки, лисы и зайцы.

Мой отец не был зубром. Он был зайцем, и потому его посадили.

В длинной веренице людей, причастных к этому темному делу, отец был последним. С утра до вечера он сидел в своей лавочке и продавал. Продавал много всякой всячины — от бритвенных лезвий и бус до теплых дамских штанов. Они-то, дамские трико, и были дефицитны. Появлялись неизвестно откуда излишки сырья, и какие-то мелкие пошивочные артельки вместе с плановой продукцией шили налево. Видите ли, по пятилетнему плану развития народного хозяйства женщины, страдавшие от зимних холодов, должны были потратить свои трудовые деньги не на теплое белье, а на что-то иное, — например, на бусы, выпуск которых тоже ведь планируется; а теплые трико им следовало купить уже в следующем пятилетии, когда производство трикотажных изделий будет увеличено на три процента. И вот, поди ж ты, мой отец и множество людей, стоявших над ним, — в деле был замешан и замминистра торговли (его перевели в другое министерство) — все они были в том виноваты, что некоторые из женщин могли купить себе теплые штаны не в соответствии с пятилеткой, а в соответствии с погодой. Для государства это было невыносимо, как и то, что прибыль от продажи левых штанов шла не на сталинские стройки коммунизма, а в карман гешефтмахерам — мелким черкизовским, таким, как мой отец, и крупным, правительственным, как тот заместитель министра. Ну и как раз отец как-то заболел, не реализовал вовремя товар и, хотя его заранее предупредили, что будет ревизия, ничего сделать не успел. Ревизоры за то, чтобы скрыть обнаруженные излишки, запросили баснословные деньги. Отец кинулся туда-сюда, сколько-то собрал — мало. Составили акт. Кто-то вы-

крутился, кто-то откупился, самых крупных — зубробизонов из главка, из министерства и трогать не стали. А отца и еще человека три-четыре посадили.

Как уж мы после этого жили — ума не приложу. На первых порах немного денег было: когда отец понял, что попался и имущество конфискуют, он успел кое-что передать родственникам. Но этого хватило ненадолго. У нас оставили голые стены, продавать было нечего. Немного нам помогали. Но люди остаются людьми: пока у людей были жалость и сострадание — была помощь, а когда эти чувства притупились и к нашей беде все привыкли, то и помощь сама собой прекратилась...

Мать день и ночь кроила и шила, бабка что-то там вязала, носила продавать на Преображенский рынок. Я оканчивал десятилетку, и мать меня ни за что не пускала работать. "Чтоб ты неучем вырост? Как отец твой, в лавке сидеть? Пусть я надорвусь! Лучше умереть, чем дожить до такого! Арошенька, любимый мой, единственный, пожалей свою глупую маму — доучись до института, встань на ноги!.. Выучишься, будешь инженером — ножки твои целовать стану, — и живи тогда, как захочешь, и не слушай больше меня, старуху, Арошенька, радость моя, сыночек!.."

Мать нестарой еще была, а правда, старухой выглядела... Способностями я не блистал, но что-то такое в моих мозгах было. Ну, во-первых, память. Если хотел, я мог запомнить все что угодно. Другое дело — я был отпетый лентяй. Читал книжки, бегал в кино — без билета, конечно, соседка была контролером, — играл в расшибец, но не очень успешно: ловкость у меня — сам видишь, ну и деньги-то на игру откуда? — так, на медяки поигрывал, и если удавалось что-то взять, то только за счет длинных пальцев. Разобьешь кучку, монетки разлетятся, один пацан тянется — не достает, другой — тянется, ну а я вот эти грабли свои растопырю — хлоп! — алтын, и пятак, и еще пятак!..

Да, так, значит, — память... К концу школы я одумался наконец. Стоило мне взглянуть, каким способом делается задачка, как все ей подобные я мог решать без запинки. О формулах и говорить нечего: их я знал назубок. Ну, а предметы, где главное — болтовня из учебника, все эти истории, географии, литература, — тут я шпарил с пулеметной скоростью. Странная вещь: тогда, в юности, говорил я совсем неправильно, черкизовский наш жаргон, еврейские интонации лезли из меня то и дело, да и сейчас, ты, наверное, замечаешь, — моя речь не похожа на Цицероновскую. А вот писал я грамотно всегда. Грязь у меня в тетрадах, почерк дикий, но ошибок не было. В общем, со школьными сочинениями я тоже справлялся. Короче говоря, год-другой поднатужился, гляжу — четверки, пятерки пошли, учителя пожимают плечами. И вот я как-то узнаю, что на педсовете директор сказал: "Финкельмайер идет на медаль..." Тут как будто мне шпоры в бок: есть медаль — считай, что в институт уже принят! Последнее полугодие занимаюсь, как зверь, экзамен за экзаменом сдаю — один письменный, второй, устные начинаю... "Молодец, Финкельмайер, по письменным предварительно выставим тебе пятерки..."

Сдал и устные, последний спихнул, — мать в коридоре плачет, целует меня при всех: "Спасибо, Арошенька, мальчик!.." Обнимает, на цыпочки привстает, дотянуться до этой шеи не может, а я подгибаюсь навстречу, коленками о ноги ее стучу и тоже реву. Шутка ли — золотую медаль заработал!

День прошел, я отсыпался, помню, лежал в кровати, — Фимка дверь потихоньку открывает, пальцем меня выманивает, чтобы мать не слышала. Вышел на лестницу: "Какого ты?.." А Фимка: "Дурак, дуй скорей в школу!"

Я дунул. И что же? Районо мои пятерки по письменным не утвердило.

Оказалось на школу пять медалистов, из них нас, евреев, трое. Директора вызвали: "Что же это, Сидор Николаевич?"

Золотая медаль только у Громова, Безуглов еле-еле на серебряную тянет, а еще три золотых у Штерна, Певзнера и этого... как там?... Финкельмайера?"

Надо сказать, что евреев у нас было чуть не полкласса. Но считай — не считай, факт налицо. "Мы столько пропустить не сможем, одного снимаем. Предлагайте, кого". Директор Сидор Николаевич развел руками, полистал наши работы — мои неаккуратные, грязные, почерк плохой. Подумал он, подумал, вспомнил, что пятерки у меня в четвертях не всегда бывали; что вообще-то я за ум взялся только-только; что отец у меня сидит, и в районо это знают; а Штерн и Певзнер — круглые отличники все десять лет, и они-то медали свои и умом, и горбом, и задницей — всем заслужили. "Снимайте Финкельмайера". Мне и вlepили четверки — и по сочинению, и по математике письменной.

Не получил я ни золотой, ни серебряной. А что делать? Скандаль — не скандаль, толку не добиться, это было понятно. У матери обострилась гипертония. А мне — что? — мне, конечно, обидно, но скоро я плюнул и переживать не стал. У меня обычно так и бывает: если сам себе навредил, дурака сваял, то терзаюсь и мучаюсь, казнь себя, ночами не сплю. Очень, знаешь ли, нравится мне читать по ночам монологи, обращенные к своему разуму, к здравому смыслу. Я повторяю, как заклинание, внушаю себе, что надо быть практичным, активно жить, строить свою судьбу, бороться с обстоятельствами — как это? — *быть выше обстоятельств, во!* Тут уж я Цицерон, и Цицерону, видишь ли, не подобает произносить речь в лежачем положении, и вот я среди ночи встаю с постели и начинаю ходить из угла в угол, что-то там бормочу, жестикулирую. Но когда навредит мне кто-то другой — я умываю руки. Зачем переживать зря? Разве я виноват, что кто-то оказался сволочью? Едва ли и сама сволочь виновата в том, что она сволочь, а не ангел с крылышками. Так при чем тут я? Я сам себе доставляю столько цо-

рес, что если переживать из-за тех цорес, которые сыплют на меня другие, — то и свихнуться недолго. Нервы требуют отдыха: в конце-то концов, когда-то нужно и выспаться, нельзя же каждую ночь ворочаться под одеялом, вскакивать и бормотать монологи?

Так что же? Взял я свой аттестат с двумя четверками и понес его в МВТУ. В приемной комиссии на меня смотрели долго и выразительно. С сожалением смотрели, чтобы я сразу все понял и ушел. Но я не понял. Я и до сих пор не все понял, а ведь тогда мне было только восемнадцать. Я сказал: "Я хочу подать заявление. Дайте анкету". И мне дали анкету. Помнишь, какие были анкеты? Нынешний листок по учету кадров в сравнении с той анкетой — жалкий комикс рядом с "Войной и миром". Там было вопросов шестьдесят или семьдесят, и многие из них еще делились на отдельные вопросы, подвопросы, клеточки и строчки. Нужно было перечислить, например, всю семью жены от первого брака, если ты был разведен, включая ее родителей, братьев и сестер, написать девичьи фамилии обеих своих бабушек, не говоря уж о девичьих фамилиях матери и ее сестер. Главная же беда заключалась в том, что ни на один вопрос ты не должен был отвечать "не знаю". В каждой графе из десятка, а то и из двух, относящихся к твоим женам и родственникам их, следовало писать "холост". С этим я кое-как справился. Когда же дошло до родственников, находившихся в оккупации, я окончательно стал в тупик. В Минске, в Бобруйске, в Каунасе погибло множество моих дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер. Это я знал. Но вот все ли погибли? А вдруг кто-то и спасся? В таком случае получалось, что немцы, не добившие моих родственников, создали мне тем самым препятствие на пути поступления в вуз. Ну, а те, что погибли? Ведь вопрос-то ставился так: "Находились ли вы или ваши родственники на оккупированной территории? Перечислите, кто именно, укажите степень

родства". То есть следовало написать, что "В оккупации находились: Финкельмайер Л.Х. — дядя (то есть дядя Лазарь, которого я никогда в жизни не видел и которого убили в Бобруйске); Финкельмайер С.А. — тетя (то есть его жена, убитая вместе с ним)" — и так далее, человек двадцать... Так как не спрашивалось, погибли они или нет, а ничего лишнего писать не полагалось, выходило, что двадцать бесплотных теней, сбившись в кучу, бросали резкую черную тень на мою репутацию абитуриента...

Возникла проблема и с родственниками за границей. В восемнадцатом году кто-то куда-то бежал то ли от гайдамаков, то ли от белополяков: на восток, к большевикам, бежать было далеко и через линию фронта, а на запад — и близко и довольно просто. Так оказалось, что семья бабушкиного брата, — а кажется, и бабушкиной сестры тоже, — живет теперь где-то в Америке.

Короче говоря, веселенькая у меня получалась анкета. Я не хочу сказать, что кто-то очень умный сочинил ее вопросы с конкретным расчетом на меня и на таких, как я. Но, признаться, тогда у меня возникло чувство, что это именно так. Мне почудилось, что заполни я эту анкету, — и сразу окажусь голым перед теми холодноглазыми девицами, которые распоряжались делами приема, что на моем длинном костлявом теле станут видны нехорошие пятна, нарывы и волдыри каких-то скрытых мною болезней, и среди них — большая, огромная, кровоточащая язва — мой отец, осужденный за воровство.

Я взмок. "Можно дома заполнить?" — спросил я девицу. Она хмыкнула: "Можно. Какая разница?" — и равнодушно отвернулась. В этом равнодушии была и досада: дурак, ты не оценил той выразительности и того сожаления, с каким я смотрела на тебя, давая понять, что нечего лезть. Тем хуже, — сдавай экзамены, мучайся, проваливайся, трать силы... Мне-то что? — видишь, я отворачиваюсь равнодушно...

Дома, поразмыслив так и эдак, я решил: никаких родственников на оккупированной территории у меня не было. И за границей их тоже нет. Если кто захочет, пусть проверяет, а я знать ничего не знаю. Но об отце я написал правду. Не потому, что это и впрямь было легко проверить. Тут, сказал я себе, вранья быть не должно: в какую бы ловушку ни загоняла меня анкета, предавать отца я не стану. Для вас — тайная болезнь, а для меня — отец, я от него ничего иного, кроме добра, не имел...

Отнес я документы в приемную комиссию. До вступительных экзаменов оставалось больше месяца. За это время я хотел подзаработать немного денег — хоть на пару обуви и на брюки, а если удастся, то и на какой-нибудь дешевенький костюмчик: последние годы зимой и летом я ходил в одних и тех же стоптанных башмаках, была у меня и единственная пара брюк, которую мать уже не раз штопала в неких укромных местах — там, где раздваиваются штанины. Вместо пиджака я носил рыжую лыжную куртку на молнии, с огромными накладными карманами спереди. Говорили даже, что куртка мне идет: широкая, как балахон, она пузырилась по бокам и на спине, и поэтому я в ней вроде бы выглядел не чересчур худым...

Возможно, с окончанием школы во мне пробудилось что-то похожее на мужское самолюбие. Мне казалось, что в институте я должен стать другим. Хорошо бы, думал я, с самого начала взять независимый тон, никому не спускать, не давать над собой посмеиваться, как это бывало в школе. И смена костюма представлялась мне необходимейшим, первейшим шагом на пути к обретению нужной самоуверенности. Однако, вообще говоря, я понимал, что новая одежда — глупость, и мечтать о подобных вещах мелко и стыдно такому дурню, как я, да и мог ли я просить у матери денег на эту свою прихоть? Она и так еле тянула, выгадывая на куске мяса, чтобы только продержаться от одного заказа до

другого и в обед накормить нас с бабушкой супом из сваренной колбасы... Вот я и собразил: до испытаний чуть ли не полтора месяца, а заниматься-то я особо не собирался: программу я знал назубок, — можно вечером поглядывать в учебники, а днем — днем работать.

Стал читать объявления о найме. Но куда же я могу устроиться — без профессии? И кто меня возьмет на такой короткий срок? Вдруг — на тебе, повезло: требуются на временную работу, на летний период разносчики телеграмм.

Объявление висело у дверей почты. Я вошел.

Начальница почтового отделения рассматривала меня так, будто перед ней появился жираф или верблюд, сбежавший из зоопарка.

— На такую работу женщины полуграмотные устраиваются да девки, которые из деревни в Москву попадают. А тебе-то, после десяти классов, зачем?

— Понимаете, — говорю я и чувствую, что начну сейчас объясняться долго и путано. Вместо слов задираю ногу, и мой старый разбитый башмак показывается над столом, прямо перед глазами начальницы. — Вот. Денег бы заработать...

Она была доброй теткой. Взяла мой паспорт, переписала что-то из него на листочек и вернула.

— Завтра можешь выходить. Оклад — четыреста один рубль. Но работа у нас в три смены. Хочешь по полторы за раз? Будешь получать шестьсот один пятьдесят. Устраивает?

Обрадовался я до безумия. А когда поработал немного, то стал считать себя самым счастливым человеком на свете.

Работа оказалась не утомительной, даже приятной. Приходишь на почту, берешь пачку телеграмм и — ходули в руки, пошел по адресам, дом за домом, улица за улицей, потом обратно на почту за новой пачкой, снова марш разноси... Девки-напарницы ко мне присмотрелись, как-то мы разок-другой похихикали вместе, потрепались, — и они показали

мне проходные дворы, научили, как лучше добираться до отдаленных мест. Обучили меня другим, весьма ценным хитростям. Например, носили мы телеграммы в одно очень строгое учреждение, где у входа стояла вохра с пистолетом и где по полчаса приходилось ждать, пока кто-нибудь к тебе спустится и вынесет пропуск. Так вот, оказалось, что всегда можно преспокойно проходить через котельную и из подвала по лестнице попадать прямо на третий этаж в канцелярию.

Было множество и других хитростей. Все они преследовали одну цель: сэкономить время, урвать от работы часочка два-три, а то и побольше, на собственные нужды. Это я, дурак, ездил на работу через весь город, а все остальные жили рядом, чуть ли не на той же улице, где и почта, и потому забежать домой, взглянуть на ребенка, сготовить что-нибудь среди рабочего дня — это для женщин было обычным. Собственно, ради такой возможности и шли сюда, на почту, за четырестарублевый оклад. Ну, а что касается магазинов, то, конечно же, все покупки как раз и делались во время обходов. Вечером в магазине и очереди, и купить нечего, а тут — то колбаску чайную выбросили, то поросычью обрезь, то сало дешевое... Если же и хвост сотни в три народу выстроится, — намусолят себе на ладошке чернильный номер, — и ходи пока, носи свои телеграммы, вернешься — а тут тебе и очередь подходит. Едва ли не каждый день кто-нибудь в телеграфную прибегал: "Бабы, в "Субпродуктах" ножки на студень дают. Я заняла!" Способов выкроить свободное время было много. Главный заключался вот в чем. Аппаратчицы давали нам телеграммы незаклеенными. И мы, прежде чем заклеить, просматривали каждую, чтобы узнать, долго ли можно ее продержать у себя. Пришла, например, рано утром такая: "Поздравляю днем рождения желаю счастья целую сестра Надя". Ясно, что ничего не случится, если ты сперва в магазин сходишь, а потом уж часа в три понесешь телеграмму адресату. Но бывает и иначе. "Мама

скоропостижно скончалась срочно выезжай факт смерти Анастасии Ефимовны Березкиной подтверждаю главный врач Зареченской районной больницы”. Запечатая телеграмму, отложи остальные и все свои хлопоты отложи, а поспешай-ка в дом к Березкиным, где вот сейчас, в семь вечера, сидит за столом семейство, пьет чай, хлеб с маслом ест, и папаша, ремонтник на автобазе, что-то такое рассказывает, как заставил все-таки мастера дать им новый станочек, и сколько за это пришлось грызть глотку. “Что ж поделаешь? Жизнь — она и жизнь, никуда не деться”. А жизнь между тем уж шуршит протертой подошвой здесь, рядом, в лестничной клетке, и худая фигура стоит перед дверью, пальцем костлявым стучит... Смотрит хозяин из темноты коридора — да не смерть ли эта фигура?.. Смерть я, товарищ Березкин, смерть, вам телеграмма, вот здесь распишитесь и время проставьте, число, часы и минуты. “Маруся! — кричит. — Маруся! Мать-то моя!.. Бабушка наша-то! Ой!..”

Расписался? А я взял карандашик из его остановившейся руки и пошел и ссыпался с лестницы, с пятого этажа в тихий дворик, где липами пахнет и девчонки играют в классики. “Дядька, противный, не лезь, не мешайся!” А дядька — куда уж противней! — попрыгал, поскакал на одной ножке, встал на обе — и за ворота...

В телеграммах — даром, что короткие, — в них субстанция, экстракт бытия: рождение, смерть, болезни, праздники, преступления, встречи, любовь, безденежье, отчаяние и надежды. Телеграфная лента, ползущая из аппарата, — это, брат, голый провод под током, и ее любые десять сантиметров начинены такими страстями людскими, что бывает и страшно этой бумажки коснуться... Но, скажу тебе, и страсти можно рассортировать. И мы их сортировали: нам важно было составить свой маршрут по адресам так, чтобы получилось кольцо: от почты идешь все дальше и дальше по кру-

гу, а, отдав последнюю телеграмму, — близко от почты же и оказываешься.

Работало нас, разносчиков, в одну смену по двое — по трое, и вот на каждый выход нужно было составить себе такой круг. Скоро я произвел в этом деле реформу: начертил карту района, из бумаги нарезал квадратиков и пронумеровал их. Квадратики соответствовали телеграммам, были они у меня цветные: красный — правительственная, синий — срочная, желтый — серьезная по содержанию, белый — обыкновенная, типа поздравительных. И вот перед выходом я, как полководец накануне сражения, оцениваю ситуацию, разбрасываю квадраты и команду: "Тебе идти сюда, сюда и сюда вот с этой пачкой; тебе — вот этот круг, бери свои; а мне — вот куда".

Мои напарницы меня чуть не обнимали: и ходить меньше, и времени полно стало. Рассказали начальнице — и что же ты думаешь? — перевела меня в старшие и к окладу прибавила пятьдесят рублей...

Через две недели — получка. Деньги спрятал: решил, сдам сперва экзамены, а тогда и прибаракхлюсь. А мать ни о чем не догадывалась, я ей говорил, что езжу заниматься в библиотеку, а когда дежурил в ночную, то предупреждал, что останусь у товарища до утра.

Итак, получил я первые в своей жизни двести рубликов, но это было не все: к ним я доложил еще — ни больше ни меньше — семьдесят пять! Откуда? А вот откуда.

На второй день работы постучал я в чью-то дверь, мне открывают. "Телеграмма, — говорю. — Пожалуйста, распишитесь". — "Минуточку". Пожилая женщина вместо того, чтоб взять у меня карандаш, запускает руку в висящее здесь же, в передней, пальто и начинает рыться в кармане. Вынимает рубль. Я сую ей в пальцы карандаш, рубль падает, я поспешно наклоняюсь и пытаюсь вернуть его, женщина бормочет: "Это вам, вам!.." Мы оба смущены так, будто нас уличили

в каком-то непотребстве. Бросил в конце концов рубль на тумбочку и сбежал.

Такие и им подобные ситуации повторялись изо дня в день по нескольку раз. Девчонки на почте как-то поинтересовались: много ли дают адресаты? Когда я ответил, что не беру, их изумлению не было предела: "Как не берешь?! Ты что? Тебе, что ли, деньги не нужны? Ты их нам тогда приноси!" — "Да неудобно же брать..." Хохот поднялся такой, что я почувствовал себя идиотом. "Ну, конечно, Арон у нас интеллигентный, в институте будет учиться!" Мое желание поступить в вуз расценивалось ими тоже как бессмысленная блажь. "Ну, а мы народ простой, нам лишь бы давали деньги, — что от государства получать, что от жильца — один хрен". Я и сам, конечно, понимал, как это глупо — не брать чаевых, когда все их берут. Тем более, что, упрямо отвергая деньги, я не только сам испытывал чувство неловкости, но ставил в неприятное положение и дающих, которые от этого раздражались, и нередко слова благодарности за услугу сменялись выражениями вроде "ишь, какой гордый", "много вы о себе, молодой человек, воображаете" и тому подобное...

Каждые три дня я носил телеграммы одному пожилому человеку, чья дочь со своим маленьким сынишкой уехала на отдых в Крым. Вероятно, между любящим дедом и мамашей существовала договоренность — сообщать два раза в неделю, все ли в порядке, здоров ли мальчик. Мальчик всегда оказывался здоров, и старик на радостях всякий раз пытался всучить мне — сколько ты думаешь? — целую десятку!

И вот однажды, он, впусив меня, попросил, чтобы я прошел в комнаты. Я последовал за ним и оказался в роскошной гостиной, стены которой были увешаны картинами в тяжелых золотых рамах. По углам, на подставках в виде невысоких колонн из черного мрамора, стояли великолеп-

ные фарфоровые вазы, застекленный шкаф был тоже заполнен коллекционным фарфором. Увидев, какими глазами я смотрю на этот музей, хозяин, довольный произведенным эффектом, усмехнулся.

”Я знал, что вам понравится здесь. Вы чувствуете красоту, это похвально. И вы отказываетесь брать чаевые. Это тоже похвально. Но послушайте меня. — Он подошел к одной из картин и стал в задумчивости ее рассматривать. — Когда-то у моего отца, путейского инженера, было интереснейшее собрание картин. От его собрания остался только вот этот фламандец. Остальные распилили, содрали, потому что и подрамники и рамы понадобились для растопки. Кстати, — об этом не все знают — и само записанное маслом полотно тоже хорошо горит, но, к сожалению, не дает тепла... Ну-с, хочу вам сказать, что до недавнего выхода на пенсию я в течение многих лет служил официантом ресторана ”Националь”, хотя до того, — это было очень давно, в 1915 году, — прослушал полный курс факультета Московского университета — вы, конечно, знаете, — на той же Манежной, где находится и отель ”Националь” (он сказал на европейский манер — hotel). Вы, молодой человек, смею повторить, любите красоту. Как видите, я тоже ее люблю. Но разница между нами та, что я не отказывался брать чаевые. Я получал пятьсот рублей в месяц, но я вырастил дочь и обеспечил свою старость”. — Он взял со стола исписанный листок бумаги и подал мне вместе с двадцатипятирублевкой. — ”Я хочу просить вас об одолжении: когда вернетесь на почту, отправьте, пожалуйста, вот эту телеграмму. У меня разболелись ноги, я стараюсь не выходить. Не трудитесь возвращать сдачу и... Подумайте над тем, что я вам рассказал”.

Я подумал — и с того дня от чаевых не отказывался.

Тот июль был страшно жарким, говорили о засухе на Кубани и Украине. Москва задыхалась, ждали дождя, и погромывивал где-то за городом гром, но солнце как вставало

утром в душном мареве, так и садилось среди пропыленных крыш — огромное, багровое, как раскаленная чугунная болванка. И вот числа двадцатого, уже к ночи, пошел ливень, да такой, что улицы сразу поплыли сплошными реками, и окна в почте завесило матовой пеленой. Я погасил свет, приплюснулся носом к стеклу, и, помнится, хорошо было так стоять, смотреть в темноту, в дождь, чувствовать, как духота отпускает... В полночь моя смена кончалась, я раздумывал, идти ли вымокать под ливень или же переждать. И тут из аппаратной — телеграфистка с лентой: "Смотри-ка, международная. — Понесешь? А то, если не хочешь, я пока не буду на бланк наклеивать, сменщице твоей отдам".

Э, ладно, думаю, пойду-ка под дождичком, одно удовольствие сейчас, после жары. "Давай, — говорю, — клей, мне все равно домой, по дороге занесу твою международную".

Взял — и почти бегом, через два квартала — близко, дом известный: звался он "посольский", наверно, еще с довоенных времен, когда его только отстроили для наркоминделовских работников. И уж если к нам приходили телеграммы со смешными, отбитыми латынью русскими словами, то, конечно, они адресовались именно в этот дом. Вообще-то, чтобы отнести международную, не обязательно было в двенадцать ночи лететь сломя голову: она могла подождать и до утра; но так уж было принято: мы к этим, отбитым латынью телеграммам относились как к срочным, будто побаивались, что если удержишь международную, что-нибудь произойдет, — война или что-то подобное!..

Когда влетел я на четвертый этаж, текло с меня, будто с дохлой вороны, которую за хвост подняли из лужи. Звоню один раз, другой, третий... Похоже, что в квартире спят, но не тащить же телеграмму снова на почту? Наконец еле слышен, доносится голосок:

— Кто там?

– Телеграмма! – кричу. – Международная!

– Иду! – отвечает мне, уже поближе, голосок женский, эдакий с зевотцей, уютный, тепленький прямо. – Господи, в такой-то дождь!.. – сочувственно говорит она и двери тем временем открывает.

И что же, друг ты мой, происходит? Двери-то распахиваются, и как рукой она, женщина-то, отводит в сторону дверную створку, так у нее халатик расходится больше и больше... А под халатиком!.. Она ведь лежала в постели или спала уже, и я когда позвонил, лишь этот халатик накинула, и вот в темноте белизною глаза мне мои осветило, и две тени – глубокие тени две женских груди очертили!.. Я, кажется, вскрикнул, и она тоже:

– Ах!.. – и глядит на меня, и так медленно, медленно-медленно одною рукой собрала обе полы, стянула их вместе.

– Я думала, – девушка... Девушки носят. – Это она про телеграммы, вроде оправдывается, что не ожидала увидеть парня. А сама улыбается, смотрит, и очень ей любо смотреть, как я стою истуканом и все никак не могу от ее красот в себя прийти...

– Господи, мокрый насквозь! Какая гроза на улице! Да зайди в коридор, дует как! – Она поехала, повела плечиком под халатом, зябко запахнулась.

Не дуло нисколечко, но я вошел, и она прихлопнула дверь. Стало совсем темно, я боялся пошевелиться, и так продолжалось минуту или две. Потом оттуда, где она стояла, послышался тихий, воркующий смех.

– Как в жмурках... ничего не видно... Ты пока постой, тут в нише торшер, выключатель где-то внизу.

Я услышал, как она сдвинулась с места, потом дыханием ожгло мне ладонь, что-то мягкое скользнуло вдоль рукава, и сразу же раздался негромкий, похожий на кошачье мяуканье, визг:

— И-и-и!.. Холодный!.. Бр-р...

Вспыхнул свет, я на мгновение ослеп, а затем увидел молоденькую женщину, которая, вскинув руки, прижав ладошки к щекам, стояла у стены и весело заливалась, глядя на меня...

— Телеграмма... международная... — беспомощно бормотал я и готов был растоптать самого себя, потому что, хотя и был ошеломлен, все же хорошо представлял, как выглядел со стороны.

Она хохотала и хохотала, смех находил на нее волнами, и, когда очередной приступ несколько спадал, она, я замечал, совсем не с пренебрежением, какое я мог бы вызвать, и даже не с иронией, а с явным вниманием, изучающе поглядывала на меня. Я же смотрел на нее во все глаза, то и дело облизывал сухие губы, голова кружилась, и я не слышал, когда прекратился ее смех, а услышал:

— Иди в ванную, отожди пока одежду...

Я не отдавал себе отчета в том, что делаю; пошел и разделся в сверкающей кафелем ванной, взял просунутый в щель шикарный махровый халат и накинул его на себя. Так и не знаю до сих пор, понимал ли я, что все это значило. Скорее всего, не понимал, и поэтому моя хозяйка, мне думается, испытала тогда особое, тайное удовольствие от своих деяний, когда окружала меня заботой и лаской и осторожно, стараясь не спугнуть, вела верзилу-мальчика к его первому сладостному соблазну.

Когда я, робко выставляя из-под халата голые коленки, вышел из ванной, она прокричала откуда-то с кухни:

— В комнату проходи, в ту, где открыто, и садись за столик. Сейчас будет кофе горячий!

И еще она добавила: "иначе простудишься", или "ты у меня еще заболеешь..." — что-то очень домашнее.

Вообще, она то и дело говорила какие-то непринужденные, простые слова, — чтобы я не успел ощутить неловкости.

На это, как можно догадаться, были причины, и чем дальше, тем их становилось больше. Так, странным образом комната, где она собиралась поить меня горячим кофе, оказалась не столовой и не гостиной, а спальней, где стояла широкая, с деревянными, блестящими спинками кровать, каких я еще не видал, — разве что в заграничных кино.

На разобранной постели белье было примято, одеяло откинута — да Боже ж ты мой, я представил, как она здесь лежала, когда я позвонил!..

А там, за кроватью, брошенное на стуле, пенилось розовое и белое — кисейное, кружевное, воздушное...

— Что же ты? — садись, вот сюда, ах, неприбрано, я уже почти засыпала... Что там в телеграмме?.. Пей же, пей, клади сахар, зефиру возьми. Любишь зефир? И я обожаю, только раньше он был получше... ”еще два месяца задерживаюсь неотложным делам зарплата доверенности получи Смоленской”. — О-ля-ля!.. Ты любишь получать зарплату? И я люблю, только ты получаешь свою, а я... Милый, какой ты у меня голодный!.. Глупости, мы ведь оба интеллигентные люди, так что давай наплюем на этикет... Неудобно? Знаешь что неудобно? Сидеть на еже и стоять во время дипломатического приема.

Она принесла хлеб, масло, сыр и какие-то благоухающие колбасы. Признаться, я стал уплетать за обе щеки бутерброды, а кофе пил, как чай — глоток за глотком, не отрываясь — и выпил две чашки подряд.

Скоро мне стало хорошо, как никогда. Посуди сам: где и когда прежде мог я сидеть вот так, черт побери, в махровом халате, среди богатого уюта, за прилично накрытым столом?! Уж не в своем разлюбезном Черкизове!

А рядом — молодая красивая женщина, которая, прищуривая сонные глаза (она была немного близорука), смотрит на тебя и смотрит, улыбается краешком пухлых губ. Да, — пухлые губки, и вся она пухленькая, чуть полноватая...

Э-э, да ты, наверно, не хуже меня знаешь, какими бывают рыжеволосые, с белой не загорающей на солнце кожей невысокие женщины — тициановский тип, или я ошибаюсь?.. Такой вот была Эмма. Имя претенциозное, но оно ей вполне подходило, потому что многое у нее было с претензией — и туалеты, и мебель, и различные экстравагантности в поведении. Чего стоило хотя бы это ночное приглашение: впустить меня ни с того ни с сего в дом, усадить за стол, а потом... Она мне призналась, спустя много времени, что под грохот грозы лежала тогда в широченной двуспальной постели, испытывая жуткую тоску и необъяснимый, животный страх перед одиночеством, какой бывает у здоровых молодых женщин, надолго лишенных мужских объятий. Эмма лежала тогда, вцепившись зубами в подушку, чтобы не выть, и молила судьбу сделать так, чтобы жизнь ее изменилась. Она услышала уже первый мой звонок, но не поверила слуху, решила, что почудилось. А когда открыла мне, и я обмер, увидев ее обнаженную грудь, Эмма, оказывается, еле совладала с желанием тут же прижать меня — холодного, мокрого, нескладного мальчишку к своей заждавшейся ласки груди... Она сразу поняла, говорила мне Эмма, что я совсем юнец и не знаю женщины, и вот, поди ж ты, — ей, видите ли, стало меня жалко! Именно тем она и объясняла все происшедшее: такой мокрый, замерзший, худой — и даже еще никогда не спал с женщиной — ну как его не пожалеть, а? Но — сейчас я посмеиваюсь, а тогда... Это была любовь. И я бы каждому желторотому птенцу пожелал начинать с такой любви. Все это благопристойная чушь, — советовать, как это делал Лев Толстой, чистому, девственному юноше навеки соединиться душой и телом с юной девушкой. Ничего, кроме несчастья, в лучшем случае кроме совместной скуки, из этого союза не получится, если, конечно, он не разрушится быстро сам по себе или под ударами жизни. Любви нужен опыт. По крайней мере кто-то один из двоих должен им обладать. Чем же это

плохо: восемнадцатилетний парень — и женщина двадцати пяти лет, у которой и мысли нет связать его браком, уловить его в свои сети?

В моем случае, у меня с Эммой, единственным, что омрачало любовную идиллию, было существование мужа-дипломата. Но если говорить обо мне, то он моему сознанию представлялся какой-то абстракцией, знаком, запятой в наших многословных разговорах... Для Эммы он был чем-то более существенным. Пожалуй, муж, живший где-то в другом мире — он работал в ООН и был постоянно то в Париже, то в Нью-Йорке, — мог казаться ей богом — эдаким языческим богом, которому поклоняются, которого побаиваются, но которого ничего не стоит послушаться и обмануть. Как Бог дает живому возможность жить, так Эмме ее муж даровал все — пищу, одежду, жилье, а взамен... Иногда он приезжал ненадолго в Москву и тогда брал с собой Эмму куда-нибудь на прием или для неофициального визита; три-четыре раза и она побывала "за занавесом" — он вызывал ее к себе, следуя рекомендации начальства. Вот, собственно, все. Жена и была нужна ему только потому, что ее полагалось иметь. Этот закоренелый холостяк, умный и, видимо, неплохой человек, женился на Эмме, когда понял, что личная свобода становится нежелательной помехой в его карьере, что отсутствие семьи у мужчины сорока с лишним лет расценивается как нечто недопустимое. Тем более, сослуживцам и начальству стало известно о его связи, которой он дорожил, — с его же сотрудницей, и чтобы эту связь сохранить, ее следовало немедленно прикрыть законным браком. Как известно, брак — дело серьезное, особенно у дипломата, но он с этим справился как нельзя лучше: Эмма была единственной дочерью крупного партийного работника, который незадолго до того умер от инфаркта, то есть анкета его избранницы была так же чиста, как и сама невеста.

Скоро между супругами все стало ясно. Эмма не успела

даже влюбиться в своего мужа. И она вовсе не считала, что он обманул ее ожидания, оскорбил невинность и тому подобное: "Я ему благодарна, — говорила она мне. — Я была дура-дурой и такой бы осталась. А так я быстро поумнела и теперь знаю, что мне нужно от жизни". Я не спрашивал, много ли мужчин перебивало у нее до меня. Но запас нежности у Эммы был неисчерпаем, и вот, подобно теплему дождю, что лился на Москву в тот июльский вечер и потом всю ночь напролет, — ее душа смогла, наконец, излиться в ласках и заботах, и я блаженствовал, забывая обо всем на свете...

Но очень скоро мне пришлось вспомнить о вступительных экзаменах. В один из последних дней месяца я Эмме сказал:

— Завтра не жди, не приду: у меня первого августа экзамен. В институт поступаю.

— Ого! И молчал! В какой же?

— В Бауманский.

Эмма присвистнула, с сомнением покачала головой, потом села к телефону. Она долго разговаривала со своей знакомой, которая по службе имела отношение к высшим учебным заведениям. Эмма выяснила, какова ситуация в моем вузе, и я слышал, как она сказала: "Его зовут Арон Финкельмайер. Что ты об этом думаешь?"

— Так вот, милый, — положив трубку, сказала Эмма. — Забрал бы ты бумаги из Бауманского, а? Будет чудо, если ты туда поступишь. Давай что-нибудь другое? Например, институт землеустройства? Или тот, где я недоучилась, — транспортно-экономический? Не хочешь?

Я почему-то не хотел и надеялся на чудо. Ведь юность тщеславна. Другое дело, что, подобно всем иным качествам, в юности и тщеславие проявляется не так, как в более зрелом возрасте. Ну была ли разница для меня, какой вуз окончить — высшее техническое училище, автомобильный или промышленный институт, — если я не имел ни малейшего представления об инженерной работе? Так нет же! Сколь-

ко ни отговаривала меня Эмма, сколько ни доказывала, что в вуз попроще, хотя и с трудом, но при помощи ее знакомой можно будет устроиться, — я твердил свое: Бауманский — и ничего другого!

Первого августа я сдавал сочинение. Из нескольких тем я выбрал пушкинскую — "Образ Онегина" и писал с увлечением, размахнувшись страниц на пятнадцать, писал сразу на-бело, понимая, что с черновиком просто-напросто не успею.

Я был до такой степени уверен в благополучном результате, что, придя через несколько дней на письменную математику, даже не поглядел на доску с фамилиями допущенных ко второму экзамену. В аудиторию пропускали по списку, я долго ждал, пока доберутся до буквы "Ф", но вот вызвали уже и Юрьева, и Яковлева, Яковенко, а Финкельмайера так и не было... Тут только, впервые почуя неладное, я бросился к доске: моя фамилия отсутствовала.

Еще надеясь, что это ошибка, что сейчас, за пять-десять минут, все выяснится, и я еще успею на математику — ничего, поднажму, задачи я решаю быстро, авось, догоню, уложусь в срок, и все будет в порядке, — я ринулся в приемную комиссию и с криком: "Почему меня нет?!" — влетел в ту комнату, где сидели уже знакомые мне девушки-секретарши.

Им не нужно было рыться в списках: они помнили и меня, и мою фамилию, что само по себе было нехорошим признаком.

— Вы Финкельмайер? Чего вы раскричались? У вас неудовлетворительная оценка за сочинение, надо было раньше поинтересоваться. Вот ваши документы, можете забирать.

И тут нервное напряжение, в котором я был, отчаяние, внезапно меня охватившее, острое чувство обиды и ясное ощущение того, что со мной творят вопиющую несправедливость, — все смешалось и выплеснулось в безобразной сцене. Я взбесился. Крича "неправда! неправда!" — кинулся

к столам и начал разбрасывать какие-то бумаги, папки и скоросшиватели, как видно, надеясь отыскать ведомость с оценками и убедить всех, что плохой отметки у меня быть не может. Испуганные и возмущенные, девицы оттащивали, оттирали меня от столов, старались помешать начавшемуся разгрому, но я ничего не соображал до тех пор, пока одна из секретарш не закричала: "Нашла, нашла вашу ведомость, читайте сами!"

Однако слово "неуд", написанное против моей фамилии, разъярило меня еще больше: теперь мне нужно было найти само сочинение и доказать, что ошибка — в ведомости, что я не мог и не должен был получить этот "неуд".

По стенам стояли шкафы, и мне пришло в голову, что моя работа там. "Где моя работа?!" — завопил я, и так как мой блуждающий взгляд упал на шкафы, стоявшие вдоль стен, я хотел было кинуться к ним, чтобы разбить их стеклянные дверцы и все сокрушить, лишь бы доискаться правды!.. Но девицы закричали: "Идите к проректору, к проректору! Он принимает, идите к нему!"

По этажам и коридорам, влетая в какие-то комнаты, ошибаясь и снова спрашивая дорогу, добрался я до проректора. Это был вежливый господин, настоятельно рекомендовавший мне успокоиться. Он даже наливал мне воду из графина, и я ее пил и говорил "спасибо"; я сидел в глубоком кожаном кресле и все пытался найти ответ на поставленные мне вопросы: "Почему я уверен, что я лично в своей работе не мог допустить ошибок, а *мы*, — то есть *они*, — одно из лучших в стране высших учебных заведений, в своей работе могли допустить ошибку? Почему я, молодой человек, обвиняю *их* и не хочу обвинять *себя*?" Я твердил одно: "Я пишу грамотно, школьную программу знаю, покажите мое сочинение". Наконец выяснилось, что он не имеет права показывать сочинение, на это должно быть специальное разрешение министерства. Но так и быть, он позвонит препода-

вателю, который выставлял мне оценку. Проректор набрал номер, поздоровался и сказал, что у него сидит возмущенный абитуриент — минуточку, как фамилия? — Финкельмайер, который... Проректор не успел объяснить, чем возмущен его посетитель: на том конце провода тут же вспомнили и меня, и мое сочинение, и оценку.

— Тогда я дам ему трубочку, — сказал проректор и через стол протянул ее мне.

— Вы беззастенчиво списывали, и вы это знаете сами, вот и вся причина, — услышал я чей-то резкий холодный голос.

— Как?! — заорал я. — Что же я списывал?! Откуда?

— Из Пушкина, Александра Сергеевича, — со смешком ответили мне. — Обильное цитирование, со всеми орфографическими отклонениями, свойственными автору "Онегина". Книга лежала у вас на коленях, молодой человек.

— Неправда! — кричал я в ответ. — Это неправда! Я помню Онегина наизусть! Вместе с отрывками из десятой!

— Не морочьте мне голову!

— Я буду читать! Какую главу?! Скажите любую строку, для меня не имеет роли, — сказал я, — не имеет роли, откуда начать!

— Сперва, Финкельмайер, научитесь правильно говорить по-русски, — со злорадством и ненавистью ответил мой милый собеседник, знаток пушкинской орфографии. — Надо говорить "не имеет значения" или "не играет роли", что-нибудь одно. Научитесь правильно говорить, а потом уже правильно писать. — И он бросил трубку.

Тогда я встал с кресла. Я стоял перед проректором, и он молча смотрел на меня — старый, седой, худощавый, бывший студент времен николаевских, а теперь — советский профессор, доктор технических наук, администратор.

— Я читаю "Онегина". Какую главу? — сказал я ему, и он недоуменно вскинул брови. — Вам все равно? Тогда первую я пропущу, ее знают многие, я начну со второй, и я не кончу,

пока не дойду до последней десятой главы, до ее последней строчки, но вторую начну не с начала, а вот с чего:

Но дружбы нет и той меж нами:
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех — нулями,
А единицами — себя;
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно...

Через десять минут два суетливых аспиранта, локтями нажимая в мой живот, проталкивали меня в коридор, а я высовывался из-за их плеч, тыкал в проректора указующим перстом и все еще декламировал, захлебываясь, срываясь на истерические вопли и хохоча над неожиданной иронией слов, до которых добрался: *"Родной земли спасая честь!.. — вопил я. — Я должен буду, без сомненья, письмо Татьяны перевести!.. Она по-русски плохо знала!.. Журналов наших не читала!.. — Смех душил меня, и меня уже совсем вытурили из кабинета, но я ухватился за косяк и все-таки прокричал: — И выражалась с трудом на языке своем родном!.."*

Пока я ходил жаловаться в центральную приемную комиссию и в министерство, время ушло, и было уже поздно подавать документы в какой-то другой институт. Самое ужасное, что я весь август ни о чем не говорил матери — ни о своей работе на почте, ни о проваленном экзамене, ни о том, что частенько ночую у Эммы. Потрясенный ложью, которая преградила мне путь в вуз, я сам лгал, и кому? — родной матери! И хотя тут я, по крайней мере, пытался оправдаться перед собой — я лгал во благо, боялся, что правда мою мать убьет, — то в другом, в том, что касалось моих отношений с Эммой, лгал без оглядки: я жил с чужой

женой и, когда у нее оставался, ел хлеб не свой, даже не ее, а ее мужа — незнакомого мне человека... Я видел, что Эмма мое состояние понимала, она успокаивала меня как могла. Ночные наши ласки, которым я отдавался, будто Адам, впервые познающий свою Еву — со сладостью, удивлением и опаской, — были лучшим противоядием от всего того, что мучило меня. Но, видимо, как лекарства так и яда я принял тогда в слишком больших дозах: внезапно я заболел. Ночью в постели у Эммы я проснулся от того, как мне показалось, что она внимательно на меня смотрит. Она действительно, приподнявшись на локте, пристально вглядывалась в мое лицо, и, знаешь ли, сейчас, через десяток с лишним лет, я вижу этот взгляд — полный муки и сострадания. Мало что я смыслил тогда в женском чувстве, оно и сейчас темно для меня, впрочем, свое тоже, но в ту ночь, в тот краткий миг между прерванным сном и бредовым беспомыслием, в которое затем погрузился, я успел понять: Эмма любит меня сильно, преданно и, наверное, безумно, со страхом за свою любовь. "Милый, ты горишь, ты мечешься во сне, что с тобой? — шептала она и быстрыми, беспокойными движениями ощупывала мои щеки, лоб, шею и грудь. — Я дам тебе аспирина, что же это за беда!.."

Как потом выяснилось, дело мое было дрянь: каким-то образом среди лета я схватил двустороннее воспаление легких, причем оно протекало на фоне полнейшего нервного и физического истощения. Болезнь медленно двигалась к кризису, почти все время я бредил, выкрикивая обрывки каких-то математических формул, и этот бред, между прочим, долго мешал поставить верный диагноз: думали, что у меня инфекционный менингит. На второй же день после начала болезни Эмма доверила меня своей близкой подруге, взяла такси и помчалась сперва на почту, где узнала мой адрес и предупредила, что я заболел, а потом ко мне домой в Черкизово. Она вошла к маме в комнату и спросила: "Вы

мама Арона?" — "Да, — ответила мать. — Боже, что с ним?" Эмма заплакала и, называя себя плохой, ужасной женщиной, сказала, что виновата перед ней, перед моей мамой, что обманывала ее, — она обманывала, а не я, — и вот теперь наказана, жестоко наказана моей болезнью. Она договорилась до того, что обещала покончить с собой, если я не выживу: "Вы его мать — клянусь, я не стану жить, если не спасу, не верну его вам!" После чего они плакали вместе.

В общем, пока я в горячке преобразовывал квадраты синусов и косинусов в бессмысленные, бредовые выражения, вокруг меня разыгрывалась мелодрама в духе романтических повестей начала прошлого столетия...

Эмма посадила мою мать в такси и привезла ее к себе, то есть к моей постели, и мама проводила со мной все время, лишь ненадолго уезжая в Черкизово, чтобы проведать бабушку, оставленную на попечение соседей. Моя возлюбленная устроила консилиум из врачей Кремлевской больницы (для них я был ее родственником, приехавшим в Москву из Белоруссии сдавать экзамены в вуз), и эти-то врачи совместными усилиями и установили у меня пневмонию. Эмма развила бурную деятельность, чтобы достать какой-то невероятно новый антибиотик, который якобы только и мог меня спасти, а когда его не оказалось даже в той же Кремлевской, дала "молнию" мужу в Париж, умоляя найти и выслать антибиотик, сколько бы это ни стоило. По специальному разрешению очень высоких, почти недоступных властей, он передал лекарство на самолет, летевший в Москву с диппочтой.

Наконец, миновал кризис. Глубокой осенью я впервые спустил ноги на пол. Перед глазами помутилось, в голове гудело. Было слышно, как мать и Эмма позвякивают на кухне посудой и негромко переговариваются. Согнувшись вдвое, хватаясь, чтобы не упасть, за мебель, я добрал до окна и свалился в кресло. Прикрылся пледом, в который любила кутаться Эмма, и взглянул в окно.

Оказалось, пока я болел, со мной произошло какое-то необъяснимое превращение. В моем воспаленном мозгу нарушился механизм, который управляет "ходом времени" — то есть тем, как мы воспринимаем течение жизни: мое восприятие вернулось вспять — к началу, к истокам, когда все вокруг предстает лишь разрозненными осколками простых ощущений. Мы не знаем себя в наши первые месяцы жизни. Обращаясь к памяти, мы застаем себя среди мира, уже сложившегося в сознании во что-то определенное, — пусть мы и не можем многое в этом мире понять и назвать. Но в свои два-три года, глядя на дерево, мы знаем, что это — *дерево*; мы знаем, что собака — это *собака*, солнышко — *солнышко*, а больно — это *больно*, и от этого кричишь... Я же тогда, после болезни, вернулся ко временам еще более ранним. Я увидел падающий лист, и это было огромным, потрясшим меня событием, которое не облеклось в моих мыслях словами. Оно стало чудом самим по себе, необъяснимым желтым волнением... трепещущей желтизной... колыханием круга... Столько падает желтых волнений, столько медленных плавных кругов!.. Облако над крышей — не облако, нет: расширение света, исчезновение белизны, синее заполняет... холодное, острое там растекается и плывет далеко и приближается и входит в грудь...

Мать вместе с Эммой слышали кашель и, прибежав, остановились у порога. Я кашлял потому, что плакал; а плакал потому, что жил. Плакал и — улыбался: сырым облетевшим веткам; блестящей коричневой крыше; маленькой, седой моей маме, когда-то родившей меня, и этой встревоженной рыжеволосой женщине, которая меня спасла.

"Вот и проходит, — говорил я себе, пока текли по щекам мои слезы, — вот и проходит, проходит..." Что проходит? Болезнь проходит? Жизнь ли проходит, время? Детство ли, юность мои проходили, и я становился мужчиной?..

...Проходит, Леня, проходит, и сейчас оно идет, — слы-

шишь, там за окном?.. Волнение холода, белая тьма, колыха-ние круга — метель это, вьюга, идет куролесица, девка шаль-ная, зима...

VI

...На зиму Эмма свезла меня в санаторий. Я жил в зава-ленном сугробами сосновом лесу, бродил по его тропинкам, бездельничал, много читал. Эмма ко мне иногда приезжала. Когда же истек санаторный срок, она устроила меня в дом к старушке-медсестре, и я провел там еще месяца два. А к марту вернулся в Москву окончательно окрепшим. Пошел на почту, где все еще оставалась моя трудовая книжка. Девчонки встретили меня с восторженным изумлением, побежали в магазин, и в обеденный перерыв мы пили кагор и ели шпроты. Людей на почте по-прежнему не хватало. Начальница покрутила в руках мои бумаги и предложила оста-таться: "Ты теперь с опытом, могу оформить завоm достав-ки. Это уже и оклад посolidнее и работа получше". Я со-гласился.

Перед болезнью я не получил своей зарплаты. Теперь эти деньги мне выдали, и вместе с отложенным прежде у меня образовалась уже вполне ощутимая сумма. Разделил я ее на три части: одну отдал матери, чтобы могла отдохнуть от шитья и купить кое-что для дома; на другую часть денег я, наконец, приоделся; с остатком отправился к Леопольду Михайловичу — к тому моему знакомому, бывшему истори-ку и официанту, который коллекционировал картины и фарфор. Я к нему и до болезни заахаживал, он сам пригла-шал бывать у него не только с телеграммами — ему нрави-лось, что я с интересом рассматриваю картины, рассматри-ваю фарфор, расспрашиваю его о художниках, и он охотно

читал мне целые лекции, так что скоро я и сам понемногу стал судить о голландцах, фламандцах и французах-барбизонцах.

Я рассказал Леопольду Михайловичу, что хочу купить подарок одной женщине, которой очень обязан, но так как подобных подарков никогда не делал, то боюсь промахнуться и потому прошу его совета. Леопольд, разумеется, по моему смущенному виду сразу же понял, кем была для меня эта женщина, но, извинившись за свой вопрос, все-таки уточнил: "Вы ее любите?" Я кивнул. "Это очень существенно, не так ли? И еще один вопрос: сколько у вас денег?" Когда стала ясна и эта, тоже существенная деталь, он взял трость, и мы поехали на Арбат, в антикварный магазин, где к нему сразу же, едва мы появились, подбежал продавец. Они вдвоем куда-то ушли, а я стал бродить по магазину, рассматривая выставленное на продажу. Скоро Леопольд вернулся и с довольным видом сообщил, что нашел хорошую вещь. Мы подошли к прилавку. Продавец протянул овальную миниатюру, изображавшую, как мне объяснили, Аполлона в окружении муз. Миниатюра (Леопольд сказал, что она французской работы, причем "лучших времен этого искусства") была небольшой, и за ушко, имевшееся сверху, ее можно было прикреплять к цепочке, чтобы надевать на шею. Сзади у медальона была крышка. Миниатюра, пояснил продавец, "молодой человек, изволит видеть, служит также и для хранения сувенирных предметов". Оправа была мельхиоровой, и потому вещица стоила недорого, моих денег хватало. Я купил медальон и в тот же вечер отдал его Эмме. Мне очень хотелось сделать ей приятное, но я никак не ожидал, что моя безделушка доставит столько радости... Эмма все же была чудесная женщина, ах, черт бы побрал меня со всей моей жизнью!.. Она порылась в какой-то шкапулке, нашла подходящую цепочку, потом бросилась к шкафу, спряталась за открытой дверцей и предстала пе-

редо мной одетой в голубоватое платье, и в вырезе его, на груди, был медальон... Эмма потребовала фото, и мы отодрали карточку со служебного проездного билета, который мне дали на почте. А затем, не обращая внимания на мои вопли, она отхватила ножницами клочок волос с моего неостриженного затылка и заложила их вместе с фотографией в медальон — в качестве "сувенирных предметов".

Медальон оказался моим прощальным подарком. Наутро — мы с Эммой еще валялись в кровати — приехала плачущая мать: привезла призывную повестку. Ну, опять порыдали две бабы над своим злополучным Арошей и стали снаряжать его в путь-дорогу.

Конечно, на душе было погано: я оставлял маму — одну с бабкой на руках; оставлял Эмму, которую любил, и лете-ли к чертям собачьим все мои планы... Помнится, постоянно лезла в голову идиотская мысль, что я зря потратился на костюм и обувь — теперь они были мне не нужны...

Все происходило по заведенному ритуалу. Голым явился перед медкомиссией, стараясь прикрыть свою обрезанную радость от заинтересованных взглядов девушек-сестер; постригли меня наголо, отчего я приобрел вид полнейшего болвана; и — "не плачь, моя мама, невеста не плачь"!.. — полезли мы, сотни две бестолковых бычков, по вагонам. Гуднуло хрипло, поехало, дернуло, поехало, зайт гезунд, Йошке форт авек!..

Я и вправду — что по виду, что по своему поведению — оказался непроходимым болваном, то есть к службе совершенно неспособным. Жизнь моя в армии до того случая, когда все вдруг для меня изменилось, — о чем я сейчас расскажу, — являла собой бесконечную цепь анекдотов. Ко мне очень быстро прилипла кличка "Ароня-Швейк", и надо сказать, я ее заслужил — чем только не заслуживал! — то лишением увольнительной, то нарядом вне очереди, то карцером, из которого последний раз меня выручил врач... Взводный

наш был сверхсрочник — остался в армии после войны. Малограмотный, но хваткий, деятельный и, в общем, не злой, он был убежден, что, кроме военной подготовки, на свете отсутствует какая-либо другая жизнь и что отсутствуют люди с мозгами, устроенными иначе, нежели его собственные. Ну а я помимо своей воли входил во вкус и издевался над взводным в отместку за его придирки и без конца доказывал ему обратное, заставляя его решать всякий раз, кто же из нас двоих дурак.

Несчастье моего взводного заключалось в том, что Финкельмайера ни в каком строю нельзя было упрятать куда-нибудь с глаз подальше: эта коломенская верста всегда торчала впереди, с правого фланга и возвышалась над взводом на полторы головы... И вот взводный, надрываясь, командует: "Кру-у-у!.. Гом!!!" Взвод, ясное дело, сразу же — раз-два, через левое плечо — и точка. А этот безмозглый Ароня-Швейк, прежде чем развернуться, несколько секунд подрыгается, как припадошный, поворот сделает в другую сторону, да при этом еще не удержит равновесия, ткнется в спину стоящего перед ним и с грохотом выронит винтовку.

Взводный подскочит, поднимет ко мне физиономию и заорет:

— Финкельмайер! Как выполняете?! Отвечать!!!

— Так точно, плохо, стало быть, товарищ...

— Почему, разъетак твою мать?!!

— Не успеваю обдумать.

— Обдумать?!! — вопит он и становится краснее своих орденских ленточек. — Что тебе надо обдумать, засранец?!

— Которое плечо левое и которое правое.

Однажды во время такого же, примерно, диалога взводный замахнулся двинуть мне по зубам. Я инстинктивно задрал подбородок, кулак прошел мимо, и мой дорогой воспитатель полетел с ног долой... В интерпретации комроты, который был неподалеку и, привлеченный криками взводного,

смотрел в нашу сторону, получалось, что чуть ли не я, солдат, ударил командира. Но все-таки служака-взводный губить меня не стал. Как мне ребята передали, он, рискуя крупным скандалом, признался у батальонного, что сам чуть было не допустил рукоприкладства. Пока разбирались, меня держали на губе. Ну, вышел и при случае сказал взводному: так и так, спасибо, что не упекли меня в трибунал. Он вздохнул...

— Я, — говорит, — честно всю войну прошел и шкурником не стал. Что ж, думаешь, из-за твоей еврейской рожи курвиться буду, хоть ты и дерьмовый солдат?

Тут я попытался ему растолковать, почему я солдат дерьмовый, а не какой-то другой — стальной, дубовый или какой ему там нужен... Во мне явно отсутствовал некий проводок, по которому команда, словно электричество, мгновенно пронизывает сознание, а тело — руки, ноги, туловище — автоматически проделывает все нужные движения. Откровенно говоря, я с недоумением и завистью глядел на то, как ребята, и среди них придурковатые деревенские парни с тремя-четырьмя классами школы, мгновенно разбирают и собирают затвор, четко проделывают с винтовкой все артикулы, ложатся, вскакивают, поворачиваются в нужную сторону. "Понимаете, — сказал я взводному, — мне требуется некоторое время после команды, чтобы сообразить — чем, как и когда и зачем двинуть". Он, будто отделяваясь от наваждения, потряс головой:

— Ты какой-то психический, — сказал он. — А с бабой — тебе тоже надо время? Сообразить, куда и чем двинуть?

— Э, нет, с бабой не надо.

— И то хорошо. Эх ты, Хаим! Возись с такими... образованными!.. — И он даже плюнул в сердцах.

С той поры он мне давал иногда потачку.

Так вот мы и служили с полгода, пока однажды не взялся проверить нашу строевую выучку сам подполковник — ко-

мандир полка. Он приехал вместе с замполитом, который после обеда должен был гонять нас по части международного положения и биографии гениального генералиссимуса.

Мы шли в колонне по четыре мимо подполковника, когда он вдруг скомандовал "левое плечо вперед!" Я стал поворачивать. Сделал уже шагов десять и тут только с ужасом сообразил, что мне следовало выполнить поворот замедленно, делая почти "шаг на месте", чтобы моя шеренга смогла повернуться вокруг меня, как вокруг оси. Я оглянулся и увидел, что оторвался метра на три от колонны, которую уже и колонной-то трудно было назвать: ряды сбились, задние перли на передних — каша полная. Я метнулся назад — "Отставить!" — прикрикнул подполковник. Я замер.

— На месте — стой! Разобраться по рядам! — скомандовал он и вместе с замполитом и подбежавшим взводным направился ко мне. Спешили сюда же стоявшие поодаль офицеры и комбатальона.

Я глядел вдаль, на лесочек. За нашим лагерем, за этим вытопанным пустырем, был прелесть какой лесочек, и меня очень потянуло прогуляться в нем — напоследок, сказал я себе, уверенный, что сейчас-то меня наверняка прикончат, прямо здесь, перед строем. Даже глаз не завяжут.

— Вы что, стихи сочиняете? — донесся до меня голос подполковника.

Что тут ответишь? "Так точно" или "никак нет", третьего не дано. Я и ляпнул:

— Так точно, товарищ подполковник.

Взводный вздохнул и отвернулся. Очередной сеанс с Финкельмайером, но теперь уже в присутствии высоких гостей...

— Что — "так точно"? Значит, сочиняете? — ехидно домогался подполковник.

И тут словно мне кто-то ткнул скипидарным тампоном в задницу:

— Так точно, товарищ подполковник! Сочиняю стихи! Разрешите прочесть?

Наглыми глазами, по-идиотски улыбаясь во весь рот, я выщерился на подполковника, а в башке у меня сдвинулись какие-то храповички и пошли цеплять, накручивать слово за словом...

У взводного отвалилась челюсть, подполковник удивленно обернулся к замполиту, а тот усмехнулся только, развел руками — он был большой интеллигент, наш замполит, — и проговорил:

— Пусть прочтет... поэзию.

— Ну-ка?... — не приказал, а недоверчиво, даже с некоторой боязнью попросил подполковник.

Набрал я, сколько мог, воздуха в легкие и выпалил:

Наше знамя полковое,
Строевое, боевое!..

Я осекся. Сзади в колонне кто-то громко рыгнул.

— Ну-ка, ну-ка... — сказал подполковник и придвинулся ближе. — А дальше?

В мозгах сработало дальше, и я проорал:

Ты под мирным ветерком
Гордо реешь над полком!

Чудовищно, а? Но послушайте, что из этого вышло. После долгой паузы, когда все немного опомнились, подполковник подозрительно спросил:

— А ты не это... не заливаешь? Сам сочинил?

Я бодро ответил:

— Так точно, товарищ подполковник! Сам.

— Прямо сейчас?

— Так точно! Не заливаю, товарищ подполковник.

Тут он спохватился:

— В строю запрещено!.. Нельзя в строю сочинять!.. — И совсем уж мягко, как в таких случаях пишут военные корреспонденты, *по-отечески* пожурил: — Видишь, что получается? Колонну сбил.

— Виноват, товарищ подполковник!

Он критически осмотрел меня, и вдруг ему что-то пришло в голову. Взял под руку замполита, отвел его в сторонку, и они стали вполголоса беседовать. "Губа или не губа?" — лихорадочно раздумывал я. Сзади мне шептали: "Не дрейфь, Швейка! Пронесло, бля буду, пронесло!"

Подполковник обернулся и махнул:

— А ну-ка! Живо!

Я бросился к ним, остановился на положенной дистанции.

— Ближе, ближе, вольно! — велел подполковник. — А можешь сочинить еще, чтобы получилась строевая песня?

Я возвел очи горе и тихонько стал наборматывать:

Наше знамя полковое,
Строевое, боевое,
Ты под мирным ветерком
Гордо реешь над полком.
Мы идем с тобой в строю...

— Славим родину свою? — неуверенно закончил я.

— А что? — радостно сказал замполит. — Удачно.

Подполковник прокричал батальонному, чтобы заканчивали сами, без него, меня подвели к газыку, мы уселись, шоферу было велено катить в офицерский городок.

Тут, как сказал Петр Андреевич Гринев, судьба моя переменилась...

Спустя два часа в замполитовском кабинете я досочинил песню до конца. Через день доморощенный композитор, дирижер духового оркестра, присобачил к стихам бравур-

ную музыку. Песню "Знамя полковое" разучивал весь полк. Начальство, оказалось, готовилось к смотру войск округа, ну и, конечно, не хотело ударить лицом в грязь перед командующим. Ожидали приезда и чинов повыше, говорили, что одного из маршалов, заместителя министра.

Когда на смотре двинул наш полк, оркестр грохнул, и я вместе с остальными гавриками изо всей мочи загорланил свое "Знамя полковое". Кажется, я и тут только мешал: слух у меня хотя и неплохой, но спеть я и двух нот не умею..

Вечером в офицерском клубе для высоких гостей устроили концерт самодеятельности. Концерт начали с того, что сводный хор мощным ревом гремел: "Наше знамя полковое, строевое, боевое...".

В антракте меня подвели к генералу. Он одобрительно покивал головой, пожал мне руку и сказал: "Хорошо, я согласен". Это значило, что он разрешает откомандировать рядового Финкельмайера в распоряжение редактора армейской газеты.

Чтобы покончить с моим дебютом в роли поэта-песенника, должен упомянуть, что "Знамя полковое" скоро попало в репертуар Краснознаменного ансамбля Советской армии. Пели эту песню что-то около года, потом она умолкла: в одном из куплетов были великолепные строчки про силу стали и свинца, мудрость Сталина-отца. А как раз через год отец-то и помер, и мое "Знамя" скончалось вместе с ним. Очень рад за них обоих...

Стал, значит, я служить в редакции. Как понятно всякому, это не служба, а курорт. Трудно поверить, но у меня, солдата, была даже собственная отдельная комнатуха — уединение поэта, обитель муз, приют, так сказать, трудов и вдохновенья!.. В этой комнатухе я пек один за другим рифмованные лозунги и призывы, которые шапкой набирались огромными буквами через всю полосу нашей многотиражки; сочинял стихи любой длины — мне их так и зака-

зывали: сделай на столбец, на четверть столбца — стихи об армейской жизни, стихи о борьбе за мир, где я вовсю обличал поджигателей новой войны, стихи о родине и о звездах Кремля... Были и такие специальные задания, как, например, целая поэма о колорадском жуке. Десанта заокеанских жуков мы одно время ждали как начала самых настоящих военных действий, и моя поэма должна была морально подготовить, настроить славных бойцов на войну с жуками — к борьбе не на живот, а на смерть...

Оказалось, я мог все... Рифмованные ямбы и хорей выстреливались из меня с пулеметной скоростью. Бывало, что меня вызывали в редакцию, усаживали за стол и говорили: "День артиллериста, двенадцать строчек. Давай, Ароша, номер в набор уходит". Я не капризничал. Я широким жестом отодвигал в сторону всякие редакционные бумажки, клал перед собой чистый лист, и начиналось представление. Представление, на которое собиралось по десятку-полтора зрителей. Кто-то кричал в коридоре: "Идите, Арон сочинять будет!" Из комнат сбегались, становились за моей спиной. Я писал строку... еще строку... Собравшиеся повторяли их полупрошепотом и ждали третьей и четвертой — рифмованных. Когда же после короткой паузы сочинялись и они, их появление встречали восхищенными возгласами.

Меня больше всего удивляло, почему именно рифмы вызывали такой восторг и изумление у публики: как раз рифма-то никогда не заставляла меня задумываться, я был способен к любому слову быстро откопать в своей памяти подходящую пару, да и по сей день для меня это вовсе не труд... Эти спектакли меня развлекали, я забавлялся, наблюдая, как живо реагируют на мое рифмоплетство коллеги по редакции — все, кстати, старше меня по возрасту и все офицеры. Для них я был находкой. Когда газете не о чем писать, всякая мура идет в дело, а тут появился сотрудник, готовый

выдать любой материал, да еще в стихах! — и на местную тему, и на политическую, и в рубрику "Юмор".

Конечно, все это было без подписи. Лишь иногда, когда печаталось что-то уж очень солидное, снизу стояло: "А. Ефимов". Так подписываться посоветовал мне редактор. "Как тебя звать?" — спросил он при знакомстве. "Аарон-Хаим, — ответил я и пояснил: — Хаим — это то же, что Ефим". Редактор кисло улыбнулся и, понизив голос, сказал: "По-твоему, я не знаю? Я же Гольдберг, а свои статьи подписываю "Золотарев". Давай уж бери себе псевдоним "А. Ефимов", неплохо звучит". Звучало и в самом деле куда лучше, чем "Финкельмайер". Ну, действительно, на кой черт в армейской газете что ни день будет появляться фамилия, об которую язык сломаешь?

Песню мою пели; многотиражка наполнилась моими виршами; аллеи и дорожки военного городка уставили щитами с моими агитационными двустушиями.

Из ходячего анекдота я превратился в ходячую легенду. Со мной здоровались высокие чины, мне прощали самоволки, — вернее, их просто не замечали, — прощались и дела посерьезней. Я сочинил и пустил по городку злой стишок — басенку о дородной чушке. В стишке легко узнавалась наша генеральша, которая терроризировала не только своего мужа, но и всю округу. Басенка попала к ней в руки, но у стервы хватило ума скандала не поднимать. Говорят, генерал сам хохотал над басней и вроде бы при этом сказал: "А еврейчик наш молодец!.." Хотя басня и была анонимной, в моем авторстве никто не сомневался.

Из Москвы я получал письма — от Эммы, реже — от матери. Отвечал пространными дурашливыми посланиями. В солдатском письме расскажешь разве о своей тоске, о тупом однообразном быте, который можно только пережить, но с которым никогда не смиришься? Вся почта просматривалась, и я обычно паясничал, в лубочном игрово-

сказочном духе описывал свою армейскую жизнь. Да и то сказать, разве я воспринимал свою службу как реальное, естественное существование? Маршировка на плацу, стрельба, крики "стой!" — "марш!" — "коли!" — "бегом!" — тяжелый сон без сновидений, подъем по тревоге, словоблудные лекции на политзанятиях, а потом, когда меня взяли в редакцию, мое идиотское сочинительство по приказу — все это летело мимо меня так, будто с моей головой что-то случилось, и в больном, воспаленном мозгу возникают, сменяя друг друга, страшные картинки, цветные, почти не связанные с реальностью фантасмагории, и в центре этих безумных видений — я постоянно наблюдаю какое-то жалкое подобие самого себя...

Письма оставались единственным, что говорило о жизни — просто о жизни, которая теперь воплощалась для меня в понятиях "свобода", "любовь", "мать"... Но и сама любовь — мог ли я быть уверен, что для такой женщины, как Эмма, не существует никого, кроме меня? Какие у меня права на нее? Никаких. В письмах я ни о чем не спрашивал, да и она писала достаточно сдержанно. И вдруг — я прослужил уже больше года — приходит от Эммы письмо, в котором она нарочито безразличным тоном пишет, что скоро съедет со своей квартиры. Это могло означать лишь одно: она отправляется за границу... Я теряю мою Эмму! Мне стало так тяжело, что дальнейшее в письме я уже не воспринимал, и потому должен был дважды перечитать следующую фразу: "Кто бы и что бы тебе ни сообщил, не волнуйся: твоя мама будет здорова". А внизу, в конце письма, была приписка маминой рукой: "Арошенька, родной мой, здоровье мое хорошее. Не надо за твою маму Голду волноваться, прошу тебя, и поверь мне, пожалуйста".

Я ничего не понимал. У матери было плохое сердце, гипертония, больная печень, и, конечно, я всегда справлялся о ее здоровье. Но почему такие настойчивые призывы не вол-

новаться? Именно в этом письме, где Эмма намекает на свой предстоящий отъезд? И что за словесный оборот с будущим временем: "твоя мама *будет здорова*, что бы тебе ни сообщили"?

Все прояснилось через несколько дней: на мое имя пришла телеграмма, в которой сообщалось о тяжелой болезни матери. Факт болезни был заверен врачом. Сперва я затрясся, но внезапно в голову стукнуло: да ведь это же липа! Настоящая липа — и болезнь, и подпись врача! Об этой-то телеграмме Эмма с матерью и предупреждали меня в письме: мама *будет здорова* и тогда, когда ты получишь сообщение о ее болезни!

Эмма, чертовка, подстроила это, чтобы мне дали отпуск и мы с ней смогли проститься!

Неожиданное потрясение сменилось радостью, а радость — невеселым раздумьем: значит, все-таки она уезжает...

В Москве я провел десять дней... Десять дней, а ночей — девять... Это было счастливое, грустное... невозможное время... Было горько и светло, ведь мы радовались свиданию на краю разлуки, я обладал возлюбленной, зная, что после меня ее будет ласкать другой, она гнала прочь все заботы, чтобы ничто не могло и мига украсть у нашей любви...

Наши тела уставали от объятий, но желание не покидало нас — на эти десять дней и девять ночей мы сплелись в одно ненасытное, жадное тело, питавшее себя же неизбывной страстью. Мы только в сумерки выбирались в город и по несколько часов, до полуночи ходили — по набережным с берега на берег, по Бульварному кольцу, по сонным переулкам, и целовались — под деревьями, в подъездах, за воротами старых маленьких особнячков. Стоял тот же июль, и у нашей любви уже было долгое прошлое — два минувших года, из них — целый год ожидания вот этой последней встречи... Долгое прошлое, краткое, как отчаянный крик,

настоящее — и ничего больше: ни будущего, ни даже надежд на него... Она уезжала на годы: ее муж становился послом в какой-то из мелких южноамериканских стран, в каких, как, она объяснила, послов почти не меняют...

Меня мучила дикая ревность к этому счастливцу — невидимке, который только протянул незримую руку — и отнял у меня Эмму. Ревновал я и к другим неизвестным мне мужчинам, иногда мне казалось, что их было множество за тот год, пока я отсутствовал.

В один из последних дней, уже поздним вечером мы забрели в Нескучный сад, и неизбежная сила потянула нас в глушь, где тебя не достанут ни служители, ни милиция и где встретишь разве такую же парочку, как мы.

Мы начали целоваться, Эмма бросила на землю плащ, мы упали на него и, закрытые со всех сторон кустарниками, могли делать все, что хотели... Посреди самых бурных ласк, когда уже безмолвствует разум и с губ может сорваться только стон, Эмма зашептала:

— Спасибо!.. Спасибо, любимый, что не спрашивал... Не спрашивал, я сама отвечу... Ты один... никого не было... Никого не было... Не любила и не полюблю... Не полюблю уже до конца... Ты останешься!.. Я хочу тебя увезти!.. Хочу увезти!.. Ребеночка хочу!.. Пусть будет ребеночек! Пусть!..

А потом она уезжала. На аэродроме я к Эмме не захотел подойти: провожали ее министерские субчики, жены и две-три подруги, мне было не по себе... Она принужденно улыбалась, целовала кого-то в щечку, кивала и все ловила миг, чтобы взглянуть на меня: глаза больного щенка — вот что я видел... Объявили посадку — она мне в последний раз улыбнулась, по щекам потекли слезы — и все. Кончалась моя первая любовь. Улетела.

И что у людей за глупость, право, — присваивать любви порядковый номер! Если у тебя женщины были — пятая,

восьмая, тридцатая — мне это понятно, считай их по одной или по три сразу, такое случается, разве я возражаю? — но любовь...

Да что я молол тебе раньше про опытную женщину, про юного девственника? Любовь, если хочет, то сокрушит, возвысит и сокрушит — она Господь Бог всемилостивый и все разящий, и нам не дано рассчитать, когда она призывает к себе!.. Альфа и омега, всегда она первая и последняя, пока ею жив...

VII

Знаешь, есть поговорка: "Солдат спит — служба идет"?

Служба шла, наступила осень, а я все не находил себе места. Стихи я складывал без прежней легкости, через силу, словно и в самом деле жил в полусне... Злость во мне появилась. Как-то раз редактор мой, Гольдберг-Золотарев, туповатый, трусливый тип, что-то очень уж пристал с материалом, и я огрызнулся.

— Рядовой Финкельмайер, как разговариваете?!

В комнате никого не было. Ах, думаю, крыса!

— По-русски, — говорю. — А если вас не устраивает... — и закатил ему на идиш такое, что в русском переводе составило бы не меньше трех этажей. В ответ он, конечно, стал кричать, но слабо, для собственного удовлетворения — не докладывать же начальству, что подчиненный обложил его по-еврейски? — и оставил меня в покое...

Зимой, по случаю Дня армии, приехали в нашу часть московские писатели, человек шесть. Одна-две знаменитости, остальные поплоче. Но писатель — это звучит гордо, и у нас всех их на руках носили. Выступили они перед солдатами, отчитали свои произведения в стихах и в прозе, в меру по-

острили и побалагурили – в общем, отработали свои командировочные честно.

Напоследок, в самый праздник, устроили концерт самодеятельности. Писателей усадили в первом ряду, открыли сцену, и, само собой, под звуки труб, под гром литавров наш доблестный сводный хор стал наяривать "Знамя..." Потом, пока сцену освобождали от стульев и оркестровых пультов, перед портянкой – перед занавесом из потертого бордового плюша – стоял белобрысый солдатик в парадном мундире и натужным тенорком декламировал "солдатские стихи поэта рядового Ефимова".

После концерта мой редактор, суетясь и подхихикивая, начал плести, что товарищи писатели, мол, устали, что творческие силы нужно физически, так сказать, поддерживать...

– Идем на упой? – перебил самый знаменитый и тоненько загыгыкал. – На упой, на упой, братие! – кликнул он остальных, и мы двинулись к офицерской столовке. Мы – это писатели, пара генералов, полковники, еще кое-кто из начальства и несколько человек от многотиражки. Меня с самого начала, едва эти писатели появились, представили им как поэта, почему я и сейчас оказался в числе избранных.

Сел я за стол рядом с одним из гостей, по возрасту с самым старшим из них и, как мне показалось, самым симпатичным. Печататься он начал еще до революции, кажется, одновременно с Маяковским или чуть позже, был среди конструктивистов, потом надолго умолк, и время от времени появлялись только его французские переводы; с началом войны вновь стал печататься, выпустил за последние годы несколько книжек. Сейчас он глубокий старик, мэтр, я, когда вижу с ним, так и зову его – Мэтр, он окружен молодежью, знаменит и – несчастлив: постоянно зависит от капризов сестры, с которой живет в одной квартире, болен, слаб... Но все так же парадоксален в суждениях, остер на язык и иногда неплохо пишет.

Тогда же, сидя рядом с ним за столом, я ничего о Мэтре не знал, его имя и его стихи услышал впервые лишь накануне, с эстрады. Он читал — читал не так, как остальные, а читал просто, с достоинством, и чуть-чуть насмешливо, хотя стихи были серьезные. Может быть, я и подсел к нему, почувствовав, что Мэтр не сухарь и не такой самовлюбленный барин, как его спутники. На правах хозяина я за Мэтром ухаживал — подливал, подкладывал, советовал то селедочку, то грибочки. Он пожаловался на свою печень, я посочувствовал — знаю, мол, что это такое, у матери моей то же самое... После многих тостов, когда за столом все слилось уже в пьяный шум и офицерье давно расстегнуло кителя, Мэтр, тоже ставший весьма хорош, вдруг, блестя глазом, подозрительно на меня посмотрел и покачал жирной вилкой перед самым моим носом.

— А ведь говно! — сказал он.

— Что — говно?

— Твои стихи.

— А, — говорю. — Конечно, говно. Но ведь то, что вон этот сочиняет, — я кивнул на одного из поэтов, — разве не говно?

— Молодец, — говорит Мэтр. — Умеешь отличать говно от говна. Редкое достоинство, мальчик!

— Умею, — отвечаю ему. — Я даже умею отличать говно от чего-нибудь получше.

— О! Что же на твой вкус лучше говна?

— А вот хотя бы...

И я ему повторил его же стихи, да еще постарался скопировать его манеру чтения. Мэтр поразился, что я их запомнил, и, конечно, был польщен. Стал спрашивать, кто я, откуда, как попал в многотиражку. Спросил, много ли я читаю. Выяснилось, что в знании поэзии я не пошел дальше школьной программы, то есть, кроме трех китов русской классики — Пушкина, Лермонтова и Некрасова, мне знаком

великий поэт пролетарской эпохи В.В. Маяковский — и только.

“А Баратынский? А Фет? Полонский? Тютчев? Блок? Блока не знаешь?!”

— Эй, господа гусары! — избычившись, краснея от прилива крови, хрипло заорал он, стал подниматься, и его стул с грохотом опрокинулся. — Заткните ваши глотки! Я расскажу вам о горькой судьбе русской поэзии!

За столом стихло, все напряженно смотрели в нашу сторону. Только самый знаменитый делал вид, что ничего не замечает, и продолжал что-то пожирать, чавкая, как боров.

Мэтр ткнул пальцем в его сторону, покачнулся, чуть не упал и с ненавистью начал выкрикивать:

— Ты!.. Прекратить!.. Поджигатель! Смотрите все: поджигатель! Сидит и ест! Прекратить!

Знаменитый был настолько знаменитый, что пьяная выходка ничуть его не смутила, хотя, если ты помнишь, слово “поджигатель” звучало тогда очень оскорбительно. Жуя очередной кусок, боров укоризненно спросил:

— Дорогой, зачем же так? — У него был гладко смазанный, липкий тенорок. — Нехорошо. Разве я что-нибудь поджег? А?

На Руси считается последним делом куражиться над подвыпившим, раззадоривать его, словом, выставлять его на посмешище. Однако борову было наплевать на неписанные законы, ему хотелось малость потешиться над своим более талантливым, но неудачливым коллегой.

— Что же я поджег? Ну? — настойчиво интересовался он, разделяваясь с курьей ножкой.

Все чувствовали неловкость, так как понимали, что он издевается, сводит какие-то счеты. Понял это и пьяный Мэтр.

— Поджег, — тихо сказал он. — Шахматово. Имя Александра Александровича. Всю его библиотеку... ты сжег!..

Дотла!.. пепел!.. Пеплом книг посыпаю главу свою... Горькой судьбой поэзии нашей!.. У меня... пока был на фронте... — Он опять закричал: — Ты и такие!.. Варвары!.. Истопили мои книги! Три тыщи томов! В Москве! Поджигатель!

— Позвольте!.. Он пьян! Вы не видите? — опомнился наконец знаменитый и задвигал толстой шеей, ища сочувствия, но на него старались не смотреть. Все разом заволновались, я вскочил, обнял Мэтра со спины, на помощь поспешил еще кто-то из газетных, мы повели поэта к выходу. На крыльце опалило сухим ночным морозом, я сказал своему редакционному сослуживцу, чтобы он вернулся и взял с вешалки пальто Мэтра. Когда сзади хлопнула дверь, Мэтр вдруг мелко-мелко засмеялся и уверенно высвободился из моих объятий. Он протрезвел мгновенно.

— К чертям пальто. Ты где живешь? Вас там много?

— Я один. Вот этот корпус, через улицу.

— Бежим. Не простудимся после водки.

И он как молоденький помчался с крыльца.

В моей комнате Мэтр окончательно пришел в себя. Только что происшедший инцидент в столовой его не очень огорчил.

— Эта жирная сволочь еще найдет случай мне отомстить, — сказал он. — Однако черт с ним. Он сам виноват: давным-давно мог меня посадить, но, видно, мы с ним еще поиграем в кошки-мышки.

— Как, — спрашиваю, — посадить?

Мэтр недоуменно на меня покосился:

— Точно так же, как сажали других. Скажет он где надо — и заберут однажды — лучше ночью, это производит необходимое впечатление и не вызывает лишнего любопытства, — заберут и отправят в Воркуту или на Колыму — кого куда.

— Что же это? — удивляюсь. — Писатели сажают писателей? Непонятно. Вот, — говорю, — моего отца свои же трикотажники посадили, чтобы на него все гешефты свалить, его

утопить, а самим выплыть. А писатели? Вам-то зачем друг друга сажать, какие у вас могут быть гешефты?

Он захохотал сначала, потом умолк, стал задумчиво на меня смотреть. Мэтр лежал на моей неразобранной постели и только ноги прикрыл накинутым краем одеяла, а я сидел напротив, на стуле. И Мэтр стал вдруг рассказывать, как за несколько лет перед войной он оказался в бедственном положении, проще говоря, голодал. А выхода никакого не предвиделось, потому что никто не хотел печатать его стихи, не хотели и давать ему хотя бы мало-мальски прибыльную литературную работу: с ним боялись иметь дело, так как прежде он переводил стихи двух своих друзей-грузин, ставших теперь врагами народа и арестованных. Отчаявшись, Мэтр пошел в исполком Моссовета просить, чтобы помогли устроиться пусть в заводской клуб или в дом пионеров — вести литературный кружок, пусть в библиотечный коллектор, пусть даже в магазин — торговать книгами. В Моссовете какой-то человек принял его, выслушал. Оказалось, что он имя Мэтра знал хорошо: "Как же, как же, известный советский поэт, я вас на съезде писателей видел вместе с Алексеем Максимовичем". Что до стихов Мэтра, то, сказал этот человек, "к изучению стихотворений нашей и буржуазной эпохи еще не приступал по причине отсутствия времени, но в ближайший же срок намереваюсь освоить". Потом Мэтр узнал, что его собеседник родился в деревне, в бедности и невежестве провел там всю юность, но затем понял, откуда идут свет и правда, и вступил в партячейку. Он очень удачно — быстро и решительно — расправился с деревенскими богатеями — кулаками и мироедами, половину которых составляли его же родственники; оставшихся крестьян записал в артель и был безраздельным местным правителем до той поры, пока Москва не начала исправлять перегибы. Его перевели в город — в уезд, потом и дальше, и везде его очень ценили: кто же, как не он, вышедший из ни-

зов бедняк, знает крестьянскую массу? кому отсюда, из городского центра, и руководить колхозами, как не ему? И он руководил, пока опять-таки не сообразил, что одного только партбилета не всегда бывает достаточно, надо хоть и не шибко, а грамоте знать, да и пролетарию в городе куда как больше хода дают. И он, тогда уже весьма заметный партийный работник, делает новый решительный шаг: просится на Урал, на стройку крупного сталелитейного комбината. Там работает бригадиром бетонщиков, учится на рабфаке, а дальше снова пошло без сучка, без задоринки: партком, райком, горсовет и вызов в Москву.

Теперь вот он руководил московской культурой. А еще сочинял книгу — роман о классовой борьбе в деревне — на материале, который так хорошо знал. Не ознакомится ли известный поэт с его романом? А руководитель пока подумает, чем помочь Мэтру.

Мэтр догадался, к чему тот клонит. Взял у него рукопись, попытался ее читать, но это оказалось почти невозможным, настолько этот текст был путан и безграмотен. Однако выяснилось, что автор уже пристроил рукопись в издательство. Он и предложил Мэтру пойти на работу в это издательство с тем, чтобы в качестве редактора заняться рукописью. Это было для Мэтра спасением. Всю книгу, от строки до строки, переписал он наново, ввел в нее и свою интригу и своих героев. Так и появился еще один советский писатель — бывший крестьянин, потом рабочий и партийный работник. Книга сразу его вознесла: ведь для писателя партбилет и пролетарское прошлое нужны не меньше, чем для директора завода или наркома. Потом написал он еще что-то — уже про строительство Уральского комбината. Редактировал эту книгу кто-то другой. В войну он писал патриотические очерки и рассказы и нынче стал очень большим человеком в Союзе писателей.

— Теперь понимаешь, — спросил меня Мэтр, — как ему

хочется засадить меня, — чтобы даже имя мое исчезло? Но то ли побаивается чего-то, то ли свой у него расчет, — я и сам не знаю...

— Не может быть! — кричу я. — Этот краснорожий боров?! Он и есть тот, о ком вы рассказали?

— О Боже мой, мальчик, конечно, он. Только он не боров, а сука: он педераст.

...Той ночью вот так же, как мы с тобой, Леня, — я и Мэтр долго не ложились. С одной только разницей, что я сейчас говорю, — говорю и, честное слово, понятия не имею, когда остановлюсь — может быть, ты меня остановишь? Нет? — ну, как хочешь, спасибо, так уж, значит, сегодня выпало, что мне говорить — тебе слушать; а в тот раз, когда мы сидели с Мэтром, слушал я. А Мэтр говорил. Я бы мог пересказать точно — о чем говорил мне Мэтр, но это ни к чему, да и полночи у нас на это ушло бы, а, в общем-то, все сводилось вот к чему: печалился он об этой самой "горькой судьбе поэзии нашей". Я робко спросил, можно ли послушать его стихи, и он стал читать и свое самое раннее, и времен конструктивизма, и грустные поэмы тридцатых годов, — эти его вещи, кажется, и по сей день остались неопубликованными... Потом спохватился, что закармлил меня своими стихами, "а ты говорил, что и классиков не знаешь, так слушай же... Начнем с Баратынского". Он читал два-три стихотворения, коротко объявлял новое имя, снова декламировал, и так он представил мне целую антологию русских поэтов. От него впервые услышал я имена Полонского, Аполлона Григорьева, Анненского, не говоря уж о Бальмонте, Белом, Цветаевой... Были стихи Пастернака, Ахматовой, Хлебникова, — я утонул в этом потоке прекрасных, возвышенных слов.

Хотя я никогда специально и не задумывался над этим, но, как я уже говорил, из школы я вынес представление, будто в русской поэзии после того же Некрасова и вплоть до Маяковского — "основоположника", "лучшего и достойнейше-

го”, ”великого советского поэта” и прочая, и прочая – простиралась зияющая бездна, подобная той, какая пролегла в культуре Европы между античностью и ренессансом. И вот эта бездна разом для меня осветилась, я увидел, что там – океан и прекрасные земли, и так они манят, влекут меня, завораживают!..

На следующий день, к вечеру, стоя у подножки автобуса, который вот-вот должен был увезти писателей, мы с Мэтром попрощались. Он диктовал мне свой московский адрес, велел писать письма и присылать стихи.

– Что вы говорите – стихи! – отмахнулся я. – Стыдно теперь дрянь-то такую сочинять. Я, наверно, попрошусь из газеты. Вон стройбат – дом строят, буду лучше кирпичи таскать.

Мэтр покачал выразительно головой, взялся за лацкан моей шинели, потянул к себе, так что мне пришлось нагнуться к нему, и сказал тихонько в самое ухо:

– Слушай меня, дурачок: газету не бросай и, если им нужна рифмованная галиматья, – пиши, не стесняйся. На кой тебе стройбат? Есть возможность – живи при газете, но времени даром не теряй: учись, готовься в институт и читай поэтов. Я, милый мой, не ошибаюсь: у тебя есть литературный дар, это факт, а что уж там из тебя потом получится, – знать не могу. Попробуй писать по-настоящему, от души, без фиглярства. А написанное присылай, обязательно, я буду ждать.

После его отъезда в голове моей долго царил сумбур. Я томился, ходил задумчив и тих, среди ночи вдруг мог проснуться и часами слушать, как в памяти, будто записанные с голоса Мэтра, возникали ладные, неожиданные строфы... Надвигалась весна, кровь бродила, и мне хотелось любви, а любить было некого – я любил ускользнувшую тень, а если поэт любит тень, он желания плоти мертвит стихами. Я начал писать.

Давным-давно, еще в отрочестве, наверно, я слышал по радио передачу о Данте. Не помню, было ли это по случаю его юбилея, может быть, заговорили о нем в связи с Чайковским – объясняли его "Франческу да Римини" – да-да! – так оно и было, разве могли у нас просто взять и читать Данте или рассказывать о нем – с чего это вдруг?! Другое дело – упомянуть итальянца Данте рядом с гениальным русским композитором Петром Ильичом!.. Но, странное дело, автор передачи почему-то сообщил слушателям не только про несчастную Франческу, даже не только про "Ад" и всю "Божественную комедию", но и про "Новую жизнь" и очень подробно, с цитированием сонетов и терцин, рассказал о любви флорентийца к своей Беатриче. Спасибо этому неизвестному, безымянному автору: в те мои двадцать лет – что знал бы я без него о Данте и Беатриче?..

Первое мое неподдельное, живое стихотворение начиналось словами "Окончилась Vita nova..." В нем, вместе с жалостью к себе, была насмешка – над бессмысленностью любовной печали и эдакий шутовской, но не очень веселый призыв – "утешься, утешься с другою", ведь глупо упускать свое, ведь кругом новая жизнь – весна, которая наступила, цветет, соблазняет...

Я отослал стихотворение Мэтру. Он ответил большим письмом. "Я счастлив, – писал он. – Я открывал многих. Мало кто выдержал. Одни сами себя губили, других губила жизнь, люди губили. Кто-то должен сказать поэту: "Ты есть. Ты – поэт от Бога и природы". Кто-то должен поставить на нем печать, чтоб он, как раб, носил это клеймо вечного рабства. И он должен выдержать – или погибнуть. Я выжигаю на лбу твоим клеймо поэта. И – выдержи! Заклинаю тебя, мой мальчик".

И знаешь ли? – выжег, выжег он это клеймо! Ношу его на себе, как проклятье, с кожей, с мясом кровавым сдирал – проступало...

Скажи, почему я так гнусно трезв? И еще мне скажи: ты разве об этом хотел узнать?

— Об этом. Ты забыл. И об этом, и обо всем остальном, о чем ты захочешь.

— Перекресток.

— Что ты сказал?

— Перекресток. О, прости, Данута пришла! Данушка, это ты?

— Извините. Сейчас я уйду. Я сказать Арону, простите, пожалуйста.

— Я мешаю, мне — выйти?

— Нет, нет, не вставайте, прошу! Вот ключ от дома. Сестра знает, что можешь приехать, будет рада. Только думаю, — как ты пойдешь? Не очень близко. Ты...

— Я? Я не пьян совсем, Данушка, но послушай... Я не хочу идти. Ты же еще не скоро?

— Да. Дежурство сутки. Тебе надо выспаться, ты после дороги.

— Я приду к тебе в дежурку. Может быть, прилягу там на часок-другой?

— Ты не выспишься. Диван плохой, он тебе маленький.

— Данушка, не хочу никуда идти.

— В номерах имеем только одну свободную кровать в четырехместной и одна в шестиместной. Я узнавала.

— Скажи, у швейцара нельзя достать водки?

— Если не спит, — спрошу сейчас.

— Прошу прощения у Дануты, — пусть Арон остается. Будет спать в той комнате на кровати. Я устроюсь на этой кушетке. Обложусь подушками, как султан.

— Слышишь, Данушка, благородное предложение!

— Нехорошо стеснять.

— Леонид выше условностей и мелких бытовых неудобств, разве ты не видишь? Белье мы как-нибудь поделим.

— Делить не нужно. Тогда я принесу попозже комплект. И одеяло. Пока спущусь к швейцару.

— Будь так добра. Отдай-ка ему вот эту бумажку... Тебе, Леня, завтра когда?

— Черт их знает. А впрочем, я себе хозяин. Выплюсь, пообедаю, там поглядим.

— Если ты в зеленый ящик, то здесь близко. До проходной метров четыреста.

— Зеленый?

— Тут только два ящика: у одного забор зеленый, у другого — синий. Весь город их различает по этому признаку. "Где муж работает? — На зеленом. А твой тоже? — Нет, мой на синем". Или так: "Слыхали? У синего дрожжи дают!" Очень удобно: таким образом само собой создается впечатление, будто никому не известно, что синий — это почтовый ящик сорок три, а зеленый — двадцать восемь. И мне, как ты видишь, тоже не известно. Равным образом и то, что ты, Леня, — готов поспорить, — на двадцать восьмой.

— Верно.

— Угадать нетрудно. В эту степную глухомань только и едут из Москвы — на зеленый, а из Новосибирска — на синий.

— Следовательно — и ты?..

— Я не в счет, я человек случайный. Но здесь оказываюсь частенько. Мне дальше лететь, аж к самому морю. Позволь тебе сказать, — я рыбник.

— Рыбник? Редкая профессия. В глазах рябит от нашего брата — вокруг поголовно все физики и инженеры. Даже собственные бабы.

— Он хотел сказать "наши милые женщины", но, Данушка, Леня не видел, что ты входишь, и оговорился.

— Простите, Данута, я действительно...

— Я не слышала, о чем вы говорите. Честное слово. Прóшу.

– Спасибо, Данушка, отличную ты достала игрушку. Если ты за меня беспокоишься, то напрасно: мы, судя по всему, по рюмочке-другой, а остальное постоит до завтра.

– Данута, я буду очень рад, если вы присоединитесь...

– Очень прошу, не обижайтесь, я пойду на дежурство. Хорошего отдыха.

– Доброй ночи.

– Дана, я к тебе сам подойду.

– Хорошо, Арон.

– Ни разу не было, чтобы согласилась пить. Даже легкое сухое. Значит, инженер?

– И, между прочим, заканчивал Бауманский. Наверно, поступал в один год с тобой, но все было иначе. Без эксцессов, хотя олухом был отменным. Ладно! Так ты говоришь, "наши милые женщины"? Пьем за твою Дануту!

– А у тебя – не...? Не за кого?..

– Н-ну... Как тебе сказать? Есть яблочко. Кислое, червивое, да бросить не могу.

– Жена?

– Не женат. Так пьем за женщин всех, и пусть они нас не бросают.

– В этом варианте твой тост более подходящ. По крайней мере для моей ситуации. А ну-ка, закуси вот этим.

– Ого! Икра?

– Он удивляется!! Я же рыбак... Так вот, я говорю, – по крайней мере для меня, потому что имею дело с множеством женщин. Ведь я женат и у меня две дочери, что ты скажешь за эту жизнь?

– Не быль, а сказка. О каком перекрестке ты толковал?

– Перекресток? Ах, перекресток! Твоя жизнь, моя жизнь. Сейчас, вот тут, в крупяной ночи и за этим столом. Перекресток.

– Главные безрельсовые пути.

– Грунтовые. Или проселки.

– Ну нет уж, брат, ты и я – нас с тобой не нанесут на карту нашей Родины.

– Широка страна моя родная.

– Нам открыты все пути.

– Степь да степь кругом. Теплеет. Все, что намело, унесет. Утром увидишь – мерзлая земля, голая глина и трещины – старческие вены.

– Арон, вторую... И остановимся? Пить – благо, спать – благо.

Финкельмайер выпил, встал и пошел к Дануте. Рубашка у него выбилась из брюк, шаг его был неверен, длинные руки висели, как плети.

Будет с ней спать в моей же постели, подумал Никольский. Она мне устроила эту постель, а я их вдвоем на нее укладываю. Я бы не прочь с ним поменяться. Мне себя жаль. И его. Ее жаль особенно, потому что жалко, что она с ним, а себя жалко, потому что жалко ее... Стоп, ты запутался, пьяная морда, выбрось из головы.

Он сидел за столом, пока не вошла Данута с грудой постельного белья и следом Арон. Вскочив, Никольский хотел пропустить Дануту к кушетке, но она положила все принесенное на стул и не стала стелить, а принялась проворно уничтожать царивший на столе разор. Никольский слабо запротестовал, Данута ему улыбнулась. Финкельмайер потерянно стоял у входа и, казалось, не прислонись он к стене, так бы и сполз обессиленно на пол.

Потом Никольский плотно прикрыл дверь и лег. В соседней комнате свет, там легкими шагами ходит Данута и приглушенно смеется, слушая, как ей что-то бубнит вполголоса Финкельмайер. Вот и они ложатся, и сейчас там начнется любовь, но нет уж, говорит себе Никольский, ловить поскрипывания кровати, стоны и вскрики – это не для меня, черт бы их побрал, мне уже не шестнадцать. Буду спать, завтра

надо с утра... На лицо легла невидимая маска — Никольский судорожно вздохнул и задышал глубоко и ровно.

VIII

Проснувшись, Никольский с трудом превозмог тупое нытье в надбровьях и разлепил веки. Поднес запястье с часами к самым глазам. На циферблате было что-то странное. Никольскому удалось понять, что обе стрелки сошлись наверху, и, значит, он доспался до двенадцати.

Первым делом он выпил холодной воды, налил рюмку, опрокинул ее, а следом — с конца ножа и в рот — отправил горочку красной икры, подавил ее там о небо и почувствовал, что оживает. В соседней комнате не было никого. Аккуратная, без единой складочки прибранная постель выглядела так солидно и строго, что ее вполне можно было выставлять в качестве экспоната мемориальной квартиры писателя-классика или выдающегося революционного деятеля эпохи. Никольский принял душ, оделся, подсел к телефону, но ни один из нескольких нужных ему номеров не ответил. Тут только он вспомнил, что сибирское время обгоняет его часы, и здесь уже далеко не двенадцать, и люди, скорее всего, ушли на обед. Сейчас же и сам Никольский почувствовал, как в нем после принятой натошак рюмочки разыграл аппетит. Он бросил трубку, наскоро побрился и вышел из комнаты.

В маленьком холле кто-то поднялся с кресла, но Никольский направился к лестнице, — некому здесь его ждать, и, кроме Дануты и Финкельмайера, никто не знает, в каком номере он остановился. Однако на лестнице, свернув на второй, нижний марш, он увидел, как сверху сбегает, мелко-мелко семеня, грузный человек, и Никольский с беспокой-

ством подумал, не с намерением ли догнать его. Мелькнуло в голове, что чем-то эта фигура ему знакома. Никольский быстро прошел к ресторану, толкнув стеклянную дверь и, оглядев свободные столики, выбрал место поближе к окну. Подлетела девчушка в передничке и белой наколке, с наивным любопытством уставилась на Никольского и спросила:

— Вам по-вечернему или по-дежурному? А хотите, я могу оба меню принести?

— Вот что, красавица, я в вас чувствую квалификацию. Сообразите-ка сами: голодному, здоровому и, как видите, не очень старому мужчине (девчушка смущенно хихикнула) необходимо пообедать. А главное — кофе. Чашечки две, и покрепче.

— Принесу на второе жаркое по-домашнему — знаете, в горшочках? — Это у нас фирменное, шеф сегодня сам готовит, и у нас есть сухое грузинское? Красное.

— Замечательно. Я в вас не ошибся. Стаканчик — ну что-нибудь двести, двести пятьдесят, ведь вы разливаете?

— Разливаем, мы разливаем.

Она отошла — вся в розовой улыбке девственности, готовой отцвести июньским яблоневым цветом. Или не девушка? — подумал Никольский, присматриваясь к ее походке.

— Здравсьте, товарищ Никольский.

У столика, сияя лучезарным счастьем на блинообразном лице, стоял круглый человек и из-за объемистого своего живота протягивал для пожатия руку. "Сегодня я всем доставляю тихую радость", — философски отметил Никольский, пожимая нухлую ладонь. Он мучительно пытался вспомнить и этого человека, и это слышанное уже "товались-никосски".

— А-а!.. Товарищ..?

— Товарищ Манакин. Данил Федотыч, — подсказал круглолицый, еще более счастливый от того, что выдался случай помочь Никольскому.

”Да-да, вчерашний вечер здесь же в ресторане, и он, этот тип, подсевший к Финкельмайеру. Арон почему-то сразу начал с ним грызться”.

Манакин уже опускал свое тело к сидению, и стол от соприкосновения с его животом подрагивал, и обеденные приборы звенели.

— Поздно встали, — констатировал Манакин. — Не хотел беспокоить Леонида Павловича.

Он это произнес с особенным значением, своей интонацией сразу давая понять очень многое: и что он, Манакин, достаточно воспитанный человек, имеет представление о хорошем тоне; и что Никольский ему зачем-то нужен; и что он относится с большим уважением к Леониду Павловичу — во-первых, не беспокоил, а во-вторых, запомнил его имя-отчество; причем, относится с уважением, зная, что Леонид Павлович встали поздно из-за вчерашней попойки, которая продолжалась далеко за полночь в номере люкс.

— Это вы сидели в холле? — подавляя раздражение, поинтересовался Никольский.

— Я, Леонид Павлович. Не обратили внимания.

— Откуда вы знали, что я в люксе?

Вопрос этот имел единственный результат: Манакин невозмутимо стал смотреть, как приближается к их столику девушка-официантка. Он даже поднял согнутый крючком палец, чтобы привлечь к себе ее внимание.

— У товарища приняли? — спросил он ее. — Такой самый заказ у меня будет. Какой товарищу.

”Ах, сукин кот, — догадался Никольский, — он вчера за нами следил?! Хорошо же, толстое брюхо, посмотрим, что тебе от меня понадобилось!”

— Так вы по культуре, — сказал он, припоминая, что сообщил о себе Манакин вчера. — Давно ли вы, так сказать, в этой области трудитесь?

— Сейчас назначили, — с готовностью отвечал Манакин, и

в узких его глазках появилось что-то живое. — Был на сельском хозяйстве. В райкоме партии инструктор. Два года.

— Ого! — искренне удивился Никольский и оторвался на миг от салата, чтобы взглянуть на своего собеседника. — Такой ценный работник — и с сельского хозяйства на культуру? Я понимаю, конечно, вы с повышением. Завотделом это не инструктор. Но сельское хозяйство у нас — задача номер один: урожайность; корма; заготовки. Читали последнюю речь товарища Хрущева? Что там сказано? Все силы — на новый подъем! — Вилка Никольского острым концом указала, куда именно должно будет совершить сельское хозяйство свой новый подъем — куда-то в верхний угол ресторанного зала. — А культура... Культура, знаете, это... Надстройка!

Тирада Никольского, его государственное мышление произвели на Манакина сильнейшее впечатление. Если бы он не сидел, а стоял, то наверняка вытянулся бы и подобрал сколько можно живот.

— Читал я речь, я читал, культура — надстройка, очень правильно говорите, товарищ Никольский, — быстро, на одной высокой ноте заговорил он и поспешил снять с подплывшего подноса тарелку супа и поставить ее на стол перед своим серьезным собеседником. — А, извиняюсь, вы — по культуре? — спросил он и замер на мгновение, почему Никольский и сообразил, что Манакину узнать это жизненно необходимо.

— Курирую, — загадочным тоном ответил Никольский. — На уровне министерства.

И Никольский чуть не воочию увидел, как в черепной коробке Манакина что-то задвигалось — туго провернулось и остановилось уже в другом положении, и он с заметной радостью переспросил:

— Не по партийной?

— Министерство, — с достоинством подтвердил Никольский. Дурацкий разговор так его веселил, что он готов был

в любой момент громко, на весь зал загоготать, а потом послать этого настырного типа подальше к матери. Но за разговором, Никольский хорошо понимал, стояло что-то связанное с Финкельмайером, что он, Никольский, и собирался вытянуть из Манакина, а тот, в свою очередь, тоже полись бродил вокруг да около и старался узнать свое, и хитрая их игра, без спору, стояла свеч. Черт с ним, он портит мне аппетит, рассуждал Никольский, но я из него всю печенку выну. Пока что мы владеем инициативой. По всему полю. На войне как на войне. Главное -- предугадывать ходы. И первому атаковать. Итак, пошли дальше.

— Говорите, два года инструктором? Так-так... А до того? — как бы недоверчиво, голосом ушлого кадровика спросил Никольский.

— Председатель пушной артели, Леонид Павлович. Передовая была. Да... Грамоты получал. Выдвигали. Да-а. С бригадиров — да-а. Вот, товарищ Никольский. Зверя стрелял, да-а, — вдруг обиженно, как ребенок, вставляя то и дело тягучее, певучее "да-а", заговорил Манакин, и, похоже, воспоминания о временах, когда он зверя стрелял, волновали его чем-то — утраченным чувством свободы, которой он некогда пользовался? Забытым ощущением реальности и простоты его нелегкого труда? Вот почему он так толст теперь — природа не простила таежному человеку райкомовского кресла, наказала животом и седалищем. Что же, кесарю — кесарево...

— Что сказали?

— Я говорю, каждому свое: заслужили — значит, заслужили.

— Заслужил, заслужил, — с готовностью закивал Манакин. — Правильно говорили — задачи сельского хозяйства: урожайность и заготовки. А у нас леса. Промыслы. Называется сельское, но у нас лесное.

— Товарищ Манакин, — укоризненно посмотрел на него

Никольский. — И, понизив голос: — Пушнина — это валюта. Разве не понимаете?

Манакин вздохнул. Он понимал. Этот товарищ из центра думает, что у Манакина никакого партийного и государственного подхода нет. А ведь два года в райкоме даром не проходят, он, Манакин, все понимает. Но если бросили на культуру, да еще с повышением, это тоже не просто так. Только как ему объяснить, министерскому?

— Культурный фронт сейчас тоже важный, — с расстановкой заговорил Манакин. — Мы малая народность. Указание есть: национальное по форме развивать; к социалистической культуре других многонациональных народов... как это? Присоединяться, однако.

— Приобщаться, — строго поправил Никольский.

Манакин медленно вытирал платком покрасневшее от напряжения лицо.

— Если есть указание сверху, тогда другое дело, — рассудительно прибавил Никольский, оценивая, не слишком ли он переигрывает. Наверняка Манакин хитрая бестия, надо с ним ухо держать востро. Его тактика больше слушать и отвечать, чем спрашивать самому, видно, тоже что-нибудь да значила. Хочет войти в доверие, а там и взять голыми руками? Пожалуй. Пока продолжим.

— А все-таки объясните, Данила Федотыч. Пусть и так, пусть культура, идеология, будем говорить, дело первостепенное. Почему же тогда именно вас, то есть человека с сельского хозяйства, с леса, перебрасывают на культурный фронт? Если вы к культуре не имели до сих пор никакого отношения?

Никольский рассчитал тонко. Он не хотел, чтобы Манакин вторично уже ушел от этого вопроса и, задавая его, воспользовался нарочно прибереженным оружием: в первый раз назвал своего собеседника Данилой Федотычем. Манакин расплылся в улыбке, покраснел еще больше, но тут же приосанился и, погасив улыбку, с достоинством возразил:

– Есть отношение. Занимался культурной работой. Состоял поэтом. Четыре года.

Нож у Никольского скользнул по тарелке и отвратительно взвизгнул. Боясь, что недожеванное мясо вывалится изо рта, Никольский выхватил из кармана платок, прижал его к губам и деланно закашлялся. Теперь можно запить вином; аккуратно сложить и убрать платок; еще немного покашлять, как если бы в горле немного свербило; пожевать и проглотить это мясо и снова запить.

– Интересно, – только и нашелся промямлить Никольский. Растерянность не делала Никольскому чести. Но и то хорошо, что он удержался и не заржал Манакину прямо в лицо. Дело принимало совсем веселый оборот. И все же, и все же...

– Я, между прочим, ведаю печатью, – небрежно сказал Никольский и, склоняясь к тарелке, увидел, что Манакин, как хороший охотничий пес, немедленно сделал стойку. – Значит, вы, так сказать, любитель. Как выразился наш великий Маяковский, землю попашет – попишет стихи. Выступаете в местной прессе?

– Зачем любитель?! никто не сказал любитель! зачем Маякоски?! – тоненько закричал рассерженный Манакин, и Никольский уставился на него во все глаза. – Член Союза писателей состою! Культурная работа! Четыре года состою однако! Зачем местной? Москва произведения берет!

Никольский стал само равнодушие.

– Не знаю, – он отрицательно покачал головой и устроил длинную паузу, чтобы раскурить сигарету. – Не знаю, – повторил он. – Поэтов читаю, слежу за прессой. И за центральной и на периферии. Ведаю по службе. Курирую, – я говорил. Не знаю поэта Манакина. Простите, Данил Федотыч, но как-то... – Никольский поднял плечи, показывая, что он сожалеет, но вынужден сказать Манакину об этом крайне неприятном для него факте.

Манакин между тем успокоился. Только теперь Никольский заметил, что тот почти ничего не ел. И вдруг отсутствующим голосом, глядя куда-то в сторону, Манакин спросил, давно ли Никольский знает Финкельмайера. Это было настолько неожиданно и прозвучало так непонятно, что Никольскому пришлось дважды переспрашивать, о чем идет речь.

— Аронамендельча долго знаете, — безжизненно сказал Манакин.

— Что-что?

— Аронамендельча.

— Не понял, простите. Что вы спросили?

— Арон. Мендельч. Финкельмайер, — пояснил наконец Манакин и закончил с едва заметной вопросительной интонацией: — Давно знакомые?

— Ах, этот!.. — Никольский снова входил в роль. — Я его фамилию плохо выговариваю. Как сказали? Финкель-майер? Да, да, Финкельмайер! Давно ли знакомы? А вот с самолета и знакомы. Соседние были места. — Никольский взглянул на часы. — Давайте считать: приблизительно сутки, как мы знакомы. А, извините, — при чем тут Финкельмайер? Да и кто он вам, этот Финкельмайер? Это вы с ним, помнится, знакомы, Данил Федотыч, а не я.

— Почему! — не знакомы — ужинали! — ночевали в люксе! — не знакомы Аронмендельчем? — взволнованно, на одной настойчивой ноте выпалил Манакин.

Никольский нахмурился.

— Позвольте? — строго сказал он. — Я не намерен с вами обсуждать, вы уж извините. Если человек, бывавший здесь не один раз, беседует со мной в пути, рассказывает про город, указывает мне дорогу в гостиницу, рекомендует поужинать в этом ресторане, я, по-вашему, не должен пригласить его к своему столу? И если ему предстоит ночевать в четырехместном номере, а у меня заказан люкс по брони, я, по-

вашему, не должен предложить ему свободную койку? Нет, товарищ Манакин, я так не привык. Вы меня удивляете со своим Финкельмайером. И вообще... — Никольский еще раз отвернул рукав пиджака и внимательно взгляделся в часы. — Пора, знаете. Совецание.

— Значит, не вместе! Значит, не вместе приехали, одна минута, товалисникосски, очень надо! — возрадовался Манакин, и лицо его воссияло новым счастьем. — Очень надо, одна минута!

— Ага, пройдоха, вот оно что! Сперва ты просто-напросто меня боялся, думал, не с Ароном ли приехала эта шишка из люкса и не нагадит ли она тебе в каких-то там паскудных делах. Но теперь ты хочешь меня использовать. Валяй, толстобрюхий!”

— Нет, — решительно покачал головой Никольский и встал. — Люди ждут.

Подбежала девочка, и он стал щедро награждать ее чаевыми, говоря при этом, что, если бы не торопился, то написал бы в книгу такую на нее красивую благодарность, что все ее женихи бегали бы каждый день сюда, в ресторан, и читали вслух, какая хорошая девушка — как вас зовут? — Галя? — какая хорошая девушка Галочка. У Гали блестели глаза, улыбаясь, она смыкала губы, явно скрывая золотую коронку, которая для местных — шик, а для москвича — она знала — портит, и на щеках ее образовались ямочки.

— Правду говорил, — продолжал свое Манакин и грузно выворачивался из-за стола, боясь упустить Никольского. — Правду говорил, — в Союзе писателей состою, поэтическая работа! Московская печать берет, зачем же — Манакин? — севдоним есть, товарищ Никольский, севдоним такой — Айон Неприген называется!

— Как? — У Никольского застучало сердце. — Как вы ска-зали? Айон Неприген?

...Набегают ночь, темнеют облака, по тусклой тундре летит олень, и тьма настигает его, он сбивается с ровного шага, и человек в одежде из оленьих шкур поднимает ружье к плечу...

Никольский молча смотрел на Манакина.

— В журнале "Дружба"? Это ваши стихи? — тихо спросил наконец Никольский.

— Сочинял, да-а. Я сочинял, да-а. Пять произведений, товалисникосски. — Было непонятно, изображал ли он скромность или опять-таки неизвестно чем вызванную обиду.

"Увидеть Арона, — лихорадочно пронеслось в голове у Никольского. — Увидеть Арона, от Манакина удирать! Какая-то фантазмагория, черт знает что!.."

Он протянул Манакину руку с торжественной демонстративностью.

— Очень рад, товарищ Манакин. Очень рад познакомиться. Как же, как же, — Айон Неприген! Превосходная поэзия. Малая северная народность, наверное, до революции даже и письменности не было, а? Правильно я запомнил национальность — тонгор, тонгоры?

— Хорошо знаете, товарищ Никольский, хорошо знаете! — лицо Манакина от удовольствия сияло и покачивалось из стороны в сторону, как светящийся шаровой электрический заряд, и этот желтый шар от расправивших его эмоций вот-вот собирался лопнуть со звуком "пфф!". Но лицо Манакина продолжало раскачиваться:

— Называем себя т'нгор — такая народность — т'нгор, охотник по-русски, одна тысяча семьсот людей только, вымирали, шестьсот было т'нгор, письменность не было, изба не было, радио, кино не было, — все есть, однако. Отсталость пока есть, изба не хочет плохой т'нгор, боремся. Культурный фронт важный, товарищ Никольский, хорошо понимаете как товарищ из министерство.

— Ну что ж, очень рад, — повторил Никольский. Он поймал себя на том, что у него появляется расположение к одному из лучших представителей народности тонгор. Может быть, и не стоило водить его за нос? — Так вы хотели о чем-то беседовать, Данила Федотыч? Боюсь, не смогу сегодня. Совещание, то да се, — до позднего вечера занят. А завтра с утра? Вас устроит?

— Хорошо будет завтра с утра, самолет не летит, погода плохая, никто не летит! — закивал Манакин.

— Прошу в таком случае, прошу, буду рад. Н-ну, хотя бы... В двенадцать по-местному, вас устроит? Ко мне в люкс, буду ждать.

Снова пожав Манакину руку, Никольский вышел из ресторана и поднялся в номер. На несколько минут он присел в кресло, чтобы выкурить еще одну сигарету и собраться с мыслями. "Черт знает что!" — раза три повторил он вслух. Судя по всему, только эти слова и способны были передать его впечатление от разговора с Манакиным... И этот разговор еще долго не шел у него из головы — все время, пока он, накручивая телефонный диск, занимался всяческими скучными формальностями: сообщал о своем прибытии то одному официальному лицу, то другому, уславливался, когда и где они встретятся, чтобы обсудить дела, просил выписать ему пропуск, подготовить материалы — и так далее и тому подобное — столь хорошо известное каждому, кого начальство соизволит от случая до случая ввергать в беспокойное и бестолковое по большей части бытие служебных командировок.

Прежде чем уйти из гостиницы, Никольский разыскал Дануту. Она его встретила улыбкой ласковой и спокойной, и он подумал, всегда ли у нее такое милое лицо и для всех ли такая улыбка? Или, увидев его, она улыбается так, вспоминая прошедшую ночь? Эта женщина любит Арона, по крайней мере, она принимает его как мужа, и вечером он,

когда она кончит дежурство, отправится к ней домой, и Данута не будет стесняться соседей — ведь здесь, в этом городе, все знают всё — нет, конечно же, любит. Прекрасная Дульцинея и ее еще не старый Дон-Кихот...

— Так пусть Арон, когда придет, побудет у меня. Мне очень нужно с ним поговорить.

— Я передам, — улыбалась Данута.

На улице не было по-сибирски холодно. Может быть, весна, едва начавшаяся там, в Москве, добиралась уже и сюда: может быть, утих вчерашний ветер, а без ветра, да еще при солнце, мороз, как известно, в этих краях лишь в охотку. Но Никольский поежился: взглянув под ноги, он увидел жутковатую картину: в рваных трещинах, неживую, мерзлую почву. Так вот о чем среди ночи ему говорил Финкельмайер!.. Вчерашней вьюгой со старого, в язвах и струпьях тела сдернуло покрывало, сдунуло в степь — вон она, степь, за три дома лежит, распласталась, белесая, — и осталась тут, в городе, битая-перебитая, истоптанная, изъезженная и изрытая — истерзанная людским полчищем земля... И что ей весна? Ничего. Только вздох. Ни деревца, ни кустика, ни клумбочки — выбитая, будто плац, бесформенная площадь — некое уширение главной улицы, разбросанные тут и там строения — где кирпичное в три этажа, где безоконный гараж или склад, где оставшийся от глухомани времен волостных и уездных — детски-наивный портал и четыре почти еще вертикальных колонны, чуть дальше — они! прислониться щекою к родимым! — хрущевские дети, один к одному, выбегают на бровку дороги торцы крупноблочных, панельных, стандартных, типичных домов — живая действительность и воплощение наших мечтаний, от каждого по труду — каждому по углу.

А вот и забор. Восхитительно зеленый. Ни гадина-враг, ни ротозей-любопытный не достигнут ни слухом, ни взором за эту бдительную стену лихо пригнанных, без единой

шелки бетонных плит, густо крашенных масляной зеленью. А вот и ворота — из железного сварного листовика. И они зеленые, только на створках, на самой середке, — по красной звезде. Мол, не простой у нас, не какой-то известный стране гигант индустрии, всякие там мартены и блюминги-слябинги, — мы, извольте заметить, — почтовый ящик! Видал звезды? Видал? А считай — не видал: так-то лучше. Молчи. Потому как завод номерной, то бишь очень секретный!.. Не беда, что полгорода ходит сквозь эти ворота, — каждый день туда и обратно; не беда, что другие полгорода ходит в такие ж ворота с такими же красными звездами, но только на синем фоне; и в общей сложности ходят в эти заводы все горожане — все! Но сие великая тайна есть, такая великая, что всех этих тысяч людей будто и не существует в природе. И когда на страницах газет и по радио и в кинохронике громко шумят об успехах трудящихся — не о них шумят; и когда журналист, залезая в конфликтное дело, осуждает местком и начальника цеха и требует справедливости — не для них ее требует. Потому как не знает о них никто в целом свете — ни о тех, которые в зеленом, ни о тех, которые в синем, не знает: секрет! Не положено знать, кто они, где они и чем заняты.

Но Никольский кое-что знал. Может быть, больше, чем сами работники зеленого. Номерной заводик выпускал и то и это — электронную, так сказать, фурнитуру, годную на все, начиная с транзистора и телевизора. Кое-какие мелочи сгодились и военным, и вот паршивенький температурный датчик стал секретной продукцией, а с ним стали секретными и весь завод и полгорода... Но любому из этой половины города было невдомек, да они и знать того не желали, кто из них работает ради самой могучей и самой мирной армии мира, а кто — ради автоматического жениного утюга. Правда, когда подворовывали с предприятия, знали, куда что приладить, ну, к примеру, моторчик для дыхалки рыбам

в аквариуме или, допустим, пустую спиральку для змей-горынычева аппарата...

И другое Никольский знал: кое-что пойдет с завода для установки на экспортное оборудование, и придется ему, оборудованию, конкурировать, бедняге, там, в ужасающих условиях капитала, где все пропитано духом борьбы за рынки сбыта, борьбы за сверхприбыли и, соответственно, за потогонную производительность труда. Тут уж, понятно, если играть по этим жестоким и по самой своей сути чуждым нам волчьим законам, то надо, чтобы морду нам не набили, надо выдержать по всемирным стандартам и в их числе – до чего нехорошее слово! – по *патентоспособности*. Никольский и был спецом по этим делам: патентным экспертом высокого класса со знанием трех языков.

Лет десять назад, закончив Бауманское училище, Леонид Никольский начинал работать в проектно-монтажном отделе большого завода. Кстати сказать, именно здесь получил он стойкое отвращение к глухим воротам, пропускам со множеством непонятных штампов, к вооруженному бабью у всех дверей, – словом, к режиму; и именно тогда он понял, что режим есть не дисциплина, а ритуал религии, в сущность которой посвящено только само духовенство. Но так или иначе, молодой, энергичный, способный инженер быстро продвинулся, и уже три года спустя, когда прошел срок отработки по распределению и Никольский смог перейти на новое место, его взяли сразу руководителем сектора. И здесь все удачно складывалось. Но в скором времени умер старик – начальник отдела, и Никольского сделали тем, кто зовется "и.о." – исполняющим обязанности и пока не утвержденным в должности лицом. В течение многих месяцев он свои обязанности свято блюл: заседал бесконечно в дирекции, составлял отчеты и планы, созывал посреди рабочего дня то собрание, то "треугольник", принимал заявления об уходе, воспитывал пьяниц, отпускал в декреты беременных

детализовщиц и лихорадочно искал им замену, поздравлял новобрачных, выслушивал лесть подчиненных и разносы директора. Чем дальше, тем явственней видел он, как гибнет в нем инженер и пускает корни ретивый администратор, который успешно учился трудиться и жить по принципам "надо" и "как приказано будет". Работая прежде под тройной охраной, он алкал свободы; теперь же он чувствовал, как лишается иной свободы — более значительной, чем та, какую еще так недавно мечтал обрести. Однажды он заметил за собой, что с беспокойством начинает думать о тех же докладах, отчетах и планах чуть ли не в тот самый момент, когда только что наслаждался с женщиной. Никольского уже хотели утверждать в его крупной должности, и впереди открывался пугающий простор для карьеры, но, как он и предполагал, с ним стали вести беседы по душам, настойчиво требуя, чтобы и.о. начальника отдела Никольский вступил в партию. Во время этих бесед он постоянно был начеку и, отказываясь, о причинах говорил уклончиво, напирал все больше на скромное "недостойн". Кончилось тем, что секретарь парткома, отставной полковник с грудой орденских колодок, заорал на него в присутствии всего директорского и партийного синклита: "Получается, так твою мать, партия тебя просит, а ты от нее свое рыло воротишь?! Ну хорошо, Никольский!" В общем-то, он сплеховал, этот бравый полковник, не выдержал в рамках новых норм партийной демократии и припомнил он ночи другие, как поется в чудесной русской народной песне. "У меня — рыло?! — оскорбился Никольский за свое благородное лицо. — Да ты на себя посмотри, сталинист проклятый! Что — "хорошо"?! Чем ты мне угрожаешь? Положить я на тебя хотел!"

Никольского взял к себе в лабораторию один его школьный приятель. Собственно, лаборатория и была-то — это они двое да техник-паренек. Занимались они изготовлением электронных игрушек по типу знаменитых мышей, черепах

и скачущих лягушек и старались положительно решить коренной вопрос тогдашнего мировоззрения передовых людей — ”может ли машина мыслить?” Так как все трое были уверены, что — может и обладали буквально эдиссоновской одержимостью, они гнались за истиной, обгоняя ее самую, и эта гонка имела тот прекрасный и, пожалуй, единственный результат, что молодые люди стали большими доками в своем деле. В частности, Никольский, помимо прочего взявший на себя роль камнедробилки, которая перемалывала глыбы зарубежных статей в скудный золотой песочек полезной им информации, очень скоро стал легко расправляться с любым научным сленгом, по какую бы сторону Атлантики он ни бытовал. Лабораторию заметили и сделали отделом. Приятель защитился раз, потом другой и оказался молодым блестящим доктором наук. Потом отдел отпочковался и стал сам себе институт, а приятель — сам себе его директором. Директора вместе с институтом обнесли оградой, впустили внутрь вохра и 1-й — секретный — отдел, вохра и секретчики стали служить науке, а наука — служить народу, служить не стихийно, как было везде и всегда, а уже по-настоящему, то есть как надо и как приказывают.

Никольский к этому времени был уже далеко. Когда он потом задумывался, кто из них, последних могижан кустарщины в науке, как они горделиво себя называли, — кто из них оказался в наибольшем выигрыше, то получалось, что парнишка-техник. Приятель Никольского был не в счет, так как должности, огромные оклады и солидные титулы сожрали и его самого и его жену — когда-то весьма симпатичную молодую особу, которая в те свои симпатичные времена пребывала еще в женах у Никольского и которая не то его бросила ради приятеля, не то он, Леонид, бросил ее приятелю, — это так и осталось неясным. Короче говоря, приятелю во всех смыслах достался худший вариант. Парнишка-техник, когда все вдруг сдвинулось к бурному росту и поч-

кованию, за свои восемьсот рублей, по его же словам, нахлебался науки по горло. Его прежний коллега по пайке бесчисленных схем, товарищ по спирту и друг по совместной квартире для баб, а отныне всего лишь начальник, сказал ему так, что желаешь того — не желаешь, но надо учиться, идти в институт — на заочный, вечерний, как хочешь, а то, брат, придется из техников — в лаборанты, и это уж не восемьсот, а семьсот пятьдесят... Но на кой ему было это ученье? Чтоб, промучившись пять лет, получить инженерские тысячу двести? Он сказал "до свидания" науке, сел в такси и катает на нем по сей день, не изменив своей нелегкой, но такой почетной шоферской профессии даже после армии. Когда Никольский по старой памяти звонит ему и просит подвезти в аэропорт, тот, сидя за баранкой, любит повторять: "Работа — хорошо, деньги — лучше, а чтобы на работе при деньгах да без начальства — это, Леня, у нас, у романтиков, и называется счастьем трудных дорог". Не будучи романтиком в той мере, в какой это было свойственно дружку-таксисту, Никольский, тем не менее, работу, деньги и начальство помещал примерно в такой же ряд рассуждений.

И вот, в то самое время, когда Никольский пытался все эти три взаимосвязанных компонента сбалансировать возможно более оптимальным образом, он внезапно позарез понадобился государству и как раз на такую работу, где еще платили много денег и где еще было немного начальства, а то начальство, которое и было, старалось не соваться в новые для себя дела, в коих, естественно, ничего не смыслило. Никольский впервые ощутил тогда редкое, захватывающее чувство полного слияния личных и общественных интересов, чувство столь возвышенное и всеобъемлющее, что говорить о нем только как о результате материального стимулирования и создания нормальных условий для творческого труда было бы грубым упрощенчеством, вульгаризацией и злоныхватством.

Понадобился Никольский государству по той простой причине, что решило оно завести себе патентную службу. Почему-то вдруг обнаружилось, что муторное это, кляузное и, в целом-то, не наше, а ихнее заграничное и буржуазное дело так же надежно, выгодно и удобно, как всем известная сберкасса. Но как подступиться к этому делу, почти никто не знал. Никольский был одним из тех, кто знал. Различных западных патентных формул он изучил превеликое множество, знаком был с системами патентования основных промышленных стран, — словом, впору было поутру ехать к новому двору.

Так он и стал патентоведом, экспертом, консультантом и прочая и прочая — вплоть до научного редактора и переводчика всяких серьезных трудов в своей сфере. Работа устраивала его все по тем же причинам. Он мало от кого теперь зависел, свободно располагал своим временем и, приходя на службу, в любой момент имел возможность уединиться в небольшой отдельной комнатухе. Высшее руководство относилось к Никольскому с уважением, если не с почитанием, так как только и могло предлагать своему экстраординарному подчиненному работу и выслушивать, согласен ли он ее взять и на какой срок. Никто не зависел и от самого Никольского, а это счастье тоже не валяется. Что касается денег, то при своей известности и эрудиции он мог немало зарабатывать и на стороне, но за левой работой слишком не гнался: на хлеб со сливочным маслом хватало, а дети дома не плакали...

Работа случалась разная — и интересная и не слишком. Сюда, в городок, на этот зеленый почтовый ящик, забросило его в связи с довольно путаным делом, в котором долго разбирались до него, но толком не разобрались. Его попросили помочь, били челом, дескать, только на вас и надежда. Отказаться было неловко, тем более что речь шла о тяжбе с солидной американской фирмой, объявившей протест на

наше изделие: то есть, что ни говори, дело, опять-таки, государственное... Сидя теперь перед грудой технических описаний и чертежей, Никольский уже представлял, что придется ему тут пробыть не день и не два, что потом и в Москве предстоит немало возни, так как этот зеленый почтовый — лишь один поставщик на изделие, а протест заявили по нескольким пунктам сразу.

День быстро клонился к концу. Работалось плохо, да он пока лишь прикидывал что к чему, не вникая особенно. Было у него то знакомое состояние, когда ему становилось безудержно жаль себя. Правда, он точно знал, что такое случилось с ним именно после пьянки. Но обычно Никольский боялся давать себе волю, старался поменьше раздумывать над жизненным горем-злосчастьем во всех его вариантах. Сегодня же на него нашло, и, конечно, причина была не в одной только выпитой водке. Причина была в Финкельмайере. Это его ночной монолог замутил Никольскому душу, и он, черт возьми, отпустил тормоза. Или нажал на гашетку. Начал крутить боевик "Жизнь и падение Леонида Никольского". Патология, секс и ужасы из киноленты вырезаны в соответствии с моралью нашего проката, фильм годится даже детям... Все умещается в одной серии, полтора часа, на дневные сеансы билет только десять копеек, поскольку хроника, а не художественный фильм. У Финкельмайера — иначе. Поэтический кинематограф. Поэт он и есть поэт. Ему и карты в руки. Айон Неприген! Это надо же, что за нелепость!

Он подумал, что Финкельмайер, наверно, давно возвратился в гостиницу и ждет его там.

IX

Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер лежал на кушетке и безмятежно спал. Во сне он чему-то удивлялся: его брови были приподняты, губы стянуты к середине рта и круглились, как будто он вот-вот собирался произнести изумленное "О!" Рядом на столе стояла вчерашняя початая бутылка. Доньшко ее прижимало лист писчей бумаги с размашистой корявой надписью: "И зачем я тебе понадобился? Если пить — разбуди".

Арон явно избег соблазна приложиться к бутылочке, не дожидаясь Никольского, и это было трогательно. Никольский, тормоша Финкельмайера, так и сказал — мол, тронут твоей беспримерной стойкостью, но если сейчас не проснешься, — пеняй на себя.

— Ну вот что, я сразу к делу, — провозгласил Никольский, когда они уже сели за стол и после первого "будь!" приступили к бутербродам. — Я все к тому же. Очень уж интересуется меня поэт Айон Неприген.

Финкельмайер пристально поглядел на Никольского.

— Боже мой. Айон Неприген? Простите, — а что?

— Видите ли, я говорил: люблю стихи и танцы. Вы не танцуете? Я так и думал, вы выше этого. Поговорим о стихах. Среди ваших знакомых нет поэтов? Очень жаль. Очень забавные люди. Я, например, недавно познакомился с одним. Такой чудак! Я, говорит, сам еврей, стихи сочиняю по-таймырски, записываю по-русски, а звать меня Хосе - Арон-Мария - Хаим - Дон - Кихот - де - ла - Айон - Неприген. И только, знаете, он мне это сказал, подкатывается к нам эдакий толстячок, и поэт говорит: "Вот, Леня (меня Ленею звать), знакомьтесь, это вот Санчо". А Санчо этот тоже смешной. Тоже поэт, только не еврей. Тоже не то по-тай-

мырски, не то по-ямальски сочиняет. А звать его Диего-Сальваторе - Санчо - Панса - ибн - да опять же - Айон Неприген. Ну, скажите, правда интересно?

– Весело. Прямо катаюсь со смеху, – мрачно сказал Финкельмайер. – Я вижу, ты имел содержательный день в обществе Манакина. Что ему от тебя надо?

Никольский взял журнал и постучал по обложке пальцем:
– Чьи стихи?

В глазах Финкельмайера появилось такое бешенство, что Никольский поспешил отбросить журнал подальше на стол и сказать примирительно:

– Ладно, ладно, Арон, ты не злись! Я все понимаю. Я знаю – верю, в конце концов, внутреннему чувству – эти пять стихов писал ты. Но там написано – авторизованный перевод. Какое к ним имеет отношение Манакин?

Финкельмайер криво усмехнулся:

– Никакого. Но он по личному меж нами соглашению берет себе полгонорара.

– Час от часу... Арон, ты уж, будь добр, растолкуй, – терпеливо попросил Никольский. – Вижу, – тебе противно, но ты попробуй. У тебя какая-то свара с Манакиным, и я подозреваю, он хочет меня использовать.

– Тебя? Каким образом?

– Еще не знаю.

Финкельмайер не сразу решился заговорить.

– Ладно. Вся эта история чистой воды авантюра. Из тех, в которые посвящать не хочется. Правды не знает никто, за исключением одного человека. Это Мэтр. Он был если не отцом этой идеи, то во всяком случае сыграл роль повитухи, принял ее совсем голенькой, когда она только что родилась. Он же ее и обмывал – вместе со мной.

Ну, коль посвящать... Начать надо с того, что меня не любят печатать. Нет такого поэта в русской поэзии – Арон Финкельмайер. Тиснули его стихи однажды в молодежном

альманахе, однажды в толстом журнале, но это было случайно. Когда Мэтр волновался и с придыханием говорил: "Ты поэт, мой мальчик!" – или, представляя меня какому-нибудь литератору, провозглашал: "Поэт Арон Финкельмайер!" – я всю эту выпренность слушал так же, как радиодиктора, сообщавшего, что тенор, который сейчас запоет любовное ариозо, будет петь его в качестве Лауреата Сталинской Премии и Народного Артиста Республики. Да и вообще я вовсе не был уверен, что мне надо петь публично, а главное, что я действительно красиво пою. Плохие стихи сочинять я умел – за моей душой оставалось армейское творчество А. Ефимова; а вот хороши ли мои остальные стихи, я не мог судить, да и не хотел. Я работал, я жил, как все – ну, а эта интимная подробность моей частной жизни – сочинительство, – так мало ли кто мучается изжогой или от тесного ботинка, – никто же не кричит об этом каждому встречному!

Мэтр много переводил. Иногда у него скапливалось столько заказов, что он не успевал и предлагал кое-что мне. Обычно это бывали кавказские или среднеазиатские стихи с уже готовым подстрочным текстом. Я легко сводил эти строчки в размер, легко обставлял их рифмами, но обычно получалось, что от себя я вносил в перевод слишком мало, и это не годилось. Надо было стихи – большей частью убогие – "возвышать". Я не умел возвышать чужое, а Мэтр умел хорошо. Он подправлял тут, там, и, действительно, стихотворение неожиданным образом изменялось, и авторы потом звонили Мэтру и даже, рассуждая в печати о проблемах перевода, с наивным восторгом признавались, что русский вариант стихов даже лучше, чем оригинал, что теперь стихи получили новую жизнь и обрели высокую честь влиться скромным горным ручейком в необъятный океан русской поэзии.

Как-то Мэтр не то плохо себя чувствовал, не то просто

хандрил, — я взял переводы и занес их в редакцию. Сидела там дама — редакторша. ”Да, да, говорит, он звонил. Он сказал, что вы ему помогаете, — вы тоже пишущий?” Ну, говорю, с кем не случается, но я работаю, хожу на службу, времени нет заниматься этим всерьез. Дама оказалась любопытная. ”А где вы работаете?” Ну, я не стал ей подробно говорить о своих взаимоотношениях с крабами, креветками и мускулом морского гребешка. Я ей туманно стал плести про частые разъезды на Дальний Север и на Дальний Восток. ”Вот и привезите к нам оттуда поэта. Хорошо, чтобы он оказался оленоводом, рыбаком — что-нибудь поэкзотичнее. И с экзотическим происхождением, — прямо из яранги. Удэгейца или эвенка”. Я вежливо улыбнулся на весь этот юмор и, помнится, спросил, не стоит ли мне самому вернуться алеутом? Но она на мой юмор почему-то не прореагировала. Наоборот, она подтвердила, что говорит совершенно серьезно. ”Представляете, сказала она, если вам удастся открыть нащпоэта!” Мэтр мой рассказ о визите к редакторше неожиданно тоже воспринял всерьез. ”Куда ты едешь? К сибирскому побережью? Вот и найди там местного Гомера”.

Местный Гомер дожидался меня у лавки Сибохоткоопторга. Я страшно мерз и подошел к ней, чтобы подкупить себе пару носков. На дверях лавки висел замок. У крыльца стоял человек, глядел в землю, раскачивался и ударялся спиной о перила. Он был пьян и заунывно пел. Человек заметил меня не сразу, а заметив, перестал петь.

— Здравствуй, — сказал он. — Спирт?

В тех краях, как известно, сухой закон, но спиртом люди торгуют вовсю.

— Здравствуй. Не торгую, нет спирта.

— Сигарета?

Сигареты у меня были. Дал ему пачку, и она исчезла среди его меховых одежд.

— Пойдем в столовая. Не пришел продавец. Тепло в столовая.

Погреться я был не прочь, мы сели в углу у печки, и там мой новый знакомый совсем размяк.

— О чем ты пел? — спросил я его.

— Как можно такое сказать? — искренне удивился он моему вопросу. — Когда не стал петь, стал говорить. Нельзя сказать, что пел.

Это были прекрасные слова, и я умилился. В сущности, он прочитал мне одну из лучших лекций о поэзии, какую я когда-либо слышал. Я понял, что передо мной настоящий поэт.

— Ну, спой второй раз то, что ты пел, — попросил я его.

Он удивился еще больше и сказал наставительно, даже с некоторым укором:

— Нельзя второй раз. Песня уходит. Другая песня приходит.

Я готов был его обнять.

— Ты правду говоришь, — сказал я ему. — Так спой же мне ту песню, которая еще не приходила.

Он прикрыл свои узкие глаза, начал раскачиваться и запел. Хочешь послушать, как он пел?

...Финкельмайер опустил очи долу и, качнувшись на своем стуле, что-то затянул — затянул скрипуче, на однообразных высоких нотах, и Никольский вдруг явственно услышал голос Манакина.

— *Ай'н пр'иге,*

О-о-о!-а!

Ай'н пр'иге!.. —

выводил Финкельмайер; и от этих тоскливых звуков по коже скребся холодок и становилось неуютно.

— Он очень удивился, — продолжал Финкельмайер, — когда я стал повторять звуки только что спетой им песни — если не очень точную мелодическую высоту, то довольно

приблизительный характер их словесного произношения. Он смотрел на меня как на полубога и с некоторым страхом спрашивал, зачем я поймал его песню и как я это сделал? Мне удалось вытянуть из него, что "ай'н пр'иге" – это что-то вроде заклинания, призыв, чтобы пришла удача. Какая удача? Все равно какая. Хорошая охота. Дом с едой, спиртом и с женщиной. Невьюжная погода. Здоровье. Что еще? Ничего больше и не нужно т'нгору, объяснил он, называя так себя, свою семью и сородичей. Дальше я смог узнать – об этом пелось в песне, – что мех прячется и потом летит от стороны захода солнца к стороне восхода, а маленький свинец летит туда, где ночью яркая зимняя звезда, а когда мех и свинец встречаются и перестают лететь – хорошо, о-о! – "ай'н пр'иге". "Мех" – это мех, пушнина, мелкий зверек, он бывает коричневый, белый, рыжий. А "шкура" или "кожа" – это крупный зверь, в том числе и олень, – "шкура с рогами".

Сложный – скачущий ритм его песни продолжал звучать у меня в голове, возникло несколько готовых строк, и я их принялся записывать, понимая, что они складываются в стихотворение. На какое-то время я забыл о моем знакомом. Но он, оказывается, с любопытством взирал на то, что я делаю, и внезапно спросил, какую это принесет мне пользу? Я пожал плечами и не нашелся, что ответить. Но он не отставал. Ему казалось необъяснимым, что можно записывать на бумагу слова без всякой пользы, – точно так же, как и петь. Все это выглядело в его глазах подозрительно. А не хочет ли человек принести ему вред? – вдруг забеспокоился он.

– Ну что ты выдумал? – стал я его успокаивать. И только тут до меня дошло: да это же тот самый случай! тот самый национальный поэт, которого...

– Послушай, – сказал я ему. – Я эту бумажку постараюсь продать. Если ее у меня купят, я пришлю тебе половину денег.

— Ты хитрый человек, — ответил он мне, и в голосе его было уважение. — Не хотел сказать т'нгору, хотел все деньги забрать. Но т'нгор знает, т'нгор умеет думать хорошо. Русский человек — хитрый, т'нгор — хитрый. Напиши другую бумагу: "Манакин Данил Федотыч, бригадир, охотартель "Свободная т'нгория".

То есть попросил у меня как бы расписку, что я его не обману.

Я вернулся в Москву. Мэтр от стихотворения пришел в восторг, но сказал, что у вновь открытого поэта публикуют сразу несколько стихотворений, одного слишком мало.

— Но он спел только одну песню!

— Какое это имеет значение? Ты сумел передать дух, стиль, ритмику и даже аллитерации, почему бы тебе не написать еще несколько вещей à la Манакин? Писали же наши классики под Байрона и из Гейне, а ты попробуй имитировать этого охотника. Между прочим, скажу тебе: для того, чтобы передать свое мироощущение, поэту достаточно совершенно произвольно избрать некую форму и некий строй образов. Нужно только овладеть этой формальной и образной системой, вжиться в нее. Двустипшие, терцина, четырехстрочная строфа — все это наперед заданные самому себе формальные правила игры, как и более, объемлющие — формы сонета или баллады. То же касается и образного строя. Солнце, утро — передают радость; ночь, луна — томление, тоску. И так далее. Поставь себя в условия таких же импровизаций, как эта песня, и постарайся оседлать этот стиль, прищпорить его, чтобы он сам унес тебя, чтобы ты почувствовал внутреннюю свободу. Если тебе это удастся, ты сможешь сделать что-то очень оригинальное.

Мэтр умел соблазнять. Вечером я долго ворочался, а когда уснул, мне снились необыкновенно удачные строки. Застрявшие в памяти их отрывки послужили основой еще нескольких стихов. Хотя я к тому времени написал уже не-

мало сам, а поэзию вообще — и русскую и переводную — неплохо знал, на меня только тогда снизошло откровение: ей, поэзии, нужно очень немного, чтобы стать тем, что она есть. Она — словно прекрасная женщина, которая, для того чтобы покорять собою, не нуждается ни в особенных одеждах, ни в косметике. Но, пожалуй, это сравнение не совсем передает то, что я тогда постиг. Скорее, мне открылось вот что: черное и белое — и мазок едва заметной голубизны или желтого, простота, которая уже почти ничто, — этого художнику вполне достаточно. Беспредельное *всё* смыкается с таким же беспредельным *ничто*, и там, где это происходит, — там место моей поэзии.

Мэтр издал радостный вопль, когда прочитал эти стихи.

— Но будь я проклят, — кричал он, — если и они не увидят света! Я не позволю их похоронить! И твой Манакин дает тебе блестящий шанс. Ни Финкельмайеру, ни Иванову ни за что эти стихи не опубликовать, — они оторваны от действительности, внесоциальны, идеалистичны, пантеистичны, и к тому же в них нет ни русской поэтической традиции, ни новаторства советской поэзии. Так тебе скажут в любой редакции. Но, к счастью, вновь открытый нащпоэт судится по иным меркам! Мы развиваем культуры малых народностей, что должны демонстрировать изо всех сил. Итак — да здравствует поэт Данил Манакин!

— Нет уж, Мэтр, к чертовой матери! — вдруг заупрявился я. Действительно, какого рожна? Мне были дороги эти стихи. Я обозлился: — К чертовой матери Манакина! Или под моим именем, — или пусть не печатаются совсем, я не расстроюсь!

Мэтр закусил удила. Вроде бы, разорвался он, я хочу совершить преступление перед вечным, святым и прекрасным и хрен его знает каким искусством! Сволочи и неучи губят и душат, это на их совести, но мы, вроде бы, должны противостоять! Для меня такие рассуждения были все равно что

дуть в пустую бутылку — тот же звук и то же удовольствие. Мэтр орал, я отмалчивался и иногда повторял свое "нет", и, наконец, он предложил мне согласиться на компромисс: напечатать стихи под псевдонимом с каким-нибудь экзотическим звучанием, но обязательно указав, что это перевод с тонгорского языка.

— Ладно, — сказал я, — выдумайте мне такой псевдоним.

— Ай, мерзавец! — оскорбился Мэтр. — Ай, он непризнанный гений! Я ему должен выдумывать!

— Подождите, подождите!.. — остановил я его брань. В том, что он сейчас произнес, мне почудились знакомые звуки. — "Ай, он непризнанный гений!" — повторил я. — Да смотрите же, Мэтр! "Ай'н пр'иге" — "удача" — так пел Манакин. Понимаете? "Айон неприген"! — От смеха я повалился на диване, где сидел, и задрыгал в воздухе ногами. — "Ай, он непризнанный гений!" — Айон Неприген! Слышите, Мэтр, какой удачный псевдоним для нас с Манакиным?!

Когда и до Мэтра дошел смысл этой тонгорско-русской лингвистической акробатики, он присоединился к моему смеху и заявил, что это будет мистификация, достойная Козьмы Пруткова.

Стихи были опубликованы без единой правки на первых полосах журнала. Редакция предпослала им краткую врезку, в которой читателям лишний раз напоминали об успехах национальной политики в области развития культуры малых народов, и публикуемые стихи являлись тому одним из примеров, — редакция надеялась — ярких. Каким-то образом они раскопали, что прежде тонгоры обходились без единого поэта. Теперь национальный поэт у них появился. И то, что редакция неосторожно сообщила об этом прискорбном факте, получило широкий общественный резонанс.

Началось с того, что краевая сибирская газета прислала в редакцию запрос, — кто такой Айон Неприген, как и где его разыскали. Газета жаждала перепечатать стихи тонгора

и дать о нем более обширную информацию. Мне показали это письмо, и я объяснил, кто такой Манакин. Продемонстрировал квитанцию за отосланные ему деньги – полгоно-рара, как и обещал. Подумали-подумали и сообщили в си-бирскую газету, что, пожалуйста, перепечатавайте, но вам бы там на месте следовало знать, что имя и фамилия автора по-тонгорски означает ”удачу”, то есть это псевдоним, а рас-крывать настоящее имя поэта мы не уполномочены.

А я тем временем, как будто на золотую жилу набрел: с таким удовольствием, так легко пишу, и каждое новое сти-хотворение – все он, Айон Неприген, его манера.

Мэтр уговаривал плюнуть и опубликовать еще один цикл под тем же именем. Он открывает мне некоторые професси-ональные тайны и говорит, что кое-кто из переводчиков, случалось, находил себе примерно таких же манакиных. Я не поддавался. Но неожиданно Айоном Непригеном за-интересовался Союз писателей. В Хабаровске, видите ли, собирались проводить какое-то мероприятие по дальнейше-му развитию литературы Сибири. И организаторам первый тонгорский поэт вполне годился на роль свадебного генера-ла. Я был в ужасе, потому что опять меня тянут, и тут от-вертеться уже не очень-то удавалось. После тоскливых раз-мышлений я предложил такой выход из положения: беру на работе длительную командировку на Восток – с этим было легко, потому что среди рыбных инспекторов зимой обычно мало желающих подолгу торчать на краю света; а на время совещания в Хабаровске беру отдельную командировку от журнала для нас с Манакиным. Его я обещал разыскать и привезти в Хабаровск, запасшись для этого кучей бумаг ко всем властям – от крайкома до дирекции совхоза ”Сво-бодный тонгор”.

С Манакиным я встретился вот здесь, в этом городе и на этом самом месте, где мы, Леня, с тобой сидим. Правда, са-мой гостиницы четыре года назад не было, а тут стоял дом

для приезжих — уютная, между прочим, изба, набитая клопами, каждый величиной с вишню, только без косточек, и поэтому сок из них так и брызгал. Ну, ладно. У Манакина, когда он прилетел сюда из своей таежной берлоги, был вид человека, который только что проснулся от того, что над его ухом грохнули новогодней хлопушкой. Он был попросту невменяем. Как потом выяснилось, Манакина после двух-трех звонков сверху кинулись разыскивать с такой ретивостью, словно он первостатейный преступник. Собственно, кто там разбирался, — за что тянут Манакина? Раз тянут — значит преступник и есть. Говорил мне Манакин, — наверняка бы он убежал, скрылся в тайге, свои люди хотели предупредить, что его разыскивают, но, как назло, пьян он был тогда, валялся дома, ничего не соображал. Справедливости ради надо сказать, что он в те времена и вел такую жизнь: или охотился в тайге или был пьян. Хороший т'нгор был когда-то Манакин. Короче говоря, взяли его, бедолагу, сунули в самолет, только там он отрезвел и тогда понял, что в чем-то очень виноват он перед властями. Приставленный к нему райкомовский служащий ничего не объяснял — сам не знал, в чем дело, но поглядывал на Манакина с опаской и подозрением. Сдали мне его на аэродроме тепленького, и он тут же, как только вспомнил меня, стал клятвенно уверять, что деньги, которые я ему послал, он давно пропил с приятелями, и у него денег вообще нету никаких, но если я согласен, то откупится мехом, чтобы я мог дорого его потом продать и на этом заработать много больше, чем глупый тонгор у меня попросил.

— Слушай меня, Манакин, внимательно, — сказал я ему. — Посмотри на этот журнал. Ты умеешь читать по-русски?

— Плохо умею.

— Попробуй прочесть, что здесь написано, вот здесь.

Он не без труда, но все же прочитал вслух о малой народ-

ности, которая прежде была вовсе без письменности, а теперь дожила до появления собственного поэта.

— Так вот, Манакин, это про тебя.

Он смотрел с полнейшим непониманием. Битый час пришлось ему объяснять, что Айон Неприген — отныне его второе имя, что я перевел на русский язык ту песню, которую он распевал в столовой. Манакин постепенно приходил в себя. Наконец сказал:

— Два имя хорошо. Долго жить буду.

С этой минуты он начал немного соображать. Правда, в какой-то момент его глазки снова беспокойно забегали, — это когда я сказал, что ему придется ехать со мной на важное собрание и там выступать. Он опять решил, что его там будут ругать за какую-то провинность. С трудом мне удалось растолковать Манакину, какая это высокая честь — участвовать в собрании писателей и поэтов.

— Большие люди будут? — спросил он.

— Да, да, Манакин, большие! Понимаешь? И ты теперь тоже большой человек.

Он понял. Он поверил мне. И я увидел, как быстро Манакин становится большим человеком. Он напыжился, подобрался, голова его приобрела странную неподвижность, будто намертво влилась в плечи, он даже попытался нахмурить свой гладкий, блестящий лоб.

— Манакин согласен, — величественно изрек он и начальническим перстом указал на стихи: — Говори, что ты здесь написал.

По-видимому, он брал меня своим ученым секретарем.

— Смотри, первое стихотворение, — это то, которое ты тогда пел. А остальные я присочинил, прибавил, чтобы получилось больше. Но они похожи на первое, я сейчас их тебе прочту.

— Хорошо сделал, — снисходительно похвалил меня начальник. — Я буду слушать.

И когда я прочитал ему все, что было напечатано в журнале, он ошеломил меня:

— Много старался, — холодно произнес он. — Манакин это лучше пел.

— Что ты врешь? — возмутился я. — Ты мне пел только то, что вначале. Я же тебе сказал, — остальное мне пришлось выдумывать самому.

Манакин посмотрел на меня с презрением.

— Я все пел. Давно пел, всегда пел. Зверь пел, ружье пел, огонь пел, снег пел, ночь пел, солнце пел, дорога пел, дети пел, дерево пел, жена пел. Ты не слышал. Больше тебя пел. Я все пел.

Для него не имела никакого значения форма, способ, собравший все эти понятия в строки, то есть то, что осмысленному тексту дает право называться стихами, поэзией. Условно говоря, в его понимании творчество (он никогда не был знаком, конечно, с таким сложным понятием) заключалось в распевании слов, означающих ряд явлений, событий, действий в том мире, где он жил. И если те или иные слова встречались в его песнях, значит, он "все это пел", то есть сочинял те самые стихи, которые сочинял и я тоже. При этом он вовсе не имел в виду свой приоритет и совершенно не думал оспаривать какое-то тонгорское первородство этих моих стихов. Просто он умел петь о том же, и то, как он умел это петь, ему нравилось больше, чем прочитанное мною. В общем, у нас начинался спор о том, что же является сущностью искусства, а как это, собственно, всегда и бывает, такой спор к самому искусству не имел никакого отношения. Я не стал Манакину возражать.

— Скажи, что я буду говорить с большими людьми? — спросил он.

— Говори о своем народе, — посоветовал я, так как примерно представлял себе, что захотят от него услышать на совещании. — Расскажи про тайгу, про охоту, про свой совхоз.

Манакин как воплотился однажды в большого человека, как уже никогда не выходил из этой роли. Собрание сибирских писателей стало его первым триумфом. Кто-то, не разобравшись, даже обозвал его народным поэтом и основоположником литературы на языке тонгор. Простой охотник благодаря мудрой национальной политике стал теперь известным поэтом — этот тезис в различных вариантах повторялся многими из выступавших. Манакин молча слушал, аплодировал вместе со всеми и выглядел очень мудро.

— Слово предоставляется тонгорскому поэту Айону Непригену, — провозгласил председатель.

Манакин с достоинством прошествовал к трибуне.

— Кругом тайга. В тайге — т'нгор, люди, — сказал Манакин. Он умолк, не находя, что говорить еще, но продолжал при этом мудро, задумчиво смотреть в зал. Литераторы переглядывались, покачивали головами, цокали языком: вот уж начал так начал, без всяких надоевших дежурных фраз! Словом — народный поэт, сразу видно.

Внезапно Манакин вскинулся всем корпусом, руки его взлетели, он крикнул: "Ш-шь-ух!" И зал вздрогнул, — настолько точно была эта имитация ружейного выстрела.

— Меха добыл, — как ни в чем не бывало, объяснил Манакин. — Т'нгор хорошо теперь будет. Деньги есть. Спирт есть.

Литераторы Сибири недоумевали только одно мгновение. А потом рассмеялись и восторженно зааплодировали. Так непринужденно шутить! Такое себе позволяет только великий Шолохов! Да-а, будь ты хоть семи пядей во лбу, а коли не живешь с народом, в гуще его, самой его жизнью, то, браг!.. Манакин невозмутимо переживал. Всеобщее ликование он прицпал как должное.

— Много меха т'нгор. Ай'н пр'иге значит, большая охота была, — продолжал Манакин. — Теперь дорога идет. Песня приходит.

Он закрыл глаза, послышался глухой топот его ног,

скрытых трибуной и, как можно было понять, переступавших там, будто тяжелой походкой шел человек с охоты. Переступая, покачиваясь, трясая головой, Манакин запел.

Потом он не раз и не два повторял этот эффектный номер и отработал его с мастерством, достойным любого артиста Малого театра. Но тогда это была живая картина, Манакин увлекся и отдался ей целиком и в течение нескольких минут пребывал в состоянии экстаза. Кончил он неожиданно: один из резких высоких звуков внезапно прервался, певец перестал раскачиваться, открыл глаза и сообщил:

— Т'нгор дом пришел.

С этого дня началось феерическое возвышение Манакина. Он перестал идти по той дороге, которая служит метафорическим символом жизни: символом жизни Манакина отныне стала лестница, и он за четыре года успел высоко забраться. В свой совхоз он вернулся членом союза писателей. Манакин сразу же вступил в партию и некоторое время провел в центре округа на каких-то курсах. После курсов — он уже заместитель директора совхоза, а еще чуть позже его забрали в райком на партийную работу. Не знаю, умеет ли он еще стрелять зверя. Пить, я думаю, не разучился, но делает это теперь с большой осторожностью, свою репутацию большого человека старается не ронять. Что же касается литературы, то он по обоюдному молчаливому согласию принимал условия, с которых у нас начиналось: я публиковал под именем Айона Непригена все, что считал нужным, а он получал гонорары и мне на сберкассу переводил половину. Иногда мы виделись — в Москве, когда его присылали на писательский съезд, на совещание или пленум; встречались и здесь, вот как в этот раз, — обсудить кое-что, поговорить, как ты понимаешь, о красотах поэзии и ее высокой роли... Но все! Больше я его не увижу.

Никольский налил в пустые рюмки.

— Что же у вас происходит, Арон? Очень миленький брак,

Финкельмайер — Манакин. И чудесный ребенок — Айон Данилович или Аронович, — кто вас там разберет. Но что же ваша семейка — разваливается? Почему?

— Мой дружок заартачился в самый неподходящий момент. Ты же слышал, он теперь заведомо культуры. Он хитрая бестия и не такой уж дурак, каким кажется.

— Я это заметил, — вставил Никольский.

— Вот-вот. Он стал осторожничать и, конечно, не зря.

Манакин чувствует, что чересчур вознесся, а чем ступенечка повыше, тем сильнее грызня, ему недолго и сорваться. Он боится теперь всего на свете и в том числе всех этих наших с ним поэтических дел. Ведь сам-то он не написал ни строчки по-тонгорски, и в любой момент кто-нибудь, если захочет его спихнуть, может этим Манакина стукнуть. А его песнопения — они хороши для простого охотника, заведомо культуры не выйдет теперь на трибуну изображать, как стреляет охотник. Да он и забыл, наверно, когда в последний раз устраивал такой спектакль... Так что Манакин здорово трусит, а мне самому эта история противна с самого начала. Конечно, я увлекся тем, что называю "непригенским стилем", мне нравилось при тех скудных средствах, какими я с самого начала себя ограничил, добиваться предельной непринужденности, простоты, ясности. Несколько десятков непригенских стихов — единственное, что мне дорого из написанного, — пока. Это всегда так: сперва дорого, потом ни на грош не ценишь. Но, по крайней мере, Непригена я печатал — мне это благодаря Манакину удавалось, и мне этого хотелось, — впервые в жизни хотелось, чтобы мои стихи читали. Тут, видишь ли, смешалось многое: Манакин злил меня и раздражал как ничего не стоящая личность; с другой стороны, он был мне необходим, поскольку служил доказательством существования Айона Непригена; и вдобавок, — признаюсь, Леня, он вызывает у меня такую дикую ревность, как если бы я знал, что этот мужик спит с моей дочерью.

Понятно из всего этого одно: давно пора кончать. Но вдруг я узнаю: Манакину предложили печатать книгу. Предложили прямо ему, издательство почтой послало ему сообщение, что чуть ли не в этом году хотят выпустить сборник стихов Непригена. А этот кретин ничего не ответил. Время идет; наконец, через Мэтра они разыскали меня. Я обрадовался: будет книга! Все непригенские стихи в нее помещу, ведь, в конце-то концов, они и писались как нечто единое, как цепь вариаций, как замкнутый в себе цикл, — и, если идти от стиха к стиху, то там будет ход Солнца, Луны и Светил над Землей, ход живого — рождение, рост, увядание, смерть, — непрерывность и вечная смена времен. Пусть будет книга, пусть ляжет на стол — и покончено с этим. Но Манакин наотрез отказывается от книги. И никакие уговоры не помогают!.. Единственное, что удалось, — заставить его приехать сюда. Я пригрозил ему, что буду жаловаться в Москве, и он согласился встретиться. Но дальше этого не пошло. Не хочет связываться с книгой, хоть ты его убей. Лишний шум ему ни к чему. Он и так уже на высокой должности. Айон Неприген для него мертв, как мертв и тот Данил Манакин, который, надравшись чистого спирта, заунывно тянул бесконечную песню. Большой человек стал Манакин.

Ходил я сегодня на почту. Дозвонился Мэтру, сказал, что так ничего и не добился, пусть сообщает в издательство, чтобы убрали книгу из плана...

— И что же Мэтр? — спросил Никольский.

— Обзывал меня, как мог. Сказал, что плохой из меня дипломат. Что не надо было орать на Манакина, а надо было вежливенько его попугать и потом обмануть.

— Пугать и обманывать буду я! — провозгласил Никольский. Финкельмайер пожал плечами.

— Манакин придет ко мне завтра с утра, потом я должен идти на зеленый, — стал прикидывать Никольский. — К вечеру ты приходишь ко мне... Но это уже поздновато, рабо-

чий день в Москве пойдет к концу. Как ты думаешь, Мэтр им сообщил?

— Мэтр?

— Ну да, он уже позвонил в издательство?

— Сегодня-то вряд ли... Что ты затеял?

— Запиши мне телефон Мэтра. Или нет, — тут же передумал Никольский, — дай мне телефон издательства.

— Леонид, пошел-ка ты...

— Дай телефон. Какое издательство?

— Да не знаю я номера! Издательство "Родина". Не совал бы ты свой арийский нос в это вонючее дело. Что ты им сможешь сказать? И кто тебя будет слушать?

— Меня? Никто. — Никольский снял телефонную трубку и набрал городскую станцию. — Я и не собираюсь говорить. Девушка? Девушка, добрый вечер. Примите, пожалуйста, на завтра Москву. Перегружено? Срочный пройдет? Значит, срочный. В тринадцать ноль-ноль по местному. Из гостиницы. Люкс. В Москве? Издательство "Родина", завредакцией поэзии. Да, со справкой, я оплачу. А будет говорить Ма-накин. Записали? Вот и спасибо. Девушка, а дежурить будете не вы? Вы? Ох, как хорошо-то! Как — чего хорошего? Еще раз услышу ваш приятный голос... Да. Очень. Всего доброго. Так ровно в тринадцать, можно рассчитывать? Тысяча приветов и — спокойного дежурства!

— Ну и ну, — сказал скучным голосом Финкельмайер. — Этот Никольский талантливый человек, вы разве не слышали — нет? Мой черкизовский сосед Илья Наумович так считал, что если мужчина умеет вежливо разговаривать с женщиной, он-таки очень много чего умеет. Так он разве не прав, как вы думаете?

Х

В люкс Манакин вошел подобранным, с нарочито скованными движениями и с улыбкой не слишком сияющей — в меру светившей. Сиял зато Никольский. Он пошел Манакину навстречу, протянув руки тем загадочным жестом, каким добродушно настроенные руководители ставят в тупик подчиненных: не то собирается тепло, двумя своими пожимать твою руку, не то по-отечески хочет обнять за плечи и вместе, вот так, бок о бок прошествовать по кабинету и вместе же опуститься в кресла и еще с минуту-две поулыбаться друг другу, чтобы в этой обстановке ласки, мира и любви услышать наконец от родного начальника: "Ну, рассказывай, слушаю, слушаю!.." И начнет горемыка рассказывать, и начальничек станет мрачнеть, и как вынет курить, чирканет зажигалкой настольной из уральского камня агата, как сверкнет он огнем аж в глаза, пустит дымом в лицо, а тебе закурить не предложит — ох, чего же, чего ж ты меня, супостат, до доклада-отчета мово приласкал, разбередил сердечко, надежду вселил, что авось пронесет, — нет бы просто, — входи, мол, садись и докладывай коротко. Ох, опасный народ руководство, то ковры пред тобой расстилает, то рулоном же ентим, ковровой дорожкой, закутанной в штуку, и шмяк! по загривку, и шмяк! и по третьему разу, как в сказке волшебной, — и шмяк! только пыль во все стороны клубом — от ковра ль, от твоей ли головушки буйной...

Вот таким-то великим и грозным начальником и предстал перед Манакиным из министерства культуры товарищ Никольский.

— Слушаю вас, товарищ.

— Очень важное дело мое, товарищ Никольский. Как рас-

сказать не могу, — заметно волнуясь, начал Манакин. — Под... по... как это? по... По-со-дей-ствуйте! — вспомнил он райкомовское, верно, слово и нелегко вздохнул. — Говорил уже, отделом культуры буду заведующим, да-а. Большая работа, да-а. Много время. Тут надо много, да-а, — показал он на голову. То есть думать много придется на новой работе.

— Справитесь, Данил Федотыч! — по-генеральски твердо отчеканил Никольский. А для пущей значительности, смягчив голос до интонации уже проникновенной, сказал: — Вам партийное руководство доверяет. Как можно — не справиться!

У Никольского к горлу даже комок подступил: так это хорошо прозвучало, а ведь говорили ж ему, говорили когда-то, чтобы пытался в актеры, все данные были!.. И Никольский опять, в который раз за эти дни, горько себя пожалел.

— Хорошо понимаете, хорошо! — воодушевился Манакин. — Справиться надо. Большая должность. Другая должность можно освободиться однако?

Последние слова прозвучали как-то смазанно, и смысл их до Никольского не дошел.

— Не понял? Должность — что?...

— Другая должность. Освободиться хочу просить. Справиться надо. Руководство партийное назначило, правильно говорите — справиться.

— Позвольте, какая другая должность? Разве от должности инструктора вас не освободили?

— Освободили инструктора, освободили! Другой должность работал, другой линии, культуры линии работал, говорил, товалисникосски, четыре года. Большая должность — заведующий, да-а. По-со-действуйте, товарищ Никольский. Очень благодарить хочу.

”Добрались!” — облегченно подумал Никольский, и, словно почувствовав, что в зрачках его зажегся хищный блеск, он опустил глаза.

”Вот это номер!” — наскоро соображал он. Первый народный тонгорский акын слагает с себя бремя славы. Так, значит, не в книге одной только дело! Старина прилично наложил в штаны. Или видит далеко впереди своей биографии.

— Что-то я вас не очень понимаю, Данил Федотыч, — огорченно сказал Никольский. — Тут нам с вами надо разобраться. О чем же — конкретно — вы меня просите?

— Заявление есть. Очень вас беспокоить надо. На место попасть заявление надо, союз писателей надо. Попросить как хороший начальник министерство культуры, товарищ Никольский. Посодействуйте.

— Ах, вот оно что! Вы хотите, чтобы я взял ваше заявление, передал его куда следует и, как говорится, замолвил за вас словечко? посодействовал, чтобы правильно было все решено? Так я вас понимаю?

— Так понимаете, так! Хорошо понимаете!

— Какое же заявление?

Манакин с несвойственной ему быстротой выхватил из внутреннего кармана обширного пиджака бумагу, бережно развернул ее и протянул Никольскому. Тот прочитал отпечатанный на машинке текст, кое-где выправленный от руки:

Заявление

от Манакина Данила Федотовича, псевдоним Айон Неприген, поэт.

Прошу освободить меня от состава поэтов Союза Писателей по собственному желанию. В настоящее время веду важную Партийную работу, которая не позволяет работать как поэт из-за отсутствия время и по состоянию здоровья.

Манакин.

— Ну, Данил Федотыч, знаете ли! — искренне удивился Никольский. — И как вам такое в голову могло прийти? Кто ж это вас освободит?

— Очень вас беспокоить. Поэтому, — настойчиво повторил Манакин. Он, видимо, знал из каких-то источников, что заявление не из числа обычных. — Надо освободить. Большая работа. Культурный фронт важный.

— Я понимаю, но чем же мешает вам членство в союзе? — продолжал свое Никольский.

— Мешает, правильно говорите, мешает. Первый поэт т'нгор, один только поэт, всегда зовут. Делегат надо; послать надо; доклад надо. Представитель малая народность — поэт. Время нет, по состоянию здоровья — так написал. Другое написать надо?

Вопрос Манакина остался без ответа, потому что Никольский глубоко раздумывал, вперив свой взор в заявление. Так и заговорил он, не отрываясь от бумаги, которую держал перед собой.

— Что скажу вам, товарищ Манакин, — начал Никольский, и голос его смодулировал в басовый регистр, отчего приобрел не только государственное, но, можно сказать, историческое звучание. — Что вам скажу. Не дело. Так не годится, товарищ. У нас такое не принято. В нашей стране писатель, поэт — человек уважаемый. Люди искусства! — они в нашей стране окружены почетом, заботой.

— Хорошо говорите, хорошо! — решил было подкинуть Манакин, но Никольский с холодной вежливостью оборвал:

— Повремените, Данил Федотыч. Повремените. Если я для вас авторитет. — И Манакин каменно обистуканел.

Никольский выдержал паузу.

— И мы, и там, еще выше, — он многозначительно указал пальцем на потолок, — делаем все, чтобы создать соответствующие условия. Народу нужна культура, народу нужно искусство, и оно ему принадлежит, как указывалось, — вы знаете. А тем более малая народность. Гордиться надо, товарищ Манакин. Вам оказана честь. На всю вашу народность только один член союза писателей — и вы хотите от этого от-

казаться? А что подумает народ? А там, — Никольский крутнул головой куда-то вбок, но движение это имело тот же смысл, что и указующий в потолок палец, — там что подумают? А если подумают, что товарищ Манакин вот так же и с партийным билетом? А?

Последовала еще одна драматическая пауза, такая гнетущая, что Никольский и сам испугался. Пора было малость стравить через клапан.

— А я-то наоборот считал. Хотел кое-что устроить для вас, товарищ Манакин. Теперь даже и не знаю, — огорченно сказал Никольский и отметил, что Манакин шевельнулся, но не решился ни о чем спросить. — Я ведь тут по вашему поводу в Москву звонил. Очень вы вчера на меня хорошее впечатление произвели. А после такого заявления... — Никольский со вздохом оттолкнулся от спинки кресла, устало подался вперед и небрежно, словно метнул игральную карту, бросил заявление на стол.

Никольский печально посмотрел на Манакина, тот понял, что обстановка немного разрядилась и хрипло спросил:

— Что хотели, товалисникосски? Москва звонили?

— Хотел как раз обратного, вот что я хотел. Укрепить ваше положение думал. Ведь я же знаю, слежу, — я же вам говорил, — по печати курирую. Так вот я и помню, что Айона Непригена в союз писателей приняли, так сказать, авансом. Так сказать, в счет будущих успехов. Правильно?

— Почему с авансом, не знаю, что такое, товалисникосски? — заволновался Манакин.

— Вступить в союз, в такую почетную организацию, не так-то просто. А вас как первого тонгорского поэта приняли сразу? Было опубликовано только несколько стихотворений, так? Вот видите. Я в курсе. И вот я подумал вчера, после нашей беседы: надо посодействовать, подсказать в Москве, чтобы там издали книгу произведений Айона Непригена!

Никольский смотрел на Манакина с великим самодовольством. Тот бегал глазами, губы его шевелились, и эта растерянность выглядела так, будто он ошалел от неожиданного счастья.

— Зачем... книга однако? — прохрипел наконец Манакин.

И тут Никольский перешел на тон вовсе доверительный. Он мгновенно стал другом Манакина — искушенным, многоопытным другом наивного человека, которого следует просветить, научить уму-разуму;

— Да поймите, Данил Федотыч. Я устрою вам книгу, выйдет она из печати, и живите себе спокойно. Никто вам слова не скажет, что вот, мол, поэт, а не пишет, не занят творческой работой. А вы на это в любой момент: что от меня хотите, товарищи? Пожалуйста, вот она — книга. Труд большой, Москва напечатала. Вот оно мое творчество перед всем народом, все на виду. Оправдал честь, оправдал доверие. Теперь по партийной линии работаю. Кто знает, может быть, когда-нибудь еще одну книгу напишу. А пока — некогда. Другим важным делом занят. Как Вилис Лацис — слышали? Председатель Совмина Латвии, не кто-нибудь! А ведь тоже писатель одновременно.

Никольский взглянул на часы.

— Вот что, товарищ Манакин. Сейчас мне позвонят из Москвы. Возьмите у меня трубочку. Обо мне — ни слова. Ни-ни. Вслух о таких вещах говорить не надо — мол, товарищ Никольский посодествовал. Ни к чему это. Кто надо — тот знает. Возьмете трубочку, представитесь. Будете говорить с заведующим редакции. И скажете: я, Манакин Данил Федотыч, так и так, согласен на предложение издать сборник стихов. Принимаю предложение с благодарностью.

Именно в этот момент и раздался звонок, и Никольский с улыбкой преуспевающего гастролера-факира снял трубку.

— Девушка? Здравствуйте, милая. Да-да-да, спасибо. Завредакцией? Прекрасно, соединяйте.

И он протянул трубку Манакину.

— Алле, — сказал Манакин. — Алле. Манакин. Да. Манакин. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Есть мое согласие, да. Можно, да. Набор, да. Согласен. Спасибо, товарищ. Спасибо. Да. Хорошо, договор. Соглашение Финкельмайером понимаю. Личное, да. Подписать вдвоем. Сегодня, понимаю. Хорошо.

Платок он вынуть не успел, лившийся по его лицу пот размазывал рукой, и казалось, что это слезы.

Когда он ушел, повторяя, как заведенный: "Спасибо. Спасибо, товалисникосски", у двери на стуле Никольский обнаружил восемь собольих шкурок. Вечером, когда пришел Финкельмайер, Никольский четыре из них отдал ему — для Дануты или жены — сам разберется, а четыре другие бросил в свой портфель...

XI

На следующий день Финкельмайер пропал, — жил, по-видимому, у Дануты, которая была свободна от дежурства. Во всяком случае, в гостинице Никольский ее не встречал. А как-то рано утром Арон постучал к Леониду, и они наскоро попрощались: Финкельмайер улетал по своим рыболовным делам куда-то дальше — к морю, на Восток. Еще раньше исчез Манакин — в тот же самый день, когда после заклинаний Никольского приказавший долго жить Айон Неприген воскрес из мертвых.

С неделю Никольский сидел на "зеленом" заводе и к концу ее, посоветовав конструкторам, как им обойти американцев, решил, что хватит, пора домой. Никольский отправился на аэродром, встал в хвост у билетной кассы и вдруг среди толкотни, которая образовалась в зальчике после прибытия

какого-то самолета, увидел Финкельмайера. Никольский окликнул его, и тот остановился, беспомощно озираясь поверх голов. Его толкали и тыркали углами чемоданов, и это продолжалось до тех пор, пока Никольский не подошел и не потянул его за рукав.

Стали договариваться лететь в Москву вместе, но когда выяснилось, что Никольский стоит за билетами на сегодняшний рейс, Арон принялся усиленно доказывать, что лучше отправиться им не сегодня, а завтра. И самолет вроде бы лучше, и экипаж будет не местного, а московского управления, да и вообще он очень устал.

— Финкельмайер, ты врешь, скучно слушать, — сказал Леонид. — Ты хочешь урвать еще одну ночь с Данутой.

— Вы удивительно догадливы, эксперт! — обрадованно воскликнул Арон.

Назавтра аэродром закрыли, и они застряли как следует. Никольский томился бездельем и днем обычно заваливался поспать. Финкельмайер же часа на два-на три устраивался в дежурке у Дануты и что-то там отстукивал на машинке, которую брал в гостиничной канцелярии. Скоро не стало денег: они проели и пропили все до копейки, и их подкармливала Данута. Когда у нее бывало ночное дежурство, Арон проводил вечера у Никольского в люксе. (Из-за погоды или после обкомовского актива у местных властей пошла, надо думать, спокойная жизнь, потому что люкса никто не заказывал.) Допоздна то болтали, то резались в шахматы, и, разумеется, Финкельмайер оставался ночевать, и опять, как в тот, в первый раз, Никольский устраивался на кушетке, но ворчал теперь вслух, потому что его отношения с Аронем находились уже на той стадии, когда друг другу можно говорить любые гадости, не боясь, что на тебя обидятся:

— Я бы тебя уложил на эту собачью кушетку, — цедил всякий раз сквозь зубы Никольский. — Из-за чего это должен я уступить мое помпадурское ложе? Из-за того, что к

тебе прибежит Дульцинея? А в ресторанчике, знаешь, какая Галочка есть? В конце концов, я бы мог пригласить ее, и тогда бы тебе пришлось дрыхнуть на этом занюханном драматине.

— Галочка из ресторана? С золотой фиксой? Кто ж ее здесь не знает? Вполне возможно, что она уже не раз бывала на этом ложе.

— Галочка? Старый похабник! Это сама невинность!

— О вей'з мир! Вы слышите, что говорит мне этот мишугенер? Леонид, если я буду громко смеяться, ты не уснешь!

Однажды среди ночи раздался какой-то безумный грохот, Никольский вскочил, ничего не соображая. У Арона горел свет, там падали стулья. Никольский в одних трусах и майке бросился к дверям.

Посреди большой комнаты Финкельмайер безнадежно старался принять позу Шалапина в роли Мефистофеля (из одноименной оперы Бойто на сцене театра Монте-Карло в 1908 году): Арон крутился, заворачивая свое голое тело в одеяло. Вокруг него летал мелкий и крупный гостиничный инвентарь. Перепуганная Данута стояла у кровати, причесываясь и одновременно застегивая на груди пуговицы форменного жакета. В распахнутых коридорных дверях громоздился бедовый, ядреный, веющий морозом сибирский парень-красавец в овчинном полушубке. Он протопал в комнату медвежьими унтами, скинул ушанку — только что не хлопнул ею оземь и, кивнув — поклонившись на обе стороны, обратился к вечу:

— Народ! Москвичи! — так начал он. — Погоды не было и не будет. Есть окно часа на два. Можем проскочить. Полетим? — И так как сонный народ молчал, пожаловался плаксиво:

— Хоть двух пассажиров, не выпустят иначе. А надо в Москву, во как надо! Сколько нам загорать? — И он принялся уговаривать: — Вы не думайте — некоторые канючат — ма-

ленький, да ночной, да посадок много, то да это. А что маленький? Что ночной? Четыре посадки, сели — взлетели и дальше пошли. К утру в Быковском. Ну как, народ?

— Баба сеяла горох, прыг-скок! — сказал Никольский, зевнул и стал надевать рубашку. Данута поняла так, что он сказал что-то неприличное и очень мило порозовела.

Часом позже трухлявый "Ил" с урчанием влачился по черному небу и подслеповато помаргивал бортовыми огнями. Двум пассажирам не спалось. Никольский возился с содержимым портфеля — приводя в порядок вещи, которые наспех в него побросал перед выходом из гостиницы.

По соседству Финкельмайер занимался тем, что перебирал отпечатанные на машинке листы. Он без конца тасовал их и складывал стопкой у себя на коленях. Но подобранная пачка норовила сползти на пол, листы, судя по всему, запутывались все более, и Никольский расхохотался, наблюдая, с какой тоскливой миной мучается Арон.

— Давай, помогу, — великодушно предложил Никольский. — Сколько экземпляров?

— Три. Но дело в том, что я забыл нумеровать страницы и...

Никольский взял в руки разрозненные листы, взглянул мельком...

— Так это что, извини, Арон — твое? — осторожно спросил он. — Я вижу — проза?..

— Да по твоей же милости пришлось, — сказал Арон с некоей капризностью? или с жалобой в голосе?

— То есть — что?..

— Ты сам меня раз... как? — разговорил — или лучше — *я раскололся!* — стал рассказывать. — От Черкизова до в/ч номер два сорок три восемь дробь — ну да ладно... Отстукал, чтобы освободиться. Это со мной постоянно: записать — и тогда уже не мешает.

— Вон что... — протянул Никольский. Листочки манили

его, и он уже ухватил тут и там по несколько строк. — Слушай-ка, я соберу их? По порядку? А если позволишь, чтобы я читал...

— Да отчего же — читай, тут видишь ли, так и было: я тебе рассказывал — помнишь? —

— Помню, конечно, я помню, не надо и спраши —

— и вот в голове продолжение и застряло — и мешает, потому что, видишь ли, такая глупость, — оказалось, если не рассказал — это то же самое, что не записал — ужасно мешает!

Все это Арон выговаривал с усилием, — как человек, смущенный необходимостью говорить о своей постыдной слабости, о неприятной болезни или о тайном проступке.

— Арон, если ты позволяешь... Ну и спасибо. Это, я вижу, начало, — давай мне всю пачку, я разберусь, разберусь, не беспокойся!

С явным облегчением освободился Финкельмайер от бумаг и, успокоенный, вскоре заснул. А Никольский медленно переворачивал страницу за страницей, читал, складывал их, поправлял аккуратные стопки и снова углублялся в чтение, и среди шума моторов то и дело чудилось ему, что звучит рядом голос Финкельмайера. Тогда Никольский вскидывал голову и взглядывал на соседа. Тот спал с завидной безмятежностью...

XII

В армии (продолжение).

Редакция нашей армейской газеты помещалась в том же корпусе, где и клуб. Там же была и библиотека. Ведала ею Ольга Андреевна — так, по имени-отчеству, библиотекарьцу

звали все, несмотря на то, что была она совсем молоденькой девушкой. Она держалась совершенно замкнуто, редко позволяла себе проронить какие-то слова, кроме необходимых при работе на абонементе. Она и жила не просто одиноко, а изолированно от окружающих: заперев библиотеку, Ольга Андреевна отправлялась домой, и никогда не случалось, чтобы кто-то увидел ее на киносеансе или хотя бы в продуктовом магазине. О том, почему она добровольно избрала себе отшельническую жизнь, гадать не приходилось: библиотекарша была кривобока, фигура ее выглядела перекрученной так, словно чьи-то гигантские чугунные пальцы схватили с жуткой силой, сжали девушку в кулаке, а потом отпустили ее...

Летом, поверх свободного платья или рабочего халатика, а зимой даже и поверх шубы она носила длинную, с бахромой до самой земли, старомодную шаль — укрывала от людских глаз свое уродство. Ходила она, резко заваливаясь при каждом шаге назад и в сторону, и всегда казалось, что она вот-вот упадет. А лицо у нее, даже погасшее, с привычным, нарочитым безразличием на нем было хорошим, правильным, и его холодное выражение даже привлекало — как привлекает высеченное из камня лицо какой-нибудь египетской царицы. Но эта привлекательность вместо естественного интереса к молодой девушке рождала лишь жалость — еще большую, чем если бы лицо Ольги Андреевны было безобразно, или если бы она казалась глупенькой. Однако она обладала умом настолько трезвым, а чувством настолько острым, что даже не подымая глаз знала, что именно так — с жалостью и тоскливым страданием — смотрят на нее мужчины — приходившие в ее библиотеку военные.

Библиотекаршей она была добросовестной. Ольга Андреевна внимательно следила за появлением книжных новинок и старалась заполучить для библиотеки все лучшее из того, что выходило из печати. Однако страна испытывала тогда

двойной голод: не хватало хлеба, мяса, молока и не хватало книг. Конечно, хороших книг, потому что дряни было полно и тогда. А хуже всего обстояло дело с изданием стихов — не тех, что писали присяжные поэты-борзописцы во славу Великих Сталинских строек коммунизма и опять же Сталинского плана преобразования природы, — а с изданием настоящей поэзии, той, с которой познакомил меня Мэтр.

Единственное, что смогла мне дать Ольга Андреевна, — это однотомник Блока. Станным образом оказалась в библиотеке и маленькая книжечка Пастернака — может быть, потому оказалась, что в этом сборничке 1945 года были и военные стихи. Я добросовестно перечитал и всю поэтическую классику, какая только нашлась в библиотеке, принялся за восьмитомник Шекспира: я резонно рассудил, что и Шекспир поэт.

Однажды, когда я менял книги, Ольга Андреевна молча протянула мне многотиражку с только что напечатанным очередным стихотворным опусом рядового А. Ефимова.

— Я слышала, что это вы? — низким, красивым, но безразличным голосом вдруг не то сообщила, не то спросила меня библиотечарша.

— Да, — говорю. — А что?

И взглянул на нее. В этот миг она подняла глаза, черные, полные бездонного мрака — я видел ее глаза впервые, — и внезапно они сверкнули таким презрением, что я обомлел.

— Блока читаете... — чуть не по слогам, с издевательской интонацией процедила она и, ничего к этому не добавив, протянула очередной том Шекспира.

Я почувствовал, что пылаю. Из библиотеки вылетел, охваченный ненавистью к этому жалкому существу. Стыд сжигал меня, я не мог найти покоя, пока не схватил папку, в которую складывал перепечатанные на машинке свои "настоящие" стихи — их было тогда уже штук тридцать — и помчался обратно в библиотеку.

— Вот, почитайте, если вы такой тонкий знаток! — со злостью швырнул я ей папку. — Только эти стихи не какого-то Ефимова, а Финкельмайера, там под каждым стихом моя подпись!

Не удостоив меня ни взглядом, ни словом, она, поразмыслив минуту, выдвинула ящик стола, небрежно сбросила в него папку и принялась копаться в абонементных карточках.

Я перестал ходить в библиотеку. Не было охоты. Но спустя месяц мне в редакции вручили открытку со стандартным посланием: "Товарищ Финкельмайер А.М.! За вами числится задолженность в библиотеке. Просьба явиться немедленно. В случае вашей неявки будет подано соответствующее отношение по команде".

Делать нечего, явился. Ольга Андреевна, увидев меня, торжествующе ухмыльнулась, но тут же стала серьезной, и я услышал этот ее меланхолический низкий голос:

— Вы не заберете свою папку.

Слова ее прозвучали так, что я не мог уразуметь, сказано это утвердительно, или она спрашивает меня. Я промолчал. Пауза была долгой и неловкой. Потом она сказала тихо:

— Вам нужно читать поэтов. — Опять я не понял, вопрос это или утверждение, — видно, такая уж у нее была манера.

— Скажите мне, чьи книги вы хотите прочесть.

Я пожал плечами, назвал десятка полтора поэтов.

— Но что толку перечислять, ведь всего этого не достать.

Вместо ответа она протянула мне карточку, чтобы я расписался за обмененного Шекспира. Я ушел. Папку мою она так и не вернула. Я снова стал часто бывать в библиотеке, но Ольга Андреевна ни к каким разговорам не возвращалась, тем более, что обычно в одно время со мной у нее оказывался еще кто-нибудь из читателей. Но однажды — как раз в библиотеке было пусто — она сказала:

— Завтра воскресенье, вам дадут увольнительную. Вы можете мне помочь.

Я уже немного научился ее понимать, и до меня дошло, что в последней фразе заключен вопрос. Но я очень удивился, не сразу ответил и увидел, что лицо ее искажено гримасой мучительного страдания: она вынуждена была просить о помощи!

— Ну да, — как можно беспечней ответил я. — Что прикажете сделать? Я полностью к вашим услугам. — И уж совсем паясничая, я выпучил глаза, согнулся и замер в поклоне.

Боже мой! Она засмеялась. Наверно, я и в самом деле был очень смешон, если она засмеялась.

— Да разогнитесь же, хватит, сломаетесь! — велела она.

Я выпрямился и успел увидеть, как быстро лицо ее замыкалось, становилось неподвижной, окаменевшей маской. И я понял, почему произошла эта резкая перемена: ее смех, ее слова "разогнитесь, сломаетесь", обращенные ко мне, рикошетом ударили ее саму — согнутую, изломанную калекку, которая никогда не сможет разогнуться...

На следующий день в маленьком клубном автобусике по безумной апрельской дороге мы с ней куда-то поехали — нет, поплыли, забрызганные по самые автобусные стекла коричневой грязью. Однако шофер свое дело знал, и часа через два добрались мы до полустанка железной дороги. К нам вышел дежурный дед, дал Ольге Андреевне расписаться в засаленной амбарной книге, мы с шофером взяли три тяжелых огромных ящика и с трудом втащили их в автобус. Тронулись обратно, завязая в грязи пуще прежнего, разочек несильно засели, вылезли и уже к вечеру прибыли в наш военгородок. Шофер остановился было у клуба, но Ольга Андреевна приказала подъехать к ее дому. Внесли ящики в небольшую квартирку, но когда мы собрались ретироваться, она сказала, обратившись к шоферу:

— Вы свободны. Спасибо. А вы (я то есть) — можете еще поработать.

— Можем, — говорю.

Солдатик-шофер вышел, протарахтел за окном мотором, Ольга Андреевна скрылась в комнате, возится там, раздевается, наверно... Я стою в темноте прихожей, привалившись к этим ящикам, — мы их взгромоздили друг на друга, иначе бы по коридорчику не пройти, — было тихо, из-за двери пробивался слабый свет... мне вдруг стало покойно: жильем — человеческим жильем повеяло, уютным, женским, может быть, или просто — обыкновенным бытом, а не казарменной казенщиной, где все пропахло густою смесью пота с карболкой... Я стоял в темноте и в самом деле — смешно признаться! — принюхивался к жилью, пробовал его, — ну вот так, как, смакуя, пробуют незнакомое вкусное блюдо. Свежим бельем пахло, флакончиками какими-то — пудрами и духами; чем-то кожаным — дамской сумочкой? Пахли с холода и сосновые ящики у меня под боком — я аж глаза прикрыл, только дышал себе и дышал...

Она, я думаю, дверь прикрыла и, загородив собой свет, уже давно, наверно, смотрела на меня, дурака, как я стою и принюхиваюсь к ее квартире своим длинным носом — я встрепенулся, только когда она сказала негромко: "Входите, Арон, входите, пожалуйста..."

Я потоптался:

— Сапоги, смотрите, — на них по полпуда грязи...

— Так снимайте!

Опять мнусь.

— Портянки, — говорю.

— Придется в портянках, мои шлепанцы вам и на пальцы не налезут.

О черт, все ей объяснять надо!

— Портянки-то, — говорю, — мало того, что не эстетичны, еще и разматываются, если ходить в них без сапог.

— Понятно, — отвечает Ольга Андреевна, опять скрывается, слышно, что-то там выдвигает, чем-то звякает и снова появляется передо мной, держа в руках... два кусочка ре-

зинки – этой самой бельевой резинки, на которой и у нас, мужиков, и у них, у баб, трусы держатся. Весьма интимное изделие галантерейной промышленности. Но хозяйку это нисколько не смущало, она даже с явным интересом наблюдала, как я стаскиваю сапоги. Портянки мои по случаю вчерашней субботней бани не слишком благоухали, я взял у Ольги Андреевны резиночки, подвязал – в результате мы обменялись вежливыми репликами, из коих следовало, что оба очень счастливы тем, как это оказалось удобно – укрепить портянки резинкой... Затем выяснилось, что мне нужно снять и шинель и "пока" идти в комнату, "а я пока", говорила она, "пойду на кухню, вы пока осваивайтесь". Я осваиваться побоялся и торчал в коридоре, опять же, пока она не вышла из-за ящиков со свертками в руках, – как можно было сообразить, со снедью.

– Стесняетесь, – усмехнулась Ольга Андреевна.

– Девичья обитель, знаете ли... – ответил я и почувствовал сразу, что сморозил глупость: очень уж пошло это прозвучало, не к месту, не нужны были эти игривые слова ни мне, ни ей. Она бросила на меня быстрый взгляд, распахнула широко дверь и прошла вперед. Прошел и я в ее комнату. Обставлена она была необычным образом. Точнее, была обставлена лишь половина комнаты, ее дальняя часть, та, что примыкала к окну, расположенному напротив дверей. А ближайшая к двери половина оставалась совершенно пустой. Поперек, почти посреди комнаты, стояла кушетка, которая, собственно, и делила помещение на две части. Уже это выглядело достаточно странным. Но если учесть, что комната была небольшой, метров четырнадцать, то становилось и вовсе непонятным, зачем понадобилось всю мебель размещать на искусственно стесненном пространстве? Только потом я сообразил, какой в этой затее был смысл. В центре заставленной мебелью половины помещалось кресло, в которое Ольга Андреевна и села, едва мы в комна-

ту вошли. У кресла отсутствовала одна из ручек, что, как я понял, было удобно владелице: она садилась в него, заходя сбоку, и так же вбок перемещала ноги, готовясь подняться, вернее, соскользнуть с кресла. Подобным образом, как мне вспомнилось, она опускалась на стул и вставала с него, когда работала на абонементе: бочком, будто на мгновение присаживалась, чтобы тут же встать...

Около кресла помещались низкий столик с зеленым сукном — из тех, что называют ломберными, да он, похоже, и был ломберным, но с укороченными ножками; книжная вертящаяся этажерка, тоже старинная, частью забитая книгами, частью всякими женскими принадлежностями — шкатулочками, баночками, пузырьками, стояло на одной из полок и зеркальце; маленький комодик, из которого Ольга Андреевна, не встав с места, вынула скатерку, пару тарелок, нож, вилки и стала все это устраивать на столике. Мне указано было сесть напротив, на кушетку, — больше сидеть было и негде, так как на гостей тут явно не рассчитывали. И вот увидев, как быстро Ольга Андреевна справляется с хозяйственными делами, оставаясь почти неподвижной, — двигались только ее проворные, красивые руки, — я и понял, до какой степени удачно устроила она свое жилье. А позже я убедился, что любимое кресло было для Ольги Андреевны больше чем просто удобным, уютным местечком, которое лишний раз не хочется покидать. Оно обрело для нее значение некоей скорлупки, панциря, улиточного домика, и, залезая в него, она чувствовала себя спокойной, уверенной, держалась проще, естественней, чем когда находилась вне его. Тогда ее панцирем становились холодная маска на лице, резкость и немногословие...

Ну ладно, что это я взялся расписывать ее кресло? Хотя, что же, — она такой и запомнилась мне, глубоко в нем сидящей, и вот еще в чем дело: оно, это кресло, скрывало ее уродство, это самое главное. Ну и добавлю, что внизу, под

оборками, — сидение было обшито оборками — как потом оказалось, имелись колесики, и Ольга Андреевна могла, оттолкнувшись ногами, подкатить в своем кресле к окну или к одному из двух низких шкафов, стоящих по стенам, — к книжному или платяному.

На полу у ее ног, на круглой электрической плитке уже посапывал чайник, на тарелках один за другим появлялись отлично сделанные бутерброды, — предстояла совместная трапеза, что вызывало у обоих тщательно скрываемую недовкость. Ольга Андреевна поинтересовалась, до скольких часов я свободен.

— Хотя всю ночь, — ляпнул я ей в ответ. Опять, произнеся это, я понял, что сказал глупость и смешался. — То есть нет...

— Я вас надолго не задержу, — сухим, нарочито скрипучим голосом остановила она меня, и лицо ее замкнулось.

— Нет, нет! — с жаром бросился я оправдываться. — Я не то!.. Я вот что — у меня вольный режим, комната своя, вот я о чем, а не то, что обязательно на всю ночь!.. Я не хотел сказать, я хотел...

Тьфу! Городил я, путался, тошно было, каким кретином я выглядел... Однако что любопытно: чем больше чуши я плел, тем более менялось выражение лица Ольги Андреевны: каменная гримаса исчезала, появлялась чуть заметная улыбка — ироничная и одновременно самодовольная... Она торжествовала! Да, да! — ей становилось легче от того, что для кого-то стала причиной — она стала причиной! — смущения, кто-то рядом с ней испытывал боязнь непонимания, невозможность найти контакт с другим человеком — и потому отращивание к себе, желание провалиться сквозь землю, — такие знакомые ей чувства!..

И вдруг я сделал открытие: мы с ней будем дружить.

— А знаете, Ольга Андреевна, чай и бутерброды — это очень здорово, — отбросив прочь все, весело сказал я. — Я жутко голодный!

На мгновение ее руки, занятые хлебом с маслом, замерли. По тому, как запрыгал блик на лезвии ножа, я увидел, что пальцы у нее вздрагивают. Потом я поднял взгляд — она улыбалась мне жалобно, в глазах стояли слезы.

— И я... тоже... жутко голодна... — произнесла она тихо и тихо же рассмеялась. — Вот и поедим.

— Поедим! — согласился я и предложил уже совсем смело: — Давайте, наливать буду я. А заварочка где? Вот она где, заварочка...

Спустя полчаса на плитке посвистывал уже второй чайник. Я сидел с расстегнутым воротничком, Ольга Андреевна спустила и уложила на коленях шаль, и теперь, глядя на нее, никто бы и не мог подумать, что у этой юной девушки есть какой-то физический недостаток: у нее был гибкий торс, красивая линия шеи и плеч, небольшая грудь — милое сочетание девичьего с мальчишеским. Болтали мы не переставая. Не помню как, почти с самого начала разговор скатился на школьные воспоминания — какие у кого были учителя, как над ними издевались у нас, в мужской школе, и у них, в женской. Я искренне удивлялся тому, что девочки в рассказанных ею историях оказывались не менее злы и жестоки, чем моя черкизовская шпана.

— Девочки вообще дуры и дрянь, — презрительно сказала она. — Я только с ребятами и водилась. А вы, небось, девчатником были?

— Я — девчатником?

Я расхохотался, потому что ничего более дикого нельзя было придумать.

— А что? — критически, очень по-женски, поглядела на меня Ольга Андреевна. — Вы девчонкам должны были нравиться.

— Ага, вы же сказали, что все они дуры.

— Ладно, будет меня на слове ловить. И довольно чаевничать. Займитесь-ка лучше ящиками. Надо их разгрузить.

С первым ящиком я долго не мог справиться: нечем было его открыть. Как выяснилось, ни топора, ни молотка, ни завалящей, хотя бы, стамески или отвертки в доме не водилось, нож, который я подсовывал под крепко сбитую из великолепных досок крышку, отчаянно гнулся и вот-вот грозил сломаться. Изодравшись в кровь, насажав себе с десятков заноз, я отправился на кухню и в поисках подходящего предмета обратил внимание на мусорный совок. Вогнал его под доску, пошатал вверх и вниз, — гвозди заскрежетали, и доска поддалась. Вышла из комнаты Ольга Андреевна.

— Первое, что вытащите, — подарю вам, — заявила она.

Похоже, я догадывался о содержимом ящиков и не ошибся; не ошиблась и моя рука, нащупавшая под слоем фланели пухлый, небольшого формата томик. Я не успел и рассмотреть его, как Ольга Андреевна уже сказала:

— Гейне. Полный академический. Черт вас возьми, вы везучий! Жалко отдавать.

Я замахал руками:

— Да не собираюсь я опять вас ловить на слове! — говорю.

— И потом... Разве это все — ваше?

Она только усмехнулась.

И начал я разгружать ящик — вытаскиваю одну книгу за другой, открываю титул, заглядываю в первую страницу, в середину, листаю назад и читаю, читаю, читаю, вдруг чувствую, что все тело мое затекло, — оказывается, долго уже стою, замерев в неестественной позе. В коридорчике темно-вато, так я то и дело застреваю в дверях, обращая страницы к свету потолочной комнатной лампы. Где-то поодаль и Ольга Андреевна утыкалась в тот или в этот томик — все они были ей знакомы, она быстро узнавала их и бросалась, вероятно, к любимым, искала свои, ей известные строчки. Иногда я ловил на себе ее взгляд, сперва испытующий — с ревностью, настороженно поглядывала она, как я держу, как их листаю, как вчитываюсь в ее книги — ее не по при-

надлежности, а ее по тому пережитому ею, что ложилось когда-то на эти страницы, когда она их читала и перечитывала, и что оставляло под переплетом печать куда как более значимую, чем факсимиле собственника — печать незабытого настроения, печать воспоминаний, печать отошедшего прошлого... но потом она стала смотреть с улыбкой грустной и снисходительной: я пришел в возбуждение, набрасывался на книги алчно, не положив просмотренной, брал и еще и еще, раз до меня донеслись какие-то невнятные звуки — не то хрипение, не то стон — оказалось, я же эти звуки издаю в восторге и муке блаженства, сравнимого лишь с любовным, — если поэт изливается в высшем экстазе — только поэту же и дано вместе с ним перечувствовать!..

Эти три ящика заключали такого тщательного подбора и такой полноты поэтическую библиотеку, какой мне никогда не доводилось больше встречать. Русская поэзия, начиная с Хераскова, с роскошно изданных столетие назад Державинских од и Жуковского была затем представлена, я думаю, всеми сколько-нибудь известными поэтами XIX века. Я уж не говорю о Мее или Фофанове, о существовании которых и не подозревал, — был там, например, барон Розенгейм в толщенном красном сафьяне... Плеяда поэтов рубежа нашего века, начиная с Анненского, потом символисты, Блок.. Тонкие книжицы и брошюры, аккуратно, по несколько сборников одного поэта были вставлены в картонные крышечки — папки, обтянутые мягкой пепельно-серой материей. Футуристы и ранний Маяковский, — а собрание Хлебникова начала тридцатых годов? — позже мне встречались только отдельные томики. Ну и, конечно, довоенные "малая" и "большая" серии... Было там все: были греки и римские поэты в нескольких антологиях; были французы в переводах и в подлинниках — Мюссе и Гюго, Ла-Мартин, Прюдом, Бодлер, Верлен и многие, многие — французов не перечислить, и я их слишком люблю (со школы я малость знал

французский, так я потом подзаялся, чтобы научиться их чуть-чуть понимать); немцы — Гете, и Шиллер, и Гейне, англичане — Шелли, огромный том Байрона, американец Уитмен в переводах Чуковского!..

Когда Ольга Андреевна сказала, что я был прав, что мы действительно досиделись до полуночи, я все не мог взять в толк, чего ей от меня нужно. Взглянул на часы, ахнул и, руководствуясь указаниями хозяйки, стопками уложил книги на полу — в передней, свободной части комнаты.

— Хорошо, Арон, спасибо, я уже совсем засыпаю, так что давайте-ка вы отправляйтесь восвояси, — стала выпроваживать меня Ольга Андреевна, явно стараясь показать, что мы с ней друзья, свои люди, и непринужденно-бесцеремонный тон в обращении друг к другу теперь вполне допустим. — Что хотите взять с собой? Берите.

— Одну?

— Сколько угодно. Прочитаете — приходите за другими.

Я взял с полдюжета книг, завернул их в газету, наскоро простился, побежал к себе. Повесил на крючок шинель, стал снимать сапоги — оказалось, они чисто вымыты и протерты жирным... Кинулся на кровать не раздеваясь — и читал, не остывая от лихорадки, начавшейся там, на квартире Ольги Андреевны, когда я разбираю содержимое первого ящика...

С этого дня я к ней зачастил. Сперва она сердилась тому, как быстро я глотаю книги, хотя нельзя было не заметить, что каждый мой приход ее радует.

— Арон, да разве можно с такой скоростью читать стихи? — начинала она журить меня. — Это не приключенческие повести, вы же ничего не успеваете прочувствовать.

Я доказывал ей, что успеваю, но все слабые попытки убедить ее в моих способностях легко воспринимать печатное или звучащее слово не достигали цели. Мне никак не хотелось прибегать к наглядной демонстрации феноменальных свойств своей памяти — признаться, я, вообще-то, скорее

стесняюсь этой ненормальности, чем горжусь ею, — но однажды, когда все-таки надоело выглядеть в глазах Ольги Андреевны слишком поверхностным читателем, я уселся на кушетку и сказал:

— Довольно меня воспитывать! Вот четыре уже прочитанных стопки. Берите любую книжку, открывайте любое стихотворение — только из лучших, слабые не надо, я неинтересные не запоминаю, — читайте первую строку, а я буду продолжать.

Сближаешься с человеком только когда окончательно перестаешь контролировать свое отношение к нему. Так, я до той минуты никогда не позволял себе забывать, что Ольга Андреевна калека, и чуть что бросался ей помочь, опередить ее, если нужно было что-нибудь принести или подать, — я не хотел, чтобы она делала какие-то движения, если сделать их мог я. Но тут меня малость заело, Ольга Андреевна в этот миг была для меня лишь соперником в споре, в котором я собирался ее победить, и, вероятно, что-то похожее почувствовала и она, потому что с неожиданной поспешностью, не заботясь, как будет выглядеть ее вывернутое бедро и как двинутся ее непослушные ноги, Ольга Андреевна слезла с кресла, проковыляла к книгам и склонилась над ними, — а я, предвкушая близкий триумф, с самодовольной улыбкой смотрел на нее и вдруг с удивлением подумал: ведь смотрю то спокойно, и нет во мне этого нервного желания спешить на помощь. Пусть, пусть пороется, выберет что-нибудь невозможное...

— На, продолжай, — говорит Ольга Андреевна, и краем сознания отмечаю, что она обращается ко мне на "ты". — Мое любимое. Только попробуй сказать, будто это стихотворение неинтересное:

Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет, глупость судит...

– Тютчев! – ору я, торжествуя, и читаю, почти кричу:

...Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет!
Живя, умей все пережить, –
Госку и радость, и тревогу –
Чего желать? Куда спешить?
День пережит – и слава Богу!

– Что, съела? – Я чуть не высунул ей язык. – Тоже мне!
Оставишь теперь свои нотации?

– Ах ты, Арошка! Как же мне покаяться? – смеется она,
стоя рядом, прямо передо мной, у кушетки, на которой я
сажу.

– Ах ты, Олешка! – передразнивая ее тон, отвечаю ей. –
А вот поцелуй меня в щечку!..

– И черт с тобой, поцелую!

И, вытянув шейку, она меня звонко чмокает.

Последние подпорки, поддерживавшие ту тонкую стенку,
какая еще разгораживала нас, казалось, рухнули тогда. Пе-
рейдя с ней на "ты", я уж больше не возвращался к строго-
му "Ольга Андреевна", она стала просто Ольга, Оля, когда
же мы оба бывали в веселом настроении и чувствовали осо-
бенную легкость, в ход пускались "Арошка" и "Олешка".
Другое дело, Ольга веселилась не всегда, хотя при мне
взгляд ее, обращенный обычно глубоко внутрь себя, неиз-
менно теплел, мрак, что часто обволакивал ее подобно той
шали, в которую она постоянно куталась, ничем нельзя было
рассеять. Интуитивно я чувствовал с первого же мига, едва
входил, как именно нужно держаться с нею. Но однажды
вечером – мы долго сидели за чаем и обсуждали, чем же
привлекателен свободный стих, – мне показалось, что она
несколько отошла, я с облегчением сбросил трудно давав-

шуюся мне настороженность и обратился к ней: "Дай-ка еще чайку, Олешка".

Она стала мне наливать и вдруг этим жестким своим голосом, глядя мимо чашки, произнесла:

— Олененок-олешка... Переехала тележка...

Эти слова так меня хлестанули, что я отшатнулся, она же, увидев на моем лице страх, жалобно улыбнулась:

— Что-то мне сегодня слишком паршиво, — заговорила она, — ты уж прости. Отвратительный май. Там расцветает. Когда ты пришел, я пообещала себе, что буду держаться, но, видишь, — сорвалась. Открой окно. Хочешь знать, как это случилось?

Тогда ей исполнилось восемнадцать, она заканчивала первый курс филфака университета в Ленинграде и любила одного моряка, штурмана дальнего плавания, который больше чем на десять лет был старше ее. Олиного отца, профессора Карева, читавшего лекции на кафедре общественных наук там же, в университете, роман дочери страшно удручал. С одной стороны, ему, марксисту, старому партийцу, личному другу наркома Луначарского не следовало мешать светлому чувству дочки, которая полюбила достойного человека, бывшего фронтовика и морского волка; с другой — отец терзался тем, что дочь в скором времени окажется для него потерянной, и он останется в полном одиночестве: мать Ольги давно умерла, вторично он не женился, других детей не было, а Оленьку отец любил безумно. И еще он понимал, что если дочь станет женой моряка, да еще в какие-то девятнадцать-двадцать лет, то вряд ли будет счастлива: муж по полгода в плавании, к этому с трудом можно привыкнуть, ну ладно, пока она студентка, а кончит учебу, ей исполнится двадцать два, и что у нее начнется за жизнь — у юной женщины, вынужденной месяцами ждать возвращения мужа?..

Штурман был не мальчишка, для которого естественное развитие любовных событий может длиться и долго; нет,

тридцатилетнему моряку и неделя может показаться слишком большим сроком, если ты привык тосковать по женской любви, если вот-вот снова уходить в долгое плавание, а главное, чувствуешь, что в самом деле любишь, и она, это прелестное создание, готова довериться тебе и давно уже полна отчаянной решимости.

Был май, она сдавала зачеты, видется приходилось урывками, и вдруг он, живший в экипаже в Гатчине, встречает ее у дома. "Что случилось?" — "Завтра снимаемся..."

Она не раздумывала. "Подожди, сейчас вернусь", — и на миг появилась перед отцом сообщить, что берет книги и бежит к подруге, у которой и заночует. Вышла из подъезда, сказала возлюбленному: "Все прекрасно. Вези меня. Сегодня буду твоя". Штурман, не помня себя от счастья, бросился звонить другу, с которым рядом прошел всю войну и с которым теперь тоже служил вместе, — тот на корабле был старпомом. У дружка имелся опель-кадет, и штурман решил воспользоваться его машиной... Старпом воспротивился: у штурмана водительских прав не было. "Я везу Олю. Понял? — убеждал его жених. — У нас только несколько часов. Утром приедем обратно". Старпом был хорошим другом и сказал, что, черт с тобой, повезу вас сам. "Не валяй дурака, у вас с женой тоже одна ночь осталась". — "Ладно, мы уже пятый год женаты". — "Нет, так не пойдет, не хочу стать твоей супруге врагом. Глядишь, наши бабы еще подружатся". Когда приехали к товарищу, тот снова стал сопротивляться, но, наконец, сдался, обнял их и пожелал счастья.

Штурман гнал опель как мог, и уже на подъезде к Гатчине в них сбоку врезался грузовик.

Ольга не могла помнить, как это случилось, все произошло мгновенно, моряк, надо думать, и не успел увидеть машину, пересекающую их путь. Оля помнит только, что они смеялись, ей говорили, что ее возлюбленного так и нашли — со смеющимся, оскаленным ртом. В раздавленной машине

ее бедра были зажаты между искореженной дверцей и телом моряка, принявшего на себя основную силу удара. Собственно, это и спасло ей жизнь, но не только это. В момент катастрофы у девушки была перебита какая-то крупная артерия, и Ольга должна была неминуемо погибнуть от потери крови еще до того, как подоспели бы врачи. Но оказалось, что все те сорок минут, пока бегали звонить по телефону и пока по шоссе из Гатчины неслась скорая помощь, рука мертвого жениха, вдавившись в ее тело, пережимала порванную артерию несколько выше зияющей раны. Когда их обоих стали освобождать от сомкнувшихся железных челюстей кузова, артерия забила фонтаном крови. Врач, к счастью, сумел ее остановить.

К счастью? По Олиным словам выходило, что вина погибшего штурмана в том и была, что он, мертвый, не дал ей умереть вместе с ним...

Старпома собирались привлечь к ответственности за передачу машины лицу, не имеющему права на ее вождение. Судно, лишившееся сразу и первого штурмана и старшего помощника, два дня не выпускали в рейс. Когда Ольга после первой операции пришла в сознание и узнала о случившемся, она, в противоположность показаниям старпома, заявила, что машина была взята без разрешения владельца — они ее вроде бы угнали. Версия эта следователя вполне устраивала, старпом прорвался к Ольге в больницу, поцеловал ей руки и сказал, что память о друге никогда не позволит ему забыть происшедшее и Ольга теперь для него дороже сестры родной. Он отправился на свое судно и снова появился в Ленинграде через пять месяцев. Ольга только начала двигаться, волочить себя на костылях. В ужасном состоянии был и профессор Карев, без конца, как маньяк, твердивший, что не уберег дочь, не защитил ее, не вмешался вовремя и не прекратил любовную историю, которая, ясно было с самого начала, ни к чему хорошему не вела. Ольгу

эти бесконечные стенания, старческие слезы и ставшая совершенно безумной любовь отца доводили до иступления. Глядя вперед, она видела, что обречена на тягостное, возможно многолетнее, существование рядом с человеком, к которому никаких чувств, кроме раздражения, не испытывала. Но они нуждались друг в друге, и Ольга не могла отделаться от жуткой мысли, что отец, не признаваясь в этом, возможно, и себе, в глубине души чувствует удовлетворение, а если не осознает его еще, то постепенно придет к умиротворенному спокойствию и даже к радости от того, что любимая дочь теперь не уйдет от него никуда, будет принадлежать ему одному до самой его смерти, что он не должен бояться того мига, когда придется жертвовать своей отцовской любовью ради кого-то еще... Ольга то и дело замечала, каким не только что нежным, но еще и самодовольным взглядом смотрел на нее отец, поднося ей лекарство или еду, выполняя ее малейшую прихоть, просьбу...

Для него отдать себя в рабы дочери было на старости лет лучшей судьбой — она же понимала, что собственная ее и без того страшная судьба тем самым тоже становится рабской...

Итак, сомнений не было: она навсегда останется инвалидом, и чем бы ни пришлось ей заниматься, какой бы образ жизни она ни повела, ее всегда будут преследовать жалость и неловкость, которые она, калека, неизбежно вызывает у окружающих. Продолжать учебу? Вернуться в мир своих сверстников? Они здоровы и глупы — они не прошли ее школу страданий, они бегают по кино, потеют на спортплощадках, трясутся от волнения перед экзаменом, а после него отдаются друг другу, чтобы избавиться, наконец, от невинности, которая так давно им мешает!.. Все это не для нее. Ей приносили лекции — она из вежливости держала их два дня и возвращала нечитанными; девушка-комсорг, похожая на мопассановскую Пышку, с круглыми голубыми

глазами, не умеющими прятать беспокойства, которое возникало в них при взгляде на Ольгины ноги, напоминала то о подвиге Николая Островского, то об Алексее Маресьеве. Однажды она сказала ненароком, что отказ принять помощь товарищей по университету срывает ей мероприятие, и группа не сможет выполнить взятое на себя комсомольское обязательство помогать больной. Ольга запустила в свою бывшую однокурсницу костью и больше никого к себе не пускала. Единственным человеком, кто знал и в какой-то мере понимал, что творится у Оли на душе, был старпом. Его-то она и попросила помочь в осуществлении своего плана: уехать куда-нибудь в глушь, где никто ее не знает, где мало народу, где нет интеллигенции и отсутствует то, что зовется у нас "интересной жизнью". Поразмыслив, они пришли к выводу, что какой-нибудь небольшой военный поселок будет подходящим местом. Где-то в сухопутных войсках служил генерал, которого старпом и покойный штурман спасли во время эвакуации Севастополя в 1942 году, старпом его разыскал, написал письмо. Генерал вскоре ответил, что сделает все. Он и действительно, когда дело дошло до переезда, даже выслал в Ленинград своего ординарца с приказом сопровождать Ольгу и как о дитяти заботиться о ней в дороге. Отцу о своем отъезде она сообщила незадолго до отхода поезда. Старый марксист упал перед дочерью на колени, умоляя пощадить его, затем у него начался сердечный приступ. Он успокоился немного после того, как ему сказали, что за Ольгой сохранится ленинградская прописка и она в любой момент может вернуться домой. "Ты вернешься, Оленька, да? Конечно, ты вернешься, ты не сможешь там жить..." — бормотал старик, дрожащими руками подавая ей вещи, которые та укладывала в чемоданы... "Вернись, папа, вернись", — терпеливо отвечала она, зная, что не вернется к отцу ни за что на свете...

— Я здесь уже третий год, и в каждом письме отец спра-

шивает, что я думаю о будущем, — усмехнулась Ольга. — Но именно о будущем я и не думаю. И о прошлом тоже. Прошлого не было, будущее не успело еще начаться, и его никогда не будет. Ничего не было, ничего не будет.

— Неправда, была любовь. Я знаю, что это такое, когда любовь вот так, разом, обрывается. Ты ее не сможешь забыть, — ответил я ей запальчиво.

Ольгины глаза блеснули таким гневом, что я испугался.

— Врешь, все врешь, врешь! — срываясь с голоса, крикнула она. — Ты любил? Да? Ты наслаждался? Был с ней вдвоем, ночью? Был, отвечай?

— Был...

— А я не была! Не успела! Тебе понятно? Все случилось вечером, а не утром! Если бы нас сбило утром!.. — она закусил губу, чтоб не разрыдаться. — Можешь ты это понять? Не было ничего, все забыла, не было и не будет! Живу, чтобы превращаться в старую деву с дурным характером, кривобокая — пугало, злая карга!

— Да сколько тебе лет, что ты болтаешь? — искренне возмутился я, но она не позволила возражать:

— Замолчи, я не дура. И обо всем давно передумала!.. Не поступить ли мне в заочный вуз, как ты думаешь?

— Конечно! Я только-только хотел тебе это сказать! — радостно ухватился я за ее слова. Она захохотала издевательским, убийственным смехом и смеясь все смотрела на меня так, будто видела перед собой какое-то невероятно уморительное насекомое. Я понял, что попался на ее удочку: задав вопрос о заочном вузе, она спровоцировала меня. Уж наверно, такого рода советов — учиться, трудиться, приносить пользу людям и обществу и тому подобное — она наслушалась довольно... Я счел за благо тоже рассмеяться и тем признать свое поражение.

— Пошла-ка ты, знаешь куда?.. — сказал я. — Лучше ответь, книги, эти три ящика, от отца?

— От отца, откуда еще? Написала, он тут же и выслал. У него большая библиотека: старые издания, дореволюционные еще от деда остались, многое отец приобретал, когда был студентом, потом покупал, живя в эмиграции, — большинство на разных европейских языках по философии, экономике и истории. А после революции Луначарский назначил отца чем-то вроде главного цензора по Ленинграду. Отец получал обязательный экземпляр каждой новой книги, вот и набралось несколько тысяч томов. Представляю, каково ему было, когда после моего письма ему пришлось разорять свои полки: он дрожит над каждой книжкой. Но надо мной еще больше.

Ольга повела плечами под своей шалью, оглянулась на окно. Я поднялся, чтобы прикрыть его. За окном было уже совсем темно, в комнату тянуло холодком, и от кустарника, который рос у самой стены, шел сладковатый, клейкий запах только что народившихся листьев. Я тронул раму, звякнул шпингалетом, но замер, услышав, как Ольга за моей спиной заговорила — глухо, словно забыла о моем существовании и говорила сама с собой:

— ...расцветает, чтобы умереть. Каждый год весна. Сегодня этот день моей... неудавшейся смерти... Все равно мертва... Три года мертва.

Я подошел к Ольге, встал чуть сбоку за спинкой кресла. Свет, который падал от низко стоявшей на столике перед нею неяркой лампы, позволял мне видеть лишь силуэт склоненной головы, несколько прядей поблескивающих волос — и складки, складки и длинную витую бахрому этой шали, савана, в котором она заживо хоронила себя... Мне захотелось положить на ее голову ладонь. Несколько мгновений Ольга не двигалась, потом осторожно выпростала из-под шали руку, взяла мою ладонь и медленно провела ею по своей щеке. Я понял, как нуждается она сейчас в ласке, но мне казалось, что прикосновение такого грубого предмета,

как моя ладонь, не способно принести женщине утешение, я наклонился и сколько мог нежно поцеловал ее куда-то в висок, в волосы...

— Вот и спасибо, — сказала она. — Теперь иди, я, кажется, смогу спокойно уснуть.

Когда я пришел в следующий раз, она сама шутливо и кокетливо подставила щеку для поцелуя, и эта маленькая невинная ласка стала у нас милой традицией.

Я не раздумывал, почему нам обоим стали так желанны наши чуть ли не ежедневные встречи. И о чем тут раздумывать, если каждый чувствует, как быстро в присутствии другого освобождается от идиотизма постоянной скованности, в которой держит тебя служебная жизнь.

Но ее, Ольгу, с некоторых пор влекло ко мне не только желание дружеского и духовного общения. Совсем иное проявилось, когда однажды перед прощанием — я уже собирался подняться с кушетки — Ольга подошла ко мне и, спросив: "А мне можно?", — сама поцеловала меня в угол рта, почти в губы. Я ощутил округлость ее небольшой груди, на миг прижавшейся к моему плечу, глаза наши встретились. Ее лицо было таким взволнованным, что я растерялся и, скрывая смущение, стал принужденно улыбаться... Что означало это волнение, гадать не приходилось. В ней что-то проснулось, ее потянуло ко мне. Но невозможно было допустить и мысли о нашей физической близости. Маленькой калеке, трезвой в отношении к себе до жестокости, зов природы, вдруг прорвавшийся сквозь глухие каменные стены, куда она заточила себя, мог принести только тягостное, темное страдание, в котором естественное чувство возвращается само по себе, опадает и снова растет, не находя выхода, как помещенное в закрытую опару дрожжевое тесто...

Самым лучшим было бы перестать видеться, во всяком случае, наедине. И поначалу мы, не сговариваясь, так и поступили. Несколько недель я видел ее только в библиотеке.

Однако обоим было ясно, сколь многое мы сразу же потеряли: без наших вечерних бесед стало вовсе уж безрадостно. Однажды, когда в абонементе не было никого, кроме нас двоих, она, заполняя мой формуляр, вздохнула:

— Эх, Арошка, Арошка!..

— Что, Олешка, дураки мы с тобой? — спросил я.

— Ну да, — подтвердила она, не поднимая головы.

— "Не рассуждай, не хлопочи", — процитировал я строчку стихотворения, которое сдружило нас.

— Вот именно, — усмехнулась она. — Испугались собственной тени.

— Так я вечером найду?

— И обойдемся без нежностей.

Мы опять стали проводить вместе вечера напролет. Когда говорила она, все было хорошо. Ольга увлекалась, начинала произносить длинный монолог по поводу, например, какого-нибудь немца: она, как оказалось, читала немецких поэтов в подлиннике и их изучением серьезно занималась под руководством отца, еще учась в школе. Понятно, что я слушал ее раскрыв рот. Потом специально для меня она стала подготавливать что-то вроде рефератов, кратких обзоров по периодам европейской литературы. Она была прилежным и, как мне понятно теперь, весьма талантливым педагогом, а я, конечно же, благодарным учеником. Иногда я начинал засыпать ее вопросами, она терпеливо отвечала, и я, сам того не желая, втягивал Ольгу в длительные споры. В спорах этих полученное ею от отца и из умных книг понимание литературы только как "продукта" социальных отношений той или иной эпохи, как зеркала общественной жизни, окружавшей поэта, сталкивалось с моим интуитивным восприятием всякого творчества как явления малообъяснимого и уж, конечно, сугубо личного, индивидуального происхождения. Мне было не интересно вникать в расстановку классовых сил в Германии в момент появления гейневского "Путешествия

по Гарцу”. Я кричал Ольге, что мне важнее, худ был Генрих или толст, умел ли напиваться допьяну, спал ли с девками, или, напротив, пил только парное молоко и оставался всю жизнь по-монашески воздержан. Она смеялась, я злился, мы начинали дразнить друг друга, и всякий раз каждый оставался при своем мнении. Кончалось же тем, что Ольга просила меня почитать что-нибудь новое. Новое находилось почти всегда: стихотворения появлялись чуть ли не ежедневно, а то и по два, по три в день. Я начинал с новых стихов, потом переходил к написанным раньше, и обычно мое чтение длилось час-полтора, сколько нас хватало: ее — слушать, меня — читать. Этот-то час и оказывался самым опасным. Я читал и читал, и по мере того, как ритмичные строки звучали в тишине и полумраке ее комнаты, на лице моей слушательницы все отчетливее проступало то самое волнение, значение которого было понятно и ей и мне... Она меняла позу, куталась в шаль и, опуская лицо на подставленную руку так, чтобы я не видел его, начинала нервно покусывать губы. Заставляя себя не обращать на нее внимания, я читал уже с напряжением, сбивался и безуспешно делал вид, что все идет как ни в чем не бывало... Возвращаясь к себе, я раздумывал, что же на нее так действует? Почему она теряла спокойствие только когда я начинал читать? Это какая-то чертовщина, говорил я себе, но, похоже, ее влечение ко мне прямо связано со стихами, и неужели, не сочиняя я стихов, она оставалась бы ко мне равнодушна? Нет, нет, тут же возражал я на это предположение, просто я — единственный мужчина, с которым у нее какой-то контакт. И потом... Из рассказа о пережитой ею трагедии и из того, как нарочито вольно касалась она отношений мужчин и женщин, я сделал вывод, что, может быть, больше, чем искалеченным телом, тяготилась она своей девственностью. Видимо, рано успев почувствовать себя женщиной, внутренне готовая стать ею, она теперь примирилась со всем,

кроме одного: невозможности переступить черту, за которую ее не пустила тогда катастрофа. "Если б нас сбило утром!.." Конечно же, душа ее не могла успокоиться именно по этой причине... Разбираясь в том, что происходит с Ольгой, я старался не заглядывать в свое собственное нутро. Там шевелилось неясное, спутанное в клубок. Увидев, как Ольга опускает глаза и кусает губы, я одновременно с неловкостью испытывал что-то похожее на тщеславие. Вдруг я замечал, что ее лицо становится удивительно милым, когда оно розовеет от внезапного волнения, теряет обычную холодность, и его четкие линии приобретают нежные, мягкие очертания... В эти минуты мой смятенный разум отказывался следовать за реальностью, и я был готов признаться себе, что она могла бы мне понравиться... может понравиться... она мне нравится, но...

Это быстро проходило, и я бывал в ужасе, вспоминая о своем недолгом помрачении. Но спустя два-три дня все повторялось с той разницей, что теперь это двойственное "нравится, но..." ощущалось определеннее, и мое смятение росло и росло. Вскоре оказалось, что я с нею прелюбодействовал в душе своей. Я хорошо помнил вычитанные у Толстого слова из Евангелия по Матфею. Эту фразу я с горечью повторил, проснувшись наутро после тяжкого сновидения...

Мы сделали попытку не видеться совсем. Каждый из нас расценил это как открытое предательство того хорошего, что крепко связывало нас теперь, но каждый молчаливо решил, что так надо. Она лишь сказала: "Вот что, Арон: хватит". А я кивнул и ушел.

О моих частых визитах к библиотекарше, как можно догадаться, в городке было известно всем. Здесь вообще все всегда и обо всех было известно, даже то, чего в действительности и не существовало. Однако, судя по всему, наши с Олей отношения оставались вне грязных сплетен. Против них, как мне думалось, мы оба — порознь и вместе — обла-

дали иммунитетом: она — из-за своего убожества, я — из-за репутации малость стукнутого Арони-Швейка, который только и умеет кропать стишки, а что до баб — их, кстати, в городке хватало на любой вкус, — то на этот счет он был вовсе не способный. Как-то, когда мне прозрачно намекнули, что пухленькая буфетчица готова со мной переспать, а я равнодушно отмахнулся, один из редакционных весельчаков спросил: "Слушай, Ароня, тебя, говорят, обрезали — так может, что-нибудь повредили?" Я огрызнулся: "Совсем отрезали. Показать?" Жеребцы заржали, и мое интимное признание распространили достаточно широко, о чем я мог заключить из того, как поварихи и та же буфетчица начинали прыскать, краснеть и хихикать при каждом моем появлении в столовке.

Ольгу Андреевну жалели и бабы и, еще больше, мужчины, которые, как мне казалось, должны были ее жалеть оттого, что вот, мол, какая хорошая девка пропала. Каждый из мужчин при упоминании Ольги Андреевны ощущал какое-то смутное беспокойство, что-то вроде чувства вины перед нею за то, что все они оставляют ее без внимания. Поэтому мужчинам как бы стало легче, когда я повадился навещать ее. Случалось, что по спешному газетному делу я нужен был в редакции, но кто-нибудь говорил: "Он у Ольги Андреевны", — и меня старались подменить. Бывало, я сам, сбегая с вечернего дежурства, предупреждал, что иду к библиотечарше, и просил в случае необходимости послать за мной к ней на квартиру.

И вдруг все увидели, что наши встречи прекратились. Некоторое время на меня посматривали с удивлением; наконец общественность в лице комсорга не выдержала.

— Арон, ты что с Ольгой Андреевной? Поругались, что ли?
— Поругались.

Что еще можно этой общественности ответить?

— Зря, зря ты. — Комсорг серьезно насупился, хотя его

безбровая морда к такому выражению была совершенно неприиспособлена. — У нее, конечно, характер... Но ты, как человек, войди в ее положение. Мы тут вот подумали, — тебе надо с ней это... опять наладить. Давай схожу к ней, поговорю, скажу, что ты хочешь прийти? Нам, понимаешь, генерал когда еще наказывал, чтоб, значит, Ольгу Андреевну беречь и к ней... это... внимательность проявлять. Да не получалось. А ты, в аккурат, в самый раз к ней, с книгами там, со стихами. Она, вроде, дочка его друга, с фронта еще... Как, Арон? А?

Мне вдруг отчетливо представился знакомый подвал карцера, потому что кулак мой готовился сбить комсорга с ног, — я бы это сделал без большого труда, и уже со сладким замиранием глядел в узкий проход между редакционными столами, где комсорг стоял и где он должен был с грохотом долго лететь к противоположной стенке. Но меня вовремя остановила мысль: "Ольга!" Сплетня родится мгновенно, еще до того, как комсорг поднимется с пола, и липкая, обмусоленная в десятках ухмыляющихся ртов, прилепится к Олешке, и во взгляде каждого мужика, который будет глядеть на нее из-за библиотечного барьера, она увидит подленький, маленький интерес к себе!..

Я сколько мог спокойно ответил:

— Ладно. Если это общественное поручение, придется попробовать.

Комсомольский вождь подбадривающе закивал.

Так, значит, генерал приказал! Не только жалость, оказывается, и не только неловкость, которую здоровый испытывает при виде калеки, были причиной всеобщего чувства вины перед Ольгой Андреевной! Генерал приказал проявлять к ней внимательность, а у них не получалось!..

Внезапно мое раздраженное, озлобленное сознание пронзилось отвратительной догадкой: "И она?!.. проводить со мной время!.. И еще... ее возбуждение... преступить черту!..

Я нужен был для?!..” С ужасом оттолкнул я то, что помимо воли полезло в голову, сам испугавшись, будто страшного кошмара, этих измышлений. Я запретил себе так думать об Ольге, но укрытые где-то глубоко, спрятанные от логики, даже от определенности слов, копошились грязные подозрения и отравляли, казалось, сам воздух вокруг меня.

К Ольге я не пошел: не хотел пойти — и хотел, стыдился — и уговаривал себя, тянул, нервничал — и не пошел.

С некоторых пор у меня продолжалась какая-то длинная стихотворная вещь: поэма не поэма, пьеса не пьеса — диалог, вернее, ряд монологов, где было два героя — Он и Она. Я не очень-то понимал, что именно у меня получается, поэма сочинялась большими кусками, разом, будто в горячке, и многое там было, как мне казалось, вовсе бессвязным. Но я ничего не трогал, не поправлял, к написанному не возвращался и копившуюся грудку черновиков даже не перечитывал. Теперь все вдруг остановилось, за две или три недели я не написал ни строчки.

Лето — мглистое, душное и дождливое — кончалось, вдруг похолодало, и это была уже осень — в тех же дождях, но с ветрами, от которых в тот год, не успев пожелтеть, все быстро пожухло и обезлиствело.

Как-то под утро усталый и безразличный больше, чем обычно, я вернулся с ночного дежурства в редакции. Вошел в комнату, не зажигая света, как был в мокром опустился на краешек койки, прислонился к железным прутьям спинки, и сон тут же стал одолевать меня...

За мгновение до того, как окончательно провалиться в пустоту, совершенно отчетливо, будто это было прочитано мною или кем-то сказано вслух, мое сознание зафиксировало ясную мысль, что я сейчас же должен идти к Ольге. Она — я знал это — стоит у себя в коридоре у наружных дверей, ждет, чтоб открыть мне еще до того, как я позвоню...

От беспокойного сна, точнее, как мне думается, от беспя-

мятства, я очнулся, ощутив, что на меня надвинулось несчастье, и надо бежать — от него?.. навстречу ему?.. Я вскочил с места, бросился к двери, рванул ее на себя, она не открылась.

Мало что соображая, забыв, что сам же ее запер, я стал дергать за ручку еще и еще, наконец торопливо схватился за ключ, но пальцы не слушались, ключ застревал в скважине. Каким-то образом дверь все же распахнулась — на пороге стояли двое и настороженно смотрели на меня. Видимо, я не владел собой, потому что крикнул "пустите!", — хотя они еще не держали меня. Но едва я крикнул и захотел увернуться, протиснуться боком, невидимкой, и скрыться от них, меня схватили и, с настойчивой ласковой легкостью держа за шинель, повели. Лейтенант, по одну сторону от меня, волновался, он семенял и повторял "с нами... с нами... ничего, ничего", а по другую — пожилой старшина вздыхал и, мотая головой, тихо матерился.

Вплотную к ступенькам крыльца был подогнан штабной газик, меня несильно в него подтолкнули, и машина помчалась по городку. Я мог только слышать, как одна за другой проскакиваются лужи, мгновенно распоротые, будто куски старой, непрочной ткани. Резко свернули раз и другой, сбавили ход, в ветровое стекло я увидел ворота какого-то пакгауза. Они раскрылись, и газик въехал под них, гулко оглашая работающим мотором огромное пустое помещение. Дохнуло затхлым, застоявшимся холодом, наружный свет померк, и шофер включил фары. В их мертвом свете стала приближаться противоположная стена, каждый кирпич на которой очерчивался неестественно четким прямоугольником. Эта картина — стена, освещенная с безумной яркостью и воспринятая мной как что-то бесконечно длящееся вверх, вниз и в оба края, — была последним, что я видел. Свет выключился, и ослепленный, потерявший всякое представление о реальности, я двинулся с теми, кто повел меня. Тяже-

лым железом поблизости проскрежетала, повернулась на петлях дверь, меня за нее впустили, снова раздался скрежет, мне было торопливо сказано: "Пока что будь..." — и я услышал, как запирают.

Почти сразу же где-то над дверью зажглась тусклая лампочка, но я не успел даже осмотреться. Потому что теперь, после апатии и отрешенности на меня напал приступ бешенства. Стуча сапогами и кулаком, наваливаясь на дверь всем телом, я принялся сотрясать ее с каким-то сладострастным чувством от того, что я могу греметь, орать, буйствовать, сколько мне угодно. Конечно, мне не отвечали, и, соображая я в тот момент хоть немного, я бы сразу понял, что упекли-то меня в этот двойной кирпичный мешок для того именно, чтобы обо мне не было ни слуху ни духу, чтобы, сидя здесь, я как бы не существовал.

Устал я или успокоился немного, но стучать мне надоело, я увидел у стены деревянную лавку, повалился на нее и как убитый уснул.

Сколько проспал, не знаю. Думаю, что долго, так как, проснувшись, обнаружил, во-первых, что у меня незаведенные часы, а во-вторых, на табуретке, появившейся у дверей, скопилось три порции холодной, обветрившейся каши, и было немало хлеба. Я поел, потом снова уснул, а дальше началась бессонница — жуткая, затяжная, измотавшая меня едва ли не до полного помешательства. Во всяком случае, когда входил солдат, носивший мне еду, я ничего не мог спросить у него — только мычал. Но и спрашивать не стоило. "А, проснулся, — сказал он, когда я увидел его в первый раз, — вот и хорошо. Только, брат, слышишь? — не приставай ко мне зря-то: я и правда не знаю, за что они тебя, да и отвечать тебе не велели. Ну их всех к матери!" К тому же, солдат меня побаивался, как психа.

Потом я узнал, что пробыл в пакгаузе пять суток. За мной приехал тот же лейтенант. Мы прошли несколько ша-

гов по направлению к выходу, когда он сказал как бы про себя что-то вроде: "история кончилась..."

Дар речи ко мне возвращался с трудом.

— Что?..

— Как — что?

Лейтенант даже приостановился. Взглянув на меня, он присвистнул, покачал головой, но больше ничего говорить не стал.

Он привез меня в медсанчасть, и врачи как-то слишком уж быстро занялись мною, то поочередно, то разом облепляя меня, как белая мошкара. Лечить меня они, похоже, не собирались, но им явно хотелось доказать, что я очень болен. Это так противоречило всему известному о нашей медсанчасти, где и полуживого, если у него не было температуры, признавали здоровым и отправляли обратно в казарму, что я сразу же заподозрил неладное и решил держать ухо востро. Когда я сказал, что да, воспалением легких болел, врачи заметно оживились. Кто-то из них вполголоса стал формулировать заключение: "Астения, — слышалось мне, — дисфункция... общий вегетоневроз... эмфизема..."

— Позвольте, какая эмфизема? — вдруг громко возмутился один из них — пожилой нервный врач еврейского вида. — Я ничего не...

Ему чуть ли не заткнули рот. "Генерал сказал определенно — в округ!.." — разобрал я, но старый еврей продолжал кипятиться:

— Я двадцать лет военврач! — зачем-то сообщил он коллегам. Он не умел говорить шепотом и, надо думать, по этой причине все еще ходил в капитанах.

Мне было велено одеваться. А спустя еще полчаса мой проводник-лейтенант лихо щелкал каблуками и орал: "Товарищ генерал, ваше приказание выполнено, рядовой Фин... Финк!.."

— Хорошо, хорошо, вы свободны, — спас его генерал и

махнул, чтобы тот вышел. — Идите сюда, Финкельмайер, садитесь.

Когда я сел пред его генеральские очи, он с откровенным любопытством стал меня рассматривать. Я, зная, что рядом с таким высоким начальством нужно быть круглым дурачком, решил тоже покамест вылупиться на него, поесть генерала глазами. Надо отдать ему должное, он не смутился. Он пережил всякое, до войны, говорят, сидел, когда воевал, был не в одной переделке, имел три ранения, над правым глазом у него зияла глубокая впадина. Генерал особой человечностью не отличался, комсостав под ним дрожал, но на солдатах он отыгрываться не давал, а те его уважали, боялись, что, собственно, для нашего солдата и означало — любить командира.

— Хватит играть в гляделки, — начал он. — Давай не крути, выкладывай сразу, чтоб я разобрался.

Разыгрывать дурачка — одно, а чувствовать себя им на самом деле — совсем другое.

— Товарищ генерал, вы о чем?

Тот грохнул ладонью об стол так, что не знаю, почему я остался жив.

— Не крутить, етит-твою мать! — заорал он. — Встать!

Я вскочил. И вдруг он бросил — бросил и взорвал мне голову:

— Почему отравилась?! Ну?!

За голову я и схватился — удержать, чтоб не распались осколки, но они вонзались в мозг, и от боли я стал раскачиваться из стороны в сторону — так было легче. Я сидел — я уже сидел — на стуле и мычал: мне нужно было что-то спросить у генерала, но я знал только одно слово: "кончилась". Не "кончилось", сказал мне лейтенант, а "кончилась".

— Да нет, жива, жива, отходили.

Генерал поил меня из графина, потом спросил, не дать ли коньяку, я кивнул, и он мне сквозь трясущиеся зубы влил

рюмку. Стало легче. Генерал налил еще одну, налил и себе, я снова выпил, и он тоже. Меня трясло — меня трясло еще долго, все время пока был у генерала, но я понемногу успокоился, смог говорить. Генерал, однако, убедившись по одному моему виду, что я ничего не знал, говорил больше сам.

Задолго до того, как все случилось, Ольга приходила к генералу. Она спросила, захочет ли он выполнить одну ее просьбу. Генерал сказал, что, как ей известно, он считает своим долгом сделать для нее все. Она стала просить за меня: "Финкельмайер — большой талант, — говорила она, — ему надо учиться. Устройте, чтобы его демобилизовали раньше срока. Сейчас лето, он успеет подать заявление в вуз". Генерал на это пойти не мог. Ольга ушла.

— Странно она улыбалась, — рассказывал генерал. — "Я, — говорит, — письмо вам пришлю". А мне ни к чему, что там баба затеяла. Стороной поинтересовался, ну мне доложили: к библиотекарше поэт из редакции ходил, книжки брал, стихи там они читали, то да се... А сейчас, мол, перестал... Насчет всяких шуры-муры... кто же на нее подумает? И вдруг — на тебе!..

Спасли ее потому, что у девушки-медсестры из соседней квартиры утром не оказалось спичек. Она хотела постучать к Ольге в дверь, но прежде решила заглянуть в замочную скважину, чтобы убедиться, горит ли у соседки свет, не разбудит ли она ее. Свет горел, но из скважины сильно потянуло знакомым ей запахом морфия. Девушка попробовала достучаться, потом побежала в соседний подъезд к врачу. Когда генералу доложили о происшествии, он первым делом распорядился меня убрать с глаз долой, приказав тем, кто меня прятал, держать язык за зубами, а в редакцию сообщить, что меня срочно командировали в округ.

— Если бы умерла, началось бы расследование, и тебя все равно пришлось бы сажать. А так — поменьше трепу будет. — Генерал как будто оправдывался передо мной. — А теперь

скажи: травилась из-за тебя? Честно только, я за нее переживаю, и ты, вижу, тоже.

Я чувствовал, что темнить с ним нельзя.

— Наверно, из-за меня. Ведь ей одиноко, товарищ генерал.

— Это я без тебя знаю. — Он помолчал. — Значит, так. Прямо сейчас, от меня, отправишься в округ. Лекаря там тебе понаписали всякого... Позвоню главврачу, может, отчислят до срока. А нет — в другую часть. И здесь чтоб тебя не видели. С ней не видься и не пытайся — кожу сдеру. Будь здоров.

В дверях он остановил меня.

— Вот что... Насчет этого... стихов. Дам бумагу, велю в редакции сочинить характеристику на тебя как на военного поэта. Пригодится. Ну, это я пришлю, иди.

Через месяц я был отчислен из армии по состоянию здоровья. Поздно вечером, по первому снегу, стараясь никому не попадаться на глаза, пробирался я через осточертевший мне и еще более чужой теперь военгородок. Прошел клуб, редакцию, свернул, огляделся и, нырнув в подъезд, постучал.

— Кто?

— Я.

Она долго молчала. Потом я услышал:

— Нет.

Боясь, что она отойдет, я торопливо заговорил:

— Послушай, я идиот, но я приехал, я демобилизовался, я знаю, это сделала ты, но мне надо прочитать тебе. Обязательно прочитать.

— Прочитать?

— Да, прочитать поэму, я не знаю, что это такое, но я писал тогда, а сейчас смог закончить, и я не могу так... Ты должна услышать, мне надо тебе прочитать...

Я продолжал бормотать, но она уже открывала.

Все было очень похоже на то, как бывало прежде, в са-

мом начале: она — в кресле, я — на кушетке напротив. Я читал ей поэму, которую назвал "На берегу", потому что ее первая строка — "Двое сидели на берегу" — повторяется рефреном и звучит как заставка перед началом каждого эпизода.

Двое сидят на берегу, перед ними только море, только вода, уходящая к горизонту, а поверх — небеса. И он рассказывает ей о том, как прекрасно плыть и плыть вдвоем по волнам, уплывать дальше и дальше, чтобы были долго-долго и всегда только они вдвоем, волны, небо и солнце. И потом она рассказывает ему о том же, но свой рассказ вдруг заканчивает вопросом: "Но если я стану тонуть?" Двое сидели на берегу, и он отвечает ей, что он будет спасать ее, и рассказывает, как подставит ей свое плечо, и подставит всю спину, и она обопрется, и он подымет ее на себе над водою, чтобы ей легче было дышать, и к ней возвратятся силы, она поплывет дальше и дальше, и будут они долго и долго плыть — "но если я стану тонуть?" — спрашивает вдруг он. Двое сидели на берегу, и она, обнимая его, говорит, что она знает, как будет его спасать, вот так, как сейчас, обнимая его, увлечет его тело дальше и дальше, чтобы оно не ушло в глубину, чтобы он мог долго и долго видеть небо и солнце, и ему станет легче дышать, и они смогут снова плыть вместе... Двое сидели на берегу — но если мы станем тонуть? Станем мы вместе тонуть?.. И потом у меня только море, только небо, шум прибоя и пустынный берег. Никого нет...

Это большая поэма, я читал ее долго, а еще дольше мы говорили потом.

— Поздно, — сказала она. — Опять, как всегда, досиделись до полуночи.

Я сказал: "Хоть всю ночь", — и мы оба этому посмеялись.

Был чай и снова бесконечный разговор. "Я вылечилась", — мимоходом сказала она о себе, и я с облегчением понял, что это означало.

До утра мне некуда было деваться. Когда Ольга легла, я некоторое время сидел в ее кресле и, хотя спать страшно хотелось, уснуть не мог: устраивался так и эдак, откидывался к спинке, вытягивал и снова сгибал ноги.

— Так мы не уснем, — сказала Ольга. — Ложись-ка рядом. Уместимся.

И я лег около нее. У нее было такое маленькое тонкое тело, что мы, конечно же, вдвоем уместились. Она взяла мою руку и подоткнула вместе со своей ладошкой куда-то себе под щеку.

— Двое сидели на берегу, — тихонько прошептала она. И мы заснули.

XIII

В Москве.

После армии вернулся я в Москву — вернулся, чтобы увидеть, как умирает бабка. Мать мне, конечно, не написала ни разу, что старуха совсем плоха. А последние месяцы, видно, были бесконечным мучением: бабка уже перестала что-либо понимать, ходила под себя и ночами непрерывно выла.

Ухаживала за ней моя мама и себя не щадила. Я видел, как она задыхается при каждом движении, и сказал, что немедленно везу ее к врачу. "Арошенька, мальчик мой, ты вернулся, я и здорова, дождалась тебя. Вот только бабушку похороним, а уж я в тягость не останусь". Кричал на нее, на маму, и вот все слово-то какое кричал — "паникершей" ее обзывал, — при чем тут это дурное слово? — мол, я тебя заставлю вылечиться, будешь еще на моей свадьбе танцевать!.. А сам чуть не реву. "Вот и хорошо, мой Арошенька, женись, только поторопился бы, плохо тебе будет без мамы Голды". — "Паникерша! — кричу. — Ну-ка, сейчас к доктору!" Усадил ее в такси, к какому-то профессору отвез, и он мне в коридоре сказал — так и сказал: "Протянет не-

долго. Совсем недолго”. А я и сам знал. Сказал профессор, что инфаркт, по-видимому, был и, как он думает, не один. Так потом и оказалось. В больницу бы мать, да куда там!

Удавалось заставить ее лежать, когда бабушка чуть успокаивалась. Но это случалось все реже. Наконец умерла бабушка. Набежали какие-то старые женщины, с воплями вырвали у меня из рук последние деньги, в белый саван укутали мертвую, повезли на еврейское кладбище — хоронить по обычаю. Что ж — и тут, как положено: держат за полы моей шинели, кричат, угрожают, требуют — попрошайки, плакальщики и могильщики, жуткая пляска безумных лиц, серые бороды, лихорадочные глаза, на уме у всех деньги, а на языке — имя Бога, и оно — как проклятье, а кругом грязный снег и могильные камни... ”Ох, меня-то сюда не вези, Арошенька, — мать говорит, — сколько тебе мучений! Меня — где сжигают, и на Преображенском, от дому недалеко...”

Схоронили. Матери стало спокойнее, больше стала лежать, но о больнице и слышать не хотела: могла ли она оставить сыночка? А сыночек бежал с утра в магазин, возвращался с тощей авоськой и на весь день куда-то исчезал.

Сперва я разыскал Леопольда. С ним за это время произошла разительная перемена.

Когда я пришел по знакомому адресу и позвонил в его квартиру, дверь открыла, вернее, приоткрыла женщина — молодящаяся, с холодным лицом дама. Не сбрасывая цепочки, она молча глядела на меня, а как только услышала, что мне нужен Леопольд Михайлович, с силой хлопнула замком. Обозлившись, я настойчиво зазвонил снова, — хотя бы для того только, чтобы облаять эту стерву. За дверью сразу же раздалось топотанье чьих-то быстрых шажков, кто-то уже тронул замок, но из глубины квартиры визгливо крикнули: ”Не смей! Слышишь?!” — и за дверью стихло. Я спустился вниз, вышел из подъезда и, кажется, стоял в раздумье, куда

мне теперь направиться, как вдруг из той же парадной вылетел пацаненок лет восьми или девяти и весьма растерзанного вида, потому что пальто, кашне, ушанка — все на нем было надето кое-как, наспех, и кинулся ко мне:

— Дяденька, вы к нам звонили? Вам дедушку?

— Да, — говорю, — мне Леопольда Михайловича.

— Дедушку, — кивнул мальчишка и, страшно раскрыв глаза, шепотом, хотя никого рядом не было, доверительно сообщил: — Он с нами не живет — он сам теперь живет! Он мне, знаете, что велел говорить? — он сказал: ”Пусть меня спрашивают в цыдри”.

— Где-где?

— Дяденька! — укоризненно говорит мне маленький внук Леопольда, — цыдри — это: Центральный. Дом. Рабочих. И... искусства!

Вечером отправился я в неизвестный мне до этого ЦДРИ, и, когда стал у какого-то должностного человека спрашивать о Леопольде, оказалось, что он сейчас здесь, но занят: читает лекцию. Удивляться было некогда, я попросил разрешения пройти, но, глядя на меня, на мою долгополую шинель, на мою сомнительную физиономию, должностной человек до тех пор отказывался пропустить, пока я не назваля племянником Леопольда и не наврал, что проездом здесь, с поезда на поезд — кончил службу и еду в Сибирь. ”После лекции — пожалуйста, повидаетесь”, — резонно возразили мне в последний раз, но я слюнявым дрожащим голосом умолил: ”Дядюшку-то послушать, такой случай, а?”

Заседала секция любителей живописи. В большой темной гостиной был мрак, и только на потолке и подвесках огромной хрустальной люстры лежали пятна и блески случайного света, вырывавшегося из щели проектора, а главный, широкий луч его бросал на белое полотно экрана изображение молодого Наполеона, который, надменно восседая на божественном скакуне, лихо преодолевал Сен-Бернарский пере-

вал. Справа от Наполеона двигалась взад и вперед тень Леопольда, он говорил — этим своим иронично-скрипучим голосом, всегда заставляющим меня задумываться над тем, какой необыкновенный издевательский оттенок приобретали в его устах названия дорогих вин, закусок, первых и вторых блюд, когда он в бытность свою официантом должен был зачитывать клиентам ресторанный меню. Эту свою лекцию он и читал так, будто говорил о кулинарных изделиях — которые, конечно же, стоят того, чтобы их съесть, они вполне годятся вам на потребу, а он сам, Леопольд, давно все перепробовал и хорошо знает, из чего их готовят там, на кухне.

— Не правда ли, он вам нравится? — говорил Леопольд, постукивая указкой по Наполеону. — Одна эта диагональ — всадник, скачущий слева и вверх, — уже заставляет вас безоговорочно следовать за полководцем. А его лицо, обращенное назад, это противодвижение его взгляда, распространяет на вас гипнотическую власть. Сие полотно полезно было бы изучить каждому, кто избрал своей жизненной целью миссию вождя.

В гостиной зашевелились, и это означало, что реплика Леопольда оценена по достоинству.

— Картина эта принадлежит к числу шедевров Давида. На мой взгляд, она примечательна и еще по нескольким причинам, не имеющим прямого отношения к живописи. Любопытно вглядываться в это помпезное полотно и думать о самом художнике, о бывшем ниспровергателе бывшей Академии, о бывшем друге бывшего Робеспьера, о бывшем трибуне бывшего Конвента — он лично вотировал смерть короля; о бывшем заключенном термидорианцев, — все бывшее, бывшее, бывшее; а теперь он приемлет новую власть, приемлет от будущего императора звание первого художника, равно как от Реставрации получит позже изгнание и клеймо "террориста" и примет наконец долгую ста-

рость и угасание таланта. Несколько раньше оборвется жизнь вот этой её модели, — указка Леопольда опять небрежно постучала по наполеоновской ноге, — и останутся только Сен-Бернар и картина живописца в Лувре... — Леопольд на мгновение умолк, а потом стал говорить что-то уж совсем непонятное:

— Артур Шопенгауэр в трактате "Мир как воля и представление" высказывает те взгляды, что история есть несвязный поток событий, не имеющих единого смысла. Только отдельная личность, направленность ее действий, в которых проявляется воля человека, имеют реальный характер и какое-то внутреннее, касающееся хотя бы только этой личности, значение. Что же до проблемы счастья, то всем проявлениям жизни присуще не оно, а страдание; но вы, конечно, не чувствуете этого, глядя на столь великолепное полотно...

Сделав столь неожиданный пассаж, Леопольд при недоуменном молчании публики прошел куда-то в угол и там повернул выключатель. Люстра вспыхнула, и в те несколько секунд, пока люди приходили в себя от его слов и резкой смены света, Леопольд сказал:

— Позволю себе закончить, тем более что картина "Бонапарт на Сен-Бернаре" написана на рубеже столетий, в 1800-м году. Десятнадцатый век начнется со следующей лекции. Вопросов нет?.. Благодарю, благодарю.

Какие-то энергичные девицы, разбивая о стулья свои коленки, бросились обступать Леопольда, но он уже увидел меня.

— Простите, — сказал он девицам и пошел через гостиную, улыбаясь так хорошо, что мои губы сами собой стали расползаться в стороны, и мне пришлось неприлично захлюпать носом...

...У дочери Леопольда, которая давно была разведена со своим первым мужем, появился новый, и вдвоем они стали

изводить пожилого "нахлебника" — так Леопольда называли из-за мизерной пенсии. Сам он прекрасно понимал, что дело совсем не в этой несчастной пенсии. Милая дочка, обзаведясь мужем, твердо теперь стояла на ногах и решила жить широко. Возможности для этого были: отцовская коллекция живописи, фарфора и бронзы представляла огромную ценность, лежавшую мертвым пластом, и помешать реализации этого богатства мог только он — Леопольд. Леопольд же еще до официальной регистрации брака дочери и предложил какую-то несложную комбинацию с жильем, по которой он выселялся в небольшую комнатенку, обмененную на комнату жениха, а новобрачным оставлял квартиру со всем имуществом.

— И картины, и все остальное? Почему же вы не забрали коллекцию? — естественно, изумился я.

— Это было бы наивно, — отвечал Леопольд. — Легко доказать, что я приобретал на так называемые нетрудовые доходы. Сакраментальный вопрос: "Откуда у бывшего официанта ресторана такие доходы?" — и имущество конфисковывается, а я оказываюсь за решеткой. Шантажировать меня было легко, и, если бы я эту парочку не опередил, так бы и случилось.

— Что вы говорите! — родная дочь!?

— Вероятно, родная, — с неуместной двусмысленностью ответил он. — Но внук — тот родной. Тяжко ему с ними будет. Но будет хуже всего, если семь лет, что он провел со мной, из него удастся вытравить — тем или этим.

— Кому — тем?

— Тем, — повторил Леопольд. — Всем, кто вокруг нас, и под нами, и над... — и рука в шерстяной перчатке неопределенно очертила в пространстве что-то напоминающее большую расплывчатую восьмерку.

Мы шли по бульварам, прошли Страстной, пересекли Пушкинскую площадь и медленно брели в полутьме бле-

стевших снегом аллея все дальше, и, пожалуй, это был первый день, первый московский вечер, когда я почувствовал, что начинаю жить, и прошедшие несколько лет, и все их месяцы, и сутки, и часы, и минуты отделяются от меня, сходят, слезают, будто катышками омертвевшей кожи с давно не мытого, но теперь уже чистого и еще влажного тела.

Рассказал мне также Леопольд, что кто-то из его друзей, взяв у него царских времен диплом истфака, сумел устроить в ЦДРИ эти лекции по живописи. Появилась к пенсии небольшая прибавка.

— Ну и кое-что из полотен и вещей — об их существовании доченька не знает — хранится у надежных людей. На всякий случай.

— Как же вы вот так — взяли и со всем распростились? — не унимался я.

Леопольд промолчал. Старый, с седеющей шкурой лось — что должен был он отвечать шагавшему рядом с ним молоденькому жирафчику?

Он вел меня за Никитские, за Арбатскую площадь, и где-то уже на Кропоткинской, свернув в переулок направо, пришли туда, где он теперь обитал, — к дому, облитому белым мерцающим кафелем и изразцами в оконных простенках.

— Первый этаж. Вот мое окно, — ткнул Леопольд тростью. — Если есть свет, — стукни и сразу проходи сюда, в подъезд. Я же тебе и отворю.

Я к нему зачастил и бесчисленное множество раз дневал и ночевал в его "пенале" — так Леопольд обзывал свою невозможно узкую, длинную комнатушку.

Я узнал, что старость, если человек живет независимо — и здоровье так жить позволяет, — старость лучше в одиночестве, чем старость близких, но давно раздражающих друг друга людей, или рядом с молодыми — напыщенными гордецами, которые смотрят на стариков просто как на неудачников, словно они, молодежь, и есть человечество, а те —

нечто с окраины жизни, кому со своей старостью не повезло так же, как уроду с его горбом или глухонемому с неумением членораздельно говорить. Слова о том, что жизни при-суще страдание, а не счастье, я был бы готов повторить за Леопольдом без всяких оговорок, если б не понял в скором времени, что его старость — именно счастье по сравнению с существованием, которое вел, например, Мэтр — человек несколько более старьй по возрасту, но по всем внешним признакам и сейчас обладавший, казалось бы, полнейшим благополучием.

Он жил в роскошной квартире писательского дома, был знаменит — не только своей литературной молодостью, но и стихами, которые появились совсем недавно и принесли ему новую славу, — как я думаю, еще более сладостную и терпкую, чем первый успех, — славу старого поэта, чье мастерство, темперамент и творческая способность легко затмевают целый сонм поэтических юношей. Но Мэтр вел удручающе рабскую жизнь рядом со страшным существом — вместе со своей сестрой, которая, мучая его неустанно, говорила, что принесла себя в жертву брату. Она тоже когда-то издала тоненькую книжечку стихов под псевдонимом — ужасающая кисло-сладкая дамская тянучка десятых годов — и этот печальный факт русской поэзии давал ей право в течение многих десятилетий повторять, что если бы не отвратительный быт — вы понимаете, как было тяжело интеллигентной, интересной молодой женщине — я была очень интересна, за мной ухаживал Вячеслав Иванов — смириться со всей этой стиркой, кухней, очередями? — и все ради брата, только чтобы он мог работать, ах, вы знаете, я сама виновата, приучила его к беспорядочному образу жизни, он всегда был абсолютно беспомощным, решительно не умел себя обеспечивать самым необходимым — когда я не успеваю проследить, он идет на люди невыбрит, а парикмахера я приглашаю на дом, — и всегда у него люди, и каждого надо принять, угостить, --

вы пейте, пейте, берите сахар, у меня принят только кусковой, колотый, но, пожалуйста, я вас очень прошу, брату слишком поздно нельзя и вредно говорить много, — вы, надеюсь, не курите? — у него наследственная астма и аллергическая реакция организма...

Что правда — то правда, Мэтр без нее не мог жить, и точно так, как когда-то в день нашего знакомства он раздетый бегал по февральскому морозу, мог оказаться вне дома без шапки или теплого шарфа на холоде, если кто-нибудь не проследит за ним.

К Мэтру было хорошо приходиться по утрам, когда сестра отправлялась за покупками или возилась на кухне. Но Мэтр в такие ранние часы бывал обыкновенно мрачен и зол. Он производил тогда впечатление безнадежного ипохондрика и мизантропа, но имелось средство, способное вывести его из этого состояния мгновенно. Прочитанное новое стихотворение, если оно ему нравилось, преображало Мэтра. Мутные глаза, едва мерцавшие в глубоких болезненно-фиолетовых впадинах, загорались сиянием, желтая кожа на щеках розовела, неподвижное тело оживало, Мэтр легко вскакивал с кушетки, на которой только что валялся, как неизвестно зачем внесенное сюда безжизненное пугало, и начинал возбужденно жестикулировать, объясняя мне достоинства моего же стиха. Лучшей похвалой в его устах было нежно, нараспев произнесенное слово, которое он говорил, с любовью глядя мне прямо в глаза:

— Мальчик!..

При всей своей беспомощности в обыденной жизни, Мэтр был, оказывается, удивительно практичен в издательских делах. Не раз я следовал его советам, и не было случая, чтобы он оказался неправ и дело сорвалось. Он жадно набросился на мои папки со стихами, сам же отдал своей машинистке в перепечатку и два экземпляра оставил: "Один буду читать я, другой стану давать знакомым". Но затем он как

будто потерял к ним интерес, а велел дать ему все, что я печатал под именем "А. Ефимов". Рассортировав по каким-то только ему известным признакам всю грудку моей служебной писанины, Мэтр заявил:

— Итак, у нас готова книга для Военного издательства.

— Да разве можно принимать все это всерьез?! — завопил я.

— Нельзя, — как ни в чем не бывало согласился Мэтр. — Никто никогда к такого рода стихам не относился всерьез. Но не забудьте, что их печатала ваша армейская газета.

— Воениздат уж наверно чем-нибудь отличается от той моей газеты!

— Тем же, чем болван генерал от болвана лейтенанта. Мальчик, почему вы со мной спорите? Боитесь, что не сумеете потратить гонорар? Я вас научу, это делается легко. И вот что: какие-то поощрения, награды или грамоты у вас на службе были? Все это может существенно ускорить дело.

— Вы шутите, Мэтр! Какие у меня поощрения?

— И даже нет хороших характеристик? Мол, примерный комсомолец, вел общественную работу, взносы платил аккуратно? Ничего такого нет?

— Я же не комсомолец. — И вдруг я вспомнил: — Подождите! Генерал прислал мне бумажку — но это, знаете, анекдот, чтобы мой дедушка так веселился! — понаписал там, что я военный поэт, идейно-политически и художественно выдержан, и мои стихи успешно выполняли важнейшую задачу по боевому и политическому воспитанию солдат и офицеров... Может, пойдет?

— Кретин! Младенец! — накинулся на меня Мэтр. — Где бумажка? Дома? Тащи немедленно! Ты теперь своему генералу!.. Ставят евреи кому-нибудь свечки?

— Не знаю... Зажигают. По субботам. Но это, кажется, только Богу.

— Ладно, твоему генералу я сам поставлю — тут, поблизости, у "Всех скорбящих".

В Военном издательстве книга произвела фурор. Но еще больший фурор вызвало в редакции мое появление. Мэтр предупредил, что "А. Ефимов" — псевдоним, но его трогательная забота о здоровье сотрудников издательства ничуть не уменьшила силу удара, который испытали редактора, увидев самого автора. Мэтр стоял рядом со мной и от души наслаждался всеобщей растерянностью. Они еще не знали, что я именно "Финкельмайер", так что самое худшее их ждало впереди, но, глядя на мою тупо улыбающуюся рожу, редактора уже догадывались о чем-то подобном. Они согласились бы, чтобы у автора оказалась любая невозможнейшая внешность — хоть одноглазого пирата с кинжалом за поясом, хоть бармадея или старца в чалме; но такого длинноносового верзилу — еврея... Пусть бы за псевдонимом "А. Ефимов" стоял тысяча первый Иванов; пусть какой-нибудь неблагозвучный Говнюков; пусть бывший граф Толстой или пусть советским военным поэтом стал последний из князей Болдыревых; но военный поэт — Шапиро? Эпштейн?! Рубинштейн?!

— А вы... авторский лист заполняли? — решил наконец кто-то. — Там, знаете, кроме псевдонима, необходимо и... Как у вас настоящая-то фамилия будет?

Поскольку со мной говорил обладатель погона с большой звездочкой, я откричал:

— Рядовой Финкельмайер, товарищ майор!

Наступившая тишина была столь длительной, что девочка-секретарша, соскучившись, начала редко-редко стучать по клавишам машинки.

— Что ж, заполняйте карточку, — стараясь казаться безразличным, сказал майор, протянул мне листок, и мы с Мэтром вышли.

— Все они здесь бляди, — сообщил Мэтр за дверьми. — Это значит, что ты их устроишь независимо от того, какой вид имеет твой приборчик за ширинкой. Главное, чтобы стихи

идейно-политически воспитывали, а на обложке книги стояла приличная фамилия. Но фотографию на шмуцтитул не поставят.

— А может быть, это я — блядь? Я — проститутка?.. — подумал я вслух.

— Ты отправился на панель по бедности, это не позор. Тем более, что совратил тебя я. Кстати, когда продажные девушки расстаются со своей профессией и выходят замуж за порядочных мужчин, — они становятся отличными женами, а в постели им нет равных! Пиши, пиши анкетку, а я пойду пока поговорю с главным, мы с ним неплохо знакомы. И считай, что гонорар у тебя в кармане.

Мэтр все устроил великолепно: со мной заключили договор, с рукописью начали что-то делать — выбрасывать, подрезать, кроить, шивать, переделывать, — к удовольствию редакции, я этой возней не интересовался, я ходил со звоном в голове от той суммы, которую должен был получить за книжку, старался поверить, что такое со мной на самом деле скоро произойдет, но поверить не мог...

В конце весны произошло. Купил огромный букет роз, большой оренбургский платок (мать от сердечной недостаточности мерзла), привез домой — мама заплакала. Поехал к Мэтру — и мы много пили, и, когда его сестра в очередной раз сказала: "вы ведь не поздно, брату вредно говорить слишком..." — я игриво помахал своим самым длинным, то бишь средним пальцем у нее перед носом, отчего она сделалась похожей на раздувшуюся жабу, а Мэтр смущенно хихикнул; но ушел я и вправду не поздно, потому что от Мэтра поехал и каким-то образом приехал к Леопольду, и я твердо стукнул в его оконце, и он отворил, и я пил уже с ним, и он, бедняга, все не мог допытаться, что же у меня случилось, — я стеснялся сказать ему, за что получил свои деньги, и только объяснял, что это — не что иное, как к армейскому дерьму приправа:

— То, что около дерьма. Там, в сортирах, все и лежит. Это с успехом шло у солдат на подтирку, но, видите ли, были у нас еще отдельные отсталые, кто не имели такой привычки — подтираться и, следовательно, не все ушли из армии с высоким политическим уровнем — из-за того только, что отсутствие гигиенических навыков мешало некоторым выполнять одну из заповедей, которые с моей легкой руки переписывали на стены всех близлежащих уборных:

”Солдат! Пока не кончил срать,
Прочти армейскую печать!”

Леопольд в свою очередь вспоминал солдатский фольклор времен Первой мировой. Тогда в армии все были совсем еще темные и ограничивались удручающе безыдейными надписями типа: ”Кто орлом залезет на сиденье, тому наряд на воскресенье”.

Утром, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь все еще у Леопольда, и с ужасом представил, что же за прошедшую ночь передумала несчастная мать, но славный мой хозяин меня успокоил: Леопольд, оказалось, где-то в час ночи уложил меня спать, разыскал в моем кармане паспорт, прочитал адрес, взял такси и поехал в Черкизово сказать моей матери, чтобы не волновалась за сына. ”Ароша не заболел?” — только и спросила моя мама. И когда Леопольд ее разуверил, сказала: ”Вы знаете, когда он однажды заболел, так приехала ко мне одна девушка, которую мой Ароша очень любил, и она его тоже очень любила, дай Бог ей много здоровья. Он чудесный сын, взгляните, пожалуйста, на эти розы, я никогда таких не имела, даже на своей свадьбе. Но грех жаловаться, у всех свои цорес — это ”беды” по-нашему — вы тоже так считаете?” Леопольд согласился. Мамино утверждение, как он пояснил мне, вполне соответствовало его жизненному опыту. Мама это, видимо, почувствовала и ска-

зала Леопольду комплимент: "Вы порядочный человек, я так думаю — научный работник, да? Нет? Но, знаете, это неважно, а главное, чтобы здесь и здесь, — она показала на свой лоб и на сердце, — вы тоже так считаете?.." Леопольд действительно считал именно так. Они расстались довольные друг другом, и ожидавшее Леопольда такси благополучно привезло его снова туда, где спал легкомысленный мот и горький пьяница — сын этой доброй, наивной женщины...

Вскоре появилась Фрида.

Прихожу я домой — у маминой постели сидит кто-то, не очень-то разглядишь от дверей, но видно, что молоденькая девчонка. Она только оглянулась, сказал я "здрасьте", снова оглянулась и кивнула машинально, потому что не могла прервать очень важную беседу с мамой. Разговор у них был, судя по всему, долгим, и я услышал уже его последнюю стадию.

— Так Басихес, ты говоришь, напротив? — спрашивала мама.

— Йо, йо!

— Как же Басихес напротив, если на углу Гиршель Заскин, у которого утонула корова, а рядом с ним толстая Дора, значит, получается, напротив Басихес — Зальдманы? Так ты — Фрида Зальдман?

— Нейн, нейн!

— Нейн? Разве Бог лишил меня памяти? Дрей мир нит кейн коп! Напротив Басихес Рубинчик — Зальдманы!

— Как же Рубинчик? Напротив нас была Басихес Майзелис!

— Майзелис? Та Басихес, у которой муж на улице пел?

— Йо, йо!

— Ох, ну конечно, помню! Он работал в сапожной артели!

— Нейн, нейн! В сапожной артели — это Лейзер Майзелис, их немцы не у нас убили, а в Минске; а у нее муж — его брат Шолом. Их Нонка был со мной в детском саду, и вот

нас-то и успели вывезти. А дядю Шолома и тетю Басихес тоже убили.

— Ну, конечно! Шолом Майзелис, йо!

— Йо, йо!

— Так он твой дядя?

— Нейн, нейн! Они соседи. Мой дядя Мойше Кантор, я же вам говорила!

— А наэр найс! Как вам это понравится? Ты слышишь, Ароша? Ее дядя — Мойше Кантор! Что же ты мне так долго времени голову морочишь? Если Мойше Кантор твой дядя, то твоя тетя — Рохка?..

— Йо, йо!

— ...а ее сестра Циля познакомилась на нашей свадьбе с Яшкой, с двоюродным братом родненького моего Менделя, я уж его никогда не увижу — ох, Боже мой! — так они женились через два месяца после нас, и, значит, Яшка твой дядя, и ты мне племянница! Арошенька, сыночек, познакомься со своей сестричкой Фридошкой, она приехала учиться в институте!

Удивительно, что ей удалось найти нас — людей, которых она никогда не видела. Фрида и тот самый Нонка Майзелис — бывший сосед по улице и однокашник в детдоме — в течение всех десяти лет чуть ли не каждый день повторяли вслух, чтобы не забыть, имена родственников и односельчан, записывали все, что осталось в памяти от довоенного детства. Они даже старались сохранить свою еврейскую речь, чтобы, как они думали, родных было легче найти, но язык забывался все больше и больше, и только иногда, втайне от других, употребляли они в разговорах друг с другом некоторые из запавших в память еврейских выражений.

По фамилиям, записанным с их слов, детский дом безуспешно пытался кого-нибудь разыскать. Однажды Фрида сама написала на свою родину, и из несуществующего уже местечка под Минском кто-то ответил, что все здешние

евреи погибли, а он, этот человек — не еврей, он белорус; но многих из местечка знал, и вот помнится ему такая история, что дочь раввина вышла замуж против воли отца, и хотя времена были уже советские — лет за десять перед войной, молодые решили из местечка уехать. Говорили, что уехали они в Москву. Дочку раввина звали Голда, он эту семью хорошо знал. А у жениха один из родственников носил фамилию Финкельмайер — запомнилась она потому, что этот Финкельмайер, когда пришли немцы, был председателем сельсовета и его расстреляли в первый же день. Так вот, писал белорус, может быть, и жених тоже был Финкельмайер? Если эти люди в Москве живы, то они, наверно, знают больше него.

Фрида окончила десятилетку с отличием, получила золотую медаль, в детдоме ее снарядили, дали на дорогу денег. Учителя в один голос прочили свою воспитанницу в МГУ. Вот Фрида и явилась в Москву со спортивным чемоданчиком в руке — в нем были книжки — и рюкзачком за спиной. Всего час пришлось ждать ответа справочной: из окошка протянули квитанцию, на обороте которой были написаны наш адрес и номера трамваев, идущих в сторону Черкизова...

— А Нонка, дурачок, не верил, что я вас найду, — плакала она вечером и сквозь слезы улыбалась, — можно я ему напишу, чтобы приехал?

Этот Нонка, я думаю, рассудил трезво и в Москву не поехал. Он уже успел подать документы в какой-то Политехнический, кажется, в Томске, и потом сообщил, что благополучно принят.

В том углу, где была раньше бабушка, еще стояла ее кровать. Повесили наискосок занавеску, захватив и немного оконного света, и стала Фрида с нами жить. "До осени, как поступлю", — все повторяла она.

Первые вечера я то и дело замечал, как, едва скрывалась

Фрида за свою занавеску, все там у нее — и кровать, и сама занавеска — начинало мелко-мелко дрожать. Я спрашивал: "Опять реветь?" Она признавалась: "Реву, Ароша, прости, пожалуйста". Признавалась легко, потому что и слезы легкими были: плакала она от радости, от покоя и тишины, от обретенной свободы и еще от чего-то, что заставляет плакать полных здоровья семнадцатилетних девушек.

В университет она опоздала: прием медалистов давно закончился. Какой-то умник предложил ей оставить бумаги, чтобы потом сдавать экзамены на общих основаниях. Вместо того, чтобы, не теряя больше времени, пойти в другой вуз — в конце концов, говорил я ей, она вовсе не обязана точно следовать рекомендациям детдомовских учителей, — Фрида послушалась нелепого совета и все-таки подала в МГУ. Прельщало ее, видите ли, и высотное здание, от которого у нее дух захватывало, кружилась голова и приятно взыгрывало самолюбие...

Но за книги она ни разу не села. Ее крепкие, умелые руки, едва они коснулись наших запущенных хозяйственных дел, развили такую неудержимую деятельность, что чудилось, не две у нее руки, а шесть или восемь. В противоположность Шиве, который, насколько мне известно, только и мог своими руками красиво пошевеливать в танце, Фрида работала без усталости — прибирала, готовила, штопала, стирала и вязала, и все-то ей удавалось, все-то она могла и все делала с заметным удовольствием. По дому бегала босиком, на улицу надевала какие-то несуразные стоптанные тапочки и неслась в магазины, в аптеку, в поликлинику. Купил ей паршивые босоножки — она на полдня онемела, поставила их на тумбочку у своей кровати и все забегала за занавесочку любоваться на них, а назавтра снова носилась по городу в тех же кошмарных тапочках. Соседи быстро признали ее за свою, женщины то и дело заходили к нам и, оглядывая удивительные перемены в нашей комнате, говорили:

”Голда, эта Фрида — счастье тебе за все твои страдания!”
Мать в ответ только тихо спрашивала: ”Разве *мне* нужно счастье?” Женщины многозначительно кивали головами и так же многозначительно смотрели на меня, когда я сталкивался с ними на лестнице или во дворе.

Мать угасала, и забота Фриды облегчила, скрасила ее последние дни. И все мне думалось, какая горькая это и злая насмешка жизни: подвести совсем еще не старую женщину к краю могилы и тогда только подарить ей совсем немного счастья от тех благ, которые она, эта владычица-жизнь, неразборчиво швыряет пригоршнями кому попало. И стало то в доме всего лишь свободней с деньгами; чуть больше уюта; и можно уже не вставать через силу; и голос живой щебечет над ухом что-то вовсе не важное, но так по-женски понятное: о том, какое сегодня видела платье, и сколько народу стояло за мясом, и что если вам надоела картошка, сделаю клецки по-вашему, как вы, тетя, научили, — только забыла я, сколько муки... И 'о будущем сына можно подумывать без прежней тревоги: может быть, и не станет ему тяжелей, когда я умру, будет ухожен, накормлен, обстиран — но вот сам-то он как?.. И всякий раз, когда мне случалось говорить с Фридой, ловил я на себе внимательный печальный мамин взгляд...

Душной августовской ночью Фрида, плача навзрыд, разбудила меня. Мама ушла как ушла тишина в тишину... Не нужно было ничего делать, но Фрида пошла за врачами, и врачи неотложки приехали, чтобы наспех взглянуть, потрогать и что-то свое записать, а я все сидел перед мамой на стуле и рассказывал ей — рассказывал, может быть, то же, о чем пишу я сейчас, а может быть, и о чем-то другом, что пересказывать не умею, и видел себя лежащим будто бы рядом с мамой, и было не страшно, и не одиноко, и еще — чему я удивлялся — не холодно...

Потом Фрида придвинула стул, села рядом и принялась

бесперывно рыдать, и это так меня бесило, что я ее чуть не ударил.

В крематорий приехал весь дом. Простуженный орган и слабенький оркестр, без задержки сработавший лифт, сухое внизу потрескивание, и эта щеточка о железный противень: я по коробу скребен, по сусеку метен...

Хоронить на Преображенском не давали: то ли не было мест совсем, то ли впредь до распоряжения. Но странным образом повезло. К моим мольбам и уговорам в кладбищенской конторе прислушивался какой-то пожилой мужчина. Он подозвал меня и повел в глубь кладбища. По дороге спрашивал, кто моя умершая была, кем доводилась. У меня еще не отошло, и мужчина одобрительно заметил: "С душой ты — страдаешь... Это, парень, хорошо".

Подшли мы с ним к уже не новой, чистой и, как и бывает на русских погостах, уютной, покойной могилке с большим деревянным крестом. И спутник мой, глядя на могилу, торопливо перекрестился, смущенно хмыкнул и сказал: — Неверующий я, а тут вот всегда как-то...

Он долго молчал, думал. Посматривал изучающе на меня, трогал тут и там крепкую оградку, наконец произнес:

— Урночка у тебя, товарищ?

И когда я ответил, что да, урночка, спросил:

— Нравится место, а ? То-то... Ладное место. И самому бы тут лежать. Да, знать, не придется. Сколько матери-то было?

— Пятьдесят всего, с небольшим.

— Ну и моей, почитай, столько же было. Жена у меня здесь, Царствие ей Небесное, — вдруг всхлипнул старик, опять торопясь перекрестился, махнул рукой и продолжительно высморкался в платок. — Вот что, парень. Уезжаю я к сыну, зовет он меня. Один я здесь, что мне? Один, как перст, и могилку оставить не на кого. Что ж, думаю, контору просить, чтоб ухаживали, дать кому денег? Так они ж, грабители...

Он грязно выругался, и меня покорило, не по-кладбищенски это было...

— Годков еще десять, а то и пять, — и перекопают, это я точно знаю. Так хочешь ежели — перепишу на тебя? Упокоишь ты здесь маму свою, чай для урны-то много пространства не надо, — вот они пусть две бабы и вместе лежат. Как смотришь, сынок?

И до того мне щемило и нравилось так это место, и было настолько безудержно жаль старика, что обнял его я за плечи и сказал: "Спасибо, папаша, спасибо!".

Тот обрадованно засуетился, стал давать множество указаний, как, что и когда надо на могиле делать, потом сказал, что все мне в особой бумажке запишет, а пока надо б нам все оформить в конторе, а потом и выпить: "Уж я тебе поставлю", — пообещал он, но я заспорил, почему это ставить мне, а не ему, и договорились, в конце концов, что и выпивку и закуску берем пополам.

И когда уже было пошли от могилки, я вспомнил внезапно:

— Отец, а послушай-ка: жена-то твоя верила в Бога?

— Как же — не верила? Верила. Это я уж такой...

— Ну, а мать-то моя — еврейка.

В недоумении он стал, растерянно обернулся к могиле, словно бы обращаясь за помощью к покойной ли жене или к кресту. Но не было оттуда никакого ответа — знамения. Вздохнув, старик развел руками:

— Да ведь кто же знает, по закону-то церковному, может, и верно — не дело. А по моему разумению так: Бог-то — или его нет; или — один он у всех. Как смотришь?

Я смотрел так же... На том и порешили. И похоронил я мою маму Голду под православным крестом вместе с рабой Божьей Анастасией. И вместе они две бабы лежат. Им хорошо вдвоем, мирно лежат...

С Фридой вышло у нас будто случайно, будто неожиданно для обоих, но, конечно, иначе и быть не могло. Я допоздна засиделся у Леопольда и, когда вернулся, тихо вошел в темную комнату, уверенный, что Фрида уже давно спит. Только я лег, в коридоре стукнула соседская дверь, послышался голос Фриды — она желала соседке спокойной ночи, и наша дверь шумно открылась. Изголовье моей кровати упиралось в заднюю стенку платяного шкафа, и тень от него скрывала меня. Фрида прошла мимо, я слышал, как стала раздеваться она там, в своем уголке. И вдруг она появилась уже без одежды около обеденного стола, совсем близко от меня, сняла и аккуратно сложила салфетку, которой была прикрыта оставленная мне еда. Решила, что я, вернувшись, могу и не заметить приготовленного ею ужина!

Шепотом я позвал ее. Она тихонько вскрикнула и, сжавшись, замерла. Я протянул руку, привлек Фриду к себе, дрожащая, нырнула она под одеяло и прижалась к моей груди.

Некоторое время ради любопытных соседских глаз еще висела в углу занавеска. Управдом остановил меня во дворе и на малопонятном наречии лиц, облеченных властью, официально предупредил о нарушении паспортного режима, проживании без прописки в черте города Москвы, об излишках жилплощади, и вообще, "не известно на каком основании вы с ней живете и на какие средства". Но очень скоро основания появились: Фрида радостно сообщила, что она беременна. Женщина, которая регистрировала наш брак, — кажется, она жила через улицу, — благословила нас укоризненно: "Ну и вот, давно пора!.."

На жизнь пока хватало: деньги, те, что еще оставались, я вручил Фриде, которая тратила их с расчетливостью паразитической. Где-то впереди маячила и вторая часть гонорара. О будущем думать я не умел: можно ли думать о будущем, если пишешь стихи? Однако Мэтру мое грядущее виделось

вполне определенно: как только я получил гранки сборника А. Ефимова, мне было велено, не дожидаясь выхода самой книги, послать ее прямо в гранках на конкурс Литературного института. Спустя месяц я получил ответ, что А. Ефимов творческий конкурс выдержал и допущен к сдаче приемных экзаменов. Я отправился в институт, в канцелярии вынули мое дело, секретарша раскрыла папку и, прочитав лежащую сверху бумажку, протянула ее мне:

— Мы, правда, не должны сообщать, кто рецензировал ваши, но тут, видите, Александр Эммануилович сам просит, чтобы вы ему позвонили.

”Сообщите А. Ефимову, — прочитал я, — чтобы он обязательно связался со мной по телефону для переговоров о его участии в сборнике молодых поэтов”. Подпись подавляла четкими буквами ”д.ф.н.”, а затем следовал веселый рядок ровно посаженных тоненьких палочек, у которых, как у молодых побегов отростки, кое-где кудрявились росчерки и завитки.

Секретарша сказала мне номер, и я тотчас же позвонил из автомата на бульваре.

— Кто-кто? — с напористой быстротой, не дожидаясь, пока я назову себя, спросили в трубке.

— Это по поводу стихов.

— Дорогой мой, все по поводу стихов! — Кто именно, кто? Кто вас направил?

— Никто не направил. Финкельмайер.

— Кто-кто направил?

Я плюнул. Зло сказал:

— А. Ефимов. Книга ”Знамя полковое”. Вы же сами и велели!

— Ефимов? А, тот Ефимов? Голубчик, так я же вас просил, приносите стихи, куда вы пропали?

— Вы меня не просили, вы написали, что...

— Это все не имеет значения! Несите сегодня же, сегодня.

Но — вы понимаете — только неопубликованные! Только. Вам ясно?

И так как я молчал, он беспокойно повторил:

— Вам что-нибудь не ясно?

С тоской я спросил:

— А куда нести?

В трубке закудахтало и заклокотало:

— Дорогой мой, голубчик, мне нести, мне, как же так?

— Я не знаю вашего адреса.

— Ах, но в справочнике Союза он есть! У вас его нет?

Пишите, быстренько, быстренько! — у вас есть чем писать?

Я поехал домой, взял стихи и явился к нему. Это был гривастый, неопределенных лет огрузивший мужчина, который, даже молча сидя в кресле у письменного стола, умудрялся непрерывно производить разного рода шумы. Я бы сказал, что постоянный шум был для него способом существования, будто только под это сопение, хмыканье, шуршание и почесывание клетки его организма и могут успешно делиться...

— Так, так, голубчик, гм... так... Ох, зачем же столько вы принесли, все не прочту, — взяв растрепанный ворох моих стихов, проговорил он и озабоченно поерзал пухлым задом по коже кресла.

Он окинул единым взглядом первое стихотворение, сунул нос во второе, вопросительно уставился на меня, потом опять пробежался глазами по листку, который держал в руках, затем взял его двумя пальчиками снизу и двумя сверху и повернул ко мне лицом, словно показывал издали чей-то портрет:

— Это — ваше? — тихо спросил он и даже перестал на мгновение сопеть.

— Мое, — сказал я, чувствуя себя младшим школьником, пойманным своим директором с любовной запиской.

— Не понимаю, голубчик. Вы — Ефимов?

— Я на самом деле не Ефимов, но ”Знамя полковое”, которое вы читали...

Где-то внутри него давно уже что-то взрывалось, как пузыри под крышкой кастрюли с густой манной кашей, но теперь, похоже, сорвало и крышку:

— Подождите, позвольте, позвольте, — чтт-то же это значит?! — вот-вот, потрудитесь все объяснить!

Я начал объяснять — про армию и псевдоним, но он понял все с полуслова, и, хотя я продолжал еще говорить, доказывая, что те стихи в книге — это не стихи, а стихи — вот эти, которые я ему принес, мой собеседник не слушал меня. Он зарылся своей широкой физиономией в грудь листков, и я видел только, как подрагивают его серые патлы, и слышал пыхтенье, побряхтывание и урчание.

Сидел я перед ним долго. Боюсь, что прочитал он все. Он поднял голову, отвернул лицо к окну и стал думать мучительную думу, сопровождающуюся бурным внутренним диалогом с самим собой.

После междометий ”гм, крр!..”, ”эхм”, ”д-да...”, ”н-ну и? — тэк!..”, — произнесенных, как можно понять, вслух, он заинтересовался моей фамилией. Второй его диалог с самим собой был много короче первого, после чего он обратился ко мне с монологом. Суть его сводилась к тому, что он, старый литератор, критик, ученый-филолог, и сам, между прочим, писавший в прошлом стихи, не представляет, как это современный молодой человек, воспитанник советской школы и прошедший вторую, не менее важную, школу жизни в Советской Армии (оба слова с большой буквы), может вести такую двойную духовную жизнь. В такое время, как наше, когда каждый молодой человек, получает все (все! — с восклицательным знаком) для правильного, всестороннего, гармонического развития своей личности, вы, молодой человек, пошли по пути, чреватому большими идеологическими заблуждениями. Читая гранки вашей книги, я — то

есть он — был уверен, что за этими боевыми, полными задора юности, патриотическими строчками стоит адекватный полнокровный, живой образ самого автора (тут я физически ощутил, какой я отвратительно худой и как из-за этого все мои кости едва ли не постукивают друг о друга), на самом же деле вы напитали себя ядом упадничества, декадентщины и пессимизма — да, да, все эти заимствованные вами известные атрибуты предоктябрьской буржуазной поэзии ("поэзии" — в кавычках) в ваших стихах ("стихах" — тоже в кавычках), конечно же, на виду, и я не берусь предрешать, полезного ли работника идеологического фронта получим мы через пять лет.

— Что вы хотите сказать? — спросил я. Многочисленные доказательства моей духовной порочности так меня обескуражили, что заключительный вывод оказался уже совершенно недоступен моему пониманию.

— Я вынужден буду пересмотреть рецензию на вашу книгу и дать отрицательное заключение, — ответил он мне очень по-деловому и внезапно заклохтал, задергался в кресле, отрывая руки от подлокотников: — Как же так, голубчик? Как же так можно? И вам захотелось напечатать эти стихи? Позвольте, позвольте, но это же абсурдно; зачем вы их мне принесли?

При всем при том и в результате, он производил впечатление человека беспомощного, хлипкого — какого-то неупругого, что ли, как мяч, который со временем малость приспустил, и было большое желание вынуть откуда-нибудь из него затычку и посмотреть, как он и вовсе опадет в своем необъятном кресле. Нечто в этом роде я и проделал. Когда я собрал стихи и отошел уже к самым дверям, то обернулся и увидел, что он вновь с выражением мудрой печали глядит за окно. И тут я сказал ему:

— Гнида. Серая гнида.

Он вздрогнул, и, честное слово, эта кудлатая плохо надутая камера разом заметно осела.

Я отправился к Мэтру. Услышав, какая встреча произошла у меня всего лишь час тому назад, он схватился за голову.

— Александр Эммануилович? Да ты знаешь, кто это такой?! Это же Штейнман, критик Штейнман, трусливая сволочь, паскуда, продажная тварь! — Мэтр с его склонностью к сильным выражениям старался на этот раз превзойти себя. — Всю свою жизнь угодничал и лизал жопы! — разорялся он. — Демагог, словоблуд! Думаешь, верит он в то, о чем говорит? Думаешь, он не понял, какие ты пишешь стихи? Прекрасно понял, не хуже меня! — да ведь этот подлый вонючий тюфяк — он хитрый, он умный иудей! А уж если такой еврей предастся — ну, мальчик мой, берегись! И этот гнусный доктор наук не гнушается брать рецензии в Литинституте! А-а, я понимаю! Я понимаю, зачем это нужно: не дай Бог, не того пропустят, кого надо! А ты, кретин, — что же меня не спросился? Поманили его — мол, стихи напечатаю, так и сопли развесил? Вот тебе эти твои стихи напечатают, вот, на-ко, выкуси!

И он, даже подпрыгнув от ярости, сунул мне пару кукишей. Успокоившись, Мэтр решил первым делом позвонить в Воениздат, чтобы на всякий случай Штейнмана нейтрализовать: вдруг захочет мне гадить. Беседуя с главредом, Мэтр выяснил сначала, что книга вот-вот выйдет из печати, а затем, как бы между прочим, сказал: "Тут вот Штейнману эта рукопись на глаза попалась. Что говорил?.. Да мы же с вами его знаем как облупленного. Ему талантливое — что красное для быка. Совершенно верно, он такой и есть".

— Одно хорошо: его не любят, — облегченно сказал Мэтр, кладя трубку. — Добро хоть с книгой закончится благополучно. А с Литинститутом, пожалуй, хана. Э-эх, молодозелено!

Сокрушался он куда больше меня, и я чувствовал себя виноватым.

Книга А. Ефимова "Знамя полковое" (название, кстати, все того же первого моего стихотворного опуса, из которого были убраны строки про Сталина-отца) вскоре была издана крупным тиражом. Как я думаю, весь этот тираж, кроме небольшого числа экземпляров, полежав положенный срок на складах и на полках книжных распределителей, пошел под макулатурный нож и в виде новой бумаги уже послужил такого же рода книгам не раз и не два, но и их, наверное, успели уничтожить — чем не подобие процесса переселения душ?..

Тем же летом родилась Анна. Погибшую Фридину маму звали Хана, но Фрида сама же сказала, что с нас хватит наших "национальных", как она выразилась, имен, пусть дочка будет просто Анна.

Надо было работать: гонорарные денежки быстро утекали даже при бережливости жены. С работой помог Леопольд: через своих ресторанных знакомых он устроил меня — смешно тогда было подумать — а вот доработался и по сей день — в министерство рыбного хозяйства, экономистом. Взяли меня в заочный рыбный институт, на экономическое отделение, — Фрида грызла меня и не отцепилась, пока не поступил: ей, видите ли, надо было отыгрываться на мне за свою бесполезную золотую медаль, за МГУ и его грандиозное здание со звездой на шпиле.

И повлачил я жизнь — простую, как прост каждый день, вдох и выдох, утро и вечер, еда и питье, два раза в месяц зарплата, два раза в неделю знакомые прелести милой жены, от которых, как только Анне исполнилось два, появилась и Нонка — Фрида хотела так назвать — Нонкой, по имени Нонки Майзелиса, который был ей дороже родного брата. С чего бы я стал возражать?..

Да, да, жить просто! "Жизнь — так это даже очень просто, если про нее рассказать кому-нибудь чужому!" — говорила моя бабушка...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеен и которое никогда от него не отпадет.

А. Пушкин. Египетские ночи

XIV

Есть люди, созданные для того, чтобы быть счастливыми. И все, что с ними ни случается, — все идет им впрок. Уж и стукнет такого человека судьба, стукнет крепко, ударит оземь, а он — вот уж, гляди, стоит на ногах, улыбается, словно бы всего лишь кувырок через голову сделал, на мягком ковре, на этой самой жизненной арене: "Алле — э!" — словно бы весело вскрикнул и руки широко распахнул, весь мир призывая в зрители, и музыка гремит бравурно во славу его победы — во славу великого искусства жить. Но тут, испытывая как по программе, снова его ударит, да больнее, крепче, неожиданней, — а он опять, поди ж ты, как ванька-встанька, стоит, и хотя еще покачивается покуда, но жив-здоров, и похоже, опять вхолостую его ударило. И много еще раз будет с ним в жизни такое, что не приведи Господь другому испытать, — но стоит он себе, на судьбу поплевывает, водку пьет, курит "Приму", жена от него детей рождает и аборт исправно делает, он же своего не упускает — со многими еще бабами путается, надоест с которой — бросит, а сызнава заохотится — новую и заведет. Он и помрет удачно — в одночасье, как в старину говорили. Завидно, честное слово!

Другие же, — напротив: чем бы их ни баловали житейские обстоятельства — достатком ли денежным, любовью ли женской, другом хорошим, здоровьем отменным, — все не то, все не так, ничто не приносит душе покоя. Разве что временем недолгим отпустит немного...

Никольский это за собой знал. Никогда не умел он подумать о себе, что счастлив. И в лучшие свои времена — а бывало так, что он без оглядки отдавался новой работе, что любил женщину безумно, до лихорадочных огней на глазах, что кутил с лихой компанией не одну неделю, раскатывая на машинах по веселому грузинскому побережью, — и в эти лучшие свои времена чувствовал Никольский, как изнутри, из него же самого и внутрь себя же смотрит некое недреманное и печальное око, и мнится что-то, и тяготит горечью терпкой — привычной и сладостной даже... Отчего это в нем? ”Такая твоя конституция, и — раз...ись!” — припечатывал он обычно, когда на него находило сие никчемное, бесполезное желание познать самого себя. Но когда случалось ему в какую-то муторную минуту ощутить вдруг с глубокою болью нестерпимую жалость к себе, объяснял он все так, что чего-то не нашел, или не нашел кого-то, что все сложилось не так, как надо было бы сначала всему сложиться, что окружающая его жизнь паскудно устроена — потому, помимо прочего, паскудно, что в ней просто-напросто не может выпасть тот единственный, нужный ему шанс, так как в этой сволочной жизни подобного шанса вовсе не существует, в чем Никольский всегда был уверен.

Такая-то минута и наступила для Никольского в очередной свой раз, и в очередной раз подумал он все это про себя — насчет сложилось — не сложилось и насчет шанса, которого не может быть. Подумал — и внезапно незнакомое что-то шевельнулось в нем... Леонид приостановился даже и голову приподнял, оглядываясь вокруг, точно постарался увидеть

это незнакомое не в себе, а вовне, и объяснить в нем шевельнувшееся событием случайным, звуком или движением, которые происходили где-нибудь неподалеку, вокруг него.

Был в эту минуту Никольский близко к окраинной Москве, у Песчаных улиц. Выйдя из метро, он прошел уже мимо ограды церкви, и заходящее солнце светило прямо в лицо. Он взглянул через плечо, назад, и увидел, как сияют золотом высокие кресты. В этих местах от пригородной старой застройки оставались, жили еще среди новых больших домов прилепленные к земле бревенчатые избушки с четырьмя окнами и остроскатные франтоватые дачи. А около них и кое-где среди уличного тротуара достаивали свой век редкие березы и сосны. Приостановившись на миг, посмотрел Никольский на туго лоснящуюся белизной березовую кору, и выплыло из памяти такое, что не вспоминалось никогда: пришло к нему, как в далеком детстве, в войну, его дед деревенский, бывший поп, ножиком перочинным подрезывает кору, слезиночки сока показываются в подрезе и сбегают по стволу вниз, а он, мальчишка, пьет и сытым становится и счастливым.

Вдалеке от центра московская весна не выглядела столь серой и унылой, какой она была в главной городской черте. Здесь сдвинутые к кустам и газонам сугробы не казались кучами бесформенного серого тряпья, обносками зимней природы, они до конца, до полного таяния, хранили белейшую пухлость, а лед на лужах обладал присущей ему натуральной прозрачностью. И из-под льда, и из-под сугробов вода прожурчалась уже дорожками и неслась куда-то, будто движимая неизбывной и безудержной проснувшейся в ней надеждой. Простое и туманное слово это — *надежда* — осветило сознание Леонида, сказало ему о том незнакомом, что зашевелилось в нем несколько мгновений назад... Но откуда же надежда? И на что ему надо надеяться? — сбиваясь с ускользающих вопросов, добивался он у себя. И тогда столь

же тихое, как *надежда*, назвалось — пронеслось ему отчетливое *имя*. Едва достигло оно сознания Никольского, он сжал губы и растянул их в неровной усмешке. Отвечая своим мыслям, он даже покачал головой, словно влево и вправо отогнал все, что вдруг нахлынуло на него.

Вода-то пускай себе прожурчится, куда там ее несет. А *этому* завладеть собой он не позволит.

И Никольский зашагал с обычной для него решительностью походки.

XV

На расстоянии десяти минут ходьбы от метро, в стороне от широкой улицы, по которой уже лет восемь как пустили автобусы, был дом, который выглядел странновато в ряду себе же подобных старых, так называемых "частных" домов. Ни аскетической простоты бревенчатого избяного сруба, ни глуповатой легковесности дощато-дачной постройки нельзя было уловить при взгляде на этот дом. Имея вполне загородный вид, — с крылечком, верандой и балкончиком под мезонином, дом все же выглядел как городской особняк стиля начала века. Правда, архитектурный стиль модерн пришел на московские улицы и переулки как утверждение новых возможностей бетона и стекла, позволивших вычерчивать на фасадах сложной формы кривые и дуги, делать широкие и тоже сложной формы и очертаний оконные и дверные проемы. Кирпичу же и дереву, если оно еще применялось, оставался, когда хотели выстроить нечто *художественное*, — оставался древнерусский или, по более поздней терминологии, "псевдорусский" стиль с башенками, кокошниками и наличниками... Верен в принципе этот историко-архитектурный анализ московских стилей начала века или нет, однако именно с такого анализа начина-

ла хозяйка этого дома, когда в ответ на удивление, а чаще недоумение своих вновь обретенных знакомых или случайных гостей объясняла, в чем именно заключается оригинальность "Прибежища" — как звала она свой дом. Тем он и необычен, по ее словам, что старые материалы — кирпич и, главное, дерево стилистически использованы здесь так, что дали эффект модерна. Были применены, по словам еще отца нынешней хозяйки, какие-то наборные деревянные балки — он называл их "равнонагруженными" брусьями, и вот эти-то балки позволили получить дуги и кривые точно так же, как если бы их сделали в бетоне. Но, конечно, все это в скромных размерах, поэтому домик выстроился небольшой, что, впрочем, даже к лучшему: к хозяйке, единственной нынешней владелице его, никого не пытались вселить, а ее не пытались выселить.

Действительно, за исключением нескольких подсобок — кухоньки и безоконных чуланчиков и каморочек, выходящих в путаный, какой-то коленчатый и суставчатый коридор, — дом представлял собой одну-единственную комнату с тремя высокими полукруглыми окнами по длинной стороне. Комната эта была весьма большой. По меркам московских особняков прошлого века она могла быть или скромной залой, где дворянское семейство собиралось по вечерам для музицирования, пасьянса и чтения вслух; или просторной обеденной, где необходимо — широк и долог — стоял оплот сытого и медлительного бытия — стол. Но этот дом строился уже лет на пятнадцать позже того, как последние из ленивых московских полупомещиков — полугорожан сменились хваткими дельцами, которые сыновей своих поотдавали в инженеры-путейцы и в инженеры-строители, и вот один-то из них, совсем еще безусый юнец, едва окончив высшую школу, и принялся выдумывать и возводить себе этот дом. Удивительная, прямо сказать, затея для неженатого, вовсе не оперившегося молодого человека — в ран-

ние-то годы возмечтать о собственном доме! Однако задумал он его не ради того, чтобы хорошо поместить оставленный покойным батюшкой капиталец и занять прочный свой угол. Молодой человек — строитель по образованию и художественная натура по склонностям — хотел устроить для себя некое святилище искусств, приют возвышенных фантазий, средоточие божественных красот. Он увлекся живописью, иногда выставлял одну-две работы на какой-нибудь выставке, и вот, едва обретя самостоятельность, стал воплощать в реальность свою юношескую мечту: начать свою жизнь, а потом и прожить ее всю не среди банального мещанского уюта, а в доме, который прежде всего был бы удобен для занятий искусством, располагал бы к артистическому времяпрепровождению. А что до бытовых удобств, то это дело второстепенное, не важное. Пылкий поклонник искусств, новоиспеченный инженер-строитель, исходя из своих идей, сам разработал планировку, красиво вычертил проект, и в старом "Ежегоднике Общества архитекторов", который и сейчас нынешняя хозяйка дома держит на видном месте, можно увидеть отличное фото с проекта и хвалебную статью об оригинальном замысле.

Затея с домом началась как раз за год до Мировой войны, а протянулось строительство через десять лет войны и разрух, да и заглохло в нэповские времена: окончен дом так и не был. Со двора — снаружи, по закоулкам и чуланчикам — внутри, — всюду можно было найти дощатые и фанерные латки, выгородки и временные заделки. В самом же главном и единственном помещении, которое мыслилось автором как, прежде всего, мастерская живописца и скульптора, а также и как музыкально-драматический салон (у одной из стен пол был уложен на ступень выше, и получилось что-то вроде небольшой эстрады), — в этой комнате со временем тоже пришлось многое переменить по сравнению с первоначальным видом. Были сделаны *антресоли* — этим краси-

вым словом называли грубосколоченную из досок и подпертую столбами галерею, на которую поднимались по лестнице, сооруженной сбоку от двери. Поначалу галерея пересекала лишь три стены мастерской, не заползая на фасадную, во всю высоту которой шли окна с полуциркульными верхами; но потом и окна рассекли деревянным настилом — как раз по основаниям оконных дуг, — и тут уж соразмерность, пропорции и прочие подобные качества интерьера вовсе исчезли, однако впечатление странности его усилилось еще более. Там же, где находилось на полу возвышение, кусок площадки отгородили тяжелой мебельной тканью и тоже это отрезанное пространство назвали красиво — *альковом*. Понятно, перемены эти происходили не сразу, и шли на них вынужденно, поддаваясь тому самому житейскому, что входило в семью хозяина и чего он так хотел избежать, когда в молодые годы думал о своем будущем. Да и жизнь совсем не так сложилась, как хотел он предполагать, а просто говоря — вовсе не сложилась. Он был "спецом" — царским еще инженером, и помыкали им, как хотели, и в двадцатые годы и в тридцатые, так что мотался он от одной стройки на другую — и все под контролем, под недоверием, под угрозой. Мотался один, без жены: ее он всегда оставлял в Москве, оберегая от жутких условий, в которых приходилось жить самому, и оберегая тем самым — что было едва ли не равнозначной причиной его одиноких кочевий, — оберегая дом. Жена его, бывшая курсистка, влюбившаяся в молодого инженера-идеалиста и в его живопись, еще до знакомства с ним была связана с социал-демократами, в революцию стала большевичкой и позже преподавала в Институте красной профессуры. Так что ее партийное лицо до поры до времени прикрывало буржуйскую личину мужа. Но 37-й год все привел к общему знаменателю: инженера забрали прямо со стройки на Урале, за женой спустя несколько месяцев пришли сюда, в этот дом. Но ей редкостно, в числе немно-

гих, повезло: как раз тогда осудили ежовщину, кое-кого повыпустили и ее тоже, потому, прежде всего, что ей вот-вот пора было родить.

Раньше, когда разрушали весь мир до основания, а затем начинали строить наш, новый, — до ребенка ли было? Муж дома бывает — приездами, она — приходами: то лекции, то собрания, то шефское выступление перед рабочими. И записки на столе — *прости, дорогой, не смогла встретить, люблю, целую, до скорой встречи, уезжаю сегодня в ночь, береги себя, позови управдома, попроси починить кран, а то течет, будь здорова, целую*, — эти записки, брошенные при обыске обратно в старый портфель как явно ненужные, до сей поры еще что-то кричат вдогонку... А тогда — между этих записок — вскрикнула однажды и природа: пробилась сквозь все, что заставляло ее молчать, — и вот в уже немолодой женщине, которая не успела, не умела даже подумать о своем материнстве, стал вызревать ребенок. Ребенок ее и спас. Отец же так и сгинул, неизвестно где и когда, не зная, что он отец, а может быть, если погиб сразу, и не был отцом ни минуты.

Дочку мама назвала Верой. От той Веры, что значится в святцах вместе с Надеждой, Любовью и матерью их Софьей, это имя отличалось тем, что дано было не во славу Божественной Веры, а в знак непоколебимой веры в Правоту и Мудрость Партии и Вождя, а заодно и в невиновность мужа, который, когда *разберутся*, вернется в дом, к жене и дочери.

Давно не было уже отца; не было уже Вождя; умерла несколько лет назад мать; странный дом еще жил, и Вера, нынешняя единственная его владелица, переняв, наверное, в силу наследственности, от незнакомого ей отца чувствительность к изящным искусствам, литературе и музыке, по-прежнему хотела видеть свой дом Прибежищем Прекрасного... Действительно, старенькое пианино с постоянно открытой пожелтевшей клавиатурой; заплывшая парафином бронза подсвечников; небольшие мраморные и гипсовые

скульптуры — от копии Кановы до головки Нефертити; десятка полтора картин в масле и эстампов — подарки явно небесталанных художников; этюд К. Коровина и акварель А. Бенуа; альбомы репродукций, свитки старых, покрытых ржавыми пятнами гравюр, кипы архитектурных журналов — все это стояло, висело, лежало, иногда падало и всегда попадалось на глаза тут и там в углах, на столиках, этажерках — и внизу, и на антресолях, и в чуланах, и даже на кухне.

Вера не хотела приводить свой дом в какой-то организованный вид и, пожалуй, была права: всякая упорядоченность лишила бы и Прибежище и его хозяйку той едва ли не основной черты, которая делает дом неотделимым от своих обитателей... К тому же в доме с некоторых пор установился такой стиль жизни, при котором размеренность и порядок становились вообще невозможны: у Веры всегда бывали люди, приходили и уходили в любое время дня и ночи компаниями и поодиночке, нередко на антресолях кто-то оставался ночевать, а кто-то и застревал в доме на несколько дней. Все это были люди художественного толка, чем-то интересные, чем-то неприятные, но так или иначе атмосфера Прибежища создавалась ими.

Года три назад, однажды вечером, случайно, как и большинство из тех, кто попадал сюда впервые, появился у Веры в доме Никольский. Его привел знакомый, которому сказал один приятель, что в одном доме сегодня вечером будет что-то интересное. Что тогда было интересного, Никольский не помнил.

В те дни, три года назад, Никольский переживал смутные времена. Причину своего затяжного сумеречного состояния Никольский со всей очевидностью находил в длительном отсутствии у него женщины. Этой же причиной объяснял себе Никольский и то, почему у него столь быстро и бурно завязался роман с Верой. Но одно дело — почему роман завязался; другое — почему он тянулся несколько лет. Тут уж

примитивные объяснения не годились. Никольскому было нипочем порвать с возлюбленной, когда он этого хотел, раз и навсегда. В чем, в чем, а с теми, кого приходилось оставлять, он вел себя честно: в минуту безудержной тоски по любовным играм не прибегал к попыткам возобновить старое, зная, как это тягостно для женщины, да и самому тошно. И бывало, не раз уже бывало, что и с этим нынешним его романом с Верой хотелось ему покончить, но Леонид всякий раз чувствовал, что уйти, наверное, не сможет. Вера — как он знал — оказалась из тех женщин, к которым Никольского особенно тянуло: нравились ему почему-то умные эти, резковатые в манерах и в чертах лица независимого толка женщины, тип которых столь распространен сейчас по нашим большим городам. Женщине уже под тридцать, обеспечивает она себя всем, зарплата и квартира у нее ничуть не хуже, чем у мужчины ее возраста, она уверена в себе и вовсе не собирается тебя ловить в брачные сети — кажется, о замужестве она и не помышляет. Никольский был не настолько глуп, чтобы не понимать, что, как и многих, его такие любовницы устраивали именно в силу их житейской независимости: влечение к той или иной особе было приятнее, когда не влекло за собой моральных неудобств. Что же до качеств женского ума, то, как это ни парадоксально, Никольский ценил их тем выше, чем меньше был уверен в своих собственных умственных возможностях. Так уж у него получалось: он начинал ухаживать за какой-нибудь дурашкой-хохотушкой, когда у него все в жизни ладилось, когда голова была ясной и он ощущал себя на многое способным. Стоило же почве под его ногами несколько заколебаться, как он в дополнение к любви простой начинал искать с женщиной обязательно умных разговоров, таких, чтоб можно было, подогретому близостью ее тела, выговариваться искренне, как на исповеди, вдохновенно и... красиво. Редкая женщина способна оказаться в такие

минуты на высоте — не только по возможностям своего разума, но и по тактическому умению долго слушать, в меру соглашаться и в меру возражать своему возлюбленному.

Вера, признавал Никольский, оказывалась на высоте всегда. Много раз ловил он себя на том, как во время какой-то деловой склоки или по-мужски агрессивного спора с приятелем, он вдруг, злорадно ухмыляясь, умолкал и хранил про себя разительные аргументы, чтоб не метать зря бисер перед свиньями, а зато потом, у Веры, выложить в остроумном монологе припасенные реплики. Он предвкушал, как понимающе будет она улыбаться, согласно кивать в ответ и, быстро схватывая суть, умными репликами подтверждать его правоту... Это было отрадно, тешило самолюбие, но и прямо говорило Никольскому, как часто он испытывает неуверенность в себе. И вот теперь Никольский, направляясь к Прибежищу и решительно отгоняя от себя беспокойное слово *надежда*, которое невесть откуда пришло и неизвестно отчего потревожило сознание, он успокаивающе, но и не без обычной самоиздевки, говорил себе, что — какого же черта? — у тебя есть Вера, и с ней все становится ясным и разумным всякий раз, едва задергивается альковная драпировка... И потом, кто тебе сказал, что три года — это много? Конечно, у тебя до сих пор такого не случилось, чтобы отношения с женщиной длились так долго, и даже брак — мир его светлой памяти! — продолжался, кажется, года полтора — или чуть меньше, забыл, — но ведь люди и по пять лет проводят с одной и той же любовницей и некоторые даже не изменяют ни разу, что и вовсе удивительно... Надо бы, наверное, и ему приобрести какой-то опыт размеренной сексуальной жизни, в нашем меняющемся мире и этот опыт может пригодиться, особенно учитывая возраст, который тоже меняется не в лучшую сторону и как раз именно в сексуальной сфере не обещает в будущем ничего хорошего. Что ж, будем готовиться к худшему...

У Никольского был свой ключ от дома, но он позвонил у входа: после долгого отсутствия не хотелось вторгаться к Вере так, будто он тут полный хозяин. Открывая ему, она спросила:

— О, ты? Зачем же звонил?

— А кто тебя знает... — улыбался он.

— Ну-ну, без глупостей. Здравствуй!

Эдакая мимолетная демонстрация взаимного благородства: "Я не считаю тебя своей собственностью" — "Напротив, я полностью принадлежу тебе". Затем они целуются, Вера кладет ладонь ему на затылок и во время же поцелуя снимает с Леонида шляпу. Еще два-три коротких поцелуя мимо губ — в подбородок и в щеку — "Небритый", — говорит она с ласковой укоризной, и все последующее тут же отодвигается до более поздних и лучших времен.

— Ты знаешь, у меня сейчас ученица, — поспешно сообщает Вера. — Если хочешь, порыскай пока на кухне. А то подожди полчаса, и я займусь обедом, идет?

Никольский отправился на антресоли. Там всегда бывало неплохо улечься на продавленном кожаном диване, устроив голову на одном валике, а ноги положив на другой. Леонид улегся, небрежной рукой потянулся к каким-то растрепанным журналам, сложенным у перил прямо на полу, и сразу же почувствовал, что его одолевает сонливость. Снизу доносились мелодичные итальянские созвучия — голос Веры, более мягкий и высокий, чем всегда, и громко вторивший ее словам голос ученицы. Пожалуй, ученица могла бы не так рьяно стараться и произносить свои фразы малость потише, но, по-видимому, певицы не умеют распоряжаться своими связками иначе, как включая их на полную мощность. Хуже всего будет, если ученица захочет петь. Все они, эти не очень юные особы, занимаются итальянским ради нескольких партий Верди и Россини, и им с самого начала не терпится войти в роль Галли Курчи, даром что здесь есть пианино, а

Вера может аккомпанировать. А не мечтала ли Вера сама стать певицей? Почему она учила не французский и не английский? И потом, она действительно музыкальна... Надо спросить у нее, но зачем? Разве это имеет какое-нибудь значение? Хм, никогда не спрашивал, как складывались у Веры юность, студенческие годы; никогда не задумывался об этом...

Не задумался об этом Никольский и сейчас: журнал, терпко пахнувший пылью и пересушенной бумагой, опустился на лицо, итальянская речь потекла медлительно и томно, стало жарко дышать, и было в самый раз окунуться в воду и проплыть до того красного буйка, но встать не хочется, а смотреть на лежащую рядом с ним на песке светловолосую женщину — больно от солнца, и как ее зовут, он не может припомнить, а она на своей полуоткрытой груди стягивает пальцами кофточку, но не может стянуть, потому что кофточки нет, а есть лишь купальник, и приходится прикрыть глаза и с сожалением отвернуться, чтобы ее не смущать, но он отвернуться не может, не может...

Никольский проснулся от боли в затекшей шее. Поблизости, в плетеной качалке сидела Вера и с шутейской улыбкой поглядывала на него.

— Ушла твоя студентесса?

— Господи, да я уже обед успела приготовить, и все остыло!

— Черт, шею свихнул! — простонал Леонид и стал растирать у себя за ухом. Вера поднялась с кресла, присела рядом на диване и, все с той же улыбкой склоняясь над Леонидом, приняла в нем участие — прохладной рукой начала массировать ему шею. Внезапно Никольский обхватил Веру за талию, изловчился и одним движением устроил свою возлюбленную в той же позе, в которой только что пребывал сам... Последовавшая серия поцелуев была куда более страстной и продолжительной, чем в сцене у дверей.

— Ого... это, конечно, мило... — между поцелуями стара-

лась Вера высказать свою точку зрения на происходящее, — но... тут... пылица... погоди... подушку бы дал принести!..

— Врешь!.. Не получишь подушки!.. Не потрудилась мне притащить? Пускай и у тебя поноет шея!..

— Это уж садизм! — слабо запротестовала Вера, но Леонид от словесных шуток переходил уже к более увлекательному занятию...

Густой оранжевой краски лучи проходили горизонтально сквозь полукружия окон. Негативный силуэт перил печатался на рыжую стену. Лежащие на диване курили в две сигареты. И единственным, что менялось в этом театре теней, был дым — по стене, среди частокола перильных стоек вился он, плыл вверх, отражался от близкого потолка и вновь опускался, будто это был дым от жертвы, не угодной небесам, не принятой богами, и потому возвращенный на землю...

Никольский не был доволен собой. Ну что, в самом деле, он распалился? К чему эта поспешность? Мог бы и вечера дожждаться... Но в глубине души он, конечно, знал, почему оказался нетерпелив: вечером, как обычно бывало, сюда набегит народ, и придется втихомолку злиться — ждать, когда к часу ночи разбредутся, наконец, последние из гостей, а потом еще увиливать от вопросов Веры, отчего это он был сегодня в плохом настроении... Итак, душа и тело его предпочли, по-видимому, быть вечером в хорошем настроении. Он и теперь уже чувствовал не усталость, а бодрое возбуждение.

— Если ты думаешь, что заработала право оставить меня без обеда... — начал было Никольский, но Вера договорить не дала и закончила сама:

— ...то я жестоко ошибаюсь! Да я тоже голодна до безумия. Давай-ка побыстрей сматываться с этого жуткого дивана, я, наверное, вся буду в синяках!

— Не знаю, не знаю, — с развязным равнодушием отвечал Никольский, начиная раскопки в беспорядочной груде одежды. — Не знаю, мне было не очень жестоко...

— Благодарю за комплимент, все вы, мужчины, эгоисты, сколько мы от вас терпим!

Продолжая в том же духе, они спустились вниз, и Вера принялась готовить к столу.

За обедом Никольскому пришла в голову неожиданная мысль, которую он минуту-другую обдумывал. Потом спросил:

— У тебя будет много народу вечером?

Вера пожала плечами.

— Представить не могу, кто забредет. А что? — настороженно спросила она. — Не хочешь, чтобы сегодня были люди?

Вера, конечно, знала, что гости ее частенько Леонида злили, хотя он никогда своего недовольства вслух не высказывал, да и вообще не считал нужным вмешиваться в ее дела.

— Вовсе нет, почему же не хочу? — сказал он. — Наоборот, если будет не слишком шумно, я бы пригласил своего знакомого. Не уверен, правда, пойдет ли он. Он малость... застенчивый, что ли?

— Я с ним не знакома? — с некоторой ревностью спросила Вера. Она-то знакомила Леонида со всеми своими друзьями — безразлично, будь то мужчина или женщина.

— Угу, — дожевывая и глотая кусок жаркого, кивнул Никольский. — Не знакома. Я сам с ним впервые встретился в этой поездке. Он поэт.

— Поэт? — оживилась Вера. — А как его фамилия? Может быть, я его знаю, или, может, есть общие знакомые? Кто?

— Да нет же, не знаешь! — уже чуть-чуть заводясь от ее эмоциональной реакции, ответил Никольский, но сразу же остановил себя: заводиться не стоит, нехорошо, и он совсем не будет сегодня заводиться — весь вечер, каким ни будет этот сегодняшний вечер. С мирным терпением Никольский попытался объяснить:

— Он, понимаешь, как поэт почти никому не известен.

Где-то работает и, конечно, не в писательском союзе. Человек очень талантливый, ну, и, поверь, стихи у него...

— Ой, Леон, послушай, у меня идея! — внезапно перебила Вера, пораженная этой своей идеей. — Мне одна знакомая пара — знаешь, кандидаты? — все уши прожужжали про какого-то поэта — он с ними на одной лестничной площадке, — "надо его к тебе привезти, надо привезти!" Вот пусть и его тоже привезут, я им позвоню сейчас!

— Стоит ли? — Никольский отнесся к предложению Веры без энтузиазма. — Надо сперва узнать, захочет ли все-таки мой приятель идти сюда, в Прибежище.

— Какая разница? Один ли из них приедет, или оба, или не будет никого из двоих? Это же не проблема, всегда такие ситуации разрешаются сами собой, на месте, — убеждала Вера. У нее в устройстве такого рода встреч был немалый опыт, и Никольский не стал спорить. Он подумал только о том, нужно ли, приглашая Финкельмайера, сказать ему, что здесь может оказаться еще один поэт. Но, следуя за Верой, он тоже решил: когда все соберутся, видно будет.

Еще не было шести, и Никольский позвонил Финкельмайеру на работу.

— Арон Менделевич, это вы? — спросил он в трубку.

— Да, я, — ответил растерянный голос.

— Здравствуй, Никольский говорит.

— Кто? А, здравствуй! — так же растерянно, а затем неохотно сказал Финкельмайер.

— Ты, я смотрю, не очень-то рад моему звонку.

— Я? Разве? Нет, просто...

— Что?

— Да знаешь... Дорожное знакомство... Может не располагать... к продолжению, и я думал — не позвонишь. По крайней мере — так скоро.

— Старый идиот, замолчи, — ответил нежной грубостью Никольский, и последовала небольшая пауза, внутри кото-

рой от одного к другому совершала колебания некая волна неведомых пара- и телепатических частиц, как их там ни называй — флюиды, электро- или биотоки. — Давай-ка встретимся. Сегодня. И не ври, что у тебя занят вечер.

— Занят? Но это правда. Я сказал одному человеку, что, может быть, зайду к нему.

— Ты вот запиши адрес. А приятеля тащи с собой.

— Это Леопольд Михайлович. Я рассказывал.

— Отлично! Скажи своему Леопольду Михайловичу, что в доме, куда я вас приглашаю, хорошая коллекция живописи и скульптуры. И вообще — прибежище искусства. Арон, я хочу тебя познакомить со своей дамой сердца. Ну, записываешь?

Финкельмайер пробормотал что-то невразумительное, но адрес и номер телефона записал, сказал, что заедет к Леопольду, а там — как тот решит.

— Леопольд, Леопольд... — стараясь что-то вспомнить, повторяла Вера. — Леопольд Михайлович?.. А он — кто, фамилию не знаешь?

— Кажется, искусствовед. Или в этом духе...

— Леопольд Михайлович?! — озарило Веру. — Он читает лекции в ЦДРИ! Это он? Ой, да послушай же, это чудо что за человек, я его хорошо помню! К нему же невозможно было попасть! — возбужденно всплескивала руками Вера. — Господи, и ты врал про какую-то коллекцию, я же от стыда провалюсь!

Вера смотрела на Никольского, хлопала ресницами, качала головой и не скрывала, как она довольна, что Леопольд приглашен в Прибежище и, возможно, будет здесь сегодня.

Приблизительно часов с восьми то и дело кто-то звонил у дверей, кто-то звонил по телефону, Вера носилась от телефона к дверям, а от дверей — к кухне, откуда уже шел запах размолотого кофе. Никольский в этом всеобщем движении особого участия не принимал: в силу все того же своего убеждения, что ему не следует играть в Прибежище роль хозяина. Хотя наиболее близкие из Вериных друзей прекрасно знали о ее отношениях с Леонидом, считалось, что он здесь такой же гость, как все. Никольского это вполне устраивало, и внешняя независимость друг от друга, которую они демонстрировали на людях, то позволяла кому-то из них двоих пофлиртовать немного, так сказать, "на стороне", то, напротив, испытывать легкую ревность.

Заняться было нечем, и Никольский пока поддразнивал Верину подругу — добрую, безобидную Женю, которая к исходу третьего десятка лет оставалась по всем признакам ее поведения безнадежной девственницей. Никольский подсел к ней и заинтересовался ее новой юбкой. Женя порозовела, глаза ее стали блестящими, а голос приобрел звонкие интонации, — внимание мужчины, в какой бы форме оно ни проявлялось, влияло на нее как таблетка сильного средства для повышения жизнедеятельности всего организма.

— Слушайте, Женя, а это кожа, — говорил Никольский и в упор, пристальным взглядом рассматривал юбку значительно выше колен. — Это натуральная кожа или синтетика?

— Натуральная... ну что вы в самом деле? — с тихой укоризной лепетала Женя, улыбалась и заливалась румянцем еще краше.

— Замша, наверно? Что, очень модно сейчас? — как ни в чем не бывало продолжал Никольский. Он взял сигарету в рот, чтобы потрогать пальцами туго натянутую на полных

бедрях юбку — убеждался, значит, что действительно замша, а не заменитель. От этого Женю пронизала мгновенная дрожь, словно ей стало холодно, и она тесно сдвинула колени.

— Заходите, заходите, знакомьтесь! — раздался голос Веры, и в комнате появились "кандидаты" — муж и жена, которые приходили сюда довольно часто и всегда вдвоем и кого иначе как по их совместной ученой кличке никто не называл. Коренастый, широкоскулый парень с уголовным чубом на лбу, тонкоротый и, несмотря на явное здоровье, несколько нервического толка, стоял рядом с кандидатами. Точнее было бы сказать, что кандидаты стояли рядом с ним, так как вид его обладал такой напористостью, что и неподвижный, он как будто работал локтями и уверенно раздвигал пространство вокруг себя, оттесняя всех и вся на второй план.

— Это вы — поэт? — с некоторым изумлением спросила Вера.

— Поэт и прозаик. Две книги стихов и книга прозы, — снисходительно растягивая губы, заявил парень. — Сергей Пребылов. — Он протянул руку Вере, потом Никольскому. — Сергей Пребылов, — с удовольствием повторил еще раз. Звучало у него "Сяргей Прябылов".

— Пря? — ляпнул вдруг Никольский.

— Чего? — вскинулся тот своим чубом.

— Как правильно: Пря-былов? — лез уже напропалую Никольский.

— Пре.

— Пре? Пре — не читал, извините, не встречалось, — сказал Никольский и, прижав ладонь к груди, протолкнулся мимо всех стоявших на кухню. Когда он там прикуривал от газовой горелки, вошла Вера. Она давилась от смеха и грозила кулачком:

— Невозможный тип, ну что ты всех задираешь?

— Самому пря-противно, пря-ня-пря-ятно, пря-падаю к вашим ногам, — изощрялся Никольский.

— Ты же не знаешь, может быть, у него хорошие стихи, а ты с ним так!..

— Пряд-полагаю, пря-восходные, моя пря-лестная! — продолжал Никольский свое.

Вера, не выдержав, заливаясь смехом, убежала. На кухонном столе уже скопилось несколько бутылок "Столичной" и разнокалиберных вин, принесенных гостями. От одной из водочных головок Никольский отодрал крышку и налил себе в кофейную чашечку. Он поискал глазами, чем бы закусить, но почувствовал, что ничего не хочет после недавнего обеда. Опрокинул водку и запил ее из той же чашечки водой из-под крана.

В открытую форточку со двора донеслись голоса, шаги и хруст снега на крыльце. Никольский ладонью прикрыл отражение лампы в стекле, посмотрел в окно. Двое, прежде чем войти, топали, тщательно сбивая с ног налипший снег.

— Арон, — крикнул Никольский в форточку. — Не звоните, открою!

Вошел Арон и сразу же наступил на дамские сапожки, споткнулся и, выбирая безопасное место, продолжал наступать на что-то еще и вновь спотыкался. Вместе с верзилой Финкельмайером появился среднего роста пожилой человек в берете и в слишком легком для холодной еще погоды стареньком пальтишке. Никольский протянул руку:

— Добрый вечер, вы — я знаю от Арона — Леопольд Михайлович? Я — Леонид.

— Здравствуйте, Леонид. Спасибо, спасибо. Я справлюсь сам.

Под пальто у Леопольда был серенький шерстяной джемпер из весьма неплотного трикотажа, открытый, без воротника. Вынув расческу, Леопольд неторопливо пригладил редкие седоватые волосы и седоватые же усы тронул рас-

ческой, чтобы снять оттаявший снег. Поправил довольно памятую бабочку на шее — все это проделал, не взглянув в зеркало, равнодушно и между прочим, лишь уступая этой скучной необходимости — следить за собой. Особенно наглядно свидетельствовала о такой психологии своего владельца бабочка: вероятно, ее же Леопольд носил с фраком, когда служил официантом в ресторане; а теперь та же несколько экстравагантная деталь современного мужского туалета выглядела вполне естественной у лектора-искусствоведа. Но заменить бабочку новой Леопольд, видимо, и не подумал.

Стащил, наконец, с себя и повесил пальто Финкельмайер. Никольский заговорщицки подмигнул, завел пришедших в кухню и из начатой им только что бутылки налил всем трем в те же кофейные чашечки.

— Ваше здоровье!

— Спасибо. За знакомство. За вас и за Арона, — сказал Леопольд; они выпили, и Никольский придвинул тарелку с нарезанным сыром.

— Любопытное сооружение этот дом, — после краткого молчания произнес Леопольд. — Как я мог понять, мы зашли не с фасада; но и с тыльной стороны, даже сейчас в темноте, видно, что строил архитектор оригинального ума.

— Так и есть, — кивнул Никольский и усмехнулся: — Вот увидите, хозяйка прочтет вам лекцию.

Леопольд вопросительно поднял брови. Никольский, однако, ответить не успел. В кухню как раз входила Вера с язвительной фразой на устах:

— Так я и знала, что ты в одиночку здесь пробавля!.. Ой, простите!

— Как видишь, не в одиночку. Позвольте представить: Леопольд Михайлович и Арон, — наша хозяйка...

— Меня зовут Вера.

У Леопольда был вид провинившегося мальчишки, но руку Вере он поцеловал с изысканной галантностью.

— Уж не вините нас строго, хозяйюшка, это мы по-гимназически... Но папиросы в рукаве не прячем! — вдруг с горячностью сказал он и для пущей убедительности выпучил глаза, отчего и вправду стал похож на переростка-обалдуя со школьной камчатки.

Вера всплеснула руками, все рассмеялись, даже не проронивший ни слова Финкельмайер тихо заулыбался, с любовью посмотрев на Леопольда.

— А мы с вами... то есть я вас давно знаю! Я ходила на ваши лекции! — с гордостью сообщила Вера. Она так и сияла.

— Честное слово? — чуть-чуть не всерьез спросил Леопольд.

— Правда-правда! Из всего цикла, ну, одну или две пропустила, не больше.

— Не может этого быть. — Леопольд изобразил притворное недоверие. — Чтобы такая очаровательная молодая женщина вместо вечернего randevу шла на скучнейшую лекцию? — Нет-нет, не поверю!

Леопольд брал шутливый и потому удачный тон.

— Я вам докажу! — не отступала Вера.

— Вот как?

— Стенограммы! Я стенографировала ваши лекции. И у меня они все расшифрованы, перепечатаны, я их даже в переплет отдавала. Теперь поверите?

Никольский на миг увидел, какие светлые у Леопольда глаза. Леопольд наклонился, взял и снова поцеловал Верины руки — одну и потом другую:

— Спасибо. Никогда не думал, что кто-нибудь... Я в самом деле очень тронут.

Отправились в комнату. Ни много, ни мало, а собралось полтора десятка человек, — достаточно для того, чтоб воцарились уже неразбериха, шум и сигаретный дым во всех

углах. Двоих, помимо поэта Пребылова, Никольский здесь видел впервые. Так, Лиля — яркая брюнетка, бывшая Верина ученица, привела с собой какого-то неопределенного мужичка — невысокого и лысоватого, — ну точь-в-точь оперный тенорок Хозе рядом со своей темпераментной Карменситой; Славик с телестудии (то ли была у них с Верой любовь, то ли Славик на нее рассчитывал — Никольский подозревал что-то в этом духе) привел красиво-кукольную девку — из тех, что обычно дура-дурой, но умно молчат, пристально шуряются, жадно курят и высоко одну на другую закладывают голые коленки. Неприметно, как всегда, устроился в узком простеночке совсем молоденький мальчик Толик — кажется, студент, который обычно часами что-то рисовал в листках блокнота, слушал, улыбался, а когда пили, трогательно просил "только немного сухого..." Над ним за это посмеивались, но за это же его любили. И еще два завсегдатая Прибежища, бывавшие тут еще в давние времена, задолго до остальных, стояли посреди комнаты и уже полчаса громко занимали себя безнадежным спором о переустройстве сельского хозяйства — это переводчик Боря Хавкин, однокашник Веры, и Константин Васильевич, иначе "дядя Костя — бобль", как он нередко со смешком отрекомендовывал себя, — живший поблизости сосед, который в незапамятные века дружил еще со старыми хозяевами.

За еду, за водку и вино принялись еще не скоро: Вера как стала водить Леопольда по дому, сразу же увлеклась, Леопольд ее внимательно слушал и сам очень живо говорил, указывая на то, на другое — хозяйке поэтому было недосуг заняться столом. Ее обязанность приняла на себя Женя, и, когда, наконец, спиртное и закуски призывно засветились и заблагоухали, народ потянулся к ним. Свобода манер и нравов, которая царила здесь всегда и составляла одну из привлекательнейших черт Прибежища, позволяла взяться за еду, не дожидаясь всех и даже самой хозяйки. Один только нови-

чок поэт, к чести своей, попробовал изобразить себя культурным: "Дисциплинка, дисциплинка! – милицейским голосом возгласил Пребылов. – Опоздаешь на первую, не получишь и вторую!" И тут же, оградившись от условностей этим сомнительно-народным выражением, накинудся не опоздать. Первым минутам застолья сопутствовали обычные в таких случаях суета и нервозность, когда проголодавшиеся заняты лишь тарелкой, жаждущие выпить – стаканом, и любителям поговорить еще нет удобного момента, чтобы развернуться. Но вот уже Славик рассказывает про знаменитый фильм, который, хотя и удалось отснять, но, конечно же, не выпустят на экраны. Удовлетворяет Славик и любопытство Лили, спросившей насчет космонавта и артистки – правда ли то, что говорят? Славик подтверждает, что да, правда, у него в том же театре есть приятель, и вот от него-то Славик узнал, то есть почти что из первых рук. Но что? Что же? – потребовали объяснить непосвященные. "Сначала давайте еще выпьем", – солидно произнес Славик и, когда выпили, стал излагать сенсацию всю как есть, с подробностями.

– Пусть они застрелятся со своим космонавтом, – сказал Никольский. Поблизости, на том конце стола, где обосновались они с Финкельмайером, сидели еще Толик и дядя Костя, чуть дальше о чем-то оживленно беседовали Вера и Леопольд, – в общем, люди свои, и Никольский не настроен был стесняться. – Ну-ка, Толик, – продолжал он, – ответишь мне на один вопрос?

– Я же так н-не знаю, – со смущенной улыбкой отвечал Толик, чувствуя, что от Никольского последует неожиданное.

– О чем?..

– Вот ты художник. А скажи, этот Славка у себя на работе стукач или нет?

Толик обиделся:

– При чем здесь художник? Никакого отношения!..

— Вот тебе и раз! А психология? Толик, надо людей изучать! — назидательно сказал Никольский и обратился к дяде Косте:

— А по-вашему? Как вам подсказывает ваш жизненный опыт?

Дядя Костя поверх очков пригляделся в дальний угол стола.

— В чем же дело? — рассудительно заговорил он. — Стукач он или нет, не знаю, но — может. Потенциально.

— О! То-то и оно! — возликовал Никольский. — Понял, Толик? "По-тен-циально!" В этом суть и корень зол! Верка, ты зачем зовешь потенциальных?! — возгласил он.

— А? — донеслось от Веры. Она обернулась к ним, но при общем хохоте махнула рукой и продолжала беседовать с Леопольдом.

Финкельмайер был задумчив, рассеянная улыбка блуждала по его лицу. Казалось, он пребывает в ином пространстве, и там идет жизнь иная, нежели здесь, рядом с ним, и ее-то, невидимую далекую жизнь, он слушает беспрестанно. Он ел и пил с машинальностью послушного или больного ребенка, у которого и нет аппетита, но и нет сил противиться настояниям взрослых покушать то и покушать это... Никольский попытался было опекал Арона, потом надолго оставил его в покое, но в конце концов не выдержал.

— Арон... Арон, очнись! Ну что, тошно здесь? Мы в любой момент можем смьться — от стола или из дому. Хочешь?

Финкельмайер стряхнул с себя оцепенение не сразу, потом заулыбался широко.

— Нет, нет, зачем же? Мы хорошо сидим. И почему тошно? Почему — здесь? Если тошно — то почему здесь, а если здесь — то почему тошно? — Вдруг он принялся паясничать, и это было настолько неожиданно, что Никольскому стало немного не по себе. — Ты думал, что мне *так* плохо? — весело продолжал Финкельмайер. — А мне, оказывается, *так* плохо!

— Ну ладно, ладно, успокойся! А еще рюмочка тебе на пользу?

— На пользу!

— Вот и нальем. Давай-ка мы вспомним Дануту. Пусть она будет здорова. Она хорошая.

— Ты, Леня, сатана: я только что думал о ней.

Они выпили свои рюмки.

— Не удивительно, — сказал Никольский.

— Что?

— Что ты о ней думал. Но почему у тебя была при этом похоронная рожа, — вот что непонятно.

— И мне тоже. Своя душа — потемки.

— Ох, правду говоришь!..

Разговоры за длинным столом перешли уже в тот непрерывный нестройный гул, когда удастся расслышать лишь слова ближайшего соседа. Никто и не претендовал на общее внимание, пока Вера, постучав ножом о пустую бутылку, не потребовала тишины.

— Кто тут хозяйка, я или нет? — строго прикрикнула она на Борю Хавкина, который не успел о чем-то доспорить с кандидатами. — Ну и молчи. Хотя бы из уважения! Так вот, — приступила она к основному. — По крайней мере три человека из тех, с кем мы сегодня познакомились, должны в честь этого знаменательного события э... так сказать, принести себя в жертву! — Недоуменный шум и на его фоне чей-то возглас "какой ужас!" были реакцией на ее слова. — Дослушайте, дослушайте! Что я предлагаю? Чтобы Сергей и Арон — как мы знаем, поэты, почитали нам из своих стихов; а Леопольд Михайлович что-нибудь пусть расскажет — ну, о чем он захочет. И если они согласятся — это будет — я бы сказала, это будет в духе славных традиций Прибежища. Ну как?

Кандидаты стали оголтело аплодировать, к ним присоединились с возгласами восторга Женя и Лиля со своим Хозе.

— Впервые слышу о таких традициях, — кисло сказал Никольский. Он с тоской подумал, как неудачно влип Арон.

— Уж не о традициях тут надо говорить, а о новаторстве.

— Не все ли равно? Если традиции нет, ее надо выдумать!

— воскликнул Боря Хавкин. — Вот как, например, женились раньше? Шли в церковь. А теперь традиция — жених по талону идет себе штаны купить, а невеста...

— Замолчи! — прервала его Вера.

— ...ночную рубашку, — договорил Борис.

— Короче говоря, кто за новую традицию, то есть за мое предложение?! — бойко продолжала Вера и, хотя едва ли половина присутствующих подняли руки, провозгласила: — Принято единогласно!

— Социалистическая демократия в действии, — изрек Никольский. — Тебе бы на общественную работу, в партком, местком и комитет комсомола.

— Кто первый? — не обращая на него внимания, спросила Вера и тут же переменяла тон, так что в голосе ее теперь зазвучало искреннее желание сделать этот вечер интересным: — Пожалуйста, Леопольд Михайлович, согласитесь! Арон, вы будете? Я вас очень прошу.

Финкельмайер затравленно озирался, Леопольд развел руками. Вера, чувствуя, что ситуация вот-вот обернется всеобщей неловкостью, неуверенно обратилась к последней надежде:

— Пожалуйста, Сергей, а вы?

— А что — я? — возразил Пребылов и оглядел всех. — Я не капризничаю. Поэт пишет кому? Людям. И будь добр, когда тебя просят, свой труд лицом показывать. От чего же нам отказываться? Но только я не первый. Пусть кто другой начнет, а я никогда не откажусь.

— А мы три спички возьмем, — сказал дядя Костя так, будто дело было уже решено. — Коротенькая — вполовину, подлиннее и целая. Так их и заметим — первый, второй, тре-

тий. Прошу вас, — протянул он Арону плотно сложенную щепоть с торчащими из нее серными головками.

Финкельмайер, наверно, не до конца осознал, чего от него хотят. Длинные пальцы неловко захватили одну из спичек, затем дядя Костя ее освободил, спичка упала на стол.

— Средняя, — сказал дядя Костя и оставшиеся две протянул Леопольду. Ему вышла короткая — с первой очередью. — Ну, а вам, — дядя Костя взглянул на Пребылова, — разумеется, нет нужды тянуть, вы третьим будете.

— Согласен, согласен, — снисходительно бросил Пребылов.

Теперь уже никого не нужно было призывать к тишине. Все умолкли. Одни выжидающе посматривали на Леопольда, другие опускали глаза к столу — чувство некоторого смущения витало над всеми, и возникло оно оттого, что люди всего минуту назад вели беседы вздорные и пошлые, набивали желудки и всасывали алкогольные пары, а теперь... Неожиданно должны были они заставить себя прислушаться к чему-то, что, пусть и вызывало любопытство, но и отпугивало, как отпугивает все, что может против воли твоей снять с тебя кожуру и обнажить твою душу. И смутно ощущалось уже в воздухе, что так оно и произойдет с каждым; неизвестным способом вошло и разлилось в комнате то, что зовем мы *настроение*, и оно с равной властью владело уже и милой дурочкой и отпетым скептиком.

— Что же. Я рад, — негромко сказал Леопольд. — Потому ведь это — пустое! — Усталым жестом указал он на беспорядочную мишуру оставленного пиршества. Уж он-то знает! Он-то помнит! Он-то повидал великолепные баталии, когда под пушечный грохот шампанских пробок людские полчища въедались в горы снеди — кололи, резали, крушили, давили и мололи челюстями и уползали измученные, побежденные, поверженные до колен, до четверенок; и молча, с важностью

в лице, с презрением в глазах стоял неподвижно у стены немолодой официант и наблюдал.

Леопольд поднялся и отошел от стола.

— Пожалуйте сюда. Возьмите свои стулья, располагайтесь.

Твердые и вежливые интонации опытного лектора уже звучали в его голосе, и присутствующие легко подчинились ему. Рассаживались — без долгой толкотни и без скрежета стульев — полукружием рядом с Леопольдом. Сам же он стоял в ожидании близ одной из нескольких имевшихся в доме скульптур.

XVII

Она поддерживалась колонной из темно-серого мрамора. Скульптура — вернее, то, что от нее осталось, — представляла собой верхнюю часть женской фигуры. Излом, по которому отделились отсутствующие фрагменты изображения, прошел наискось фигуры — от пояса и к плечу, так что сохранились правая рука выше локтя и правая грудь, тогда как левые грудь и рука были утрачены почти полностью. Снизу, по форме поверхности излома, напоминавшей наклонное латинское S, шла откованная из железа массивная скоба. От нее внутрь мраморной колонны уходил толстый штырь. Голова фигуры находилась на уровне среднего женского роста, и Леопольд положил свою руку на каменное плечо, будто намеревался подвести к собравшимся еще одну гостью.

— Пусть наша милая хозяйка простит меня, если я разошелся с нею во вкусах, — начал Леопольд и церемонно поклонился Вере. — Однако наиболее интересным из всего, что я увидел здесь, мне показалась эта скульптура. Она во всех отношениях необычна, я бы сказал, загадочна, и мы с вами

сейчас попробуем пофантазировать... Когда вы, Вера, сказали мне, что это эллинская Греция, я не возразил. Но теперь, пожалуй, возьму на себя смелость усомниться.

— Леопольд Михайлович, так считал отец, — сказала Вера. — Я это слышала от мамы.

— Да ведь и я не берусь ничего утверждать наверняка. Но вот первая ниточка для нас: здесь, на сломе руки, имеется надпись. Кто-то, возможно, археолог, или тот, к кому первому скульптура попала, — нанес масляной краской греческие буквы. При известном усилии тут читается *"Пантикапея"* и цифры *"37"* или *"87"* — вероятно, цифры года находки. Но если я скажу, что статуя из Пантикапеи, мне на это сразу же возразят: среди образцов скульптуры, найденных на территории Босфорского царства, обнаружено немало привозных — из Греции. Почему не предположить, что и нашу даму изваяли там же? В самом деле, местная босфорская скульптура выглядит достаточно условной, упрощенной по сравнению с реальными формами человеческой фигуры, которые столь превосходно изучили греки. Босфорская традиция давала абстрагированное изображение, в нем преобладают плоские поверхности и спрямленные линии. Это была обычно скульптура своеобразного, весьма привлекательного примитива, однако не без влияния греков. Босфорские мастера делали скульптуру из песчаника, известняка. Мрамор у них встречается в единичных случаях. Перед нами же превосходный мрамор.

Многое говорит в пользу Греции. Но кто она, эта женщина? Одна из греческих богинь? Но она не Диана и не Афродита, не Деметра и не Кибела. И статуи греков не таковы...

...Леопольд несколько мгновений задумчиво рассматривал скульптуру, затем, не отрывая от нее взгляда, обошел спереди, наконец повернулся к сидящим вокруг.

— Я бы хотел... — Он продолжал о чем-то размышлять, но лицо его уже дрогнуло в чуть заметной усмешке. — Вера,

если вы не возражаете, — прошу вас, — встаньте около нее.

Широко откинутая рука Леопольда указывала на скульптуру. Вера поднялась с места и прошла туда, где и пригласил ее встать Леопольд, — между ним и скульптурой.

Никольский непроизвольно подался вперед. Показалось ли ему, или так оно и было, что мгновенное ошеломление испытали все?.. "Теперь и ее раздеть", — мелькнуло у Никольского в голове, и он мог поручиться, что едва ли не каждый подумал о том же. Вероятно, Вера, судя по всему, почувствовала странное состояние тех, кто в изумлении смотрел на нее. Она растерянно взглянула на Леопольда — тот продолжал едва заметно усмехаться, — посмотрела на скульптуру... И все поняла.

— О, Боже мой! — прошептала она.

Никольский спрашивал себя, как же, столько дней и ночей проводя здесь, в Прибежище, до сих пор не видел он разительного сходства двух женщин, живущих под этой крышей — одной — из плоти и крови, и другой — обломка старого мрамора! Абрис головы, линии шеи и плеч, округлость груди — такой, какой знал ее Никольский без тесных уз белья и без упругой трикотажной шерсти — да что там говорить! — черты, пропорции лица — все совпадало! И, главное, был общий образ — то, что мимолетно запечатляет наш мозг прочным слепком с природы, чтобы потом — и через годы, заставить смутно припоминать в беспокойстве: "Я эту женщину видел..."

— Теперь, пожалуйста, вот так. — Словно не замечая, сколь сильно действует на всех поразительный феномен, Леопольд показывал Вере, как она должна встать. Он превратился в настойчивого балетмейстера: поправлял Вере положение рук, просил ее смотреть на него и копировать поворот его корпуса. В конце концов, Вера замерла в красивой и непринужденной позе так, что ее тело опиралось на прямую левую ногу, а правая была свободно присогнута в

колене и чуть отставлена в сторону и назад. Свободно же была опущена правая рука, тогда как кисть приподнятой левой держалась на уровне плеча.

— Превосходно! — довольный своей работой, сказал Леопольд. — Перед вами идеальная античная — греческая стойка, я имею в виду положение ног и небольшой разворот корпуса. А конкретно — это Диана-охотница. Наша прелестная модель, — Леопольд с нарочитой галантностью сделал Вере легкий поклон, — могла бы великолепно продемонстрировать целую вереницу статуарных поз, в которых бы узнавались милые героини греческого пластического искусства, будь то богиня или портретная скульптура жены полковника. Но при этом вы бы каждый раз убеждались, что позы, которые соблаговолит принять уважаемая натурщица, всякий раз будут иными, нежели поза, в которой скульптор изваял эту статую. Спасибо, — сказал Леопольд Вере, но, когда она захотела вернуться на место, удержал ее за руку. Так, рука об руку, они стояли рядом.

Леопольд продолжал:

— По-видимому, не Греция. Но и не босфорская скульптура, как мы уже знаем. Добавлю, что босфорцы делали обычно уменьшенные полуфигуры и бюсты, — их ставили в склепах, поверх гробниц, на крышке саркофага. И, насколько известно, — обратите внимание — эти статуи-полуфигуры не делались обнаженными, а всегда в хитоне, или в хитоне и плаще поверх него. Таким образом, — я повторяю, — мрамор, а не обычный песчаник; обнаженное тело, а не укрытое одеждой; и фигура в полный рост — об этом легко догадаться по размерам оставшейся части, — все противоречит местной традиции.

И последнее: поза.

Леопольд ободряюще кивнул Вере, мягкими, но настойчивыми движениями пальцев склонил ее голову несколько

вперед и к левому плечу, попросил опустить руки вдоль тела и развернуть их ладонями наружу.

– Еще, еще немного, – помогал он Вере негромко. – До локтей касаются боков, а ниже пояса – в стороны от бедер. Так. Да, да, очень хорошо. И свободные прямые ноги, ступни для устойчивости можно развести. Именно так. Спасибо. Удобно стоять?

– Могу... да, удобно, – проговорила Вера.

Губы у нее заметно дрожали, грудь дышала неровно.

Красива ли? – задавался вопросом Никольский и отвечал, что нет, никогда не считал Веру красавицей, да и сейчас, очищенная от обиденности чувств, она притягивала взгляд не красотой. Она поражала – и от этого сжался Никольский в тоске – беззащитностью полной, покорной – смертельной. Что-то раскрылось ей там впереди – и раскрылись навстречу ладони: вот я, возьми мои слабые тело и душу: звенящее в грудь острие, жадную дикость объятия, кару огненную с небес, мужа, Бога, и смерть – все приму безропотно и спокойно!..

Она – живая, и она – мертвый мрамор... И вместе они были ясным, отчетливым *словом*, которое произносила в этот миг Природа, вещая из глубин веков, и слово это было: *женщина*, – и его слышал каждый, кто имел глаза.

– Вот история этой женщины и история этого мрамора – от той поры, когда его впервые коснулся мастер.

Леопольд заговорил при напряженном молчании. Он держал руку на Верином плече, и она стояла, не шевелясь.

”Мастер только и делал, что резал из камня надгробья, похожие одно на одно, как смерть похожа на смерть”.

”Но он не думал о собственной смерти, потому что щедротами смерти кормился, и чем чаще она посещала людей, тем сытнее было ему, и детям его, и жене его”.

”И пришла в его маленькую мастерскую женщина. Она сняла с себя плащ и хитон и велела ему изваять ее тело”.

”Если состарюсь, и будет мое тело плохим, сказала женщина, муж мой станет смотреть на мое изваяние и будет любить меня”.

”А умру прежде мужа, он станет смотреть на мое изваяние и будет любить меня”.

”Если же муж мой прежде меня умрет, я поставлю мое изваяние в склепе его, и тогда он будет со мной в царстве мертвых и будет любить меня”.

”И мастер взял светло-розовый мрамор и стал обивать его, удар за ударом. И пока шла работа, страсть охватила мастера”.

”Когда же готова была работа, обратился он к женщине и спросил, что заплатит она ему?”

”Камень твой прекраснее тела моего, ответила женщина. Возьми за него и это серебро, и это, и все серебро, что есть у меня”.

”Нет, ответил мастер. Не могу отдать тебе камня. Моя страсть к тебе не отпускает меня от камня, потому что опять и опять жажду я осязать его рукою своею. Сладостна мне любовь моя к тебе, и оттого прекрасен камень мой. Когда же не утолю любви своей и сладостное станет горьким, тогда воспалится разум мой, и глаза и руки мои не будут более подвластны мне. Бойся тогда, женщина, ибо не знаю, что сделаю с камнем”.

”Люби меня, ответила женщина. Утоли свою страсть ко мне и отдай тогда изваяние”.

”И он любил ее в этот день, и еще один день, и еще и еще много дней любил он ее, потому что не мог утолить своей страсти”.

”И все эти дни смерть не посещала селение, и жена мастера знала, что дети ее долго не будут сыты”.

”Но настал день и увидел мастер, что разум вернулся к нему, что руки подвластны ему, а глаза не затуманены более”.

”Возьми, женщина, свой камень, сказал он. И она взяла и вместо того отдала ему серебро”.

”И отнес мастер в дом жене своей серебро, и та принялась считать его. Пересчитав же и удивившись, обратилась она к мужу, чтобы спросить, чистым ли способом обогатился он?”

”Но мастер не мог отвечать жене своей, потому что болезнь лишила его речи”.

”И наутро смерть, которая долго ждала, взяла его”.

XVIII

Рассказчик умолк. Надолго воцарилась тишина. Затем с той же неуловимой усмешкой, которая так и не сходила с его лица, Леопольд провел Веру мимо сидящих — куда-то назад, к столу, где не было никого. Кое-кто провожал их глазами, но все оставались на местах, и многие еще взирали ошалело на скульптуру — она же с немым бесстрашием взидала на людей.

Внезапно раздались рыдания. Вера плакала, уткнувшись в грудь Леопольду. Разом — как в бомбе спустилась зацепка — взорвалось и вырвалось наружу — скрежет, падение стульев, ”воды ей, воды!” — звон разбитого об пол, истерический женский выкрик — среди возникшего хаоса Никольский, кого-то отталкивая, отдавливая чьи-то ноги, продираясь к Вере. Очутившись около нее, он увидел Финкельмайера — ”вот черт колченогий, опередил!” — тот в растерянности похлопывал Веру по спине. Леопольд, обескураженный весьма, бормотал ей на ухо — вероятно, очень успокоительное, но абсолютно бесполезное, так как рыдания не ослабевали, и Веру всю трясло. Никольский сбросил руку Арона, успел машинально сказать ”Извините!” и резким движением ото-

рвал Веру от Леопольда. Лицо ее было искажено судорогой, Никольский, закусив до боли губу, быстро хлестанул по этому лицу и раз, и другой. Вера вскинулась, он сунул к ее рту стакан с водкой.

— Пей! Ну?! Да пей же, говорю! — приказывал он грубо. Никольский наклонял стакан все больше и больше, кофточку обливало, он увидел, что Вера готова задохнуться.

— А теперь подыши. Спокойно, спокойно, сейчас все пройдет, — стал говорить он ей, как дитяти.

Она прерывисто выдохнула, всхлипнула несколько раз и приложила пальцы к вискам.

— О, Боже мой, — произнесла она и вздохнула уже свободно. — Кажется, все... Отхожу. — Она слабо улыбнулась. Теперь ей с каждым мгновением становилось все более стыдно. — Глупая баба... Простите, честное слово!..

— Да будет, будет тебе казниться! — пришел на помощь Боря Хавкин. — Конечно, баба, а не мужик. Поплакала и перестала. Давай-ка лучше мы не будем на тебя глазеть, а сядем, чтобы по новой!..

Предложение Бори встретили одобрительным шумом. Все двинулись за стульями, стали рассаживаться. Вера сразу же пошла из комнаты, Никольский на всякий случай отправился следом.

— Ничего, ничего, я в ванную, — сказала Вера, когда он догнал ее. — А хочешь, войди. Накинь крючок.

Никольский запер ванную. Вера сняла кофточку и принялась рассматривать в зеркало припухлое, еще не просохшее от слез лицо с темными дорожками краски, которая стекла с подведенных век. "Кошмар", — заключила она.

Вера долго умывала лицо, долго причесывала волосы и красила глаза. Время от времени Никольский давал ей в губы сигарету, Вера затягивалась прямо из его рук. И холодная вода, и сигарета, и ритуальная косметическая процедура и, наконец, возможность убедиться, что лицо ее вновь обре-

тает привлекательность, — все это постепенно возвратило Вере душевное равновесие. Теперь она пыталась разобраться в происшедшем.

— Это было похоже на гипноз. Как я себе представляю такое состояние. Замерла и ничего не чувствую. Сама стала статуей. Если бы статуя ожила, я бы не удивилась ничуть. Знаешь, когда он говорил, я все видела — мастерскую, надгробия и мастера самого тоже. Он рыжий, ремень на волосах, вот так. Откуда взялось? А потом почему-то сразу сорвалась. Чувствую — знаешь, как это бывает? — что-то самое главное уже прошло, больше ничего в жизни не будет, и жалко себя, безумно жалко. Я вот так же рыдала в шестнадцать лет. Часами. Подушку искусывала до дыр, а потом стирала и штопала. Какая же я психопатка! Ты умеешь со мной справляться, я это и раньше знала.

— Ну не злись, не злись. Это как хирургия. Больно, а надо.

— Я не злюсь, с чего ты взял. Конечно, такую дуру надо бить.

— Можешь поверить — занятие отвратительное.

— Еще бы! Такая у меня была отвратительная рожа и мокрая, как слизняк.

— Верка!

Она к нему наклонилась — он сидел на краю ванной — и поцеловала в голову. А отстранившись, долгим, далеким взглядом посмотрела ему в глаза. И Никольский ощутил, как холодом прошло по коже: скоро, скоро у них все будет кончено...

В комнате, когда они вернулись, все оставалось как будто по-прежнему. Но возбуждение висело плотным облаком, и голоса звучали громче и резче обычного, словно исходили не от этих людей, а с искусственным искажением транслировались откуда-то. Наиболее рьяные — явно стакнувшиеся Славик с Пребыловым, кандидаты и теле-девица продолжа-

ли питье, и Славик с тошнотворной улыбочкой развлекал поэта. Пребылов перехватил взгляд Никольского, ответил наглой усмешкой, Славик же со скучающим видом отвернулся, и стало ясно как дважды два, что речь шла у них о Вере, что Славик в приступе мужской солидарности рассказывал, как было и что было...

Верещала темпераментная Лиля — ее меццо-сопрано обрело пронзительность ускоренного магнитофона и создавало непрерывный колеблющийся фон, сквозь который с переменным успехом пробивались Лилины соседи — Хозе и дядя Костя: перегнувшись через ее полный бюст, чтобы видеть друг друга, каждый толковал о своем, внимание всех троих пыталась привлечь Женя. Стоя за их стульями, она теребила то одного, то другого и настойчиво звала: "Пойдемте же, ну, пойдемте же!" Ее, конечно, не слышали.

В стороне от стола образовалась еще одна небольшая компания — Леопольд, Боря Хавкин и Толик. Перед ними, поставленные в ряд на низкую кушетку и прислоненные к стене, белели прямоугольные листы с рисунками. Леопольд, едва увидел подходивших к ним Веру и Никольского, тут же сделал движение им навстречу. На лицо его набежало такое скорбное беспокойство, что Вера поспешила показать ему — мол, продолжайте, все в порядке, — а из-за ее спины Никольский тоже дал понять, что и в самом деле не нужно сейчас ни объяснений, ни извинений. Леопольд успокоенно улыбнулся и знакомым уже широким жестом пригласил обоих присоединиться к остальным.

— Мы тут беседуем об этих набросках, — сказал Леопольд. Все это Анатолий сделал за сегодняшний день, а вот те три листа — в течение нашего вечера. По-моему, у него очень точный глаз.

— А я тебе что долблю? — торжествующе воскликнула Вера, тыча в Толика пальцем. — Ему обязательно надо учиться! Талантливый же парень.

Толик стесненно отмалчивался и, как девушка, прятал взгляд под светлыми ресницами.

— Может быть, может быть... — пробормотал Леопольд. И так как Вера посмотрела на него непонимающе, ему пришлось продолжить. — Ведь талант, кто-то сказал, подобен деньгам: у одного — есть, а у другого — нет. Но деньгами-то надо уметь распорядиться. Это, знаете ли, уже второй талант...

Что-то было в словах Леопольда туманное. Вера попыталась выяснить.

— Так вы о том же, наверное: без учебы — какой же будет толк, результат какой от таланта?

— Э-э, милая, — скептически протянул Леопольд. Ему не очень хотелось углубляться в проблему. — Палка о двух концах — наша матушка-учеба.

— Я понимаю, и сложно, и долго, но техника, приемы, профессионализм необходимы, ведь так? — допытывалась Вера.

— Так-так, — сказал Леопольд. И вдруг спросил: — А у кого ему учиться?

Вера растерялась:

— Я?.. Я не знаю... У педагогов...

— И я не знаю, — кивнул Леопольд. — И он не знает. Вот вам и фокус!

Нигде не было видно Арона. Где он? На антресолях? На кухне? Молча отойдя, Никольский поднялся по ступеням, поглядел вдоль антресолей, спустился вниз и направился в кухню. Увидев Финкельмайера там, Никольский свистнул от удивления: тот сидел на полу с задранными выше головы коленками.

— Арон, ты что?

У Финкельмайера, когда он поднял лицо, был вид непроспавшегося младенца. Он замычал и зачмокал губами, прежде чем выдавил из себя какой-то вопросительный звук.

— Зачем ты на полу уселся?

До Финкельмайера не доходило.

— Да сядь же нормально, идиот!

— Сам ты идиот, — с неожиданным спокойствием возразил Финкельмайер. — На чем тут можно сидеть?

Он был прав: на кухне не было ни стула, ни табуретки — все снесли в комнату.

— На чем, на чем, — заворчал Никольский. — Так принес бы!..

— Слушай, Леня, катись-ка, а? Я сейчас приду, — попросил Арон.

Тут только Никольский заметил, что меж колен Финкельмайера в узких его руках торчали ручка и мятые исписанные листки.

— А, плевать, — без перехода продолжал Арон, — потом!

Он стал запихивать листки под пиджак, во внутренний карман.

— Что, сочинял здесь? — осторожно спросил Никольский. — Так валяй, я уйду.

— Плевать, — повторил Финкельмайер. — Я записывал. Сочинялось-то днем, на работе. — Он предпринял попытку разом подняться на ноги, но, по-видимому, неудачно повернул ступню, поморщился и остался сидеть.

— Нет, ты все-таки явление! — Никольский покачал головой и ухватил Арона за руки. Тот стал подниматься. — А если бы забыл?

— Так и что? Я бы и рад забыть. Но не умею. Майн... коп — это мусорный ящик. Я бы очень многое хотел забыть. Леня, ты меня понимаешь?

Отряхнуть сзади брюки он не удосужился, и Никольский похлопал по его худым ягодицам.

— Мерси... — Финкельмайер прислонился к косяку. Они закурили.

— Силен твой Леопольд, — сказал Никольский. — В этой

сегодняшней кодле больше половины – дремучие олухи. А он нам, свиному стаду, бисер сыплет. Ты хоть знаешь, что это за Пантикапея?

– Знаю. Тоже по милости Леопольда.

– Вот видишь. Еще, может быть, Верка или Толик что-то слышали краем уха. А мне, как всем остальным, – что Помпея, что Пантикапея – один черт.

– Мне бы ваши заботы, ребе Никольский...

Озлившись, Никольский не придумал иного, как пустить в лицо Финкельмайера струю дыма. Тот замигал птичьими веками, закашлялся, потом кивнул:

– И правда: олух дремучий. Но насчет Леопольда... Он великий человек.

– Ну – великий... Живой – вот что. Я, например, в сравнении с ним мертвяк. Потому что не могу же я сказать, что не интересуюсь жизнью. Интересуюсь, даже очень. Но я интересуюсь, а этот человек – живет. Я, положим, интересуюсь искусством, а он это искусство – любит.

– Леопольд искусство не любит.

– Что-что?

– Леопольд искусство не любит, – повторил Финкельмайер. – Он не может его – не в состоянии любить.

Никольский уставился на него.

– Как – не в состоянии? Что за бессмыслица?

– Я не смогу тебе объяснить... Но это так. Представь, он смотрит на картину, и он все-то о ней знает, все изучил, но если заговорит, то говорить-то будет не о картине, она для него – как бы тебе сказать? – как блеск луны, мерцание вод и пение соловья для любовных мечтаний. То есть, только стимул, антураж для каких-то его мыслей – отвлеченных или реальных, в зависимости от настроения или ситуации. Как было сегодня с этой скульптурой.

– Что ты имеешь в виду?

– Две тысячи лет и сходство с живым человеком.

Никольский попытался обдумать сказанное.

— Ну хорошо, пусть так. Из этого ничего не следует. Луну-то как раз и любят, пусть даже именно за то, что она помогает кадриться.

Финкельмайер иронически посмотрел на Никольского.

— Скажи, что и ты ее любишь, что она тебе тоже помогает.

— Мне? Я обхожусь без романтики.

— Ты настоящий мужчина, я буду это говорить всем женщинам! В том-то и дело, что когда в охотку — не до романтики, не до антуража и не до пейзажа. Зачем любить пейзаж, лучше любить бабу. Или так: "Если спрошено будет, кто лучше — нимфа на картине или твоя любовница", то ответствуй: "Любая баба в постели — лучше любого шедевра на стене".

— Жалкий пошляк! Козьма Прутков восстал из гроба в виде Арона... По-моему, все, что ты несешь, — для одноклеточного мозга. — Никольский на самом деле был настроен продолжать начавшийся разговор всерьез, но подозревал, что Арон то ли вправду не может, то ли не хочет объяснить нечто существенное, касающееся Леопольда. Однако в словах Арона возникла отнюдь не для одноклеточного, как поспешил отбиться Никольский, а для сложного размышления туманность, өсевшая в сознании облачком, — точь-в-точь, как слова самого Леопольда насчет таланта и второго таланта... Все же он попробовал продолжить:

— Леопольд живет искусством, занят им постоянно. И если он с искусством живет — как же при этом может быть, что он его не любит?

Финкельмайер скривился. Шевеля непослушными пальцами, он полез под галстук, после долгого копошения на груди раздвинул между пуговицами планки белой сорочки и в образовавшуюся щель оттянул наружу голубую ткань исподнего.

– Видишь? С этим я тоже живу. Но почему я должен любить свое белье? Оно и грязно бывает, и вот, смотри, некрасиво совсем. А даже если и красиво, так и это тоже – только белье...

– Ты сейчас говоришь о своих стихах? Но ты же хотел, чтобы книгу издали, чтобы все, – как ты там называл? – все непригенские стихи были собраны вместе?

– Зазнобит – белье и напяливаешь.

Все это Никольский отказывался понимать. В сердцах он плюнул – очень кстати, потому что мельчинка табака попала на язык.

– И все-таки, хоть ты, я верю, не пижонишь предо мной, но это типичное пижонство!

– Мм-угу, – равнодушно согласился Арон. – Между прочим, у меня в портфеле верстка. Оказывается, набрали еще раньше, до согласия Манакина. Будет съезд по национальным литературам, так они торопятся издать поскорее.

– Ты что же молчал, поросенок? – Никольский оживился. – Слушай, покажи, а? Хоть в руках-то дай подержать!

– Боже мой! Вы видите, как мальчик радуется? Пойдем. Прочтешь, а заодно – ага! поработай на благо искусства! – исправишь опечатки, – их там по дюжине на каждую страницу.

XIX

Но взять верстку, добраться до портфеля, который Финкельмайер оставил в заднем углу комнаты, им не удалось: Женя остановила их на полпути. С обычным своим неестественным возбуждением она ухватила Никольского за рукав:

– Леонид, скажите же своему другу, – теперь его очередь!

Неумело играя в непринужденность, Женя громко засмеялась, стала со значением смотреть на Арона и кокетливо бить в ладоши:

– Мы вас просим, просим, просим!

Финкельмайер опешил, а когда и другие присоединились к Жене и кто-то сказал: ”Да, да, почитайте нам, почитайте ваши стихи!” – он с мучительным страданием забормотал сбивчиво: ”Я – нет... не могу... никогда... не надо!..” И это выглядело так, будто вокруг несчастной жертвы собрались истязатели и с веселым улюлюканием уже покалывают ножичком и кинжальчиком то в бок, то в живот, то в адамово яблоко, а бедняга исходит в предчувствии близкой жестокой пытки, с безнадежностью молит его пощадить и тем подогревает страсти.

Никольский направился к Вере.

– Позови Лильку, скажи, что она тебе очень нужна.

Вера пошептала у Лили над ухом и состроила ее кавалеру извинительную мордочку. Лиля поднялась с места, и, едва они с Верой отошли от стола, Никольский был тут как тут.

– Лилечка, дорогая! – томно сказал он и повернулся так, чтобы загородить ее и от Хозе и от Веры. Впрочем, Вера и сама сообразила, что Леонид больше не нуждается в ее помощи, и исчезла. – Лилечка, почему бы вам сейчас не спеть? – Никольский близко наклонился к Лиле, вдохнул острый запах ее разомлевшего тела, приблизительно определил, где бы над пышным бедром должна быть талия и очень подружески положил свою руку на валик подкожного жира.

– Леонид, вы всегда так любезны! – сказала Лиля, и ее мелодичное меццо заскользило – поехало выше и ниже, словно по гладким пологим холмам. – Я столько кушала и пила, просто ужасно, как я столько себе позволяю! Но этот высокий брюнет – он ваш знакомый, кажется? – он должен выступить со стихами?

– Лилечка, поверьте мне, он никому не интересен. Я вас

очень давно не слышал. И тут много новых людей, хотя бы Леопольд Михайлович, искусствовед — он в своем мире авторитетная личность, — почему бы всех не познакомить? — с вашим голосом?

— Ах, я совсем не готова сейчас. Диафрагма, и тут, — она дотронулась до бюста, — такая тяжесть!

— Камерно, Лилечка, в ползвуча! Прелесть будет как хорошо!

Он знал, что от комариного зуда тщеславия отмахнуться она не способна.

— Если Верунчик мне поможет... Что-нибудь очень простое...

— Отлично!

— ...два-три романса...

— Дайте ручку, я поцелую!

Он побежал от нее и с разлету врезался в осаждающих Арона.

— Минуту, минуту, друзья! Ну что вы, не видите, — он перепил? Он не может, вам понятно? А вместо — номером два, по порядку, чтобы традицию не нарушать, нам сейчас будет петь наша милая Лиля!

И Никольский заплодировал. Его поддержали — кто с искренним, кто с поддельным энтузиазмом. Женя посмотрела на него с удивлением, Боря Хавкин застонал, как от зубной боли. Вера сказала: "Вот это да!" — и покорно пошла к пианино.

Спасенный Финкельмайер слушал Лилю самозабвенно — с высоко поднятыми бровями, полуоткрытым ртом и вытянутой шеей, и его восторженность соперничала с благоговейным выражением физиономии Хозе. "В ползвуча" Лиля петь не умела, ее консерваторский голос не был к этому приспособлен, и потому, когда она угрожающе дознавалась: "Но в этом чья вина — твоя или моя?" — у нее звучало так, как если бы на профсобрании разбирались чья-то аморалка.

Хозе в ответ мотал головой и выразительно смотрел на публику, призывая разделить обуревавшие его чувства.

Ко всеобщей радости, после трех романсов и четвертого, исполненного на вежливое "бис", музыкальное интермеццо закончилось. Время шло к полуночи: женщины выглядели усталыми, мужчины много выпили, и это сказывалось: дядя Костя клевал носом, бледный кандидат побывал в туалете и теперь вытирал рот платочком. Славик с отупевшим видом клонил голову к своей молчаливой кукле и пытался ее целовать, у Пребылова то и дело подергивалась щека, но перед ним-то еще оставалось в бутылке "Столичной", и он подливал и подливал себе в стограммовый стаканчик-лафитник. Было бы в самый раз начать расходиться. Однако Женя опять завела свое и стала требовать стихов. Боря Хавкин опять потихоньку попробовал ее угомонить, но она вдруг взвилась и срывающимся голосом, почти на крике, принялась высывать, что так договорились, что ей сказали, что будут стихи, что с ней никогда не считаются, а Борьке — лишь бы над ней издеваться. (Боря не был женат и не был "занят", как Никольский, по какой причине Женя распространяла на Хавкина свои девические права.)

Внезапно Пребылов поднялся и из-под слипшегося чуба мутным взглядом обвел комнату.

— Ну тихо! — приказал он. — Буду читать.

За столом умолкли. Размеренным ямбом, — тяжело напирая на ударные и длинно, с подвывом, растягивая концы строк, — провозгласил Пребылов важнейший факт из своей биографии: его рожали не в роддоме, а родила его мамка под стогом. Такое жизненное начало и сделало его кем-то вроде русского Антея: он коснулся родной земли в самый миг рождения, и потому земные соки питают силами его, — вот, приблизительно, о чем поведал поэт своей размашистой декламацией, в которой назойливо повторялся звук "я" — не только в значении личного местоимения — то есть

как "я, поэт Пребылов", но и как замена гласной "е" – "зямля", "зямные".

Активностью, напором вталкивал он чужое сознание в круг своих восклицательных строк. Агрессия голоса и агрессия смысла удачным образом – как принято говорить, *органически* – сливались, и было очевидно, что и манера чтения, и сам текст вполне соответствуют личности поэта. Не было здесь недомолвок, подспудного, неявного хода мысли, не было полусознанных образов, словесного шаманства и ритмозвукового колдовства. То было безраздельное торжество единства формы и содержания, и в этом, опять же *органическом* единстве звучали стих за стихом – о стоптанных мокасах юнцов, продавливающих городской асфальт и, по контрасту, о кирзовом сапоге в пыли дороги и хлебного поля; о глухих родных местах, где красиво по весне и где в веках хранится честь России – и много еще деревенского, но столько же и о шахтерской силе: по-видимому, лира поэта не могла ограничиться крестьянским запевом и со временем зазвучала по-пролетарски. Что же до интеллигентской прослойки, то эта социальная среда, которой поэт тоже не чуждался, упоминалась по поводу тех же мокас как "арбатской плесени гнилье", или по поводу девчонки худоружкой, с которой кукарекает ее "столичный кочет".

Именно строфа, посвященная кочету, вызвала неприличную реакцию Финкельмайера, который, если не петухом, то курицей завохтал в своем углу. Он пришел в восторг от услышанной рифмы "хочут" – "кочет" и оттого-то самым непосредственным образом выражал свою восторженность, кудахтая и размахивая руками. Никольский коротко, но громко гыгыкнул.

– Ну, – остановился Пребылов. Он мрачно уставился на Никольского.

– Читай, читай, – поощрил его Никольский. Но так как Пребылов не последовал совету и не отвел неподвижного

взгляда, Никольский сказал: – Ну что тебе надо? Отрыжка у человека!

Ответ этот, судя по всему, удовлетворил Пребылова. Он опустил голову к столу, вздохнул и помолчал, собираясь с мыслями. Он был здорово пьян и выглядел, в общем-то, жалким в своем старании оставаться сильной личностью, как требовали его стихи. Вспомнить, на чем он остановился, Пребылову не удалось. Он начал с нового стихотворения, в котором обдавал патриотическим презрением тех, кто ездит за границы то и дело. Возможно, эта филиппика в адрес любителей заграничной жизни непроизвольно всплыла в его памяти по ассоциации с кочетом: в стихотворении то и дело упоминался другой представитель мира пернатых – птица фламинго. Эта экзотическая птица служила символом всего зарубежного, тогда как скромный журавль олицетворял родную природу и, следовательно, любовь поэта к своей стране. Все было бы ничего, если бы и в этом стихе не допустил Пребылов некоторой словесной вольности.

– Не скло-ня-ет-ся!!! – заорал вдруг Финкельмайер вне себя от возмущения.

Пребылов осекся. Он не успел опомниться, как Финкельмайер подскочил к нему, продолжая кричать:

– Вам это понятно? Не скло-ня-ет-ся!

– Че-во?.. – с искренним недоумением пытался сообразить Пребылов.

– *Фламинго!* И множественное число – тоже *фламинго!* Нельзя бежать за *фламингами*, можно за *фламинго!* На что же это похоже?!

– Ты что меня учишь? – базарно возразил Пребылов.

– Ничего не учу! Не надо этому учить, это если не знать – надо чувствовать, это русский язык! С языком обращаться по... по... Да это ужасно! *Хочут! Фламинги!* Черт знает что!

Финкельмайер не на шутку разошелся, Никольский наслаждался. Происходило всеобщее шевеление. Леопольд напра-

вился к Финкельмайеру, наверно, желая уgomонить его. Но тут все разом переменялось.

— А ты кто такой? — спросил Пребылов.

— Как — кто?

В Прибежище немедленно возникла тишина.

— Ах, вот оно что!.. — задумчиво сказал Финкельмайер. Ах, вот оно что! — Можно было ожидать, что сейчас он вцепится Пребылову в глотку. — Я не русский! В сравнении с...

— А не русский, — ну и молчи! — прервал его Пребылов. — А то заладил — русский язык, русский язык! — И качнувшись, неверным шагом Пребылов пошел из комнаты.

”Ну, бля-а-а..” — вслух начал Никольский и дернулся следом.

— Леон, прошу, не надо! — кинулась Вера. Он готов был сдвинуть ее с дороги, но увидел умоляющие глаза, вспомнил недавние рыдания и остановился.

— Чего, чего на пьяного? Он больной!

Это выкрикнул Славик.

— Заткнись, с-сволочь! — процедил Никольский, осторожно высвободил рукав из цепких Вериных пальцев и повернул к антресольной лестнице.

Он чувствовал, что и сам прилично пьян. В самый раз было набить по этой наглой харе. А сигареты внизу оставил! Все равно не спущусь ни за что, пошло оно все к матери!

— Арон, притащи сигареты!

Вот оглобля несчастная, свалится же со ступенек...

— Не стукнись башкой, низко тут.

— Мы же здесь задохнемся, — сплошной дым...

Никольский сполз с дивана и принялся открывать двойные двери балкончика. Внутренняя поддалась легко, наружная — разбухла и вмерзла в косяк. Никольский саданул плечом в угол переплета и, вылетев на мороз вместе с клубами пара, с трудом удержался на ногах. Он с наслаждением гло-

тал морозный воздух. Позади, как из преисподней, явилась тень Финкельмайера.

Внизу под ними заскрипела входная дверь, свет скользнул по стволам деревьев, вспыхнул снег, и тут же все погасло. Кто-то потоптался на крыльце, шумно посопел, затих на мгновение, и тогда возник длительный, такой человеческий — звук льющейся струи.

Никольский заглянул за перила, но прежде чем увидел стоявшего, сообразил, кто это был. Никольский замер, чтоб не выдать своего упоения сладостным мигом, притянул к себе Финкельмайера и, срываясь, давясь, горячо зашептал:

— Ароша, он! это он! вытаскивай быстро, польем!

Сам он уже лихорадочно расстегивал ширинку, возбуждение не давало начать, наконец сперва одна, затем вторая дуга алмазными россыпями протянулась вниз, разбиваясь там, постукивая, пошлепывая и пропитывая все, на что они ни попадали. Что происходило под балконом, не было видно, и это умаляло безмерную радость, поэтому Никольский, не прерывая начатого, перестроился к самым перилам, чтобы наблюдать, и в этот-то момент Пребылов поднял голову.

— Б-б-л-я-а-а! — завопил он истошно и завертелся на месте волчком: брызги мочи летели ему на глаза.

— Кропи его, Хаим, так его мать!

— Не могу, Леня, спазм, извините, от смеха!..

— Давай на эту сторону, он тут! Ах гад, убегает!

— Бля-а-а! — неслось откуда-то уже с дорожки. Пребылов, по-видимому, одурел и ринулся с крыльца, ничего уже не соображая. Потом повернул назад. На балконе стояла у стены лопата для сбрасывания снега, Никольский ее схватил, бросился на колени и стал запихивать черенок под балкон, между укосинами опорных брусьев. Пребылов рванул за ручку двери, — лопата сверху ее приперла. Завывая и матерясь, он метался, как пойманный в клетку, и сверху неслись улюлюканье, свист, хохот и гулкое топанье.

Не то услышали Пребылова, или его хватились дружки, не то публика решила идти по домам, но начали дергать дверь уже и изнутри. Привидением крутилась, прыгала фанерная лопата...

XX

Финкельмайер и Леопольд прощались последними. Когда Никольский помог Леопольду натянуть пальтишко, тот взял Верину руку и задержал ее в своих ладонях.

— Все же я решился вам сказать. Я сопровождал скульптуру, когда ее везли из Крыма для Цветаевского музея. В музей она не попала из-за революции, а осталась в доме одного приват-доцента истории Московского университета. Я часто у него бывал. Однажды я шел по Воздвиженке мимо толпы митингующих. Перед ними со страстностью, свойственной тому времени, говорила девушка. Я поразился ее необычайному сходству со знакомой мне скульптурой. Не помню, о чем она говорила. О чем все. После этих речей я проводил ее, а позже уговорил посетить квартиру приват-доцента. Не следует, наверное, пояснять, что я влюбился, как мальчишка. Я и был мальчишкой. Н-нута-сс, милая, тогда я был дружен с вашим отцом, близко дружен, по старой моде. И вот там-то, около этой вашей скульптуры произошло второе романтическое знакомство — ваших будущих родителей. Откровенно говоря, я и тогда разумом хорошо понимал, что — я и Елена — мы слишком разные натуры. Этот дом я видел еще в начальной стадии строительства, Дмитрий со мной советовался кое о чем. Но после всего происшедшего я здесь не бывал. Я вообще никогда их не видел потом. Не знал, что скульптура оказалась у них, в этом доме. Это было для меня приятной неожиданностью.

А знакомство с вами мне особенно приятно, и я, признаться, расчувствовался. Видите ли, история о женщине и о мастере пришла мне на ум еще в Керчи, когда я впервые увидел скульптуру. И я ее однажды рассказывал Елене. Но что доведется рассказывать ее дочери... — Леопольд устало улыбнулся. — Простите, что разволновал вас. Простите, не обижайтесь на старика.

— Боже мой!.. Боже мой, — повторяла Вера. — Но мы же увидимся с вами?

— Буду рад, милая, буду рад. Спасибо. Спокойной ночи.

Двери закрылись. Никольский щелкнул замком и отправился наверх, чтобы положить в портфель верстку, оставленную ему Ароном. На дне портфеля рука утонула в чем-то мягком. Это были соболиные шкурки — те самые четыре шкурки из манакинского подношения. Забытые, они лежали в портфеле с момента приезда.

— Вера! — крикнул Никольский. — Иди сюда, смотри, что я тебе привез!

Он отдал ей соболей, но вдоволь нарадоваться на них у Веры уже не хватило сил. Когда легли, последней всплыла в сознании Никольского мысль о том, что любовь у них была днем, и теперь можно сразу же спать.

XXI

Этот вечер в Прибежище имел немало последствий. Во-первых, произошел полный разрыв с кандидатами: воинственно настроенная кандидат-жена уже на следующий день явилась к Вере, потребовав объяснений, почему так некрасиво, так по-хулигански! поступили с их другом, который не кто-нибудь, а поэт! и хотя он недавно из провинции, но принят в Москве, в Союзе писателей как настоящий! как очень

талантливый! самобытный! и безобразие, допущенное по отношению к Пребылову, они считают личным оскорблением! В противоположность обычному, Вера была непримирима: "Ну и черт с вами и с вашим Пребыловым! — отрезала она. — И нечего больше ко мне ходить. И не звоните, понятно?" Во-вторых, произошло и тоже закончилось разрывом объяснение со Славиком. Он долго болтал по телефону вокруг да около, но потом перешел к инциденту с Пребыловым и спросил, что за ископаемое тот длинный придурок, с которым весь вечер возился "твой нынешний кадрик". Такой пренебрежительно свойский тон — опять-таки в противоположность обычному — мгновенно вывел Веру из себя. Она ответила Славiku, что помнит все его гнусности, и с нее хватит. Далее было сказано, что если он вздумает снова осчастливить ее своим звонком, то она позвонит Славiku домой, его жене, и многое ей расскажет. "Ты взбесилась?" — растерянно начал Славик, но Вера бросила трубку. В-третьих, в-четвертых, и далее, — в течение ближайших нескольких недель последовало выяснение отношений с теми из круга знакомых, кто были связаны с кандидатами или со Славиком. Вера повела себя бескомпромиссно: достаточно было кому-либо сказать хоть слово в оправдание отлученных, как она отказывала от дома и защитнику: "Я сказала больше не звонить? Ну и все!" — звучало в ответ на попытку объясниться, и грохот подпрыгнувшей на рычагах трубки отмечал очередное крушение былой дружбы.

Никольский изумлялся и откровенно злорадствовал. "Давай, давай, гони их в шею!" — всякий раз поддерживал он Веру в ее решительных действиях. При этом у него хватало благоразумия умалчивать о том, что ему, да и ей тоже, было и раньше известно: что шваль и шушере следовало гнать подальше уже давно.

За всеми этими переменами стоял Леопольд. С его появлением Прибежище обрело атмосферу иную: повеяло в до-

ме теплом общения тех, кто такого общения жаждал. Под взглядом Леопольда, под усмешкой его, при его словах и при его молчании снобы, трепачи, любители между красивыми разговорами начинать ухаживания стусевывались мгновенно, проводили в неловкости час-другой и исчезали. Оставались те, кому не трудно и радостно было найти в своем нутре прибитый, чахлый росточек, вот-вот готовый и вовсе погибнуть среди вранья, примитива и грубости обыденной всеобщей жизни, — найти росточек и почувствовать, как приподнял он головку, повернул ее на тепло и на свет и потянулся — к человеку потянулся. Леопольд безвластно и безнасильно притягивал к себе: дальний магнитный полюс, который лежит где-то за тридевять земель, вот так же медленно — осторожно разворачивает детскую забаву — иглочку с пробкой на блюде с водой — если есть в иглочке этой чуть-чуть магнетизма. Так и забавы Прибежища становились от раза к разу серьезнее, так и в них проявилось общее направление, и уж не развлекать, не развлекаться и "кадриться" шли сюда, а шли уже, — не осознавая того разумом, а как будто одним лишь слухом ушей своих и видением глаз, да еще самым свободным дыханием в свежем воздухе — шли возвыситься, очиститься от скверны, которую слышали, наблюдали и частью которой были сами. Этих людей и раньше тянуло в Прибежище смутным предвосхищением, что найдут они тут спасение от суеты сует, запылявшей всех и вся; сама Вера обольщалась, что ее открытый дом и разговоры об искусстве в небанальном интерьере старой комнаты будут ей светом и забвением. Но шло все не так, не туда, все обрастало пошлостью, а искренности, простодушия, по которым томились, отыскать в себе и укрепить не умели: за что уцепиться, чтобы лезть из болотца? Не было ничего прочного вокруг, не было и человека рядом, который бы твердо на твердом же и стоял.

Оказалось вдруг так, что все они — Вера, Никольский, Хавкин, молоденький Толик — словом, "свои" — были здесь в Прибежище лишь гостями, задержавшимися посетителями, как если бы приехали в средневековый замок экскурсанты, и им там понравилось, и потому они решили пока что не уезжать. Леопольд же не только и в прошлом был связан с Прибежищем, не только стал тоже "своим" теперь: он выглядел среди этого дома естественно, слитно с ним и необходимо в той же степени, в какой был неотделим от своей одежды — берета, серенького джемпера и помятой бабочки.

Вера отыскала стенограммы лекций Леопольда и предложила заняться их обработкой. Леопольд согласился больше из вежливости — свои уже однажды высказанные мысли его мало интересовали. Но когда Вера подала ему перепечатанную расшифровку первой лекции, он принялся комментировать старый текст, увлекся, а Вера, не растерявшись, сообразила записать все, о чем он говорил. Получились две вариации на одну и ту же тему — как оказалось, противоположные до парадокса, но каждая логически-стройная и подкрепленная серьезными аргументами. Со следующей лекцией произошло то же самое: собственные же прежние блестящие построения Леопольд разбивал не менее блестящей импровизацией. И так он, беря в руки очередной, приготовленный Верой старый текст, всякий раз подвергал его содержание острым словесным атакам, и, казалось бы, несокрушимые бастионы фактов и доказательств начинали рушиться, а Леопольд с нескрываемым удовольствием, усмехаясь и прищуривая веки, возводил на развалинах новые крепости. Хотя в глазах профанов это могло сойти лишь за эффектную демонстрацию обширных знаний эрудита, Леопольд, в сущности, доказывал совсем иное — свое нежелание, вернее, свою внутреннюю неспособность следовать чему-то определенному, остановившемуся и ставшему неоспоримо верным во всем том, что касалось творчества и искусства, и, более

того, — жизни рода человеческого и жизни одного человека, например, своей собственной жизни. По крайней мере, так Леопольда объяснял себе Никольский, который сперва сам прочитал первые из вариаций, а потом попросил Веру узнать при случае, не помешает ли он, если будет присутствовать во время их работы над лекциями. Леопольд ничуть не возражал и даже признался в своей, как он выразился, слабости: вероятно, сказал он, я не чужд тщеславия, так как аудитория активизирует мой тонус... Это было принято за разрешение приглашать и других.

И среди тех, кто теперь стал приходиться, не оставалось людей случайных — почти не оставалось: ну, ведь не запретишь тому же Боре Хавкину привести с собой девушку — его очередную несчастную любовь. Несчастную, потому что ему нравились не только красивые, а даже чересчур, слишком красивые, а они-то все до удивления единодушно сучали рядом с Борей, и вскоре он опять появлялся в Прибежище один.

Как-то само собой получилось, что время от времени стали собираться и у Леопольда, в его узком десятиметровом "пенале" — это была одна из пяти комнат коммунальной квартиры на первом этаже большого дома. Один безвестный молодой художник принес показать Леопольду свои гравюры. Леопольд позвонил Вере и спросил, нельзя ли разыскать Толика, — ему и художнику, возможно, было бы интересно познакомиться друг с другом. "И милости прошу вас, Вера, и, если пожелает, Леонида тоже — сделайте одолжение, приезжайте".

У Леопольда, кроме художника и его жены — тихой молчаливой женщины, был и Финкельмайер — в своей обычной позе, сложившись втрое, сторбленно сидел он в полутемном углу. Закивав головой и открыв ряды крупных зубов, он показал, что заметил гостей, он хотел и встать им навстречу, но Никольский надавил ему на плечо, и Финкельмайер ус-

покоенно затих. Но заволновался Леопольд: все его съестные припасы состояли из пачки цейлонского чая и вчерашней городской булки. Вера побежала в магазин, а возвратившись с полной авоськой, занялась приготовлением еды. В хозяйстве Леопольда она разобралась легко: несколько чашек и тарелок, ложки, вилки и ножи — все помещалось на одной из полок обыкновенного платяного шкафа, чай кипятился нагревателем, под окном, на полу, стояли электроплитка и рядом сковорода и кастрюльки. На кухню нужно было выйти только за водой, но под косыми взглядами соседей Вера там же перемыла и перечистила посуду. "Все вы, мужчины, бесприглядные", — эту характеристику Вера давала сильному полу едва ли не чаще, чем повторяла "все вы, мужчины, эгоисты", но и то и другое означало, что она, женщина, мирится с этими ужасными существами, а следовательно, прощает им их недостатки и из чисто женского альтруизма "приглядывает" за ними — беспомощными, бесхозяйственными, непрактичными...

Леопольд быстро обнаружил себя в поле действия ее забот. Она появлялась среди дня и приносила какие-то свертки, раскладывала что-то в шкафу, брала тряпку и протирала пол, под майский праздник вымыла оконные стекла, а настольную лампу, свет которой прикрывался колпачком из ватманской бумаги — он прогорел и грозил пожаром, — одела стеклянным матовым абажуром. Леопольд проявлял лишь слабые попытки сопротивляться Вере, но в конце концов ему оставалось лишь целовать ей руки и говорить благодарности.

Складывалось уже так, что и Вера немало времени проводила у Леопольда, и Леопольд приезжал в Прибежище часто, а когда засиживались допоздна, его, случалось, уговаривали остаться заночевать. Оба дома — Прибежище и комната неподалеку от Кропоткинской — жили теперь присутствием одних и тех же людей.

XXII

Воскресным утром, сонно бездельничая в своей квартире, Никольский просматривал газету. Когда он перелистнул, не читая, первые страницы, чтобы сразу перейти к зарубежным событиям и спорту, в мозгу осталось какое-то мелькнувшее слово. Смысл и звучание слова не задержались, но за ним всплывало воспоминание — о чем? о ком? — тонущее в сонной тупости. Никольский вернулся к листу-вкладышу, прочитал шапку "Литература и искусство" — воскресная роскошь центральной газеты — и лишь начал окидывать взглядом колонки, как наткнулся на слово *Манакин*.

Кажется, стоило проснуться.

"...атмосферу творческого созидания, характерную для современности..."

"...будет праздником нашей многонациональной литературы..."

"...наш корреспондент встретился с поэтом. Вот что сказал Данила Манакин".

Э, нет, Манакин — это серьезно. Будем читать подряд.

С ДУМОЙ О РОДНОМ НАРОДЕ

Нынешней осенью в столице нашей многонациональной родины Москве намечено провести совещание представителей литератур малых народностей. Прозаики, поэты, драматурги обсудят на своей встрече проблемы, которые волнуют литераторов из различных краев, областей, национальных районов и округов страны, обменяются опытом, подведут итоги своей деятельности за последние несколько лет и определят планы на будущее в свете последних решений партии по вопросам культуры.

В заполярной тундре, в суровой тайге живут и трудятся тонгоры — небольшая северная народность. Почти все тон-

горы – охотники, они пользуются заслуженной славой замечательных добытчиков мягкого золота.

Данила Федотыч Манакин – первый тонгорский поэт – воспевает в своих стихах нелегкий, но благородный, полный тасжной романтики труд охотников, описывает природу северного края, рисует образы простых людей – тонгоров. Д. Манакин, сам в недалеком прошлом бригадир охотничьей бригады, черпает темы своих стихотворений непосредственно из жизни. В ближайшее время в Москве выходит из печати книга стихов Д. Манакина "Удача". Наш корреспондент недавно встретился с поэтом. Вот что сказал Данила Манакин:

– Я счастлив, что мне выпала честь представлять мой маленький народ на таком важном писательском форуме, как предстоящее совещание. С нетерпением жду того дня, когда быстрокрылый лайнер, обогнав солнечную зарю, опустится на московскую землю. Бывая в столице, я каждый раз думаю, как дорога она сердцу каждого советского человека, где бы он ни жил, потому что Москва символизирует самое лучшее в нашей жизни. В думах о сегодняшнем дне невольно вспоминается прошлое. Мой народ не смел мечтать о всем том, что достигнуто тонгорами сейчас. У нас не было письменности, тонгоры вели полудикое тасжное существование. Как все изменилось! Этим мы обязаны партии, правительству и дружбе с братским русским народом. Сегодня тонгоры живут полнокровной, культурной жизнью.

Каждый из нас чувствует атмосферу творческого созидания, характерную для современности. Долг литератора активно отражать действительность и тем самым вторгаться в нее, приобщаться к делам и свершениям наших героических людей труда. И именно они, простые труженики, должны найти в произведениях писателей и поэтов достойное воплощение. Мы, литераторы, ни на миг не должны забывать, что работаем на одном из важнейших участков коммунистического строительства – на культурно-идеологическом фронте. Я не ошибусь, если скажу, что предстоящее совещание будет праздником нашей многонациональной культуры и послужит делу дальнейшего развития литератур малых народностей.

Никольскому стоило больших трудов дочитать газетную колонку. Он пожалел себя: читать до конца не было смысла. Вообще в такого рода болтовне глупо искать какой-либо смысл. Но сам по себе факт этой публикации имел немало важное значение: Манакин вышел в центральную прессу. Страна теперь знает о нем. А уж в писательских руководящих органах о нем будут хорошо помнить. Да-а! Манакин — это серьезно, слишком серьезно...

И в этот момент Никольского стукнула мысль: Манакин? Почему Манакин? А Неприген? Айон Неприген, под именем которого Финкельмайер печатал свои стихи? Куда девался Айон Неприген?

Никольский еще раз заглянул в газету. Нет, он не ошибся: там действительно говорится о Манакине, о книге стихов Манакина, о поэте Манакине, а отнюдь не о поэте Непригене... Выглядело это по меньшей мере непонятно.

День только начинался, и в это время Финкельмайер, вероятнее всего, пребывал дома, в лоне семьи. Никольский набрал его квартирный номер и не без любопытства стал ждать ответа: до сих пор он звонил Арону на службу, а как известно, мы люди совершенно разные, находимся ли мы на работе, или дома рядом с женой, или в мужской компании.

— Алло, — раздался тоненький голосочек.

— Это квартира Финкельмайера?

Никольскому не ответили. Долгое сопение в трубке напоминало ему, что Арон — отец двоих детей: к телефону, надо понимать, подошел ребенок.

— Можно мне поговорить с Ароном Менделевичем? — снова спросил Никольский.

Ему опять не ответили, но трубка на том конце провода обо что-то стукнулась, явственно донесся детский вопль: "Па-а-а!.. Тебя-а!" — затем быстрое топотание ножек и изда- лека другой уже крик: "В убо-орной!.." Приближавшийся

женский голос что-то наставительно выговаривал – последние слова прозвучали уже у самой трубки:

– ...зачем, если взрослые дома?.. Алло? Вам нужен Арон?

– Да, здравствуйте. Я хотел бы с ним поговорить.

– Ой, здравствуйте, вы знаете, он... Извините, пожалуйста, а можно... Вы не из автомата?

– Нет, я из дому. Хорошо, я перезвоню.

– Ой, вы знаете, – неудобно, лучше пусть он вам, ему передать, кто звонил?

– Это его друг, Леонид. Мне очень нужно встретиться с ним сегодня. По делам.

– Хорошо, спасибо, я обязательно передам, а вы знаете?.. Мне очень неудобно, но я... Понимаете, у нас...

– Да-да, я слушаю.

– Ой, я даже не знаю!.. Арон меня так будет ругать, вы не представляете!.. Мне очень хочется – можно вас пригласить? Я подумала, сегодня воскресенье, мы весь день дома, понимаете, у нас совсем никто не бывает, я часто работаю в ночь, у Арона то дела, то поездки, редко все вместе, было бы так хорошо, мы пообедаем, я не буду мешать, дочек возьму и уйдем гулять, а вы себе поговорите, только не думайте, я от души, честное слово, я очень, очень буду рада, может, вы согласитесь?..

– Спасибо вам большое, как-то... неожиданно для меня...

– Ой, что вы, можно же просто – правда же? – я только, – ну, если церемонии разные – сама всегда смущаюсь, честное слово! Приезжайте, а? Ой, какая я дура!.. Вы знаете – совсем не сообразила! – вы, если не один, вдвоем, – очень хорошо, приезжайте вместе?..

– Нет-нет, я живу один, спасибо. Давайте условимся: Арон мне позвонит, и мы решим. Договорились?

– Ой, мы будем вас ждать, я не прощаюсь, – до скорой встречи!

Никольский вспомнил, что жену Арона зовут Фрида.

Существо, судя по всему, характера незлобивого. Весьма редкостное качество у женщины, которая должна работать и без помощи бабушек и тетушек тянет дом с двумя детьми и мужиком.

Арон позвонил минут через десять.

— Она уже побежала в магазин. Готовится к парадному приему.

— Да, брат, я прямо растерян: эдакая бесхитростная атака в лоб — приходите и приходите! Что, обидится, если ты уйдешь? Нам надо поговорить. Ты газету сегодня читал?

— Газету? Какую газету? Я ничего не выписываю. А что случилось?

— Ничего. Потом расскажу. Ну, и как мы увидимся, где и когда?

— А может быть, и в самом деле придешь? Уйти-то я могу, не в этом дело. Фрида, понимаешь... Семья, муж, гости, обеденный стол, — наверно, для женщин все это имеет какое-то значение, как ты считаешь?

— Ах ты, паршивец! Она его кормит и поит, подштанники ему стирает, а у него хватает наглости говорить о жене в снисходительном тоне! Ай-яй-яй, Аарон-Хайм Менделевич!

— Скажите, какой заступник нашелся! Кто-нибудь так подумает, что уж вы-то на полном самообслуживании. Мне вашего разговора даже стыдно слушать. Значит, придешь? Давай прямо к обеду, а там видно будет, куда-нибудь смоемся.

Ехать пришлось аж в Кузьминки, автобусом от Таганской. По обе стороны развороченной грузовиками дороги, просекавшей насквозь весь район, стали однообразно чередоваться бесчисленные пятиэтажки — на огромном плоском пространстве тянулись во все стороны "хрущобы", как назвало новые московские застройки ушлое просторечье. Расчерченные по клеткам стены, расчерченные по клеткам проезды, одинаковый шаг от корпуса и до корпуса — окна,

окна, окна... Ячейки. Вот-вот, семья — ячейка общества. Опять же, — неразрывность формы и содержания, ячеистая структура снаружи и внутри. Непонятно только, зачем сажают люди кусты и деревья. Станный народ, ему не нравится прямолинейность, он убегает известковой белизны крупнопанельных стен, и хочется ему, чтобы кудрявилось вокруг и зеленелось. Это противоречит замыслу и ведет к сомнениям в его успехе.

У Финкельмайера, конечно, первый этаж. И уж, разумеется, квартиру всучили ему в самом паршивейшем доме — "лагутенковском", знаменитом своей низкой себестоимостью: потолки в два метра сорок; кухня, сдавленная до размеров крышки стола; совмещенный туалет с сидячей ванной, раковиной и поставленным чуть не под раковину унитазом; почти полное отсутствие коридора — и ни кладовой, ни шкафа в стене, ни балкона: ячейка — одна из тысяч и тысяч себе подобных. Хотя, спасибо, что и такие дают, спасибо, что отсутствие отдельной уборной гарантирует также и отсутствие соседей по квартире...

Войдя, Никольский поспешил раздеться: тесный закуток, в который мгновенно понабежало все семейство, напоминал набитую людьми заднюю площадку только что покинутого автобуса. Непосредственно из дверного закуртка гость, протапываясь осторожно между глазевшими на него девочками, перешел в некое продолжение закуртка, но это была уже комната, — не то ее отросток-аппендикс, не то ее выступающая грыжа, и сюда же, в комнату, выходила кухонная дверь. Против отростка, в середине противоположной стены, была дверь во вторую, смежную комнату.

— М-да-а-а, планировка тебе досталась, — критически заключил Никольский. — Слышал про такие, но увидеть еще не доводилось. — А что, вот и это тоже в метраж входит? — Он постучал носком ботинка об пол аппендикса.

— А ты как думал? Тут около двух! — с непонятной гордостью ответил Финкельмайер.

— Ну и сволочи! — удивился Никольский, но заметив, что девочки по-прежнему не спускают с него глаз и пооткрывали пухленькие ротки, добавил: — Пардон, мадмуазели!

Он щелкнул каждую в носик, но у мордашек выражение не изменилось. Никольский стал разворачивать пакет, который держал под мышкой. Это была кукла с подвязанной к ее животу плиткой шоколада. Сей симбиоз удалось купить в продовольственном магазине, — промтоварные по случаю воскресенья не работали. Никольский протянул куклу девочкам. Они молча перевели на нее глаза и остались неподвижны.

— Ну что же вы? — решил поощрить их Никольский. Но девочки как будто не слышали. Наконец та, что была чуть повыше, не отрывая взгляда от куклы, тихонечко пропела:

— А ко-му-у?..

— Ах, кому? — Никольский сокрушенно вздохнул. — Это вопрос! Мадмуазели намекают, что дядя сплеховал. Надо было притащить сразу парочку, это вы правы! А кстати, как тебя зовут? — обратился он к старшей.

— Ан-на-а... — пропела девочка.

— А тебя?

— Нон-на-а...

— Ваш покорный слуга — дядя Леня, очень приятно. Предлагаю вам следующее: шоколадку вы делите пополам, и каждая из вас съедает по половине. Так? Ну? Так или не так?

— Та-ак... — чуть слышно ответила Анна.

— А куклу вы не делите пополам и не съедаете. Так?

— Та-ак...

— Вы ее бережете, ласкаете, купаете, водите в садик или в школу. Она будет ваша общая дочка. Ты, Анна, будешь папа, а ты, Нонна, — мама. Или наоборот; или ты — учитель-

ница, а ты продавщица, это вы сами разберетесь. А ваш покорный слуга дядя Леня в следующий раз принесет мадмуазелям еще одну дочку. Идет?

— Иде-ет... — тихо произнесла Анна. Девочки протянули руки, взяли куклу, подумали, хором а capella — пианиссимо спели "спа-си-бо-о..." и пошли к окну, в уголок, где помещалось их небольшое детское царство.

Продвинулись и мужчины подальше в комнату. Фрида со взволнованной улыбкой на лице принялась летать мимо них из кухни к столу и обратно, то и дело вполголоса приговаривая: "Сейчас... я сейчас... сейчас-сейчас..." Никольский хотел умерить ее пыл, сказать, что из-за него не стоит спешить, что он не голоден (но он был голоден, а из кухни великолепно пахло). Однако промолчал. Он понял, что хозяйка возбуждена самим событием — званым обедом и испытывает с непривычки стеснительность, так что — пусть ее: чем раньше все сядут за стол, тем будет лучше — и для нее, и для ее мужа, который пока совсем не знал, что ему надо делать с Никольским, да и для самого Никольского — он уже чувствовал на своей роже неуместную ироническую улыбочку.

— А там у нас спальня, — сказал Финкельмайер.

— Отлично, — бодро откликнулся Никольский. — Это вы здорово придумали — здесь столовая, а там спальня.

— Собственно, здесь не столовая, собственно, здесь просто комната, и здесь отец спит, и дети, когда они дома. А едим обычно в кухне. Это уж сегодня — едим здесь сегодня, на кухне мы все не разместимся.

— Ну что ты, Ароша, разве поэтому? — на ходу возразила Фрида. — Из-за гостя, нам так приятно! — И она снова убежала на кухню.

— Что значит — когда дети дома? — спросил Никольский.

— Они разве не все время с вами?

— Они в саду, сад — пятидневка, и Фрида там воспитатель-

ница, — быстро заговорил Арон, ухватившись за спасительную тему. — Она, если работает в ночь, то и девочки с ней остаются, а если она не работает, то... — Тема внезапно оказалась исчерпана, и Арон растерянно замолчал.

— То они с ней не остаются, — закончил уже Никольский.

— Да.

— Понятно.

Потянулось длинное молчание.

— Телефон у тебя, — догадался сказать Никольский. — В таком районе, знаешь!..

— А как же! — опять воодушевился Арон. — Никто не хотел въезжать. Первый этаж, угловая. Тут у строителей была диспетчерская, нагрязнили и... У них не принимали, а с телефоном... В общем, они оставили телефон, ну, я и согласился. Телефон — это...

— Телефон — это здорово, — подтвердил Никольский.

Они стояли перед обеденным столом так, словно оба были гостями, которых покинули в незнакомом доме.

— Так что там с газетой? — вспомнил Арон.

Никольский ничего не успел сказать.

— Пожалуйста, садитесь, Леонид Павлович, — вошла Фрида. — Все готово, пожалуйста, к столу. Девочки, быстрее мойте руки! Ароша, ты лучше сюда, мне тут ближе к кухне.

Чинный обед начался. Фрида поспешила предложить паштет, салат, шпроты и холодец, выпить за знакомство рюмочку благородного кагора и переменить тарелки, принести пирожки к бульону, объяснить, какие с мясом, какие с капустой и с луком, в ответ на похвалу гостя снова сказать, что она очень рада, а на вопрос, сама ли делает тесто или покупает в кулинарии, она расцветала в улыбке и отвечала, что это пустяк, совсем легко и быстро. Девочки отказались от еды уже после пирожков с бульоном, и мать дала им фруктовой воды и выпроводила их из-за стола, сама же отправи-

лась за вторым и принесла на блюде меднобокого гуся, в недрах которого клокотало, постреливало и шипело.

— Прекрасно! — восторженно приветствовал гуся Никольский. Он налил кагора Фриде, а водки — Арону и себе. — За милую хозяйку!

Никольский блаженствовал: стол — отличный, водка — столичная, пей, ешь — не хочу. Была счастлива Фрида: приняла гостя хорошо, он доволен, человек оказался очень симпатичный, в ее доме сегодня все как у людей. И только Арон не испытывал особого энтузиазма. Если им и владели какие-то эмоции, то, судя по его лицу, он все время чему-то удивлялся: поднимая брови, недоуменно смотрел то на Фриду, то на детишек, то на Никольского. И опять Никольскому лезло в голову, что Арон за этим столом — гость, и, вроде бы, все крутится вокруг него, Арона, а он это понимал, и его мучила неестественность ситуации. Впрочем, так оно, наверно, и есть, подумал Никольский, Фрида же старалась ради мужа, *ему* она хотела угодить, когда *его* друга приглашала на обед. Ну и что? Уж коли на то пошло, это мне нужно почувствовать неловкость, если догадался, что приглашен участвовать в жениной семейной политике. Но надо быть идиотом, чтобы, сидя перед этим гусем, чувствовать неловкость, вообще, что-то чувствовать кроме желания обглаживать его косточки. Арон, наверно, и худ по причине чрезмерной чувствительности ко всему, но не к еде. И зачем только дан ему его большой еврейский нос, если он не способен учуять аромат такого гуся? Но важнее того, — зачем дана ему жена, которая умеет делать такого гуся, а ей зачем дан муж, к гусю равнодушный?

Никольский обнаружил, что докурил последнюю сигарету, и спросил, нет ли курева у Арона. Тот отправился в спальню, потом прошел в прихожую и стал там возиться. Вдруг раздался стук захлопнувшейся двери.

— Он пошел купить, за углом есть киоск, — объяснила

Фрида, когда Никольский озадаченно взглянул на нее. — Он такой: молчит-молчит, встанет и уйдет... Не подумайте, что я обижаюсь, нет-нет, просто бывает беспокойно за него. Особенно, когда на дежурстве, все думаю, не ушел ли куда, дома он или нет. Хорошо, что детсад близко, я забегу, прослежу, чтобы поел...

Теперь, когда Фрида не вскакивала поминутно, а осталась сидеть за столом, чтобы гость в одиночестве не скучал, Никольский впервые получил возможность составить впечатление о ее внешности. И то, что ему пришлось задаться этим вопросом — какова же она, Фрида? — само по себе говорило о многом. Прежде всего — о том, что Фрида — женщина не в его вкусе, иначе интерес к ней заставил бы его с первых же мгновений и увидеть и оценить все ее внешние качества. Но даже будь она и не в его вкусе, но обладала б тем, что называют "изюминкой", он бы тоже не одного только гуся видел около себя. Женщина его за стол сажает, ухаживает за ним, кормит его и поит, а он как будто только сейчас ее увидел. Что поделать, если он такая свинья — нет, не свинья, гусь свинье не товарищ, он кто-то другой, но все равно дрянь. А Фрида — женщина хорошая, добрая, беззлобная, это на ней так и написано. Располнела, наверное, после того, как рожала, — при ее-то росте и рядом с Ароном не мешало бы ей как следует сбавить, она же еще совсем молода — есть ли ей двадцать пять? — но такие следить за собой не умеют, они все больше за детками и за мужем... Но для кого-то Фрида и симпатична — конечно, такое вот круглое личико, черно-глаза, пухлые губки и волосы вьются без помощи бигуди, — что-то в ней негритянское и при том деревенский, кровь с молоком, цвет лица, — похоже, она здоровья хорошего и из тех, кто долго не стареет. То есть, это точно — симпатичная баба, говоря объективно... Но кто о бабах судит объективно? Вот Арон — ведь не бабник же, а что ему эта объективность? У него при такой жене — Данута...

Никольский стал слушать, что говорила ему Фрида.

— По-моему, знаете, очень плохо, когда никто не приходит, правда же? Это верно, что все работают, все устают, всем некогда, но нельзя, чтобы после работы каждый только сам по себе все время, все-таки в выходной можно встретиться, приехать друг к другу, правда же? Мы далеко живем, это плохо, Москва такая большая, прямо ужас, — вот вы ехали, тяжело, да? Я никак не могу привыкнуть. Говорят, метро скоро пустят. Знаете, у нас нет никого родственников — ни у меня нет — я из детдома, всех моих немцы убили, — и у Ароши тоже никого, — может быть, поэтому я так вам говорю, как вы думаете?

Надо было чем-то утешить ее.

— А я вам скажу, что с родственниками чаще всего только неприятности, — сказал Никольский. — Постоянные ссоры, обиды, выяснения отношений. Хорошо, когда люди встречаются по желанию, а не по обязанности.

— Это правда, правда! — согласилась Фрида.

— А с родственниками — почти всегда по обязанности. Но я вас понимаю: когда совсем нет близких, трудно с этим смириться, все кажется, что на свете больше тепла, если есть родные, близкие.

— Ой, вот очень правильно вы сказали — тепла!.. Это правда!..

— Но на самом-то деле так бывает редко. Родители с детьми, братья, сестры — все люди чувствуют себя одинокими, если... если на душе одиноко. Понимаете? Одиночество — оно у людей внутри. Можно весь вечер провести в веселой компании и все время чувствовать, что ты одинок. Это уж вы мне поверьте. Хотите, могу признаться: я всегда на людях, привык — то тут, то там, и с теми, и с этими, а думаете, рад я этому? Одна видимость.

— Вот и Арон, — сокрушенно сказала Фрида. Она, конечно же, думала о своем. — И он тоже все куда-то хочет уйти,

с кем-то нужно ему увидаться, где-то побывать... Но знаю, он мне сказал однажды, что ему одиночество необходимо. Как это понять, не знаете?

Никольский промолчал, только взглянул на Фриду.

— Он не скрывает от меня — нет, не подумайте, — если я спрошу, он всегда говорит, куда идет, где он будет сегодня. Понимаете, он забывает предупредить меня, я волнуюсь. Но это пускай, это ничего, а если я знаю, что он у Леопольда Михайловича, мне можно не волноваться, и я думаю, если Ароша с вами, — тоже...

— Конечно.

— А вы женаты?

— Нет.

— Вот видите? — это плохо, лучше вы были бы тоже женатым.

Никольский рассмеялся.

— Почему же?

— Н-ну... Не знаю, как сказать... Семьями лучше дружить, вот что. Пусть у мужчин будут свои дела, а все равно лучше, если они и семьями дружат, чем где-то... в компаниях.

”Данута”, — подумал Никольский. Он опять со смехом, но принужденным, сказал:

— Не волнуйтесь, есть женщина, с которой я встречаюсь несколько лет. Так что мы почти женаты.

— Ой, вы, наверно, обиделись на меня, да?

— Ерунда, за что же обижаться?

— Я ведь не о вас, я об Ароше. Просто я думаю, что... — она оглянулась на девочек, они возились с куклами в своем углу и монотонно шептались, — я думаю, и у него может кто-нибудь оказаться? — как бы полушутя, смешком сказала Фрида и замолчала, поняла, что наговорила лишнего, и, чуть не плача, опустила глаза.

”Данута. Знает. Или догадывается”. Никольский спросил, с омерзением слыша в своем голосе фальшь:

— Почему это вам в голову пришло?

— Он... он добрый.

У Фриды был взгляд покорной овцы. Черт бы побрал проклятую мужскую солидарность! И все же Арон и Фрида не пара. Если он равнодушен к ее заботливости, а это, по-видимому, так, то Фрида его должна раздражать. Она доверчива, она наивна, как ребенок, и ее можно любить, как любят свое дитя, но это не для Арона, конечно же, нет.

— Да, он добрый, — кивнул Никольский. И вдруг спросил: — А его стихи? Вы их читаете?

Фрида опять поглядела на него так, словно умоляла пощадить ее.

— Я у него спрашивала... Я у него спросила — можно мне почитать? — он сказал — пожалуйста, вон в тех папках. (Толстые папки одна на другой лежали на верху шкафа). Я несколько раз смотрела. Но разве я понимаю что-нибудь? У него хорошие стихи, да? Он из-за них мучается. Ночью встает, чтобы записывать. Говорит, что ему снится.

Никольский положил ладонь на ее пухлую руку.

— Вы, Фрида, послушайте меня внимательно. Арон — большой талант. Он пишет прекрасные, удивительные стихи, и очень жаль, это не его вина, что о таком поэте, об Ароне Финкельмайере, никто не знает. Но ему-то слава не нужна, понимаете? Он живет тем, что там в голове у него происходит, это для него главное, и вам нужно это понять. Вы правы, может быть, с таким человеком трудно, но я вам так скажу: каждой женщине трудно с мужем, это уж точно, а если он — талант, гений? С таким еще сложнее. А он, может быть, он и есть гений. Я часто о нем думаю именно так.

Он остановился, заметив, как Фрида восприняла его слова: на лице ее сменялись недоумение, страх и как будто усилие вспомнить о чем-то... Она была обескуражена, и Никольский, наливая себе водки, дал ей сколько-то времени справиться с собой. А потом пришел черед и ему испытать

недоумение и что-то похожее на испуг: Фрида с горечью и скорбью глядела куда-то в пространство, и выражение круглого личика окончательно отбило у Никольского охоту продолжать разговор.

Так они молчали несколько минут. В дверном замке повернулся ключ, дверь снова хлопнула. Вошел Арон, торжественно помахивая сигаретной пачкой:

— Думаешь, у нас тут легко достать хорошие сигареты? На, кури. Чай уже пили? Пить хочется.

Короткая прогулка пошла Арону на пользу: он повеселел, подозвал девочек и, хотя они по-прежнему дичились, посадил их на оба свои колена и устроил развлечение, которое дочкам, вероятно, страшно нравилось: неожиданным движением Арон пристукивал ступней об пол, отчего сидящая на колене вдруг подскакивала. Это повторялось множество раз, внезапно прыгала то одна, то другая из девочек, они прыскали от смеха, чай пузырями выходил изо ртов обратно в блюдца, а в напряженном ожидании очередного подскока они повизгивали и тоненько скулили от нетерпения. Кончилось тем, что у младшей появилась икота. Девчонки побежали на кухню и стали о чем-то просить Фриду. Так они и вошли в комнату — мама с висящими на ее руках Анной и Нонной, которые занудно тянули: "Ма-а... Ну ма-а...".

— Чего они хотят? — спросил Никольский.

— Не обращайтесь внимания, раскапризничались. Я когда-то обещала сводить их в Центральный парк, покатать на чертовом колесе. Они и вспомнили. Не выдумывайте, сегодня без всякого колеса, пойдем и погуляем тут у нас.

Никольский по-школьному поднял руку:

— Тетя Фрида, я тоже хочу на чертовом колесе! — пропихал он и предложил уже серьезно: — Почему бы не поесть? Такси найдем?

Арон обрадовался:

— Найдем, найдем!

Спустя час, отстояв под чертовым колесом очередь, они уже залезли в кабину — Фрида с девочками впереди, Никольский и Финкельмайер сзади. Щелкнул контактор, мотор загудел, понесло мимо голых еще деревьев. Открылась река, и дома на той стороне попадали с серого неба. Промелькали гигантские спицы, вновь полетели деревья, река, мост и дома. И качало, и падало, и уносилось — мелькало и надвигалось — росло, дразнило, играло, обманывало, увлекало. Постукивал и скрежетал механизм. Внезапно умолкло: зависли на самом верху.

— Мам-ма-а!.. — раздался срывающийся голосок.

— Все в порядке, — сказал Никольский. — Там внизу людей начинают высаживать.

Арон безмятежно вертел головой во все стороны, как ворона, сидящая на верхушке ели. В клочковатой пасмури небес появилось солнце.

— *Берегись восходить на гору и прикасаться к подошве ея, —* нараспев заговорил Финкельмайер. — *Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Скот ли то, или человек. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Леня, был протяжный трубный звук, ты не слышал, нет? Будьте готовы к третьему дню: не прикасайтесь к женам.*

Колесо дрогнуло и, заскрипев железными суставами, опустило их ниже. Снова они висели и тихо покачивались в своей колыбельке.

— И зачем я прикасался к женам? — спросил Финкельмайер. — И зачем я восходил на гору?

Дьявольская машина опять заскрежетала и понесла колыбельку еще ближе к земле.

— *Совэв, совэв, холех харуах вэйал свивотайв шав харуах...* Что означает: *кружится, кружится на ходу своем ветер, и на круги свои возвращается ветер.* В чем и убеждаемся,

Леня, поскольку вернулись туда, откуда начали. *Возвратится прах в землю, чем он и был.*

И они ступили на землю.

XXIII

Фрида, попросившись и взяв с Никольского слово, что он будет приезжать, увела девочек. Мужчины остались вдвоем. В стороне от главных аллей нашли свободную скамейку, Никольский достал газету и протянул ее Финкельмайеру. Тот стал читать.

— Здорово! — сказал он. — Большой человек Манакин. А ведь не хотел, тупица, книгу издавать.

— Ну, — тупица он или нет, это вопрос. А что хитер, как лиса, — можешь не сомневаться. Так кто же все-таки автор книги?

— Не понимаю? Он.

— Кто — он? Данила Манакин или Айон Неприген?

Финкельмайер снова заглянул в газету и свистнул.

— Вот оно что-о! — протянул он.

— То-то. Речь идет только о Манакине. И прямо говорится: книга Манакина "Удача". Скажи, когда ты его привозил в тот, в первый раз на собрание в Сибири, он как звался — Неприген или Манакин?

— Неприген. В редакциях и в Союзе писателей, конечно, знают, что это псевдоним. До сих пор был только поэт Айон Неприген. А Манакин — это бригадир, потом райкомовский инструктор, а потом зав. районной культурой. Как там на книге указан автор, я не видел, верстка была без титульного листа.

— Да, я помню.

— И в издательстве мне никто не сказал, что Манакин решил обходиться без псевдонима.

— Уверен, что он это сделал неспроста. Он подозрителен и, я думаю, тебе не доверяет. Он чувствует, что псевдоним — это ты, а не он. Теперь он хочет избавиться от призрачного посредника, от Непригена, который связывает вас — Манакина и Финкельмайера. Так будет легче присваивать твои стихи. Боюсь, что он вообще постарается покрепче прибрать тебя к рукам.

Финкельмайер молчал.

— Ну что же, — заговорил он. — Айон Неприген свое дело сделал. Все-таки под этим именем удалось многое опубликовать. И если остальное будет напечатано в книге, на которой вместо "Неприген" стоит "Манакин", — черт с ним! Когда затевался альянс "Финкельмайер — Манакин", мне была противна сама мысль о подставном имени. Но шутка "Непризнанный гений — Неприген" меня с этим примирила. Значит, Непригена не будет... Ха! Поэт Манакин! Ах, да наплевать мне! — И в голосе Финкельмайера мелькнула уже знакомая Никольскому нотка жеманной капризности. — Когда я летел в Заалайск, чтобы уговаривать Манакина, я чувствовал, что делаю это против себя... что подавляю в себе... Это было насилием разума против беспечной свободы! Я равнодушен, да, честное слово, я равнодушен совсем!

— Но послушай! — возмутился Никольский. — Нельзя допустить, чтобы авторство перешло к Манакину! Придет время — я убежден, уверен в этом! — когда кто-нибудь — не ты сам, так какой-нибудь критик, литературовед, да мало ли кто! — должен будет восстановить истину! Айон Неприген — это ты, это Арон Финкельмайер, и псевдоним можно расшифровать только твоим именем! — Никольский разгорячился и чуть не кричал. — Что у тебя за рабская покорность, е.. твою мать? Ты, ты автор, понял? Это тухлое тюленьё сало Манакин должен молиться на тебя как на благодетеля, а не переться со своей фамилией на обложку! Арон, ты хоть иногда думаешь, что твоим стихам предстоит жить,

что их будут читать и через десять лет, и через двадцать? Ты не имеешь права относиться к тому, что ты пишешь, с твоим идиотским "Я равнодушен"! Эти стихи, если хочешь знать, не принадлежат тебе! Они уже стали моими, они принадлежат вон той парочке, и Леопольду, — кому угодно, всем!

— Валяй, валяй! — весело поощрил его Финкельмайер. — Скажи еще, что искусство принадлежит народу. Или, как говорит наш друг Сергей Пребылов, поэт пишет кому? — лю-дям. А что ты имеешь сказать насчет партийности литературы?

— Если ты ведешь себя так, будто твои стихи никого не касаются, зачем вообще ты их публиковал?

— О-о! Вопрос вопросов для всех пишущих! Давай, попробую объяснить. Но что бы я на этот вопрос ни ответил... Любой ответ будет только частью правды. Всей правды не знает никто. Во-первых, публиковал, потому что так полагается. Во-вторых, меня уговаривал Мэтр. В-третьих, деньги, — они почему-то всегда были очень кстати. В-четвертых, страх перед смертью. Не понятно? Животный или мистический, как угодно, страх, что умрешь, и ничего не будет, — тьма, пустота, холод. А написанное тобой, когда это отпечатано и размножено, создает иллюзию, что ты будешь существовать и после своей кончины. Представь, твоя мысль, облеченная в плоть бумаги и шрифта, подвергнутая многократной фиксации, разошлась далеко за пределы того места и всех тех мест, где ты был, есть и когда-либо будешь. Нетрудно это воспринять так, будто при помощи шрифта и бумаги само твое реальное бытие размножилось и вышло за пределы того пространства и того времени, в которых ты существуешь в течение своей жизни. Небольшая подмена одного понятия другим, только и всего: отлетевшая, уже независимая от тебя твоя мысль почему-то становится отождествленной с твоим бранным телом. Нормальные люди для тела бессмертия жаждут, для тела! А это отождествление

или, если хочешь, смешение мысли — продукта жизни с самой жизнью больше чего-либо иного характерно для людей с воображением, для фантазеров, идиотов, бездельников, для мечтателей — словом, сочинителей. Они спасаются иллюзией бессмертия! Чем отдается дань вере в загробную жизнь. Чем искусство и религиозно и близко к Богу... Но как легко от этих антинаучных иллюзий излечиваются! Книгу опубликовывают — и жизнь оказывается по-прежнему бессмысленной!..

Никольский с сомнением усмехнулся.

— Если так, зачем публикуют вторую, третью книгу?

— В силу каких угодно причин, но только теперь уже не ради бессмертия. Тут, собственно, два вопроса: почему пишут и почему публикуют. Пишут, положим, потому, что втягиваются в эту работу, потому, что она нравится, потому, что нет способностей к другой. А публикуют, чтобы получить гонорар и снова иметь возможность писать. Тщеславие, образ жизни, инерция, мнение окружающих, — разве можно сказать, что заставляет человека навсегда посвятить себя какой-то профессии?

— И ты от жажды бессмертия излечился, — не то спросил, не то констатировал Никольский. Пустое это слово — *бессмертие* почему-то его зацепило.

— У меня болезнь протекала в слабой форме, — засмеялся Арон. — Только я увидел корректуру, как сразу почувствовал, что здоров. Разве от меня разит бессмертием? Вот Манакин — другое дело: в национальной литературе нашей страны ему навеки уготовлено место первого народного тонгорского поэта. Я прямо-таки исхожу завистью! В общем, тебе не стоило из-за этой статейки заводиться. Меня совсем не то сейчас волнует. Другие времена — другие цорес.

— Другие — что?

— Заботы.

Финкельмайер завозился, доставая из кармана сигареты.

Никольский чиркнул спичкой. При замерцавшем огоньке лицо Арона, сглаженное сумерками, стало изменяться: от носа к углам рта потянулись глубокие линии, под выпуклые веки ложились черные полукружия. Пока горела спичка, Никольский смотрел на Арона. Он был похож сейчас на индейца, который у костра перед вигвамом раскуривает трубку. Затянувшись, он задумчиво устался в землю и, кажется, не собирался продолжать разговор.

Никольский размышлял над услышанным. То, что говорил Финкельмайер, удивляло — и коробило. В рассуждениях Арона было что-то циничное. Никольский не без оснований самого себя считал порядочным циником. Но и для его цинизма существовало запретное. В творчестве, в искусстве — не в затасканном, расхожем понимании, а в первоначальном живительном смысле этих слов, ему виделось едва ли не единственное, что стоило уважения. По крайней мере, великая литература, когда он брался за чтение классического романа или открывал томик стихов истинного поэта, никогда его не обманывала... Любовь — и та обладает свойством разочаровывать на каждом шагу и тем более, тем сильнее, чем больше стремимся мы найти ее достойнейшее, абсолютное воплощение. Иное в искусстве. В нем есть незыблемость. Написанное на бумаге и изображенное на полотне от тебя не отвернется, а ты, вознамерившись обратиться к другому шедевру, не должен обвинять себя в измене. Любовь к искусству полигамна. Конечно, творчество — штука сложная, и тут каждый сам себе хозяин. Но все меняется, когда произведение родилось. Как бы Арон ни издевался, а с этого момента стихотворение, или картина, или соната автору принадлежит лишь формально. В сущности же, это создание принадлежит теперь и любому другому, кто способен его воспринять. Если читаешь стихи Арона и будто к самой тайне мира прикасаешься, если наивность его простых напевных слов душу врачует, как врачует, наверно, молитва, — Ни-

кольский, никогда не знавший церкви, все же мог такое предполагать, — разве тогда держать свои стихи в неизвестности не все ли равно, что хлеб гнить, которым люди могли бы кормиться? Почему же Арон смеется, когда ему толкуешь об этом?

Судьба его стихотворений ему совсем не интересна. Да-да, есть в этом равнодушии циничное. Как если бы нарожать кучу детей и бросить их на произвол судьбы.

— Хорошо. — Никольский не выдержал и решился продолжить свои мысли уже вслух. — Допустим, тебе наплевать на свое авторство и наплевать на публикацию стихов. Допустим. Но возможность писать? Ты говоришь, что публикация и гонорар служат возможности писать. Если скажешь, что на эту возможность тебе тоже наплевать, я уж, прости, никак не поверю.

— Нет, не скажу. — Финкельмайер не промолчал и не прикрылся одной из своих шуточек, чего Никольский боялся. — Но начнем с того, что жить на гонорары от стихов невозможно. Придется себя продавать — более или менее достойно. Самым достойным способом литературной самопродажи считаются переводы. Тут хотя бы можно пытаться избежать заказов на различную стихотворную пропаганду. Но переводы — труд тяжкий, и если этим заниматься постоянно, что-то в тебе иссушается. Бывает, что полностью теряется способность писать оригинальное. Проще продаваться в открытую: с той или иной дозой искренности писать то, что ждет от тебя идеология на современном этапе. Стройки, машины, комбайны, родина, березки, мозолистые руки, память о славном прошлом, трудовые будни славного настоящего, стремление к слав...

— Ну-ну, хватит, понял! — поморщился Никольский.

— Еще бы не понял: этой поэзией забито все — сборники стихов, полосы газет, передачи радио и телевидения. И Пребылов, как ты видел, тоже понял.

— Твое "Полковое знамя" было в том же роде, — не удержался Никольский.

— Совершенно верно изволили заметить! Необходимо впасть в грех, чтобы познать, где тебя подстерегает дьявол, и потом обходить это место сторонкой. Что я благополучно и делаю...

На аллеях зажглись фонари. Но уголок, где они сидели, оставался погруженным в темноту. Сквозь ветви деревьев было видно, как вращается чертово колесо: его гигантская окружность светилась теперь раздражающе-ярким, грубым пунктиром из электрических лампочек.

— Вот и смотри, можно ли зарабатывать посредством рифмованных строчек, — продолжал Арон. — А жалко, — ты представить не можешь, как жалко упускать мой случай! Мне же выпало все-таки получить проклятых этих денег приличенькую сумму, — вот-вот должны выплатить за книгу, — а что толку? Я уже расчитал: мне бы хватило на год-полтора! Мог бы уйти с работы, мог бы писать хоть день и ночь, — тут, в голове, слишком много такого, от чего мне нужно освободиться. Если бы я умел забывать! Словам становится слишком тесно в этой коробке, мне давит на мозг, как опухоль. Мне нужно много писать — хочу я этого или не хочу. Но я хочу.

Молчание снова грозило прервать разговор надолго, и Никольский осторожно подтолкнул Арона к дальнейшему:

— Значит, так: получив деньги, ты бы хотел бросить работу, но по каким-то причинам не можешь. Тебя, часом, не они ли волнуют — эти причины? Или з-заботы, как ты их там обозвал?

— Они, они, майне гройсе цорес... И ты вполне можешь догадаться, с чем они связаны. Вернее, с кем.

— Ах, семья!.. — скучно протянул Никольский и испугался, не обидится ли Арон такому тону. Но его собеседник лишь нарочито вздохнул. А Никольский почувствовал нечто

вроде тихого удовлетворения: вот и у его приятеля семейная жизнь тоже не удалась. Мужчин, когда они друг от друга узнают об их семейных неурядицах, это только сближает. Но у Арона есть Данута.

— Чего же ты хочешь от семьи? Положим, Фрида совсем далека от твоих стихов. Но так ли уж нужно, чтобы она их ценила и понимала?

— Да нет, ни от кого мне это не нужно, — ответил Арон. "А в самолете?" — чуть не вырвалось у Никольского, но он успел прикусить язык. И не пожалел, что промолчал: Арон заговорил, то и дело страдальчески останавливаясь.

— Приходится жить... с постоянным, ежеминутным ощущением... вины. Она-то знает, что не виновата предо мной... ни в чем, нет... Мечется, переживает, думает, будто можно что-то изменить, поправить... А я виновен... во всем, потому что там, дома, перестаю быть собой. Я как будто деревенею, — залезаю в себя, как в пещеру. Начинаю фальшиво изображать хорошее настроение. Нам нет покоя. Ни ей, ни мне.

— *"На свете счастья нет, но есть покой и воля"*, — меланхолически процитировал Никольский.

— Неправда. На свете нет и покоя.

— Так уж и волю туда же, Бог троицу любит.

— Воля есть: одиночество. Но не одиночество вдвоем. А одиночество полное — как его совершенная, высшая форма. Физически и духовно. Один как перст. Кстати, — Арон оживился, — вот тебе вопрос: действительно ли, как любят у нас толковать это стихотворение, Пушкин звал Наталью за собой — в обитель дальнюю? Неужто он тогда еще так обольщался, так верил в брак, в свой брак, что надеялся вместе же с Натальей найти покой и волю?

— *"Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег"*, — продекламировал Никольский. — Ничего подобного! Ясно, — как дважды два, что от нее, от своей красотки удрать-то и хотел Александр Сергее-

вич. "Усталый раб" — вот уж сказано. С пушкинской точностью и простотой! Я бы эти слова на табличках писал и каждому семьянину — мужу на шею бы вешал.

— *"Давно завидная мечтается мне доля"*, — сказал еще одну строку Арон. Ему доставляло наслаждение, что с легкой руки Никольского у него теперь был такой великодушный союзник. — А чего же нам, малым сим хотеть, если ему не удалось? При том что были у него Болдино и Михайловское. А тут и этого нет. Замаячили денежки на горизонте, я и раскис, — свободы, видишь ли, возжаждал. Да еще в совершенной форме!

— Да, брат, это ты хватил. Но, допустим, в несовершенной? Не навсегда, а на время, — вот на эти полтора года, пока хватит денег, — ты бы решился? Будь у тебя Михайловское — ну, в общем, хата?

Финкельмайер пожал плечами.

— Не знаю. Э, что зря терзаться? — нету же.

— Ну вот что, — настойчиво продолжал свое Никольский. — Если решишься, имей в виду: жить можно у меня. Я дам тебе мою квартиру.

— Ого! А сам?

— Не беспокойся. Устроюсь. — Никольский подумал о Вере, о Прибежище. Но из осторожности или из суеверия сказал: — У тетки. Есть у меня очень добрая тетушка.

Он не врал, и в самом деле существовала тетушка, которая бывала счастлива, когда ее племянник Леня приходил провести с ней вечерок и иногда даже под воскресенье оставался заночевать.

— А не слишком ли ты филантроп?

— Не слишком. Ты должен, должен писать без помех, наконец, трусливая твоя душонка!

— Это что — цель твоей жизни?

— Да прекрати ты эти идиотские вопросы! И не хами.

— Ну хорошо. Спасибо. Ты... правда? — всерьез предлагаешь?..

— Тьфу — б... — сорвалось было у Никольского, но он остановил ругательство, понимая, что разговор принял деловой оборот. Он закончил спокойно: — Самым серьезным образом. У меня вообще могут быть кой-какие жилищные перемены. Ну, сейчас не стоит об этом распространяться. Тебе надо знать одно: моя квартира — в любой момент твоя и на какой угодно срок.

Арон мечтательно вздохнул:

— Эх, годик бы, полтора!.. Квартира — это было бы здорово! Но пока я, честное слово, — не знаю. Спасибо. Надо подумать. Подожду конца лета. А там, если не передумаешь, — ну, ну, не злись!.. — там увидим... Я буду помнить.

Он заторопился, стал рассматривать на циферблате время.

— Пойдем-ка лучше, а? Может, и вправду — пора?

XXIV

Еще с зимы Никольский предполагал взять отпуск в июне. Он собирался пойти на байдарке вниз по Инзеру. Об этой реке среди байдарочников сложилась неплохая слава. Проскакивать через пороги, выруливать из последних на струю протока, внезапно переворачиваться в воду, а то и ломать шпангоут, — все эти прелести байдарочного похода можно было испытать на Инзере именно в июне, когда река еще несла воды от снегов, таявших на горах Южного Урала. В июле Инзер становился поспокойнее, и интерес был уже не тот. В поход сговаривались идти тремя, от силы четверьмя байдарками по два человека в каждой. С самого начала решили, что пойдут одни мужики. Рассуждали так: жратва, конечно, будет хуже; но из-за баб, если их много, всегда нарушаются первоначальные замыслы, сбивается план маршрута, и вообще в походе наступает полное разложение; а когда

баб мало, одна-две, их присутствие только создает повышенную напряженность и нервное настроение. К тому же в компании отсутствовали юнцы, которым в походе позарез хочется любовного приключения: все были мужчинами около тридцати, никто из них не испытывал недостатка в ласках супруг и любовниц, и отдохнуть месячишко от этой радости представлялось им не только не тягостным, а даже и желательным. Все они — инженеры и научные сотрудники — младшие, то бишь мэ-нэ-эсы, — нуждались лишь в физической встряске, "в нагрузочке". В основном "нагрузочкой" и определялись достоинства предстоящего путешествия.

Но неожиданно, когда Никольский готов уже был выйти в отпуск, все стало срываться. На предприятии — на том самом "зеленом" ящике, где Никольский оставил свои указания, что надо сделать, чтобы не замарать патентную чистоту, — теперь только проснулись: близился конец полугодия, начинали гнать план, а на заводе никто не удосужился до сих пор поинтересоваться, что же им рекомендовано московским экспертом. Начались телефонные звонки, то и дело Никольский ходил к телетайпу, и, что ни день, приходилось подолгу вправлять мозги заказчикам, которые тыкались и метались, как слепые щенки, и упрасивали, настаивали, требовали отказаться от одних переделок, свести к минимальным другие, а то и просто согласиться на липу.

Никольского звали вылететь на завод. Он отказывался — у него была особая причина не возвращаться в Заалайск, — но отказывался также и потому, что появиться там в дни, когда горит план, значило нарваться на бесплодные скандалы, трепать нервы и набивать себе шишки. Он так и сказал по телефону "зеленому" директору: раньше надо было спохватиться, я свои договорные обязательства выполнил, а такие пожарные консультации — это с моей стороны не больше чем любезность, поеду же я к вам только по новому соглашению, разговаривайте с моим начальством. А началь-

ство — как всегда, очень вежливо согласилось, что без дополнительного соглашения, конечно же, ехать не следует, особенно сейчас, это вы правы, но попросило все-таки не отказывать заказчику в телефонных консультациях, в связи с чем — еще более вежливо, чем всегда — попросило отложить отпуск до конца июня: сами понимаете, Леонид Павлович, оборонное предприятие, и если у них, не дай Бог, не выгорит план шести месяцев, они могут и на нас свалить, лучше с ними не связываться, так что я пообещал, что вы будете им и дальше помогать.

Июньский отпуск летел к чертовой матери, летел туда же и поход по Инзеру: все уже были готовы тронуться в путь. На Никольского злились: маршрутом он занимался больше других, и к нему уже успела прилипнуть кличка "Адмирал". Не было, однако, счастья, да несчастье помогло: отказался от похода экипаж одной из байдарок. Что-то у них произошло, не то поссорились, не то их жены не пустили, — это мало кого волновало. Волновало другое: без Никольского оставалось пять человек. На три байдарки? На две? Собрались обсудить ситуацию, пришел и мрачный Никольский, что-то советовал, что-то доказывал, потом отдал своему бывшему напарнику по байдарке карту маршрута и сел в сторонке записать кое-какие объяснения. "Мужики, — сказал кто-то, — а если отложить? Мне, например, отпуск запросто переоформить". Мысль эта — перенести поход на июль — вертелась в голове у всех, и, когда один из них решился ее высказать, остальные принялись вслух деятельно обсуждать эту возможность. Похоронное настроение быстро исчезло, Никольский, растроганный общим желанием ради него изменить свои планы, говорил, что семеро одного не ждут, — а Инзер в июле, говорят, может обмелеть, — ему отвечали, что было бы семеро — и не ждали бы, а то нас только пятеро — эх ты, адмирал без флота!..

Через день-другой у всех утряслось, и окончательно —

железно! — установили срок отъезда: первое июля, пятница.

Итак, Никольскому предстояло крутиться в Москве. Финкельмайер меж тем успел уже исчезнуть: детский сад, в котором работала его жена и были устроены обе дочери, выехал на дачу, и Фрида получила разрешение поселить в домике персонала своего мужа и его старика-отца. Там Арон и коротал теперь отпускные дни. Никольский не мог понять, почему его приятель не использовал хотя бы это краткое время для спокойного и — свободного, как мечтал Финкельмайер, творчества. Действительно ли хотел Арон жить в одиночестве? Или, говоря об этом, только плакался в жилетку, а сам и не так-то уж рвался на свободу? Во всем этом не было ясности. Никольский, вообще говоря, считал, что каждый бы должен время от времени вносить в свои дела ясность. Это, правда, редко когда удается, и более того — разобравшись до полной ясности что к чему, такую муторность на душе чувствуешь, что лучше было и не начинать разбираться. Но наступает момент, когда это становится необходимым. Самому Никольскому как раз теперь бы следовало разобраться, что же у него с Верой, и в конце концов решиться повернуть в ту или другую сторону. Он желал ясности с Верой, но неким образом — хоть и глупо и малодушно было прятаться за такие отговорки — возможное решение Никольского оказывалось связанным и с Финкельмайером тоже. Еще тогда же, сидя с Ароном в парке, Никольский подумал, что он мог бы переселиться к Вере, — положим, решив жениться на ней, или не жениться, но предприняв попытку, серьезную попытку жить с нею вместе, так, чтобы не покидать Прибежище когда заблагорассудится. Подумав об этом, Никольский, разумеется, ничего Арону не сказал: каждому из них самостоятельно следовало разобраться, и решиться, и найти ясность, и обрести не счастье — так покой, а не покой — так волю. Едва ли был день, когда Никольский не возвращался к этой мысли. Ему казалось, что его и Веру связыва-

ют теперь иные чувства, чем раньше. Было что-то беспечное прежде, да — да, нет — нет, есть ли Вера сегодня — нет ли ее, и есть ли у нее сейчас он или нет — волновало обоих от встречи и до встречи, и могли пройти дни и даже недели, прежде чем у них снова появлялась необходимость быть вместе. Поскольку одна из причин таких отношений заключалась в том, что Вера и Никольский во всем имели каждый свое — свой дом, свою зарплату, своих друзей, свою судьбу в прошлом — свою жизнь и в мелочах и в серьезном — получался порочный круг: у обоих все было свое собственное, почему и не возникало стремление к устойчивому единству, а так как этого стремления не возникало, у них не появлялось общего, все оставалось своим, собственным — и так вот уже три года. Эта беспечная — и, по легкости, незаботливости и неответственности одного за другого, в некотором смысле безправственная жизнь — устраивала обоих, и Никольского больше, Веру, возможно, меньше. Но оба они подошли теперь к рубежу. Вера вдруг иначе стала раскрываться перед Никольским — с того самого мига, когда она безудержно рыдала на груди Леопольда. Сознание, что этой любви, какой уж она для них ни была, наступает конец, овладело тогда, судя по всему, не только Никольским: Вера все прошедшее время оставалась с ним неизменно равна, оба, как сговорившись, ни разу не попытались подстроить случай остаться наедине, напротив, они, по-видимому, избегали такой случайности. В другое время Никольский, по своей инициативе заведя такую игру в прятки, был бы очень раздосадован, увидев, что женщина отвечает ему тем же, и это его ой бы как раззадорило! Но тут игры не было — ни с его стороны, ни с ее. Вера менялась — и Никольский инстинктивно отошел в сторону, растерявшись ли перед тем новым, что в ней появлялось? чтобы не мешать? Так осторожные родители, когда видят в подростке быстрые перемены, стараются не докучать ему, удивляясь и выжидая, — чем же станет обновляющаяся натура?

А Вера — не подросток, не юная девушка, а женщина, шагнувшая за раннюю молодость, — менялась заметно. Уж не то ли желание принадлежать и быть нужной, отсутствие которого нравилось ей самой, импонировало окружающим и было едва ли не самым симпатичным свойством ее легкого, уживчивого характера, — не это ли желание появлялось в ней и подчинило ее себе? И манера держаться, видел Никольский, помягче стала; говорила теперь Вера иначе — медленнее, что ли? тише и не так резковато? — вот и движения теряли вдруг поспешную размашистость; могла она теперь и вдуматься внимательно в то, что раньше вызвало бы лишь быстрый кивок и мгновенную ответную тираду...

Откуда это в ней — оставалось только гадать; а чем было вызвано и куда направлялось, — задумываться не приходилось: круг всего — и Вериних желаний, и неожиданной мягкости ее, и внимательности к чужому слову, круг всех ее помыслов и забот сейчас замыкался, конечно же, на Леопольде.

Странное дело: Никольский не досадовал. Больше того, наблюдая, сколь бережно и тактично ухаживает Вера за Леопольдом, Никольский чувствовал к ней нечто похожее на уважение, — если вообще он был способен уважать женщину, и в частности ту, которая отдавала ему свою любовь. И вот Вера, *эта-то* иная Вера все заметнее отдаляла Никольского от ясности всего того, что несколькими месяцами раньше начинало проясняться и потому шло к завершению: он не знал, каковыми теперь могут стать, каковыми, точнее, должны бы стать его отношения с Верой. То думал он, что связаны они уже четвертый год, и грубо, откровенно говоря перед собой, он не может сказать, что пресыщен ею, ее красивым телом — античным, как он знал теперь, как, смеясь, про себя повторял. То считал, что если пошло уж у них на убыль, — остановить нельзя, разбитое хоть склеишь, а трещины останутся, и это он просто сейчас, когда прозябает без женской

любви, поневоле, по привычке переносит на Веру свое обыкновенное желание обладать женщиной — женщиной вообще; а то рассуждал таким образом, что разумным было бы переехать к Вере в Прибежище и предоставить все естественному ходу, куда бы это ни привело, — к разрыву или к чему-то прочному.

Тут, на перекрестке рассуждения, и возникала длинная фигура Финкельмайера. Она брезжила в воображении, становилась отчетливее и расплывалась, Арон кривил большие губы и безнадежно махал рукой, как бы показывая Никольскому, что выхода все равно не будет. Никольский же спорил с этой несуразной тенью, ему верилось — ему хотелось, нужно было верить, что все разрешится наилучшим образом, — только пусть бы Арон сделал первый шаг, пусть *он* переменит свою жизнь — мечтает же он, черт возьми, об этом, — пусть въедет ко мне в квартиру, пусть живет там и сочиняет или бездельничает, записывает или рвет, — делает, что хочет, а мне тогда остается к Вере, и с ней, только с ней каждый день и каждую ночь, и ни о чем больше нечего думать, а они пусть сами по себе, и если он не будет с Фридой, то, может, *приедет к нему*, и пусть в моей комнате живут, сколько захотят, меня не касается, — знать ничего не знаю, и выкинь, напрочь выкинь из головы подлые вожеления, — как там они обернулись сладеньким словом "надежда"? — сволочь, вот ты кто, если мозги себе пудришь!.. Ладно, появится Арон, прямо спрошу, поедет ко мне или нет.

К концу месяца "зеленый" тревожить перестал. Гнали, наверное, план как Бог на душу положит, да и поздно было что-либо менять в последние несколько дней. Никольский вздохнул посвободнее. На всякий случай, если его помощь вдруг все-таки понадобится, он досиживал оставшееся до отпуска время на рабочем месте в своем кабинетике и ничем особенно не занимался. Поэтому, когда однажды еще в первой половине дня позвонила Вера и взволнованным голосом

спросила, как скоро он смог бы приехать к Леопольду Михайловичу, Никольский только поинтересовался, обедать ли ему по дороге или Вера его покормит? "Как хорошо, конечно, пообедаешь здесь, приезжай поскорее", — ответила Вера, и он отправился на Кропоткинскую.

Вера и Леопольд были чем-то расстроены. Они уже ждали с обедом, и, едва приступили к еде, Леопольд обратился к Никольскому.

— Скажите, Леонид, у вас сегодня есть какие-то дела?

— Нет, Леопольд Михайлович, я свободен.

— Ну, будем считать, что мне повезло. Боюсь, я могу рассчитывать только на вашу помощь. А то, знаете ли, не к кому обратиться, летом город катастрофически пустеет. И не каждого хотелось бы просить, вы сами поймете, почему. Я подумал, хорошо было бы пригласить еще и Арона, — но он тоже на даче. Анатолий сдает экзамены, нежелательно отрывать его от занятий. Словом, свет сошелся на вас, — Леопольд засмеялся. — Вера сказала, что в любом случае я никого бы лучше вас не нашел.

— Спасибо на добром слове, — полушутливо кивнул Никольский в сторону Веры.

— Суть моей просьбы я мог бы изложить в двух словах, — продолжал Леопольд. — Но мне следует рассказать кое-что предварительно. Я хочу, чтобы вы хорошо представляли, чем вызвано это дело. Вы, конечно, знаете о последних, так сказать, воспитательных мерах в отношении нашего искусства?

— Еще бы, можно ли о них не знать? — оживился Никольский. — По милости дорогого Никиты, мы теперь и в искусстве поднаторели, не меньше разбираемся, чем в кукурузе. Нам что додекафония, что молочно-восковая спелость, один, — он запнулся... — один хрен. — И скороговоркой забубнил по-газетному: — ...Творческая интеллигенция, рабочие и колхозники не позволят уступить в идеологической борьбе про-

тив буржуазных влияний растленного Запада, все мы с громадным удовлетворением восприняли принципиальные положения товарища Хрущева, проникнутые заботой о дальнейшем подъеме нашего искусства!.. Так?

— Абсолютно верное изложение официальных статей, — вполне серьезно подтвердил Леопольд. — Однако сам Хрущев, когда смотрел на работы девятнадцати, пользовался выражениями совсем иными, его ругань доходила до матерщины. Но это кстати. А главное, что я хочу сказать, заключается в следующем. У меня хранятся работы некоторых из тех, кто вызвал такое сильное раздражение нашего нынешнего руководителя. Между прочим, есть у меня также Фальк и Штеренберг, которым тоже сегодня очень не повезло. А говоря откровенно, должен открыть вам: у меня собрано весьма большое число — не десяток даже и не сотня — картин авангарда — назовем так на данный случай все это разнородное творчество, не согласованное с признанным официальной идеологией. Как вы понимаете, есть слишком много причин, по которым о моем хранилище знают лишь немногие. Знают, однако, и некоторые из тех, кого подвергли сейчас остракизму. А в подобной ситуации, как поведет себя тот или иной человек, трудно предсказать. На моих глазах случалось всякое, и по нынешним временам у меня тоже довольно оснований беспокоиться о судьбе картин. Еще и потому, добавлю, что художники иногда приглашали — разумеется, с моего согласия — иностранных граждан, чтобы показать и постараться продать свои работы. Нужно пояснить, что я ведь не столько владелец, сколько хранитель весьма большей части собрания. Многие картины молодых авторов мне были просто-напросто отданы, так как моя плата по нынешним моим возможностям часто бывала лишь символической. Поэтому я ставил такое условие приобретения: если художник найдет выгодного покупателя, я работу возвращаю.

Н-ну-с, повторяю, у меня с некоторых пор появилось много причин серьезно обеспокоиться, и я не однажды за последние месяцы думал, что же следует предпринять. И вот, по видимому, пришел день, когда нужно на что-то решиться.

Картины хранятся в загородном доме. Хозяин дома — художник, молодой человек, весьма талантливый. Он один из тех, чье имя сейчас без конца склоняется в различных инстанциях, — как это говорят, — ”он попал в обойму” — именно! Я вам его назову — Коля Бегичев, у него очень милая жена Варенька. Час тому назад Варенька была здесь. Ее Коля уехал куда-то в ярославскую деревню — чтобы работать на природе, рыбачить и пить самогон со своими местными приятелями. Так что Варенька в доме одна. На днях к ней зашла соседка и рассказала, что ими, Бегичевыми, интересовались какие-то люди. Соседей спрашивали, где сейчас Коля, работает ли его жена, бывают ли у них в доме пьянки, а особо разузнавали, кто к ним приезжает из города. Соседка эта — женщина простая, однако поняла, что выспрашивали больше всего, часто ли появляются иностранцы. Например, выясняли, на каких машинах приезжают гости, по-нашему ли одеты. То, что за иностранцами следят, конечно, не новость. Варя сначала не придавала этому большого значения, тем более, что за последние два-три месяца дом никто не посещал. Но не далее как сегодня утром рано пришли к ней два человека, будто бы из исполкома райсовета. Один из них назвался техником отдела главного архитектора и сказал, что им необходимо осмотреть дом. Варенька сначала не догадалась связать это посещение с тем, что узнала от соседки. Но архитекторы лишь мельком скользнули взглядом по стенам и сразу же изъявили желание подняться наверх. Варю это насторожило, она спросила, для чего, собственно, нужен этот осмотр. Тот, кто назвался техником, стал объяснять что-то насчет дороги, которую собираются проводить через поселок, о сумме компенсации за снесение

дома. На самом же деле, говорила Варя, не дорогу у них хотят проводить, а газ. Словом, эти двое выполняли свое дело очень грубо, и Варя ответила, что верх у нее заперт. Те настойчиво потребовали открыть. Варя отказалась, и произошла, по-видимому, довольно безобразная сцена, так как Варя встала у лестницы, ведущей наверх, а двое мужчин пытались ее оттолкнуть. Варенька сообразила спросить у них удостоверение, — действительно ли они из райисполкома, в ответ посыпались оскорбления и угрозы, но потом тот, кто никак не назвал себя, махнул рукой и явно иронически сказал архитектору: "Ладно, оставим пока. Пошли, выпишем удостоверение. За час обернемся?" Архитектор с сомнением ответил, что понадобится часа полтора. Из этих переговоров Варя заключила, что по крайней мере один из них понятия не имел, где находится райисполком. Они намеревались вернуться через полтора часа, но Варя уже знала, что нужно делать. Она сказала, что ключ от верхних комнат муж оставил своему приятелю, который живет в Москве, так что ей за ним нужно ехать в город. Посетители увидели, что она водит их за нос. Они обещали прийти сегодня еще раз к вечеру или, самое позднее, завтра утром и сказали, что ей недобровать, если вздумает их обмануть, пригрозили взломать замок. Только они сели в машину, Варенька побежала на станцию. Приехала она сюда буквально в паническом состоянии. Мы попытались ее успокоить как могли, и она поспешила обратно. Таково, Леонид, положение. Вы, возможно, догадываетесь, зачем я вас пригласил: надо бы скорейшим образом перевезти картины от Бегичевых.

Все немного помолчали. Никольский ложечкой быстро доковыривал фрукты из компота. Он жалел уже, что напросился на обед — мог бы обойтись лоточными пирожками, — он сетовал на Леопольда, который по-интеллигентски подробно говорил, он соображал уже, рассчитывал, решал, принимал и отбрасывал варианты, и в мозгу его все ярче разгоралось огненное табло: *Дело!*

— Это далеко? — спросил Никольский.

— Станция Нахабино.

— А куда перевозить? — Никольский взглянул на Веру.

— Да, — кивнула она. — Конечно, куда же еще?

— Отлично! Нахабино — это по Волоколамскому шоссе! До "Сокола" рукой подать, идеальный случай! — Никольский все больше оживлялся. — А картины? Формат большой? В багажнике "Волги", на задние места — устроить сможем?

— Большая часть, вероятно, пройдет. Но есть работы крупные, — с сомнением ответил Леопольд.

— Понятно, а на крыше? — знаете, багажная площадочка крепится на крыше? — считайте метра два на полтора — этого хватит?

— Пожалуй, да. Две-три работы есть совсем большие, но это не беда, главное, чтобы вывезти сразу основную часть.

— Дорога хорошая? До самого дома? Можно прямо к дверям подогнать?

— Да, там открываются ворота, и можно въехать во двор.

— Вот вам, Леопольд Михайлович, записная книжка, вот ручка, запишите, как ехать, и совсем было бы хорошо — планчик.

— Постараюсь.

Взятый темп давался Леопольду, похоже, с трудом, но Вера сияла и смотрела на Никольского если не с любовью, то с той гордостью, с какой женщина может смотреть на мужа или на взрослого сына.

— А сколько поездок? Не одна и не две, как я понимаю? Четыре-пять? Больше?

— Боюсь сказать... Возможно, что так. — Бедный Леопольд беспомощно улыбался и чертил что-то в книжечке.

— Собственно, плевать, эти две сволочи вряд ли сегодня припрутся, а придут...

— Леня, только я тебя прошу! — вскинулась Вера.

— А что? Поговорить с архитектором! Всю жизнь мечтал!

Он уже крутил телефонный диск и плечом прижимал к уху трубку.

— Четвертый? Диспетчерская? Водитель Канахин на линии? А когда? Так вы взгляните. Это из управления, письмо тут есть... Жду... В девять отработал? Понятно, что через сутки.

Он нажал на рычажок, снова набрал номер. На вызов не отвечали.

— Дрыхнет, — объяснил Никольский. — Но ничего, я все-таки его подниму, не подействует звонок, поеду и стану барабанить в дверь.

Он еще и еще раз накручивал диск, в тишине комнаты слышны были гнусавые звуки телефонных гудков. Внезапно в трубке затрещало, будто в нее ударило молнией, Никольский затряс головой, и из наушника длинным змеем поползло отчетливое ругательство: "Ка-ка-я-б-бля-а-?!?!"

— Витек, Витек, погоди! — радостно закричал Никольский. — Старик, это я, это Никольский говорит, Виктор, погоди, ты не матерись, послушай, дело есть! Проснулся? Ну привет! привет! Витек, ты извини, я знаю, ты в ночь работал, но сам же понимаешь, не стал бы тебя трогать, если бы не... А? По делу? Ну, вот и хорошо! Значит, будем говорить по делу: несколько ездов от Сокола до Нахабина. Там вещи. Нужна на крышу платформочка. Работы до темноты, а может, и до самой ночи. Тут, понимаешь, надо, чтобы свой человек был, я тебе объясню. Но, Виктор, слушай: я буду расплачиваться, это тебе не во Внуково... Так как, поедешь? Вот и спасибо! Нет, сейчас не на Сокол, заезжай на Кропоткинскую. Как свернешь от кольца, проедешь три квартала, потом левый поворот... запоминаешь?..

Через двадцать минут усаживались в кабину: спереди Никольский, на заднем сиденье Вера и Леопольд. Шофер повернулся к Никольскому — красная в сплошных веснушках физиономия, потрескавшиеся сухие губы, какие неред-

ко бывают у рыжих, расплылись в приветственной улыбке, и Никольский в ответ с удовольствием подмигнул и пожал протянутую ладонь.

У них было запанибрата. Легкость и свобода дружеских отношений — у мужчин, по крайней мере, — зависит, верно, от того, сколь большой жизненный груз притащил с собой каждый к тому перекрестку, где встретились двое будущих друзей. Если у каждого за спиной накопилось слишком уж многое, то, кажется, и разогнуться трудно, чтобы прямо взглянуть в глаза встречному, и довериться, и отпустить — открыть душу, а во время дружеских излияний как будто сбросить гнет накопившегося. Такое и случается редко (Никольский подумал о Финкельмайере), да и складывается непросто. И напротив того — всего только шапочное знакомство, начавшееся в молодые, безалаберные годы, и через десять, через двадцать лет может тебя утешить безнасильностью и простотой общения, как бы по-разному ни были прожиты обоими ушедшие десятилетия. Потому-то помнишь с лаской приятелей своих из школы, потому и друзья студенчества тебе сентиментально дороги, и вот такой Виктор Канахин — он тоже останется навсегда своим в доску, потому что в те времена, когда познакомились они в той самой лаборатории — мир ее памяти, — где паяли думающих черепах и философствующих мышей, — в те времена и работы, и женщин, и спирта — всего было вдоволь, и все было общим, как и заработанные деньги, — единственное, впрочем, чего им вечно не хватало, — все это воспринималось без разных там сложностей, терзаний или комплексов. Тогда и слова-то такого — "комплекс" — не было... Теперь-то, может, у Витьки этот комплекс и есть — ведь таксист, обслуга, — и он на пассажирах своих, наверно, отыгрывается, но между ними — друзьями ранней молодости — не стояло ничего, и все оставалось так, как было прежде.

У "Сокола" минут пять стояли. В спешке, оказывается,

не обо всем договорились. Никольский не хотел, чтобы Леопольд ехал в Нахабино, Вера тоже склонялась к тому, что Леопольду лучше остаться в Прибежище, и она нерасчетливо сказала то, о чем думал, но умалчивал Никольский: незачем, сказала Вера, чтобы Леопольда видели *те двое*. Леопольд внезапно стал резок: у него, разумеется, было нечто, называвшееся когда-то, в доисторические времена, словом "честь". Посылать людей в рискованное предприятие, а самому остаться в стороне, — этого он не мог допустить!

— С вами не поеду! — наконец отрезал Никольский и с холодностью взглянул в глаза Леопольду.

— Варенька вас не пустит, — продолжал сопротивляться Леопольд.

— Пишите Вареньке записку, Леопольд Михайлович. Пишите, а то время дорого.

Леопольд усмехнулся и помолчал немного.

— Н-ну-сс... Ваша взяла. Одно скажу: энергический вы человек.

— Это уж будь спок! — неожиданно произнес Виктор не то с издевкой, не то с гордостью.

Леопольд набросал на листочке несколько слов, затем он и Вера вышли, пожелали удачи, и Виктор газанул по Волоколамскому.

XXV

— Ну, рыжий, — начал Никольский. — Сколько не виделись? С той осени, почти год. Как оно твое ничего — счастье трудных дорог?

— А херово. Один мотаюсь, как два яйца. Главное, пить нельзя равномерно.

— То есть?

— Тем, говорю, плохо, что пить нельзя, когда охота. Когда ты механик там или токарь, принимай хоть три раза в день. А тут, понимаешь, сутки можно, сутки нельзя. А надо пить равномерно. Вот я за двое-то суток впервые только дернул стакан, а какая-то сволочь звонит! Дело, говорит, есть.

Никольский покосился. Виктор спокойно смотрел в ветровое стекло, но толстый рот его выдал. Никольский засмеялся облегченно, Виктор был доволен произведенным эффектом.

— Сам ты сволочь, — отбрехнулся Никольский. — Ты там не с бабой улегся?

— Какое! — Виктор, оторвав от руля руку, сложил фигу. — Вот щас бабу приведешь! С братом живу в одной комнате.

— С братом?

— Ну. Сидел два года, в феврале вернулся. Хочет в институт поступать снова.

— Ты никогда не говорил. Женька? — сопливый был еще пацан, да? И за что посадили?

— Связался с ментом. Какой-то азиатский Сунь-Хуй приехал, что ли. На Ленинский, как всегда, народу нагнали и перекрыли. А Женька полез под канат, думал, успеет перебежать. Перебежал, ну а на той стороне уже старшина его цапнул, стал от бровки отпихивать. Женька: "не трожь, блядь, без рук!" — а тот, сука, — "что, сопротивляться?!" — прижал к витрине. Женька вывернуться хотел, да локтем в витрину жмяк! — и надо ж, падла, — куском проехало старшине по морде — так, царапина, раскровянило. Звону больше было. И тут как рухнуло стекло-то, они и проезжали — Никита с желтомазым. Ну, наскочили — и в раковую шейку. Два года отштопал. Еще ничего, пахло на пятерню.

Никольский выругался, — длинно и ожесточенно посылал "их всех"...

— У тебя как? — спросил Виктор.

— Все так же. И тоже, вот, без бабы сейчас.

— Н-ну-у!.. Уж с тобой такое?..

— Такое... Видел, с нами ехала?

— А что?

— Три года с ней, больше. А теперь у нас с ней что-то выключилось.

— Может, ка-ээ? Пробку новую вставил, и порядок? Х-ха! Или совсем перегорело? Три года! Не зря с ней жил, складенькая. Я так считаю: если сложена хорошо, чистенькая и не стерва — так это очень полезно мужику подольше с такой пожить, меньше потом на других будешь бросаться. Как считаешь?

У Никольского засвербило: не о других с вождением подумал он, а о *другой* — представился ему тот образ — и ладный, и чистый, и добрый. Глотнулось судорожно воздуха, и отпала охота продолжать на обычную тему.

— Слушай, Виктор, так зачем мы едем, давай расскажу, что надо делать.

Виктор слушал, мотая головой и время от времени матерясь. Узнав, что речь идет о тех самых художниках, кого обложило начальство, и что в дом наведывались стукачи, он воодушевился и пообещал:

— Все, Леня, как штык будет! Вывезем за сегодня, будь спок!..

Подъехали к дому Бегичевых, прошли к крыльцу, постучали. Женские шажки метнулись к дверям, пугливый голосок спросил: "Кто это!"

— Варенька, откройте, это от Леопольда Михайловича, — сказал Никольский.

"Слава Богу!" — послышалось из-за дверей, с тяжелым лязгом упала металлическая перекладина, стукнул отодвинутый засов, провернулся ключ, мужчин впустили.

Варенька и вправду была очень милой. Деревенский пла-

ток из серой шерсти, покрывавший ее голову, плечи и грудь, выглядел на ней кокетливо и в то же время скромно, да и во всем ее облике таилась тихая завлекательность, отчего у рыжего Виктора губы стали тянуться в глупую улыбку. Но смотрела Варенька настороженно и первым делом спросила, почему с ними нет и самого Леопольда Михайловича.

— Варенька, мы с Верой — вы ведь видели у него Веру, да? — это моя жена, — так вот, мы его не пустили, чтоб не попадался никому на глаза, понимаете? Он дал для вас записочку, держите.

Варенька прочитала записку и с сомнением покачала головой:

— Конечно, вы от Леопольда Михайловича, я верю. Вас как зовут?

— Леонид. Леонид Павлович. И Виктор, мой друг.

— Будем знакомы, очень приятно. — Виктор с такой невозможной галантностью протянул пятерню, что Никольский едва не свистнул от удивления и тоже поспешил пожать Варину легкую ладонь.

— Ну да, про вас они мне и говорили, — продолжала Варенька, обращаясь по-прежнему к одному Никольскому. — Но я так не могу. Как же я не буду знать, куда вы повезете картины? — Она говорила спокойно и с твердостью.

— Вот черт! — беззлобно выругался Никольский и засмеялся. — Вы крепенький орешек! Тогда так: грузим поскорее, и, по крайней мере, первым рейсом съездите вместе с нами — туда и обратно. Согласны?

— На это согласна, — с тем же спокойствием ответила она и, наконец-то, улыбнулась впервые.

Пошли открывать ворота. Виктор ввел машину во двор и хотел поставить ее у крыльца, но Варенька знаками стала показывать, чтобы он продвигался дальше, дальше и завернул за дом, где был, оказывается, задний выход, и, значит,

Варенька еще раньше сообразила, что грузить лучше там, чтобы с улицы ничего не было видно.

— Варенька, да вы прелесть какая умница! — радовался Никольский. Виктор пунцово цвел от переполнявшего его восторга.

Но Варя еще не раз удивила мужчин своей практической предусмотрительностью. Когда Никольский стал вслух раздумывать, как лучше приспособиться, чтобы картины в дороге не испортились, Варенька указала на аккуратную стопку холстин, полотняных кусков и мешковины:

— Переложим материей, тогда подрамники не будут царапать. И веревка есть.

Все трое поднялись наверх, в большое подкрышное помещение, которое было, собственно, чердаком, так как не имело потолка, и стропила и балки оставались открытыми. Зато было много здесь и простора и воздуха, а мансардные, смотревшие на три стороны широкие окна давали много хорошего света, спокойного даже при ярком солнце. Почти посередине, ближе к одному из окон стояли два мольберта, фанерный кухонный столик, весь заляпанный пятнами краски, на столе валялись кисти, палитра и полуразвалившийся этюдник с множеством перемятых, выжатых свинцовых тюбиков. А по стенам и на вертикальных столбах, поддерживающих стропила, подвешенные выше и ниже, стоящие на полу и прислоненные где попало то лицом, то оборотом, — всюду были картины. В той стороне, где отсутствовало окно, шел во всю стену сделанный стеллаж, и в нем — тоже находились вдвинутые ребром картины.

— Весело, — упавшим голосом промямлил Никольский. У него в глазах рябило от ярких прямоугольников. Картин, пожалуй, было далеко за сотню. — Сколько поездок, Витюш, как по-твоему?

— Сколько ни есть, все наши. — Виктор, в противоположность Леониду, был настроен беспечно.

— С чего начнем? С тех, дальних? — спросил Никольский у Вареньки и кивнул на стеллаж.

— Нет, нужно с разбором, я вам буду показывать. Сначала возьмем Фалька, Древина, Шгеренберга. Много народу знает, что они тут хранятся. Их могут просто отнять и все. И возьмем еще Колиных несколько работ — мужа моего, Грубермана и Дарьюшкины.

— Понятно, — сказал Никольский. — О муже мы позаботимся в первую очередь.

— Да нет же, — возразила Варенька. — Просто у Коли и у Грубермана есть очень дикие работы. Их в порнографии обвиняют. А Дарьюшку не знаете?

— Нет.

— Вы не художники, — вопросительно, однако с большой долей уверенности сказала Варенька.

— Не художники. А что, заметно?

— Конечно, заметно, — ответила Варенька как ни в чем не бывало, и кажется, не снисходительность, а напротив, одобрение послышалось в ее голосе. — Дарьюшка больная, понимаете? — и Варя дотронулась до головы. — Она пишет свои сны, бред, виденья — в общем, все это тоже нельзя, чтобы те увидали. А если не успеем все увезти, — и ладно: не ко всему же придерутся. Давайте, берем сейчас это... это... вот ту...

Варенька стала отбирать картины, Виктор бросился ей на помощь, Никольский сходил вниз за холстинами, и не прошло получаса, как багажник, кабина и площадка на крыше кузова были загружены картинами самого различного формата — от небольших, этюдных размеров, до крупных станковых полотен.

Солнце светило вовсю. Все трое, взмокшие от беготни вверх и вниз по лестнице, долго не могли охладиться. В кабине тоже стояла раскаленная духота. Только когда выехали на шоссе и можно было прибавить скорости, стало скво-

зять, и они облегченно вздохнули. Варенька сидела рядом с Виктором, Никольский поглядывал вперед в переднее зеркальце и видел, что с рыжей морды Виктора не сходит блаженная улыбка. Время от времени и Виктор смотрел в зеркальце, и тогда оба приятеля подмигивали друг другу, словно участники заговора, в который они вступили давным-давно и вот теперь-то добились своей тайной цели.

У Прибежища их уже ждали Вера и Леопольд. Немедленно принялись освобождать машину. Варенька стала перечислять Леопольду, какие работы они привезли, волновалась, спрашивала: "Правильно, да? Еще взяли серый натюрморт, еще ту, с глазами на ветках, — правильно, да? — взяли седьмую композицию — хорошо, правда?" — взглядывала на машину, беспокоясь, не слишком ли там рьяно расправляются с картинами, один раз даже строго прикрикнула на Виктора: "Осторожно!" — и снова продолжала перечислять названия, сюжеты, имена художников. Леопольд положил на ее плечо руку, нежно Вареньку погладил, чуть успокоил. Всех бы следовало успокоить, все были возбуждены, один только он, Леопольд, среди этой общей нервозности пребывал не то чтобы в безучастии, — нет, и он переживал, но переживал происходящее с грустью, с раздумьем или воспоминанием о чем-то ему одному из всех ведомом, и потому казалось, что сейчас он в каком-то, где-то, — когда-то бывшем уже и в еще не пришедшем, — и странновато он улыбался, как улыбался тогда, говоря о скульптуре, которой две тысячи лет и которая вот она, здесь и которая где-то, когда-то, уже в отлетевшем, и, наверное, эти картины — тоже они для него отлетевшее, но вот они, здесь и воочию, и вот он перед ними — верный страж усыпальниц людских озарений, страстей и мечтаний, застывших навечно в тоненькой пленочке красок, высохших на холстах.

Поехали обратно. Был один из дней вскоре после июньского солнцестояния, безоблачное небо долго не темнело, и,

пока не спустились вечерние сумерки, еще обернулись дважды. Работа спорилась по-конвейерному: Варенька оставалась дома и, когда машина уходила в очередную езду, носила картины вниз, оборачивала их тканью и связывала. И в Прибежище с помощью Леопольда, Веры и появившегося кстати Толика разгружали в два счета.

Нагрузили уже по четвертому разу, и, прежде чем отъехать, Варенька позвала мужчин в кухню — наскоро перекусить. Никольский будто почувствовал что-то и, когда проглотили они по куску колбасы с черным хлебом, стал напарника своего торопить. Виктор же вдруг расслабился, он, похоже, готов был и час просидеть, поглядывая на Вареньку и ворочая челюстями.

— Давай, Витек, давай, — заговорил Никольский, — знаю, что без обеда сегодня, но нам бы еще разочка два успеть, а там закатимся в ресторанчик, закажешь все меню подряд, я плачу. А сейчас пойдем, пора.

Зачерпнули воды из ведра, напились и вышли к машине. Около нее стояли двое, и один из них задирает край брезента, которым прикрыты были картины на верхней площадке.

— А ну отзынь! — крикнул Виктор и собрался дернуть со ступенек вниз.

— Тихо, тихо, ты что? — перехватил его за рукав Никольский. — Хочешь им сказать два слова, говори интеллигентно. Я сейчас!

Он шагнул назад, за порог, и быстро сказал обернувшейся к нему Варе:

— Варенька, эти два типа здесь. Все запирайте скорее и не пускайте их ни за что. Молчите, вас нет: тишина. Пока не уберутся. Вернемся обязательно. Понятно? Не бойтесь!

— Ой, Господи! Идите скорей. Ни пуха вам!

— К черту, к черту! — махнул ей Никольский и выбежал наружу. Она за ним уже заперала.

У машины ситуация была такой: тот же субчик — с наг-

лой, змееватой мордой и довольно плотный, держался все еще за угол брезента; за сгиб его локтя, мертво захватив в свою горсть пиджачный рукав, держался Виктор; а самого Виктора, подталкивая его то в плечо, то в бок, безуспешно пытался сдвинуть с места суетливый и опасливый малый, явно занимавшийся не своим делом. Происходил при этом обмен репликами, которые никак не были призваны выяснить обстановку, а лишь нагнетали напряжение, создавали, так сказать, соответствующий данному случаю моральный климат:

- Не трожь брезент.
- Оставь руку.
- Брезент, говорю, оставь.
- Освободи руку.
- Отойди-отойди, отойди!
- А что хватаешь?
- Оставь — поговорим.
- Отойди-отойди, хуже будет!
- Молчи, падла, не тронь! Отпусти брезент.
- Руку убери, я сказал!

Никольский вмешался:

— Отпусти, Витек. — Он втиснулся меж ними спиной к змееватому, навалился на Виктора и подышал в его рыжую щетину: "Осторожненько сядь и рвани за ворота".

Виктор нехотя ослабил пальцы, приговаривая базарно: "А чего он, бля? Чего, бля, трогает, чего?" Он уже переступал, разворачивался, незаметно перемещаясь к передней дверце, — как буксир, который боком, боком, на самом малом ходу отваливает от причальной стенки.

— Так в чем дело, граждане? — принялся вопрошать Никольский, обращая голову то к одному из пришельцев, то к другому и упираясь им обоим в грудь расставленными руками, как будто именно их он и должен разнимать. — В чем дело? Что происходит. Позвольте поинтересоваться?

— Представители! — выкрикнул суетливый и почему-то еще больше навалился на руку Никольского. — Видимо, и в самом деле хотел прорваться ближе к своему напарнику, чтобы чувствовать себя безопаснее.

— Представители? Представители! Знаем мы представителей! — лишь бы продолжать скандалить, угрожающе повторил Никольский.

— Из отдела архитектуры осматриваем строения с чердачного помещения увозите это не проведешь! — со злобой и заученной точностью заговорил мордастый. Брезент он не отпускал, но, главное, не видел он, что за его спиной Виктор как раз пригнулся, ныряя в открытую кабину, — дверцы которой, к счастью, оставили распахнутыми ради прохлады.

— А ваше дело — откуда увозим? — молот свое Никольский.

— Что увозите? Будем проверять! Пожарную безопасность — ясно? нарушаете, да? Что увозите? — выкладывался мордастый и хотел браться за брезент и другой рукой. Но тут в стартере засосало поспешным поцелуйным чмоканьем, фыркнуло порцией газа, — Виктор мощно брал с места, брезент натянулся и затрещал и готов был в мгновение ока слететь. Никольский с размаху ребром напряженной ладони ударил в волосатое запястье, пальцы мордастого сорвались, и он, тянувший брезент на себя, отлетел, не удержавшись, назад — отлетел удачно, в уголок между бревенчатой стеной и крылечком, и Никольский кинулся замкнуть собой этот угол.

— Задержи! — прокричал мордастый, и второй побежал за машиной.

— Ты что? — твердые глаза сузились, впиваясь в Никольского. — Тебе шуточки? С представителем власти?

— А я откуда знаю? — равнодушно сказал Никольский. Он не двигался с места. — Мало ли шастают.

— Идем! У него удостоверение!

Никольский пожал плечами, повернулся и пошел, ускоряя шаги, так, чтобы тот, сзади, не смог обогнать.

Виктор успел меж тем растворить пошире ворота и, смахивая локтем суетливого, направлялся к машине.

— Дай удостоверение! — издал приказал шедший сзади, и его подчиненный лихорадочно полез в нагрудный карман куртки, но пока он поднимал франтоватые клапана одного кармана и другого, пока доставал и разворачивал писульку, Никольский занял надежную позицию у машины.

— Ну и что? Отдел архитектора!.. Селиверстов и Голованов, — читал Никольский. — В связи с планировкой дорожных работ. А при чем тут пожарная безопасность? — он небрежно вернул бумагу, рассчитанным движением открыл дверцу и, когда сел в машину, добавил: — Тоже! Представители власти! Заходите в кабинет в часы приема, в порядке очереди. Сейчас некогда.

Но Виктору, едва он тронул машину, пришлось тормознуть: перед самым капотом ее обегал мордастый.

— С-су-у-ка-а!.. — прошипел Виктор.

Тот, задыхаясь, подлетел к приспущенному окну со стороны Виктора и просунул в кабину и голову и волосатую руку. Он держал перед лицом Виктора красную книжечку.

— Стоять! — торжествующе сказал он, уверенный в гипнотическом действии красной книжечки.

— Положить я на тебя хотел! — с ненавистью выговорил Виктор и стал сдвигать машину вперед. Налитое кровью лицо с трудом успело вылезти за окно.

— Стоять! — донеслось отчаянное.

Они уже гнали, подпрыгивая по гофрировке укатанного грунта с кустиками подорожника, одуванчиков и лопухов с обеих сторон и между колеями, по обычной улице обычного поселка, по улице — мостовой, и за холодной, ключевой шла девица за водой с коромыслом и ведрами и сверкала толстыми икрами из-под короткого ситцевого сарафана...

В Прибежище не задержались ни на минуту: сняли привезенное, рассказали в нескольких словах о встрече с "архитекторами" и сразу же направились обратно. Леопольд посоветовал с этими представителями, кем бы они ни были, особенно не связываться и, если будут настаивать, пустить их наверх: там, кроме работ хозяина дома — Коли Бегичева и нескольких, причем вполне безобидных картин его двух-трех друзей, ничего уже не осталось. "Ладно, посмотрим", — обещал Никольский. Вера была тревожна и тоже просила не лезть на рожон.

Когда уже в густых сумерках сворачивали с шоссе, Виктор вдруг сказал:

— Смотри-ка, стоит. Раньше не было.

Они проезжали мимо орудовца, который прохаживался около мотоколяски, но приостановился и внимательно всмотрелся в их машину. В зеркальце заднего обзора было видно, что он сошел на проезжую часть и, глядя им вслед, считывал, судя по всему, номерной знак.

Непонятно, подумал Никольский. Номер машины наверняка записали еще и те двое. Зачем им понадобился орудовец?

У Вареньки было темно. Ворота так и остались раскрытыми, во дворе никого не оказалось. Варенька увидела машину через окно, и засовы заскрежетали, едва Никольский с Виктором подошли к дверям. Оказалось, что незваные гости, постучав к ней и покричав с угрозами минут пять, ушли и больше не возвращались. Взялись было сносить к машине еще кое-что из картин, как внезапно Никольского осенило:

— Стоп! — скомандовал он и радостно хлопнул себя по бокам. — Назад картины! Больше ни одной не повезем. Варенька, есть у вас какие-нибудь стройматериалы? Штукетник, плитуса, рамы оконные? Есть?

— В сарае. Зачем вам?

— А ну-ка покажите. Где сарай?

Ни Варенька, ни Виктор не понимали, отчего это Никольский пришел в такой восторг, когда увидел небольшой штабель струганых досок, брусков, разных плотницких заготовок.

— Отлично! Грузим на машину! — распорядился он.

— Не пойму я тебя, ты это что? — недоумевал Виктор.

— И не поймешь! Учиться надо было, я когда еще тебе говорил: высшее образование развивает!

Виктор чертыхнулся и потащил доски.

Дом Варенька заперла снаружи: решено было, что она поживет в Москве — у Веры или у кого-нибудь из подруг, дождется возвращения мужа, а может быть, сама отправится к Коле в деревню.

Проехали поселок, стали сворачивать на асфальт, и свет фар медленно проскользнул по все той же стоящей на съезде мотоколяске, но луч не угас в темном пустом пространстве сзади нее, а высветил еще и милицейскую "Волгу" и двоих в белых кителях и фуражках.

— Варенька, — обернулся Никольский, — мы ваши покупатели, вы нам продали стройматериалы за двадцать пять рублей.

— Ну ты даешь! — стал восхищаться Виктор, который понял сейчас идею Никольского. Он хотел добавить что-то еще, но черно-белый жезл уже перекрывал путь, приказывая остановиться.

— Не выходите, — сказал Виктор, вылез неспеша и, хлопнув дверцей, вразвалочку пошел вперед. Остановивший их машину колясочник ему козырнул. Началась обычная церемония: доставание документов; передача из рук в руки и чтение одной бумаги за другой, рассматривание и перелистывание; закуривание сигареты, переговоры и жестикуляция — в данном случае без эмоций, неспешная, так как оба — и орудовец и шофер знали, что нарушения не было, но Виктор показывал на фары и описывал рукой дугу, из чего

следовало заключить, что придирка связана с переключением света, возможно, орудовец сказал, что шофер ослепил встречную машину. Однако все это было только прелюдией. Подошли — заинтересовались как бы от нечего делать беседой — двое в кителях. Документы перешли к ним. Потом, минуто спустя, все вместе двинулись к машине Виктора. Никольский решил, что теперь-то и ему пора выйти. Он тоже достал пачку сигарет, чиркнул спичкой. Подошедший первым пожилой майор приложил руку к козырьку. Никольский ответил бодро:

— Добрый вечер. Закурите?

— Благодарю. На службе, — сказал майор.

— Понятно.

Майор, казалось, не знал, с чего начать. Помолчав, он приступил к делу издалека:

— Так что, хозяин... С женой, значит, из-за города?

Никольский решил подыграть. Улыбнулся тонко и доверительно:

— Не с женой, положим... Со знакомой. А что, нельзя?

— Что вы, товарищ! — майор тоже улыбнулся, но сдержанно: — Это я так. Это нас не касается. — Помолчал. — Вещички везете.

— Везем. Как видите.

— Ну, и как вы ему за перевозку? Бумажками или за поллитра?

”Неужели всего только частных извозчиков ловят?” — промелькнуло у Никольского. Тогда это только случайность, не больше, и все его предосторожности оказались излишними.

— Кому? Виктору? — с деланным удивлением переспросил он майора.

— Да, шоферу. Владельцу машины, — сухо сказал тот.

— Товарищ майор, это вы, знаете... Это вы ошибаетесь, уж можете поверить! — широко улыбаясь и разводя руками,

как бы сожалел, что стал причиной ошибки, заговорил Никольский. — Мы с Виктором, знаете, сколько лет знакомы? Те самые отношения, которые в романах называются мужской дружбой, товарищ майор! Мы с ним в одной конторе работали, еще когда он в допризывниках ходил, так, Виктор?

— Да я же сказал, что своих везу, — мрачно пожал плечами Виктор.

— Нет, товарищ майор, тут ничего такого нет. И потом, откровенно если, товарищ майор, — он же таксист, так разве он не зарабатывает за смену, чтобы еще и личной подрабатывать? Разве не так?

— Верно, — кивнул майор. Он добрел на глазах и с этой самой добротой в глазах, в голосе, смешанной со скукой — ох, эти нелепые формальности, приходится их выполнять! — сказал: — Ну, давайте только под брезентик глянем и поезжайте на здоровье.

”Вот оно!” Никольский чуть не произнес это вслух, но когда резво начали открывать груз, он догадался еще покануть:

— Ну, товарищ майор, ну, купили, не со склада же, не с базы, чего смотреть-то?

— Сейчас, сейчас, — напряженно говорил майор. — Сейчас... Что везете... поглядим.

В темноте не сразу было разобрать, что же там наложено под брезентом, что так тщательно стянуто веревкой — деревянное, это понятно, но просто ли доски да бруски или же...

Они, милиция, были уверены, они знали, что везут картины, и потому, не увидев их, стали сдвигать штакетины, планки, приподнимать, даже перекладывать в надежде найти где-нибудь в глубине то, чего ждали, что должны были найти. Но все труды ни к чему не вели. Следя за тем, как на лице майора проступают недоумение и растерянность, Никольский говорил с вкрадчивой искренностью:

— ...я и попросил: пока мужа нет, отдай мне это все, как раз у меня кооператив новый — полочки, стеллажи, столики, сами знаете. Ну, она согласилась за двадцать пять, вот и возим. К ней как раз пожарники приходили, штрафовать хотели за нарушение. Мы вот тоже на них наткнулись, тоже, как вы, смотрели, что увозим.

Майор быстро спросил:

— Как говорите? Они смотрели?

— Ну, понимаете, пришли двое и сразу под брезент. Мы с Витей их и шуганули. Сами посудите, вы — милиция, вы — пожалуйте, проверяйте, это ваша работа, так ведь? А они — откуда мы их знаем? Суют какие-то бумажки, какие-то корочки, — один, мол, архитектор, другой — не знаю кто. Мы и поехали.

— Ой, Господи, — неожиданно подала голос Варенька, головка которой светилась из-за припущенного стекла. — И чего он эти доски натаскал, мой-то? На чердаке лежали — плохо; продала — тоже негоже! Пропади они пропадом!

— Езжайте! Извините, товарищи! — отчеканил майор. Он повернулся к своим и, настолько переполненный злостью, что не считал нужным отойти от машины хоть на несколько шагов, начал отводить душу:

— Работнички, черт бы их подрал! Где у них глаза были! Серьезное дело, серьезное дело!

Это он кого-то передразнил. Милицейские были уже на некотором отдалении, но Никольский смог услышать, что майор, продолжая пародировать чужую интонацию, закончил: "Ценности прячут! Валютчики! Иностранцы! — Помешались они на валютчиках..."

Слова эти Никольский запомнил.

Отпуская шуточки, хохоча то и дело, не заметили, как были уже в Москве. Шумно вошли в Прибежище и, перебивая друг друга, тут же принялись в лицах изображать разыгравшуюся на дороге сцену.

У Веры готов был роскошный стол, и при виде его стала меркнуть светлая мысль закатиться сейчас в ресторан, да и устали они изрядно, и надо было съездить переодеться... Но чем он будет, этот стол для Виктора, если у него машина, и, значит, пить нельзя, ну разве только самую малость, с осторожностью, что даже хуже, чем совсем ничего... Можете остаться ночевать, — предложила Вера, — все оставайтесь, место найдется, без комфорта, правда, но уж разместимся как-нибудь...

И сели за ужин весело, по-свойски, и сидели далеко за полночь при открытых настежь окнах. Ночная листва на деревьях у дома шумела — там ветер взлетал невысокой волной и спадал, и стихало, чтоб снова потом начинать нарастающий шелест, — наверно, менялась погода, и гроза подступала к Москве. От этой ли близкой грозы, от неиссякавшего ли возбуждения спать никому не хотелось. Когда же улеглись — Вера и Варенька вдвоем на широком ложе за альковым, Никольский с Виктором в противоположном конце комнаты на составленных рядом кушетках с придвинутыми к ним стульями, а Леопольд на антресольном диване и там же на раскладушке Толик, — все долго ворочались и шептались, покашливали и вздыхали в разных углах.

Вздыхал, конечно, Виктор. "Поменяться бы, а, Лен? — мечтательно шептал он. — Тебе туда, к своей, а на твое место Вареньку..." — "Уж если так, то вам обоим туда, уж больно та постель хороша", — отвечал Никольский. Виктор даже застонал. Женщины утихли первыми, и, как ни странно, заснул вслед за ними и Виктор. Вскоре начало посверкивать, попыхивать бело-голубым: некие сварщики в небесах заступили в ночную смену и варили теперь электричеством тут и там железные швы, и ходили по гулким листам, и гул приближался с разных сторон. Ветер усиливался.

Никольский встал, чтобы закрыть окна. На антресолях тоже зашевелились — закрывали верхние полукруглые

створки; затем проскрипели негромко ступени, это Леопольд пришел на подмогу Никольскому, и вместе они обошли весь дом, оглядывая, всюду ли на месте шпингалеты и не раскроются ли от ветра форточки.

На кухне к ним присоединился Толик. Всем захотелось попить воды; потом захотелось по сигарете; потом заговорили о привезенных картинах, и Леопольд назвал какое-то имя, не знакомое ни Толику, ни, тем более, Никольскому. "А пойдемте наверх потихоньку, посмотрим", — предложил Леопольд. У него появился в глазах блеск, будто у мальчишки, придумавшего отчаянную шалость.

Они зажгли на антресолях две настольные лампы, прикрыли их так, чтобы свет не шел в потолок и в сторону перил. И Леопольд почти бесшумно стал вносить в освещенный круг одну за другой картины...

И лил дождь за стенами Прибежища, и гроыхало долго еще, и вспыхивало; в который раз говорил Леопольд полупшепотом "если вы еще не заснули..." — и ему отвечали негромко "нет, нет, смотрим, смотрим!" — и он кивал: "теперь покажу еще вот эту работу... и эту... и эту..." — а потом, когда уже стало светать, проснулась Вера и принесла на антресоли крепчайшего черного кофе и принялась разливать по чашкам, сонно бормоча свое излюбленное: "Все вы, мужчины, такие..."

XXVI

Здравствуй, Адмирал!

Помнишь, когда твоя поездка чуть не сорвалась, ты упомянул, что у тебя должность адмирала? Может быть, ты разжалован за плохой характер? Но я думаю, что нет. Тебе, по моему, очень идет командовать отчаянными, грубоватыми

молодцами. Мечтал ты в детстве стать пиратом? Я сейчас представила тебя в полосатой тельняшке с трубкой в зубах высоко на капитанском мостике. Да, капитан. Слушаю, капитан. Подтянуть кабельтов! Есть, капитан.

Получишь ли ты мое письмо? Я совсем не знаю, где твой Инзер, где ты. Очень важно мысленно представлять человека, которому пишешь, представлять, в какой он обстановке. Не знаю даже, правильно ли я записала название почтового отделения – Охлебино, Охлябино, Охлебинино... Какие-то "хляби". И если у вас на самом деле хляби и все в дожде, то я тебе очень сочувствую. Нет, так можно и сглазить! Лучше вообразю тебя посреди сияющего "Охлебинина моря-окияна". Как по синю морю-окияну из-за гор из-за высоких Уральских выплывает да на застругах на быстрых Леонид, свет-батюшка Павлович со дружиною. А по праву рученьку его молода княжка – красна девица, из себя бледна, а стройна-тонка да не весела.

Ну ладно, дурачиться хватит. Прошло больше двух недель с твоего отъезда. Все время тут что-то происходит. Я чувствую, что неудержимо несет меня по жизни. Она, то есть жизнь, бежит теперь по руслу, и это, может быть, и есть мое нынешнее состояние, то есть чувствовать себя в русле. Вот странно! Я подумала сейчас, что это ты там на своей реке плывешь по руслу, и ты мое сравнение должен хорошо понимать. Но это больше, чем просто быть внутри потока. И мне страшновато. Помнишь, мы в школе заучивали каизусть: "Знать, неведомая сила подхватила тебя на крыло свое... и ты летишь и все летит..." Мне Гоголь всегда казался страшноватым. Этот знаменитый кусок тоже пугал.

О чем же рассказывать? Во-первых, у Леопольда Михайловича случилось что-то с ногой. Появились сильные боли, он несколько дней совсем не мог ходить, сидел. Случайно я как-то раз увидела, как он морщится, даже вздрагивает от резкой боли. Самое ужасное, что он ни за что не хочет

пойти к хорошему врачу. Только смеется. Но в общем-то, не до смеха. С трудом дозналась, что нога у него была ранена еще в шестнадцатом году. Его тогда оперировали в полевом госпитале. А в эту войну, в Отечественную, он находился под Москвой в ополчении. Тогда, наверно, от сырости и холода с ногами тоже было плохо. Вот у него с тех пор появились боли, особенно в раненой ноге.

Сейчас наступило обострение из-за того, что он перетрудил ноги, когда размещал картины. До этого Леопольд Михайлович проводил все дни в Прибежище, так как с картинами оказалось много работы. Но потом повел себя совершенно глупо. Ему, как я понимаю, не хотелось доставлять мне беспокойства, и он уехал к себе домой, когда ему стало особенно худо. Вызвал такси и в мое отсутствие уехал. Я стала ему звонить, он обманывал, говорил, что чувствует себя превосходно, просил не ездить к нему. Я, как дуручка, подумала, что он на меня обижен за что-то и решила сама на него обидеться. Вдруг приезжает Арон и рассказывает, что застал Леопольда Михайловича в беспомощном состоянии, голодного. Представляешь? Он не мог даже в булочную выйти за хлебом. В общем, сразу же привезли его сюда. Я взяла с него слово, что он останется жить в Прибежище. По-моему, в этой его квартире вообще ему жить невозможно, такие там сволочи соседи. Какие-то бабки востроносенькие и неприглядные мужики. Мы с Ароном в прошлое воскресенье отправились, чтобы взять Леопольду Михайловичу кое-какие вещи — белье и т.д. Так нам одна соседка целый допрос устроила — куда, да зачем, да где он теперь, да кто мы ему. Я сказала, что я его племянница, что он сейчас живет у меня. В общем, отшила, как могла, и она отстала. Тут я вышла в сберкассу, чтобы заплатить за квартиру (Л.М. меня попросил), и что же? — соседка эта велела Арому втащить в комнату столик с кухни. Представляешь? Все равно, мол, хозяин не пользуется. Все-таки твой Арон

явление! Хоть смейся, хоть плачь, честное слово! Он уж сокрушался, переживал, так себя казнил, что сама я пожалела, что отругала его. Хотел тащить столик обратно, но я не дала. Был бы такой скандал, что потом не расхлебать. Все-таки, коммунальные квартиры это какой-то кошмар, я не представляю себе, как люди могут жить в них десятки лет, всю жизнь.

Зашел однажды вечером твой приятель Виктор. Тебя разыскивал. Я ему открыла, и он с порога хотел уйти, когда я сказала, что тебя нет в Москве. Я догадалась, что ты ему нужен неспроста. Как я знаю, вы редко встречаетесь, правда же? Спросила его: "Может быть, у вас неприятности какие-нибудь? Вас из-за картин не беспокоили больше?" Он не знал, как лучше мне ответить, и я поняла, что так оно и есть. Я стала его звать зайти в дом, но он ни за что не захотел зайти. Спросил только про Вареньку, все ли у нее в порядке и в Нахабино ли она живет. Я сказала, что Варенька живет в Москве, у знакомой. Он обрадовался, повеселел и сказал, что ерунда, что он за Вареньку беспокоился, а вообще-то беспокоиться нечего. Так я толком ничего не добилась. Просил, чтобы ты сразу ему звонил, когда вернешься. Откровенно говоря, я и не очень хотела, чтобы Л.М. узнавал сейчас о неприятных новостях. Арону я рассказала про все. Он тоже считает, что Л.М. лучше ничего не говорить, а надо дожидаться тебя. Он нам несколько раз читал стихи. Я не представляла, что в спокойной обстановке он может читать неплохо, только надо привыкнуть к его манере. Он иногда начинает бормотать, как будто забывает, что его слушают. Но так это и есть на самом деле.

Что рассказать еще? Про Толика, например. Он часто сидит у нас весь день и рисует не переставая. Сидит около босфорской женщины и вдохновляется. Она ему служит неизменной моделью. А рисует он балет. Да-да, не удивляйся. Впрочем, стоит именно удивляться: он рисует пастелью

десятки (даже сотни уже!) листов, на которых неизменно присутствует пара фигур, женская и мужская, — то обнаженные, то в драпировках наподобие хитонов. Позы их варьируются бесконечно, на каждом листе все по-своему. Это как бы кадры какого-то танца любви. Вернее, нет, не танца любви, а танца мечты о любви. И в этом, по-моему, вся прелесть. Подозреваю, что Толик еще никогда не держал в объятиях женщину. (Это между нами!) А босфорский мрамор служит ему живой натурой. И я не знаю, грустно это или прекрасно.

Ну, кончаю. На конверт придется наклеивать лишнюю марку, — такое будет толстое письмо. Будут ли хоть фотографии из вашего похода? Может быть, ты из этого Охлябниково пошлешь ответ? Хотя, как ты говорил, нет смысла, ты, вероятно, вернешься раньше, чем письмо дойдет. Поэтому не спрашиваю, все ли в порядке, доволен ли ты путешествием.

Хочешь, буду честная? Я не слишком много думаю в эти дни о тебе. Но когда думаю, то думаю по-хорошему. Это правда. Я радуюсь, когда твои друзья говорят о тебе, когда чувствую, что ты им нужен. Я благодарна тебе за очень многое. Ты этого никогда не знал. Знай.

Я тебя целую. Вера.

XXVII

В Москве было воскресенье. Собственно, воскресенье было не только в Москве; во множестве мест иных — например, в столице Южно-Африканского Союза, на Корсике и Сардинии, в американском штате Небраска, в Гренландии и кое-где в Антарктиде — тоже было воскресенье. Для огромного числа людей в половине земного шара стоял

день воскресный, но среди этих людей насчитывалось немало таких, для кого не имело значения, воскресенье сегодня или среда. К таковым, как можно догадаться, относились не столько те, кто не признавал Воскресения Христова, а сколько люди, которые по тем или иным причинам не были вовлечены в неумолимый ход рабочей недели, неизбежным образом начинавшейся в понедельник, рано утром, на заре, когда природа пробуждается и дарит благостным свежим лучом округу. Под этим румяным летним лучом, под чириканьем птиц — городских воробьев или птиц деревенских (каких деревенских, простите, не будем перечислять, дабы не продемонстрировать полное орнитологическое профанство) — словом, утром в понедельник вполне счастливыми бывают лишь те, кому не идти на работу. Не только что часов — они и смены дней не наблюдают. И следовательно, в нашем обществе, где все едят и оттого работают, лишь в отпускные дни можно отпускать (простите же опять — на этот раз за грубый каламбур) — отпускать себя настолько, чтобы не включать внутри сознания жестокий механизмик, который с судорожной сухостью отщелкивает: четверг... пятница! СУББОТА!! ВОСКРЕСЕНЬЕ!!!.. понедельник... вторник... среда...

Отгулявший свое Никольский прибыл в Москву именно в воскресенье — в силу несложного расчета, по которому отпуск берут таким образом, чтобы по двум сторонам положенных дней, в начале их и в конце, стояли воскресенья — как бы особо лакомые лишние довесочки к сладостной отпускной свободе. И когда в компании своих друзей по эскадре ступил Никольский на грязный перрон, пришлось тот заржавевший было механизм пускать разом в ход: воскресенье сейчас, и конец уже дня, и завтра, значит, с утра на службу, и надо отмыться сегодня, успеть за жратвой в магазин до закрытия — а что можно в воскресный вечер купить? — колбасы, масла, сыру, а яиц, молока, а тем более

и помидор с огурцами — нет, не достать, — и съездить бы к Вере в Прибежище, — нет, не успею, пожалуй, — надо бы разложить байдарку сушиться и грязные шмотки закинуть в ванную мокнуть, — так, так, холостяцкая морда, так тебе и надо, если сам ты не за себя, кто же тогда за тебя!.. Как сказал великий певец пролетариев Горький (а до него еврейский мудрец Гиллель; но о нем-то, о Гиллеле, ни пролетарии, ни, кстати сказать, Никольский, не слышали). Байдарка, торчащая длинным широким пакетом над свалывшейся в лохмы не мытой давно шевелюрой, была тяжела и давила на спину, и хотелось скорее добраться до дому — и рухнуть, и дряхнуть, не думая о завтрашнем утре...

Но утро пришло — не в чирикание воробьев, а в бредовом мозговом свербении будильника, и ровно в девять тридцать Никольский входил, подобравшись, поводя головой — "здрасьте!" — "здравствуйте!" — "привет! привет!" — в свою контору, где начальник предупредил уже секретаршу, что Никольского хотел бы видеть сразу, как тот появится. И секретарша, радуясь искренне, а сверх того и нарочито, чтобы Никольский никак не смог не заметить ее радости, возникла на пороге его кабинетика и дала пожать лапку, а затем роскошным квазиэллипсоидом, передняя видимая часть какового была образована очертанием бедер ее и колен, устроилась неравновесно и неустойчиво на краешке стола, и губы ее под вишневой помадой, и глаза меж тенистых аллеиных ресниц обещали убийственно много. Скрещены лапки поверх открытых колен, скрещены голени — скромным дополнением к позе, которая иначе бы слишком настойчиво увлекала взгляд вдоль и вглубь по продольной оси эллипсоида, — "Н-ну?" — спрашивает она, и оба весело смеются, и оба знают чему: когда-то был у них быстрый, немного сумбурный период, вспомнить который каждый из них мог с большим удовольствием и с тоскою лишь чуть ощутимой и оставшейся лишь потому, что они тогда чуть-

чуть не доиграли свою пьеску, — героине надо было спешно выходить замуж за кого-то очень подходящего, а герою... У Никольского никого подходящего не было потом довольно долго, но он благородно не приставал к новобрачной, что она ценила до сих пор и что, весьма вероятно, оставляло ему надежды на будущее. Кстати, не так-то давно все это и происходило: была — она; потом — долгое время не было никого; потом появилась Вера. То есть как бы позавчера происходило, если считать, что Вера — это уже вчера...

— А теперь отправляйся к шефу. У-у, бродяга нестриженный!

К шефу? Можно и к шефу. Рад вас увидеть. И я. Ну-ну, зачем лицемерить, какой начальник поверит, что его подчиненным приятно, да еще в первый день... А вас заждались. Просят вылететь к ним при первой возможности. Комиссия им утвердила под устные заверения. Однако сами беспокоятся, все ли у них как надо. Просят вас лично пересмотреть по каждому узлу. Вот договор, он даже оплачен вперед. Командировка вам заготовлена.

И вежливый шеф разводит руками. У Никольского сохнет в горле. Он поворачивается к окну. Он обдумывает сказанное. На самом же деле, он просто не знает, что сейчас выражает его лицо, и на всякий случай подставляет глазам внимательного шефа только скулу и боковую линию нижней челюсти.

— Понятно. В таком случае —
поеду месяц мечтал поеду видеть говорить что буду еще
— глупо отказываться. Но,
знаете, паршивое место. Дрянная гостиница.
кушетка она за стеной с ним не спится постель один буду
отдельный подлец нет не отдельный

Пусть хотя бы о хорошем номере позаботятся. Отдельном.

– Сейчас же вызываем телетайпом. – Нажал кнопку.

Вошла.

– Соединитесь с директором, пусть гарантирует Леониду Павловичу отдельный номер с... С какого, Леонид Павлович?

– Среда? Или даже

сейчас псих уже там дежурит когда

со вторника! Если на завтра будет

билет

*ночь там ночью она завтра вечером она завтра там ночь она
очень очень*

– завтра же и вылечу.

– Превосходно. Берите деньги и в добрый час.

Пошел он в бухгалтерию, поехал за билетом, стоял в очереди, обедал, стоял в очереди, начал звонить Вере, но раздумал, позвонил Виктору домой, стал звонить в его парк, но раздумал, купил билет, взял в сберкассе деньги, купил в ювелирном гарнитур из янтаря – бусы и клипсы, купил себе новую электробритву – шик-блеск-треск – купил три пары ярких носков, бежевую сорочку, носовые платки, спортивные трусы, десять аптечных пакетиков, записную книжку, грифели "кох-и-нор" и цанговый карандаш. Вспомнил, что надо постричься, и помчался из центра к кино "Ударник", где в правительственном доме, наверху, рядом со входом в универмаг работал в маленькой, на два кресла цирюльне свой – постоянный мастер.

– О-о! Кого я вижу! Давненько, вы давненько!.. Что так поздно? – я закрывать собрался.

– Израиль Маркович, ради Бога, простите. Вчера из отпуска, завтра улетать.

– Обросли, обросли, молодой человек. Ай-яй-яй, вчера голову мыли!

– Простите, Израиль Маркович, простите.

— Наклоните головку. Здесь пониже? А височки? Да-да, вы любите прямые и, скажу я вам, надо иметь только прямые, а? Для такого мужчины, как вы, а? Знаете, что я думаю? Я вам сейчас расскажу. Я когда-то работал — это было в тысяча девятьсот двадцать шестом — вы знаете, что такое нэп? — ах, знаете! — но, конечно, из истории, из краткого курса истории, а? — так вот, я работал в Одессе у мастера, и он, знаете ли, молодой человек...

Израиль Маркович ходил в зеркальной стене взад-вперед позади усеченного белого конуса, из которого росла на оголенной шее голова и смотрела вперед напряженным взглядом и кривила изысканный очерк актерского рта — Карл Моор, Незнамов, Горацио, Яго, Турбин — первый разбойник, первый любовник, первый клятвопреступник, первая сволочь, если не позвонишь Арону. Если он живет на даче. Что ему скажешь? Что скажет он? Что скажешь ей. Что скажет она. Да, Израиль Маркович, это даже для Одессы необычный случай. Улыбайся. Вот так.

Актер улыбнулся — там, в зеркале. Улыбка у него не получилась профессиональной.

Арону он не позвонил. Так уж получилось. Много дел оставалось на вечер, и позвонить он не собрался. А назавтра Никольский поспешил в аэропорт, и было не до телефона, однако в последний момент он дал телеграмму Вере: "Вернулся поздно вчера сегодня срочно вылетел командировку всем привет Леонид".

Сколько же прошло — полгода? Нет, месяцев пять прошло с той поры, как Никольский летел сюда, как сидел в самолете бок о бок с еще незнакомым ему долговязым соседом, у того журнал на вздернутых коленях лежал в два распластанных белых крыла, в два перекошенных — как перебитых дробью и опавших, но подрагивающих крыла неведомой тундровой птицы. И снова Никольский услышал далекие звуки: *"Не спотыкайся, загнанный олень..."*.

Он повторил эту строчку и мысленно проговорил всю строфу и стихотворение до конца. Потом задумался — сам не зная толком, над чем именно, и все его размышления сводились к перебиранию различных вариантов того, как развивались бы события, если бы... Если бы, например, не попросил у Арона журнала, зато оказались бы они вместе в гостиничном номере на двоих (— отнесся бы к Арону с отвращением); если бы не пригласил Арона к Вере (— не стал бы думать о женитьбе на ней, так как не было б знакомства с Леопольдом, после которого она заметно изменилась, но с другой-то стороны, Леопольд теперь там, и Вера целиком поглощена заботами о нем); если бы Данута не дежурила в тот вечер, если бы Арон не познакомил с ней, если бы она не стягивала блузку на груди и если бы не возникала раза три или четыре в тех унижительных и неизбежных снах здорового мужчины, которому в течение определенного срока не довелось обладать женским телом (— жил бы по-прежнему, и сентиментальное слово *надежда* не завладевало бы им чем дальше, тем больше); и наконец, если б на "зеленом" работали не дураки и не звали его опять в этот мрачный городок на краю степей, на краю лесов (— сидел бы сейчас в Прибежище, и не закладывало бы уши. Кажется, начинаем снижаться).

Действовало летнее расписание, и самолет, в отличие от зимних рейсов, прибывал на место назначения засветло. Никольскому повезло: у выхода из аэропорта, то есть у калитки деревянной оградки, которой со стороны шоссе было обнесено посадочное поле, он столкнулся с инженером с "зеленого". Инженер куда-то спешно улетал, и ввиду особенной спешности ему, чтоб он не опоздал на вылет, была дана аж директорская машина, из которой он только что выскочил. Никольский сообразил занять его место, и шофер в мгновение ока домчался до города и ссадил седока у гостиницы.

В вестибюле все было по-старому: стеклянная дверь ресторана налево, барьер администратора направо, грустный швейцар под ветвистым никелем гардеробных вешалок прямо перед входом. Духота, которая еще на самолетном трапе обложила горячей ватой лицо, набилась в гортань, залезла за воротник и потекла по спине, в подмышки и в рукава, здесь, в гостиничном вестибюле наполняла объем помещения до такой осязаемой плотности, что казалось, будто движешься внутри утрамбованного тюка и с трудом раздвигаешь собою пышущие волокнистые слои. Между слоями, однако, были пустые ходы, и, наверно, по ним-то и носились безумные полчища мух, жужжа омерзительно и угрожая ткнуться в зрачок или с маху влететь в ушное отверстие. За барьером не было никого. Швейцар проковылял к ресторанным дверям, крикнул кого-то из пустого зала, появилась пожилая женщина и торопливо взглядывая на Никольского, засемила к барьеру.

— Из Москвы, бронь почтового ящика, — сказал Никольский.

— Как же, как же, есть для вас бронь, пожалуйста...

— Был обещан отдельный.

— А как же, — отдельный оставлен, который с гостиной.

С какой еще гостиной? — недоумевал Никольский, поднимаясь по лестнице. Взглянув на номерок, подвешенный к ключу, он пошел по коридору и, едва достиг небольшого холла с двумя креслами у окна, как понял, что номер ему уготовлен тот самый — единственный, быть может, в своем роде номер — уютный, незагаженный, просторный, комфортабельный люкс — словом, *обкомовский* номер. И вот она — просторная кровать. Никольский пнул ее ботинком. И вот она — кушетка. Пнул и ее. И вот посуда — рюмочки, тарелочки, — кои послужили им с Ароном столь усердно. Взял Никольский стакан, пустил по сильнее из крана воду, чтоб охладилась хотя бы чуток, и утолил невозможную жажду.

Потом прошелся по коридорам. Вспомнил, где находится дежурка, разыскал ее, постучался, подергал запертую дверь. Постоял у окна и решил, что никого пока не будет спрашивать. Вернулся в номер, скинул сорочку, снял ботинки, носки и брюки, отлепил от тела майку и трусы и залез под прохладный душ. Под струями его он пел что-то оптимистическое, покряхтывал и подвывал — свободно выражал себя. Вообще же, Никольский исповедовал ту мысль, что современный человек полностью принадлежит самому себе, лишь когда он принимает ванну и плещется в душе или когда неподвижно восседает на унитазе. А стульчак (СТУЛЬЧАК, — а, м. *В уборной: сиденье с отверстием в середине*) называл не иначе, как спасательным кругом, чем нередко, бывая в гостях, ставил в тупик хозяев, поскольку на вопрос "где тут у вас спасательный круг?" не каждый мог ответить сразу.

Потом он улегся на кушетку и скоро стал подремывать. Возможно, он заснул бы как младенец и спал до самого утра, но среди еще неглубокого сна Никольский забеспокоился: он забыл закрыть в ванной кран, и через тонкую перегородку прямо над ухом шумела вода. Раздосадованный на свою рассеянность, подбадривая себя, однако, тем, что все равно ему надо встать, раздеться и залечь в постель, а может быть, прежде поужинать в ресторане, он нехотя поднялся с кушетки, подошел к ванной, взялся за ручку ее двери — дверь не открылась. Из ванной же раздавалось довольное мурлыканье — под шум водопроводного дождя чуть слышным тоненьким голоском кто-то там напевал, — тоже, значит, наедине с собой, в свободном самовыражении. Сонливость как ветром сдуло. Итак, он вовсе не забыл прикрыть воду, и это не он включил свет в прихожей. Вдобавок ко всему он увидел, что в замке входной двери торчит ключ. Стараясь не поскрипывать на паркетинах, Никольский подошел, убедился, что дверь номера заперта, и вытянул

ключ из гнезда. Ключ был точно такой же, что и у него, только без висюльки-номерка. Он сунул этот трофей в карман брюк, вернулся в ту дальнюю комнату, где только что спал, надел рубашку, на всякий случай и свой ключ взял с тумбочки и припрятал в кармане. Затем он принялся ждать, стоя в проходе между комнатами, — в темноте, в приятном возбуждении, с подпрыгиванием сердца и игривых мыслей. Наконец шум воды стих. Что-то стукнуло в ванной раз и другой — расческа ли задела о край фаянсовой раковины, пузырек ли с духами ударился донышком о стеклянную полочку, — и вот провернулась задвижка, из ванной ударил свет, мелькнула в его луче тень, и сразу же выключатель щелкнул, и все погасло. Дальнейшее можно было предвидеть заранее: два уверенных шага к дверям; рука старается нащупать ключ в замочной скважине, но не находит его; секунда неподвижности — ах, наверное, бросила в сумочку! — снова два шага назад, щелчок выключателя, сумочка поспешно раскрывается, и долго-долго слышно, как идут безнадежные поиски: в сумочке звякает, шуршит, что-то падает на пол ванной — все не то, все не то попадает под пальцы — вот ключи от дома, вот металлический тюбик с помадой, вот клипсы и брошка, пудреница, носовой платок — его встряхнуть за кончик — ах, лучше выбросить все барахло на полочку! — и стеклянная полочка словно хихикает всякий раз в ответ, когда на нее, уже с нервным размахом, кладутся предмет за предметом из содержимого сумочки. Тишина. Все сгребается разом и вновь отправляется в сумочку. Теперь пошарьте на полу у двери — вот так, все правильно; теперь то же самое в ванной — вот так, молодчина; как можно быть уверенным, вы кладете милый ноготочек между зубками и закусываете его в раздумье, — но вспоминаете, что от этого может слезть маникюр, и вам ничего не остается, как подергать, провернуть вверх-вниз ручку запертой двери и уже в полном бессилии стукнуть бедраш-

ком в эту проклятую дверь, — ну, уж это-то вовсе зря, потому что она открывается внутрь, а к тому же синячок на бедрышке образуется.

Что же дальше? Дальше поиски должны расширяться, и хотя она и не входила, конечно же, в комнату, ей ничего не остается, как предположить, что ключ — ну, как-нибудь случайно, ну, по затмению или неведомой силой — вдруг да оказался на столе в большой комнате, и она сейчас зажжет в этой комнате свет.

Так и произошло. Люстра вспыхнула, Никольский непроизвольно сдвинул веки и сразу же в изумлении уставился на эту залетевшую к нему птичку: он ее видел прежде! он ее встречал! где?! да здесь же, в тот прошлый свой приезд! — зовут ее как?! — да ведь он знает, знает! — она официантка из ресторана внизу! — Галочка, да, да, она — Галочка!

Тем временем скучным, незначащим взглядом смотрела Галочка на стол перед собой, и ее нижняя пухлая губка уныло отвисла, а поднятая к выключателю рука, едва ползнув по стене, чтоб упасть, вновь скользила уже кверху. Никольский же почувствовал, что мышцы его физиономии вот-вот не справятся с напряжением, что он сейчас по-идиотски расхохочется, и шевельнулся. Галочка вздрогнула, взглянула, на мгновение обратилась в оцепенелого зверька и опростетью кинулась назад, в прихожую. Там в отчаянье затрясла она дверь, не соображая вовсе ничего.

— Галочка, куда же вы? — все еще сдерживая смех и деланно поигрывая баритоном, спросил Никольский и вышел следом за нею в прихожую.

— Ой... — только и могла вымолвить Галочка. Она затравленно повернулась к нему лицом, чуть сползла спиной по двери, отчего ее ноги несколько согнулись в коленях, и стала равномерными, довольно неприличными движениями биться об дверь своим мягким местом.

— Добрый вечер, Галочка, неужто вы меня боитесь? —

разулыбавшись широко, сказал Никольский. — Мы же с вами давно знакомы. Да пожалейте вы вашу попочку, что вы, Галочка? — ей-Богу!

Галочка подвигала ступнями назад, к двери, и выпрямилась, колыхаясь нервной стрункой.

— Ну здравствуйте. Не узнаете?

— Нет, — прошептала она. И попыталась улыбнуться в ответ.

— Что — нет?

— Узнаю, — сказала она хриловато и кашлянула. Кажется, она начинала приходить в себя.

— Вот и отлично, — весело сказал Никольский. — Не бойтесь, честное слово! Это просто-напросто здорово, что вы тут оказались!

— Ключ дайте? Ну пожалуйста? — попросила она жалобно, и губы ее задрожали. Она готова была разреветься, чего Никольскому никак не хотелось.

— Ключ? Да конечно же, возьмите. А куда же я его дел? А, в той комнате!

Он повернулся, чтобы идти как будто за ключом, но спросил:

— А то пройдите? Сядьте на минутку-другую. Иначе я буду совсем уж невежливым!

Галочка спиной оттолкнулась от двери и, неуверенно переставляя туфельками, вошла в комнату. Никольский ушел в дальнюю, погромел в кармане ключами, и, когда вернулся, Галочка уже сидела за столом на краешке стула, деликатно держась обеими руками за сумочку, стоящую на сдвинутых коленях.

— Ну? — Никольский пододвинул стул и тоже сел. — Так вы, Галочка, и ускачете? Кстати, я-то знаю, как вас зовут, а вы меня — наверно, нет?

Она помотала головой и улыбнулась чуть доверчивее.

— Леонид — меня зовут, фамилия Никольский, место-

жительство — Москва, жены нет, детей, наверно, тоже!

Галочка, закидывая голову, сверкнув золотой коронкой, стала смеяться, и Никольский с удовлетворением отметил, что она не поспешила потянуться за ключом, который лежал на столе на половине расстояния между ними.

— Ой, надо же?! — возбужденно заговорила Галочка, то и дело перебивая себя нервным все еще смехом. — Надо же? — я тырк-тырк, куда, думаю, девала? Ну, надо же! — и вот бы попалась-то, пря-ам, уволили бы как штык, правда-правда! Если б начальство какое, правда же? Вот дура-то, надо, а?

— Я, Галочка, тоже начальство. Честное слово!

— Ой, ну вы! Вы... вы веселый! я же тогда еще помню! — радостно сказала Галочка. По самолюбию Никольского приятно защекотало. — Я — знаете? — доверительно продолжала она, — я сюда после смены всегда забегаю. В ванной-то, под душем-то помыться, знаете, как? Я ж в деревянном живу, в старом, воду пока натаскаешь, согреешь, ой, не говорите! А тута тоже — только в люкс горячую дают, да на кухню, а так нигде нет.

— Вот оно что!.. А я-то подумал, вселили кого по ошибке! Где ж ключ-то взяла?

Глаза у нее блеснули.

— Не продадите?

— Нужно мне больно тебя продавать!

— Сделала. Взяла с доски, дала знакомому слесарю, он и сделал такой же.

— Здорово. И никто не знает, что ты сюда бегаешь?

— Здеся, в гостинице? А никто. Литовка одна только знает, но она не продаст.

— Кто-кто?

— Литовка.

— Какая... литовка? — переспросил опять Никольский, смутно уже догадываясь, о ком идет речь.

– Ой, да эта же, Данька-то! Проигранная.

– Что-о-о? – Никольский даже подался к Галочке. – Поймай, ты о чем это?

– Ой, Господи. А вы не знаете? Вы же с еврейчиком-то ее знакомы, нет рази? Тогда-то с ним все обедали, нет рази?

– И так как Никольский продолжал смотреть на Галочку во все глаза, она пояснила: – Длинный-то? Ароном звать? Да ну же, из Москвы он, как вы тоже?

– Данута? – сказал наконец Никольский.

– Она, она! – довольная, подтвердила Галочка.

– Она литовка?

Вот оно что! Прибалтийское в ней – верно, верно! – и этот акцент, который он принял за польский!

– Так мне непонятно: почему она – проигранная?

Галочка даже всплеснула от удивления:

– Ой, да все же знают!

И она набрала уже воздуха, чтобы выпалить все подряд и вперемешку – ее манера говорить и мыслить была Никольскому уже ясна, – и потому он перебил ее:

– Постой-ка, Галочка, признавайся, свиданье у тебя на сейчас не назначено? Нет? А я, представь, с самой Москвы не обедал. Скажи-ка, можно сюда заказать? На двоих?

– О-ой, неудо-о-обно мне, что-о вы-ы... – протянула она со смущением и порозовела чуть-чуть, но на личике появилось бесхитрое удовольствие.

– Да ерунда же, не поздно сейчас. Принесут?

– Шестнадцать наберите, это прямо в зале. Только вам присчитают. Как штык.

– А-а, неважно это.

– А увидят же наши?

– Тебя что ли? Мы сделаем так: дверь будет заперта. Как постучат – ты в ту комнату и – тише мыши. А я попрошу, чтобы сразу все блюда несли и больше бы не беспокоили.

Галочка засмеялась с подвизгиванием, даже в ладошки захлопала:

— Давайте, я вам посоветую, что выбрать, ладно?

— Прелестно, Галочка! И не стесняйся. Идет?

Ему хотелось — за столом, за едой, питьем и разговорами о том о сем, в бессвязности Галочкиных междометий — заглянуть как в театральный приоткрываемый занавес и увидеть случайно что-то — из жизни ли Дануты? Арона? своей собственной? — и хотелось не столько узнавать ему неизвестное, сколько *переживать*, узнавая.

Но Галочка переживала свое. И все получилось не так, как желалось того Никольскому. Она, возбужденная, и надо думать, усталая, после рабочего дня, захмелела слишком быстро, без конца беспричинно смеялась, болтала невразумительное, хохоча, пыталась то с вилки, то с ложечки "сама покормить", как она повторяла, Ленечку и попадала ему сметанным салатом в щеку и в нос, отчего лишь пуще заливалась. И в миг такой нарочито-девчачьей резвости, от которой Никольский ощущал неловкость — что с ним в присутствии женщины не было никогда — она вдруг вскочила с места, кинулась — погасила свет, и стала Ленечку целовать — Ленечку, Ленечку, Ленечку... И она сперва в нем возбудила только жалость, потому что худенькое тельце в его объятиях затеплило в нем не мужское, а, наверное, отцовское, и он, себе удивляясь, как будто боялся, что сила и грубость сомнут небольшое скопление хрупких косточек рядом с ним. Да и не девушка ли она, и вдруг восемнадцати ей не хватает? Но Галочка льнула и никла, она содрогалась от слабости и впластывалась в него и легонько тянула, чтобы лечь. Они перешли, в темноте натыкаясь на стулья, к кровати, разделись каждый наскоро и неаккуратно, укрылись одеялом, и там, под жарким пологом, она беспорядочно, нервно, давала своим рукам касаться, гладить, сжимать, проскальзывать. Она искала и требовала, а Никольский, лаская ее, все не мог от себя отогнать болезненное видение: сплетающихся в одно на этой вот самой крова-

ти мужчину с женщиной, — тех двоих, кто оставались здесь на ночь, когда он лежал за стеной на кушетке. Ну нет, сказал он себе, такого я вам не позволю! — ”А ты, Галчонок, инициативна!” — произнес он Галочке на ушко, и вдруг на него накатило, и он забрал эту Галочку так, что она издала протяжный ликующий вопль. Он ей воздал за все эти несколько месяцев, но ведь не знала она, что питается не своим, и она утолилась уже, но теперь уже требовал он оплатить ему все сполна, и ей приходилось платить и платить по чужому счету. Потом она плакала. Из блестящих в сумраке глаз слезы текли мимо неверной, дрожащей улыбки, и почему это Галочка плакала, она толком ответить Никольскому не могла, но получалось вроде бы так, что от счастья. Потом он выслушивал исповедь — в шепоте, вздохах, в прерывистом дыхании, в паузах и в сигаретном дыму. Никольскому хотелось дико — уснуть, и лучше бы всего — одному, без Галочки, и вообще без этих женщин, но Галочка все шептала ему о себе, и — удобная вещь междометия! — он отвечал ей: ”а-а”, ”ну-у?”, ”м-да-а”, ”надо же!”.

Галочке было двадцать два, была у нее мать, которая пьет и вяжется пока что с мужиками; у Галочки дочка трех лет, она ее держит на пятидневке в садике; а мужа у Галочки не было, был парень, ушедший в армию, она его и не любила, но, дурочке, он ей и сделал ребенка в ночь, когда провозжали, а врачи напугали первым абортom, да и ничего, пусть дочка растет; может, и вышла бы замуж и с дочкой — здесь женщин-то мало, приехало много парней на стройку, но она, как можно было понять, не хотела за пьющего, за матерщинника, а тут такие-то все, и бьют девчонок под пьяную лавочку, даже когда ухаживают, а уж женам молоденьким жизнь такая, что и ни к чему мне, и так проживу... вот захотела с тобой, Ленечка, мне и хорошо, правда же?... Ленечка, Ленечка, миленький мой, милый...

Он уснул под ее бормотанье.

Наутро в ресторане — было уже не утро, а близко к полудню — сияющей феей — в наколке, передничке, блузочке с кружевцом — Галочка воздушно подлетела к Никольскому, и, весело глядя в глаза, так что нельзя было ей не ответить таким же весельем, взяла у него заказ.

— Что, Галчонок, — сказал он вполголоса, — вечером снова в душ прибежишь?

— Ой... — задохнулась она. — Правда?!..

О Создатель, создавший нас! Хотим мы многого, а нужно то нам так мало! Вот и Галочка радуется, вот и Никольский уже успокоен, а когда сегодняшняя вечер готов принести немножко еще той же ласки телесной — мы в раю и презреваем все разумное. Того ли от нас ты желал, Создатель? Но мы таковы — и спасибо, Отец!..

XXVIII

Вечером Галочка многое рассказала. За ужином она не проявляла бурных эмоций, даже, видимо, стыдилась своих вчерашних выходок. Однако то и дело умолкала, глядя на Никольского с наивным обожанием — она и не притворялась, и не скрывала — она в самом деле сходила от Никольского с ума, — и по причине ее гипнотической завороченности ему на этот раз тоже не удавалось Галочку разговорить. Тогда Никольский придумал пойти погулять — отправиться на свежий воздух. "Где тут у вас гуляют?" — спросил он. "В степи. А вон прямо там", — она махнула за окно. Они прошли — таясь, по очереди, — выходом во двор, миновали сараюшки, грядки какие-то и невысокий забор, и в лица им ровно задуло полынной прохладой. И Галочку как будто охладило, она вернулась в свое естественное состояние и стала девчонкой обыкновенной — в меру смешливой, в меру

томной, в меру практичной и глуповатой. Она была напичкана сплетнями сверх макушки. Рассказывая, как их шеф — почтенный отец семейства среди дня идет запереться на час в кабинет директрисы гостиницы — та депутатка, партийная, муж у нее начальник милиции, — заодно упомянула, как на кухне воруют, как шефа накрыли, и всем им пришлось собирать на него, а у Галочки денег не было вовсе — перед этим брала по уходу больничный, ребенок болел — и она отказалась, так пообещали уволить, и кто ее выручил — это литовка, заняла ей, и уж потом с чаевых и с получки смогла постепенно вернуть.

— Кстати, когда дежурит Данута? У меня поручение к ней, мы же с ее Ароном друзья, — поспешил Никольский ухватиться за ниточку и уже не выпустил ее. Иногда он подергивал ниточку эту настойчиво, иногда лишь тянул осторожно и то вопросами, то переспросом, то восклицанием — вел Галочкину говорливость куда ему было нужно. И он узнал от нее достаточно для того, чтобы глаз не смыкать посредине глубокой ночи и думать, думать и думать — нелепо, без толку думать, потому что разве приходят ясные, верные мысли после безудержных любодеяний с девчонкой, жаднущей, как оказалось, на похоть? Галочка давно спала. Он ей подарил сладость этого сна — мирного, тихого; сам же мучился возникшей в голове тупою болью, и отвращением к себе, и духотой. Где-то на огородах выл, поскуливал пес.

Когда на работу выйдет Данута, — ответила Галочка на его вопрос, — сказать нельзя: у Дануты умерла сестра. — У нее была сестра? — Ну да! Грех говорить, но наконец-то Бог прибрал. — Почему так? — Ой, ведь парализованная! — Вон что!.. А еще кто-нибудь у Дануты есть, — мать, отец? — Никого, откуда же? Ее когда проиграли, Арон-то ваш сюда и привез. — Арон привез?! — Ну. — Вот какой черт, он мне не говорил! Послушай-ка, Галчонок, ты Расскажи, — как это,

где ее проиграли, и как он ее привез? — Ой, надо же! У нас все знают, а вы в дружках, и ты не знаешь, надо же!

По Галочкиным словам, если сложить их в мозаику, пусть и не полную, рисовалась картина — жуткая и неправдоподобная, но для здешних, похоже, довольно обыкновенная.

Данута была "поселенка". Когда Никольский поинтересовался, что это значит, Галочка всплеснула, по своей манере, руками — и она не раз потом еще всплескивала, дивясь неведению москвича: "Ой, ну же! — поселенка она, сосланная! Литовцев-то ссылали, не знаешь, что ль?" "А-а!.." — тянул Никольский. Слышал он как-то невнятное — где, когда слышал? от кого? — что выселялись национальности. Только вот какие? Про литовцев он не знал. А ведь был разочек в Литве, ездил в Палангу, купался.

Где-то к северу и к востоку отсюда и был среди местных островков литовцев-поселенцев, и Данута жила там вместе со старшей сестрой. Однажды после работы, вечером, Дануту встретил маленький соседский мальчуган и сказал: "Тетя Даня, бабушка не велела домой тебе ходить — тебя урки в карты проиграли! Ты уезжай сейчас, тетя Даня, обязательно. А твою тетю Рутю к нам перенесли".

Эти слова, вероятно, врезались Дануте в память, она так точно пересказывала их Галочке, когда та из интереса выспрашивала у Дануты о подробностях ее столь завлекательной истории.

Данута кинулась на станцию. Там ждал пути товарный состав, и она вскарабкалась на вагонную площадку. На какой-то большой остановке, после почти что суток медленного хода, поезд стали расформировывать. Данута покинула свою площадку, тем более что ехать дальше все равно бы не смогла: она промерзла и чувствовала, что заболевает. В сумочке у нее было только три-четыре десятки — ("на старые деньги" — не забыла Галочка уточнить), а документов никаких. А в здешних краях без документов нельзя ни шагу

двинутся, особенно на вокзалах, на пристанях и в аэропортах проверяют. Вот Данута и оказалась в таком положении — больная, без денег, без документов. ”Прям возвращайся, пусть зарежут, представляешь?!” — делала Галочка большие глаза. — А в милицию пойти? — ”Во-о, ска-за-ал! — презрительно тянула Галочка, слыша такую наивность. — Поселенка-то? Сразу б туда же возвращули!”

Сколько пробыла на этой станции Данута, вспомнить она не могла. Может быть, двое или трое суток. Чтобы не привлечь внимания дежурных и милиции, она тащилась на несколько часов в город, там сидела на почте или в столовой и добиралась обратно на вокзал к очередному пассажирскому поезду. Она просила проводников посадить ее, но неизменно то с равнодушием, то с бранью ее отказывались взять в вагон. Да и куда бы она поехала? Здесь же на станции она и ночевала. ”Ну пропадала, прям, а как же? — уверенно говорила Галочка. — Кому нужна-то? Хорошо, урки-то не нашли, а поехали бы за ней? На станции нашли бы и пришили”. — А как же она все-таки выбралась? — ”Так я ж говорю, Арон этот вывез!” — Откуда он там взялся? — ”А я не знаю. Данька-то мало про него говорила. Говорит, — не помнит. Упала, вроде, где-то она? Ой, праад-праад! — упала, вспомнила! — в городе упала, а он, что ль, видел? Ну да, — ой, верно, вспомнила! — самолеты не ходили! Вот он ее на самолете и привез, вспомнила!” То есть, как получилось в конце концов из Галочкиной мозаики, самолет, на котором Арон летел от моря, должен был сесть из-за погоды, и Арон застрял в этом городе — там, где оказалась больная Данута. Она упала в беспомощности, когда была на городском центральном пятачке, на котором, как обычно в провинции, и магазины, и милиция, и почта со сберкассой, и гостиница. Что уж смогла Данута объяснить Арону, представить трудно. Так или иначе, Арон устроил ее в своей гостиничной комнате. Возможно, что и звал врача, — во всяком случае, кормил больную

таблетками, чем-то ее поил, — а при полной беспомощности Арона в житейских делах невозможно предположить, как он сумел самостоятельно разобраться в том, что нужно больной.

Взяв на себя роль спасителя, Арон исполнил ее до конца. Когда самолеты стали летать, он купил Дануте билет и перевез ее сюда, в Заалайск. — Почему сюда? — спросил Никольский у Галочки. — ”А крайком-то один и тот же — где Данька с сестрой жила, и здесь. У нас поселенцев тоже прописывали раньше. А так бы где их прописали?” — И, значит, сестра сюда тоже приехала? — ”Приехала?! — Уж приехала бы она! Ведь парализованная совсем, понимаешь? Он за ней и поехал — ну, самолетом же, поездов-то от нас же нету. И привез. А там — ужас-то! — урки своего зарезали, — ну этого, который проиграл — и ночью ногами в окна, в их дом, воткнули! Стекла, значит, его ногами проткнули, всунули внутрь до колен, а сам весь — утром люди смотрят — свисает на улицу, синий, в крови — по горлу ему ножом — вот ужас, а?! Хозяев тоже не было — испугались, в деревню уехали”.

Милейшая картинка местной житейской хроники!.. И что Данута? — прежде чем разминуться с ножом того уголовника, — сколько она прожила в этой жути? Никольский содрогнулся от чудовищного: в его раскрытые глаза клубком вкатилась гориллоподобная свора, и она насильничала над Данутой с визгом и ревом, терзала, мяла, рвала и душила ее...

Весь в поту, Никольский выскочил из кровати, пометался из комнаты в комнату и, не придумав лучшего, оглушил себя стаканом отвратительной ”Московской”. Бросаясь обратно в постель, он задел бедро спящей, девчонка разом проснулась и с прежней голодной страстью сказала: ”Хочешь сейчас еще, Леничка, хочешь!..” — ”А ну-ка, пигалица, спи!” — прошипел он на это. Она, обиженная, отвернулась,

и сон ее продолжился, как будто и не был прерван. Никольский же промаялся до солнца и лишь немного подремал беспокойно — все боялся, что Галочка, как в прошлый раз, уйдет, когда он будет спать. Но он ее не упустил и велел рассказать, где живет Данута.

Полдня он пробыл на "зеленом". Когда начался перерыв на обед, он вышел с завода в толпе рабочих. Люди растекались в обе стороны улицы — кто в столовую, кто в магазин, кто — из тех, у кого не работали жены, — домой, а многие, кучками и поодиночке, располагались в чухлом скверике напротив заводских ворот, вытаскивали свертки с бутербродами и ели с развернутых мятых газет. На земле, на пыльной выгоревшей травке играли уже в домино, послушной костяшкой стучали об старый замурзанный лист фанеры, и резкие хлопки ударов сопровождались то и дело, будто бы облаком порохового дыма при стрельбе, протяжной и лениво затихавшей матерщиной. Некоторые снимали рубашки и жарились на нещадном солнце. Молодые подсаживались к девкам, любезничали. Трое парней гонялись вокруг кустов за увесистой, крупной красоткой, и она бегала от них с визгом, и у нее под линиялой трикотажной майкой широкой волной колыхались толстые груди: хороших женских бюстгалтеров, как можно было понять, в городских магазинах не продавали...

Никольский высмотрел местечко на краю одной из немногих скамеек, снял пиджак и, перекинув его через руку, посидел недолго с сигаретой. Потом попил на углу газировки и быстро пошел. Торопиться, собственно, было незачем. Но дурнотная, неподконтрольная нервозность овладела им. Ему стало казаться, что через каких-то несколько минут события, которые давно уж были predeterminedены и, может быть, годами с безмолвным терпением ждут неизбежного часа, — что эти события сдвинутся разом и вовлекут его в свой безудержный ход, и все, чем так бестолково набита

жизнь, начнет разрешаться в стройный порядок, и что-то существенно важное, верное выйдет на свет из хаоса, и он... засмеется. Почему-то казалось ему, что должен он однажды засмеяться новым, этаким звонким, беспечным смехом!.. Глупость и глупость! И почему не предугадывать иного, — что все происходящее без видимых причин и следствий, разрозненное и случайное, начнет однажды стягиваться в узел единый и крепкий, какой уже и не распутать и не разрубить, и быть ему внутри сего узла и ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Бревенчатый, осевший на бок старый домик, в котором снимала жилье Данута, был заперт висячим замком. На соседнем дворе, огороженном ржавой железной сеткой, женщина бросала для ватаги кур поклевку. "Цып, цып, цып, цып!" — твердила женщина со скукой и раздражением и внимательно смотрела за Никольским.

— Что, нет никого? — крикнул Никольский и направился к сетке.

Женщина повторяла "цып, цып". Она перевернула миску, потрясла ее и тогда ответила.

— Уехала Полина. К сыну. В Иркутск. Да вам-то не ее?

— Не ее. Здравствуйтесь. Данута, — женщина тут живет.

— Ну. Сестра у ей померла. Царствие ей Небесное, хотя и не наши они. — Женщина медленно перекрестилась.

— Я знаю, да.

— Тебе на что?

— Я — знакомый. Из Москвы.

— Вона. А ентот?

— Кто, мамаша?

— Московский. Еврей-от?

— Друг мой. Арон.

— Ну. Приехал?

— Не смог он. Начальник не пустил.

— Вона.

Женщина помолчала.

— Увезть ее надо. Пропáдет. Гордая. Кобелей вокруг эва сколько. Теперь без сестры-то не упустют. Полина-от Господа не боится, ей синюю-то, пять, дадут, она замок и навскинь. Научила — Дань, говорю, к сестре ложися, побоятся, небось, к параликовой с делом ентим кобелиным. Еврея-от как мордовали, убивцы окаянные! А не увезть — куда ж ей? Замуж-от, бабе. А гордая.

Она повернулась, пошла тяжело ступая. Но приостановилась и договорила:

— Дождися. В горсовет пошла. Ан в обед, видать, попала. Хошь — у меня сиди.

— Спасибо, мамаша. Так уж подожду.

— Твоя воля.

Он сел за домом в тени. Его поташнивало — сказывалась ли бессонная ночь или теплой, совсем натошак, газировкой мутило, или же так, простейшей рвотной реакцией он отвечал на злобу, его охватившую. Он сжал виски и со стоном, хрипом и клекотом, словно выташнивая, стал цедить через сжатые зубы грязную, липкую ругань, и мотал головой, и возил по земле кулаками. От этого не легчало, но что-то начало в нем спадать как будто, он прислонился спиной к бревнам стены и прикрыл глаза... Когда ж он их открыл — вскочил, не думая: поодаль, около угла стояла Данута и с недоумением на лице смотрела — смотрела на него, и вот — узнала ли, понять было нельзя. Из-за сетчатой ограды женщина кивала удовлетворенно:

— От, вишь, сказал — подожду. Ан умаялся. Так пойду я, Даня.

Данута в полплеча обернулась к ней, благодаря ее улыбкой, — женщина пошла от забора.

— Вы узнаете? — спросил Никольский.

— Езус... Езус-Мария! — Голос ее дрожал. — Как хорошо... Это — вы... вы приехали... я...

У нее были сжаты руки — будто собиралась, как в трагедиях на сцене, ломать в волнении пальцы, и он со святым чувством, в себе ему незнакомом, потянулся к ее ладоням, взял в свои и, голову склонив, коснулся горячих пальцев губами. И это был миг — из единственных, не исчезающих, миг, проходя сквозь который — без всякой своей оболочки проходишь — ни тела нет, и нет желаний, и нет ничего, — а всечувствование всех чувств и переживание переживаний.

— О... Прощу... в дом прошу...

Вошли в низкий дом. Против русской беленой печи — круглый стол под клеенкой, на окне — ”ванька-мокрый” в блеклой зелени ломких листьев и в розовых бледных цветах, и была на окне, на шнурочках, занавеска с оборкой по низу. Сели друг перед другом за этим пустым, как безмолвие недавней и близкой смерти, ровным столом, и Никольский глазел через стол — далеко-далеко — на Дануту.

— Вы знаете... да? — от людей?... Мою Руту...

Она умолкла и снова готова была заплакать, и за это — за дрожание голоса и за влагу в глазах — просила прощения слабою тенью улыбки. Отведя лицо в сторону, поглядела куда-то, и Никольский понял — куда: проход без двери, отороченный лишь узкими полосками серой материи сверху и по бокам, вел в другую комнату, и там, наверно, лежала прежде больная, умирающая и умершая теперь сестра, и гроб ее там стоял, и теперь там все оставалось по-прежнему.

— Что же... Думайте о себе... Данута... — В первый раз обратился он к ней по имени, и ему показалось, что сделал он шаг, подошел к ней, приблизился и приостановился. — Надо теперь о себе. У вас тут... или где-нибудь... есть кто-то... был кто-то, кроме сестры... кроме Руты? — Ему захотелось назвать и сестру по имени, и он с усилием назвал, — еще немного приблизиться.

— Никого не имею.

– В Литве?

Она покачала головой.

– Не имею.

– А можете вы разве знать? Потеряли, наверно, всех? Вы когда из Литвы?.. – были?..

– Из Литвы!.. Это в тот год было... в сорок первый нас увезли. Целую жизнь назад...

– И что же? – никого?..

Она улыбнулась тихо и опять покачала головой.

– Была еще младенцем маленьким.

Вдруг чему-то рассмеялась.

– Клебониса только помню, кто там остался.

– Кого?

– Клебониса. Значит – ксендза, священника значит. Везли поездом, теплушкой, – знаете? – мы проехали Наю Вильню, – после Вильнюса станция – не были в Вильнюсе?..

– Не был...

– ...и я ничего не помню... я помню открытую стену, нравилось – ветер волосы ворошит, и женщины все, матуля моя и Рутеле, женщины все кричать стали, плакать, руки протягивать от вагона – "Смотри, Дануте, не забывай!" – я вижу кальнис, ой – гора, пригорок, там много, и на горе человек черный – клебонис, ксендз, мне сказали. Крест большой очень держит – от земли и еще выше человека. Одна рука держит, а другая рука – вот эта, правая, вагон каждый... как это?..

Она медленно перед собою ладонью провела – отверху вниз и поперек.

– Благословил?.. Он вас благословил!

– Да. Мне он был страшный. Волосы длинные сзади были, а ветер тоже ворошил.

Никольский поднялся непроизвольно, и табуретка резким звуком чиркнула по полу.

– Да, это... знаете!.. Образ!.. Гады! Простите, Данута,

ругаюсь!.. — Никольский нервно заходил перед столом мимо сидящей, взглядывая то и дело ей в лицо. — Литва! Правда, а? Ребенка увозят! женщин и детей! увозят в теплушках, — куда увозят?! — вы же не знали, да? — ну вот, конечно, не знали! — что я спрашиваю? — кто в живых останется, кто вернется — ничего не знали, да? Конечно! И ксендз благословляет! Это символ, я так понимаю! Он долг — от Бога — ему дано, ему свою паству — он должен пасти, он должен с ними! — и не дали! Не может. Благословить может — на страдания, на смерть, на... Так я понимаю?!

— Так. Я думаю, — да.

— Но уж его вы там не застанете, ксендза, когда вернетесь. Не-ет! Тогда же, небось, и расправились. Гады! Гады!..

— Я вернусь?.. Зачем вы говорите... Куда я вернусь? Никольский остановился перед ней.

— А куда вы здесь... денетесь?

В ответ она только поникла, плечи свела и не ответила. Он тоже молчал, глядя на нее. Потом опять сел напротив. Если бы стол был небольшой, если бы сел к ней ближе, если бы решился, он взял бы Дануту за руку. Он мысленно взял ее руку. И сказал:

— Данута. Пожалуйста, Данута. Мы должны сейчас думать о вас.

Она взглянула ему в лицо беспомощно совсем, и он заговорил в том возбуждении, какое редко когда охватывало его, но если он его чувствовал, — то знал, что уж не разум, трезвый, холодный, расчетливый, в который верил и который не подводил, а что-то более значительное, чем разум, более верное и обостренное, чем разум, начинало им руководить, и Никольский отдавался этому состоянию полностью — в словах и в поступках, сладко ощущая в себе его власть и побаиваясь его.

Он говорил Дануте, что здесь ей не жизнь, что надо ей выехать во что бы то ни стало; она отвечала ему, что все без-

надежно, что жила она ради сестры, сестра ее была ей жизнь, сестра ее воспитала, она была святой, Данута счастлива с нею была с больной, для Дануты, как становилось ясно Никольскому, все, связанное с болезнью сестры, ничуть не казалось тягостным, а было простым, естественным, необходимым, и сестры жили друг для друга, держались, скрепленные одной судьбой, как два звена в одной жизненной цепи, и вот звено выпало — и рушится цепь, на землю падает. Но надо подняться, убеждает Никольский, преодолеть, и говорит банальное "жизнь продолжается", — а Данута этого принять не хочет, ей — "будет так, как будет, я ничего не имею", — нет, так нельзя! — Никольский слишком громко говорит — жизнь — это свято, вы понимаете?! — может быть, понимает, но когда они жили на Яне, в устье реки, в десяти километрах от моря, а еще до того, когда их везли морем Лаптевых в трюме большой железной баржи, и думали они, что везут на свободу, в Америку, — тогда спускали мертвых — умирали от дизентерии — в воду, а когда на Яне поселились, то в первый год много умерших из юрт выносили, сажали снаружи — сажали? — в таком положении, чтобы, надеялись, лайки — собаки не поедали мертвых... но поедали. Почему это вам рассказываю? — Жизнь, мы про жизнь с вами начали... — Да, я не думаю — свято, вы сказали, ничего — жизнь, матуля была — жизнь была, Рута была — жизнь была, теперь нет ничего, только я сохраняю их там, — понимаете? — да, понимаю, Данута, — не буду я — ничего не будет, разве важно? — Вы позволите, я спрошу? — вы, Данута, в Бога не верите? — Что сказать, не знаю, потому что, когда я Ему молилась — Езус-Мария, спасите мою Руту, я верила, — сегодня я не знаю, Он умеет отворачиваться, наверно, и не видеть... и тогда Его нет. — Пусть Он будет для вас и даст вам силы — надо жить. — Я не могу — одна и Бог. Если никого не имею, Бога не имею тоже. — Вы позволите, я спрошу? — я хочу спросить про... — вы знаете... — Да, Ароша, он есть, я решила,

не нужно ему ничего узнавать, потому что — зачем? — он очень — он очень хороший, он оказался как брат, ему тяжело было знать, что здесь — я, а там — семья, у него две девочки и жена, — вы их, наверно, видели, хорошие девочки? — Хорошие. — Пусть Арону не будет горя. — Но он у вас есть, вы сами сказали... — Я живу без него и буду жить без него.

Вы будете пить чай?

Она поставила на электрическую плитку чайник, он быстро закипел, Данута сделала заварку, положила на блюдец горочку сушек, разлила чай по двум широким пиалам, и они стали молча пить. Данута, впрочем, лишь подносила время от времени пиалу ко рту, а Никольскийпил жадно, много, попросил вторую пиалу и только третью уже стал потягивать, медленно отделяя глоток от глотка. Он думал лихорадочно, и мешалось в его мыслях все, что сейчас кружило его, все, чем он, казалось бы, должен был управлять, но что, на деле, его увлекало само по себе, в некоем сцеплении многих случайных или — кто его знает? — совсем не случайных событий, в которые был вовлечен, вдвинут, втянут, вмурован и заключен. Набор имен собственных перемещался эдак и так в его мозгу, они отшелкивались, эти имена, будто костяшки счетов, на коих сводился дебет-кредит в особой бухгалтерской книге текущего счета: Данута — Москва — Заалайск — Арон — Вера — Прибежище — Леопольд — Арон — Фрида — Москва — Литва — Заалайск — Арон — Вера — Данута — и Заалайск и — Галочка — о-о-о! — Данута, Данута, Москва!..

Он отставил недопитую пиалу и прямо взглянул на Дануту. Темная чаинка была у нее на нижней губе, и его непреодолимо потянуло нежно снять касанием мизинца — о нет! — касанием тихого рта снять чаинку и держать во рту ее, лаская между языком и нёбом долго-долго. Ему пришлось переглотнуть сдавившееся дыхание, чтобы произнести уверенно, твердо:

— Поедемте отсюда! Совсем. Я вас увезу.

Она сперва как будто не слыхала. Она думала о своем.

— Нет. Вам спасибо... Леонид... — В пол-улыбки, как той женщине-соседке во дворе, она ему улыбнулась и опустила голову: слезы выступали на ее ресницах. — Зачем говорить... Я поселенка, я...

— Простите! — перебил Никольский. — Вот что, Данута. Давайте по порядку. Вы здесь прописаны — прописаны как? Временно, постоянно? Давайте с этого начнем. Давайте обсудим — понимаете? — трезво.

Данута стала ему отвечать — односложно, нехотя, потому что за каждым ее ответом стояло — не нужно, нет смысла, без пользы они, все эти разговоры о том, о чем передумано было не раз и не два; но Никольский выпрашивал с жесткой настойчивостью, и он начал вопросы свои задавать в такой форме, чтобы Данута могла говорить только "да" или "нет", и ему это было даже удобно — знать ситуацию точно: каков он, статус или режим, порядок, закон, беззаконие — словом, то, что касается поселенцев: где они могут жить; почему не все возвратились в Литву; как там встречаются, в Литве; кого, почему, как прописывают — не прописывают на родине; и многое, многое другое из того, что составляет в житейских рамках бесчисленные углы и стороны, которыми эти рамки соприкасаются с государством.

Постепенно Никольский выяснил, что возможность переменить свою жизнь сводилась у поселенцев, как, собственно, у всех, к двум условиям: одно — прописка; другое — работа. И оба условия, опять-таки как везде, были связаны взаимной условностью: пропишут на новом месте лишь при наличии места работы, а место работы дадут лишь при наличии прописки. Однако у них, поселенцев, этот замкнутый круг был как бы очерчен двойным кольцом: вторым кольцом являлось упорное — иногда скрытое, иногда явное — противодействие желанию поселенцев выбраться из Сибири

на запад, домой. Они выбирались — во времена послесталинские начали выбираться — а если некуда? Ни дома родного уже нету в Литве — а тут, худо-бедно, а нажито что-то? И из семьи своей, некогда большой, — там никого не осталось, а тут кто-то есть? И как у Дануты — одна-одинешенька, нет никого и ни здесь и ни там, да и уехала малым ребенком, — кто ее встретит? куда ее примут? и где пропишут?

Никто, никуда и нигде. Нет выхода у нее.

— Выход один, и вы на него должны согласиться. — Никольский, заметив, что снова Данута готова уйти в себя и, быть может, не сразу услышит, поймет его, предупредил настойчиво: — Послушайте внимательно, Данута. Вы должны со мной расписаться.

Он предугадал еще чуть раньше свой неестественный голос, предугадал ее испуг, молчание и эту отчужденность, которая холодным, из невидимого льда, цилиндром возникла на клеенчатом блестящем круглом основании стола, предугадал, наверное, и сдавленное "как?.." — ему казалось, что он все предугадал, хотя ничто из этого не мог он знать заранее, а за минуту до того не знал еще, что скажет эту фразу, но все теперь оказывалось заранее и предугаданным и, более того, — все предопределенным.

В сбивчивом — плохо исчезал цилиндр, Никольский его неумело рубил настойчивостью, Данута едва согревала опаской сказать что-то резкое и нетерпимое — в сбивчивом их диалоге все шло вперемешку — ее "нет, зачем вы, нет, нет!.." и его "да поймите же, необходимо!" — пока не сказал он со злостью, — направляемой против кого? — себя самого? — Арона? — Дануты? — пока не сказал:

— Вас все это смущает? Я знаю! Вы прекрасная, чистая женщина, и я так, только так могу относиться к вам! И прошу вас поверить: до вас не дотронусь, понятно? За локоть не буду поддерживать, когда по трапу будете всходить на самолет! Ни словом, ни пальцем — я вас не затрону, я вам

обещаю, даю вам честное слово! Фикция! — вы понимаете? — фиктивный брак, бумажка в загсе, штамп, чтобы вытащить вас из этой дыры, из этой могилы!

Он не задумался сказать "могилы" — и Данута разрыдалась: сестра ее была в могиле!

— О-о-о, идиот! — застонал он, — простите же, ради Бога, простите! — Он передохнул. — И вы окажетесь в Москве, и вас пропишут, и пусть будет Москва, а не эта... — Он с ненавистью оглянулся за окно, в косо́й разор слепых горящих теней от красного солнца, срезанного по низу пыльным лезвием степи. — И живите там, как захотите. Арон — пусть будет Арон. В Литву — поедете в Литву. Ну хоть съездите, и захотите, вернетесь в Москву опять. Но здесь-то вы... — Он вдруг почти закричал на нее. — Что — один раз не зарезали, снова надо подставиться?!

Ее же теперь сотрясали рыдания, и он уже весь был около, и гладил уже, целовал, и раздирал себе внутренности, запустив через горло обе руки в желудок себе и, прорвав там его, — в брюшину, в печень, в кишки! — лишь бы не броситься к ней, не обнять, не прижать — о-о-о! — НЕ ПРЕСТУПИТЬ.

— Вы... вы... прошу!.. Вы завтра — гярай? Хорошо? — она всхлипывала вопросительно.

— Да, хорошо, хорошо, простите, Данута, но все хорошо будет, вы — вы увидите, хорошо, хорошо, — забормотал он быстро, уцепившись за тупое это "хорошо". — Хорошо, я иду сейчас. Завтра — когда? Я с утра — хорошо?

Он, наверно, бежал до гостиницы — и не оставил в сознании, как возвращался: он обнаружил себя опрокинутым навзничь, раскинувшим руки и ноги, упавшим поверх казенной постели под купоросным потолком казенного дома, и толчея ленивых сумеречных мух моталась над его лицом. Он смотрел в потолок мертвым взглядом, и если бы сказано было сейчас умереть — мол, спасайся, а иначе гибель, — он

бы и мускулом не шевельнул. И значительно позже, в темноте уже полной, хватило его на то, чтоб на запавшие глазные яблоки надвинуть с усилием, будто со скрежетом, веки. И так же, нимало не шевелясь, отодвинул он их, когда плавающим бревном — топляком из бездны, в которую был погружен, он стал выплывать, и почувствовало бревно, что колеблют его осторожно и поворачивают на воде, — он увидел из-под отодвинутых век, что Галочка хлопочет над ним, снимает с него ботинки, носки, приподымает и укладывает вдоль кровати обе его ноги, расстегивает рубаху — манжеты на рукавах и планку на груди и, чтобы вытащить рубаху из брюк, распускает ремень, но узкая ладонь, коснувшись вдруг обнаженного живота, замирает, и живот его ощущает, как ее пальцы мелко дрожат и потом начинают тихонько и нервно ласкать его там, под неснятой одеждой. И подумал он, что, слава Богу, — мужчина, что чувствует уже отклик и что, слава Богу, ему она вовсе никто — эта женщина, которая хочет его сейчас, что не надо на эти их плотские, скотские, блядские, адские игры ни тихой, ни жгучей, ни чистой, ни страстной, ни вовсе какой там любви, — он прихватит ее под себя, на себя, и вперед и назад, и, терзая ее, все — дыханием, вдохом и выдохом, — скажет и выкрикнет, выжмет, выбросит вон из себя. Что он и сделал.

Глядя в рассвете на острые голые грудки сидевшей перед ним по-турецки веселой и — черт ее не берет! — вполне даже свеженькой Галочки, он заговорил:

- Чего я тебе скажу.
- Чегой-то?
- Скажу — ты ахнешь.
- А чего, а чего?
- Я бы тебе сказал, но ты же протрепешься?
- Фигу!
- Что — фигу?

— Захочу — фигу кому скажу! А не хочешь, — мне до фени, и не говори. — Она обиженно поджала личико.

— Да нет, скажу: надо тебе сказать. Но, Галка, поклянись! — ни слова никому, пока не уеду.

Никольский это произнес не без угрозы. Галочка со страхом и любопытством нетерпеливо ответила:

— Ой, клянуса, клянусь, вот — перекрещуся! — И она действительно — быстрыми, наверно, привычными с детства зигзагами положила на голое тело крест.

Надо было ей рассказать о Дануте, о том, что хочет ее увезти и что для этого должен с ней расписаться. Он боялся, что Галочка может подпортить: вдруг растрезвонит, что спал с ней приезжий москвич? вдруг, узнав стороной, что он, ее только-только любовник, женится на Дануте, и устроит какой-нибудь грязный скандал? Словом, надо было Галочку нейтрализовать. Посмеиваясь, он сообщил о затее с женитьбой, которую, дескать, с Ароном они обсудили: вроде бы он, Никольский, Арону вчера позвонил и сказал, что сестра умерла у Дануты, и решили они, — по дружбе на это Никольский идет, да и правда — куда ей, литовке, одной тут деваться? — что он с ней распишется здесь и с собой увезет в Москву. А там разведутся, и делает пусть, как захочет — пусть едет в Литву свою, мне-то что? Я ей никто, мне все равно, я уже раз и женился и разводился, смешком объяснял он, а Галочка сидела, прижав ладошки к щекам, и глаза у нее блестели.

— Уй ты-ы!.. — тянула она изумленно. — Придумали, ну-у-у!.. Надо же, а-а?..

Потом заключила, досадливо посматривая в сторону:

— Вот литовке-то повезло! Эх, меня б ты так взял!.. Да — не понимаю, что ль? Дите у меня, мамка — алкоголичка, и не такая я... — она с презрением глянула на свое тельце, — не такая я видная, как литовка-то!.. А уж ухаживать бы стала!.. Готовлю, знаешь, как?

Она с деланным усилием засмеялась. Ему стало жалко девчонку, и он почувствовал облегчение от того, что все, по-видимому, обошлось благополучно. Он протянул руку, попробовал привлечь, но Галочка поежилась и соскочила с кровати.

— Ой уж, ладно! Было и было. — Губы у нее дрожали. — Чего уж теперь? — сказала она грустно.

— Да брось ты, Галчонок. Я же тебе объяснил — формально же все, не по-настоящему!

Она махнула рукой и с неожиданно явившейся стеснительностью, отворачиваясь, заходя за изголовье постели, принялась торопливо одеваться.

— Вот приедешь еще и увидим! Тогда и увидим! Может, приедешь, а? Увидим тогда! — повторяла она, и непонятно было, что надеялась она увидеть?..

Встал и он, помылся наскоро, оделся и заказал разговор с Москвой: хотя было только к пяти утра, он рассчитал, что в Москве — послеполуночное время, и его звонок почти наверное застанет дома соседа по площадке — такого же, как он, холостяка, зубного протезиста, который подрабатывал помимо поликлиники и у которого поэтому всегда водились деньги. Со звонком повезло, и сонный, злой сосед обещал переслать телеграфом две сотни. Галочка простилась, чмокнув Никольского в щеку, когда он брился.

На завод он только забежал — предупредить, что сегодня будет весь день отсутствовать, и не мешкая отправился к Дануте. Ее лицо, с припухлостями под глазами, отрешенность на нем, и во взгляде — укор ли, мольба или покорность, сказали ему и до слов, что она не может, не будет сопротивляться. Он сразу же взял деловой тон, понимая, что поможет ей держаться, если только ничем не затронет ее обостренных чувств. И начал он нарочно — с ерунды: как быть с вещами? Данута улыбнулась грустно: их почти не было. Мебель чужая, хозяйская. Посуда? — Оставит со-

седке. Одежда, белье, кое-что из мелочей, безделушек — память о матери, о сестре, о юности своей, которой не было... Значит два, лучше три чемодана купить — он купит. С работой как? Написать заявление. Вместе давайте сядем, вот, кстати, бумага в папке его нашлась. "Прошу уволить по собственному желанию..." С директрисой гостиницы будет он сам говорить. Что еще? Значит — загс... паспорт, формальности... Паспортный стол в милиции. Ну — это все тоже вместе сделаем. Договоримся так: вы сейчас тут займитесь хозяйством, вещами — да, между прочим, ведь вы, наверно, за комнату платите? сколько должны? — вот, возьмите, наверное, можно соседке их отдать, она передаст? — и не дурите, о деньгах не думайте вовсе, я вас прошу! — ну, а я пойду с заявлением и разузнаю все насчет загса и прочем. В общем, ждите, пожалуй, к обеду, чуть позже — еще за билетами надо бы в аэропорт...

С директрисой — с дебилой, "кустодиевской" — как он с легкой руки экскурсовода-художника в Горьком, где он однажды видел "Русскую Венеру", называл подобного типа женщин, — договорился Никольский быстро. Та с самого начала на него взглянула с интересом, оценивая в нем, конечно же, самца, и он ей подыграл, взяв ручку и пожав ее с задержкой и поцеловав. Однако же узнав, что он с таким вот делом — с увольнением Дануты, да еще по причине ее замужества — а кто же муж? Вы?!! — начальственная баба принялась хмуриться. Он ей доверительно начал плести о квартире в Москве, — что ему не дают отдельную площадь, нужно, чтоб было прописано двое, и вот знакомый один — вы разве не знаете, он же ее и привез? — Ах, как же, еврей тот! — Он самый, он самый — вот он-то ему посоветовал, чтобы ее прописать, — представляете? что же приходится делать, жизнь заставляет!.. Послушайте, — вдруг спохватился он, — да на вас же кремовая кофточка! — Ах, что вы, при чем моя кофточка, — зачем это вы руками? — ведь я же

могу возмутиться! — Ни в коем случае, минуточку, сейчас вернусь — я в номер и обратно, вы только, пожалуйста, не уходите!..

...жалко, ах, жалко, Дануте так и не успел подарить!..

Вот, вот, смотрите. — Какая же прелесть! Янтарь! — Это ожерелье, честное слово, прямо на вас, к этой кофточке, а? — Мне неудобно, прямо... но от такого отказаться... Литовочке нашей с вами-то как повезло, вы такой деликатный мужчина. С какого числа подписать? — Не знаю, как в милиции, в загсе. А надо бы побыстрее. — Ах, да я помогу! Подождите, сейчас позвоню, мой благоверный-то, знаете кто? — Кто? — Начальник милиции! — Боже, какая удача! Вы ангел! — Гриш? А, Гриш? Это я. Чего я звоню-то: к тебе тут товарищ придет — Никольский Леонид Павлович — не забудешь фамилию? Ну, так Люська-то пусть его сразу к тебе пропустит. И сделай ему все. Он скажет. Ну ладно. Обедать-то будешь сегодня? Ну ладно. — Ох, я ваш должник по гроб жизни. — Пустяк-то! Приезжать еще будете? — Непременно! — Так прямо ко мне. Без брони, телеграммочку дайте — Таисия Петровна я, а фамилия — вот она, подпись. Уж теперь вы, считайте, свой, заалайский...

...Как же, приеду к тебе обязательно! Хотел бы я посмотреть на того расторопного шефа, с которым она вот на этом диване... Правда, увидев начальника милиции — мужа ее, маленького и злобненького, кажется, человечка, — Никольский одобрил и кабинетский диван, и шеф-повара, каким он ни был. Но мысли эти были неблагодарностью: начальник милиции устроил так, что все оказалось выписано и проштемпелевано в течение дня. Была это пятница, а на субботу Никольский попросил, чтобы двое нужных ему инженеров пришли работать с ним вместе часа три-четыре, и на заводе он все закончил еще довольно рано. Данута ждала его в загсе. Когда выходили, спускались с истертых скрипящих ступеней дощатого домика загса, вдруг подбежала Галочка

и, криво улыбаясь, сунула Дануте несколько мальвов. Никольский успел почувствовать, как пахло от Галочки водкой. Данута хотела что-то сказать, но Галочка неожиданно прыгнула в сторону и оттуда, на расстоянии, крикнула:

— А я с ним спала, слышишь?! Три ночи подряд спала, подряд! Понятно?

И скрылась.

— Дура. В душ мыться бегала, — сказал печально Никольский. Ему и в самом деле казалось, что не было с Галочкой ничего, что он вовсе не врет. Данута ему не ответила.

В тот же день вечерним рейсом они улетели.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

*Жизнь его могла быть очень приятна;
но он имел несчастье писать и печатать
стихи.*

А. Пушкин. Египетские ночи

XXIX

На скамейке Рождественского бульвара два старика играли в шахматы. При взгляде сверху, с высоты стоящего около скамеечной спинки человека, видны были доска с фигурами, соломенная шляпа одного из играющих и газета с жирным заголовком *Речь Н.С.Хрущева*: второй игрок прикрывался от солнца газетой.

— А вот спросим у молодого человека, — раздалось из-под речи Хрущева, и газетные буквы сдвинулись, открывая седой щетинистый подбородок, волосатые ноздри и черепаший веки вокруг склеротической роговицы. — Ладья под боем рокируется?

Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер пожал плечами:

— Что за вопрос!?

Ярко-желтый соломенный круг повертелся туда-сюда, однако второй игрок не оторвался от доски — был его ход, и последовало только нечто мурлыкающее, задумчиво-напевное:

— Вы это хорошо-о знаете-е... да-а?..

— Что за вопрос! — уверенно повторил Финкельмайер.

”Один, — вспомнился анекдот о евреях, — торговая точка; два — партия в шахматы; три — филармония...” Было

не очень похоже на филармонию, и Арон отошел: пусть хоть на этот раз, думал он, на этой скамейке, действительность и анекдот поиграют друг с другом один на один, без его участия...

Финкельмайер пошел вниз, к Трубной площади. Он не торопился. Он, казалось, нарочито медлил, переступая за шагом шаг. Походка его, и всегда-то отнюдь не спортивная, стала при этом совсем уж разбросанной, — еще и потому, быть может, что путь его резко вел под уклон, и нога всякий раз словно бы оступалась. К тому же, Арон мог размахивать только одной рукой: второй приходилось поддерживать и прижимать к боку папку. То и дело про папку Арон забывал, и ее задний край начинал опасно клониться к земле, а затем и вся папка вдруг, с поворотом внезапным желала согнуться из-под локтя на землю. Тогда Арон вздрагивал, умасливал снова папку под мышку и старался восстановить свой прежний медлительно-неровный шаг.

На площади, там где бульвар уже обрывался, он взял левее и, перейдя трамвайные рельсы, спустился к углу Неглинной. Он пересек Неглинную, но спохватился, что сделал это зря, и хотел быстро вернуться, однако свет светофора уже сменился, и машины хлынули потоком, перерезав путь назад. Арон не стал ждать. Он прошел немного по улице, затем остановился и с любопытством принялся разглядывать узоры обливной глазури над входом узбекского ресторана. Из ресторана вышел толстый узбек во френче довоенного покроя, в галифе с сапогами и с тубетейкой на самой макушке стриженной головы. Весь его вид говорил, что это был настоящий азиатский царек высокого ранга. Он тоже остановился рядом с Финкельмайером и тоже стал смотреть.

— Га? — сказал узбек. — Хороший? Цо-цо-цо-цо? — поцкал он языком.

— Йесс, — кивнул Арон. — Йесс, вери гут. Карашоу, — ответил Арон и нахально улыбнулся.

— О! О! — обрадовался узбек, тогда как глазки его беспокойно забегали. — Американ, да, да? Мир, мир! — провозгласил он и, вздевая руки, стал испуганно ретироваться. (Уже был сбит над городом Свердловском самолет-шпион У-2, политика мирного сосуществования была грубо сорвана американской военщиной, и американца снова следовало бояться.)

Арон дошел до Рахмановского, пропустил вереницу троллейбусов, у которых, видно, только что случились нелады с их длинными рогами, и теперь троллейбусы продвигались цепью, как стадо усталых коров вдоль деревенской улицы, — Арон насчитал их с десяток — затем перешел, наконец, Неглинку и вернулся немного назад.

Тут была цель всех его уличных эволюций: он вошел в сберкассу.

А.М. Финкельмайер оказался клиентом не из важных. Он вынул из папки новенькую сберкнижку, раскрыл ее и протянул за барьер, робко спрашивая, какая у него хранится сумма. Презрение, которым в избытке начинена была сидевшая за стеклянным барьером девица, излилось двумя приблизительно равными порциями: сперва сквозь взгляд, направленный на сберкнижку — там стояло "Один рубль 00 коп.", а затем — сквозь взгляд, обращенный на владельца столь гигантской суммы:

— Господи, у вас только рубль. Хотите забрать, что ли?

— Нет, как? Позвольте, но там перевод! — беспокойно сказал Финкельмайер.

— Так бы и говорили, тоже!.. — недовольно фыркнула девица. Она принялась крутить вертушку с картотекой. Когда же был найден счет А.М. Финкельмайера, девица обратилась к своему клиенту так, будто прочла в его карточке дивную мудрость о вежливости, которая стоит дешевле всего, а ценится выше всего на свете.

— Ах да, ну понятно, у вас тут большой перевод. От изда-

тельства. Я вам сейчас впишу в книжку, а вы, если будете брать, заполните листочек с ордером, — знаете, на красной стороне.

— Нет, я не хочу сейчас брать. Мне нужно знать, какая сумма. — Финкельмайер осмелел. Он вообще был в хорошем настроении и решил в отместку девице легонечко дернуть ее за хвост: — Вы пишете, пишете! — милостиво разрешил он ей. — А я пока буду на вас смотреть.

И он в самом деле уставился на нее с иронической улыбкой. Девица не нашлась, как на это ответить, и начала кропотливо писать.

Из сберкассы Арон снова направился к Трубной, сел в троллейбус и скоро сошел на Пушкинской площади. Обошел вокруг памятника и, глядя на склоненное лицо поэта, стал повторять любимые строки — те, о которых был разговор с Никольским: *"На свете счастья нет, но есть покой и воля... Давно завидная мечтается..."* — всегда вызывала эта фигура щемящее чувство. Поэт стоял отрешенный, отлученный, неосвобожденный.

Шумели струи фонтана. Девчонка лет четырех, на которой были только узкие желтые трусики и огромный белый бант в льняных волосах, бегала около самого круга мраморного парапета и разгоняла голубей, а когда попадала под водяную холодную пыль, восторженно взвизгивала. Бабушка ее пыталась поймать и что-то кричала ей о простуде. Скамейки в тени были заняты, но там, где жарило вовсю, места пустовали, и Арон с удовольствием устроился на солнцепеке.

Он сидел, бездумно наблюдая за девчонкой, за ее глупой бабушкой, за Пушкиным и за струями фонтана — все перемещалось и звучало, и каждое в отдельности в своем ладу и в своем ритме раскалывалось на звонкие краткие и стекалось в глухие протяжные, гласные пели глубоко и округло и образовывали окончания, а шипение, жужжание шин по широкой проезжей части воплощалось в причастия, в суф-

фиксы — и Арон ухмылялся: ах, жеманно сказал он о себе, еще одним стихотворением больше — меньше, какая разница? — но нравилось, как он его обволакивает, этот гул в голове, ах, пусть его длится, пусть его строится там и рифмуется, пусть чередуется так и не так, нечетное с четным, и эта бьющая в небо вена-струя и лавровый венок, парашют, камер-юнкерство — был аксельбант? — бантик девочки, бабушка, "Ира, Ирина, сейчас же вернись!" Родионовна, то есть Арина, Наталья, портал, итальянская опера (оперативник — какое хорошее слово!), опера, перпетуум-мобиле, голуби, лепет — Лебязья канавка — фонтана — Фонтанка, японская танка, тачанка, рычание танка (Таганка, зачем сгубила ты меня?), пора уже быть окончанию, солнце отчаянное, о, как жарко, и я измочален уже и печален... НАЧАЛЬНИКУ — только какому начальнику? — то ли отдела, то ли начальнику главка? Итак, открывается новая главка в дурацкой судьбе Финкельмайера.

Он открыл свою папку, вынул чистый лист и написал:

*Начальнику экономического
отдела от старшего инспектора
А.М. Финкельмайера.*

Заявление

Прошу уволить меня по собственному желанию.

Число он пока не поставил. Пусть начальство скажет, с какого числа может он увольняться: скажет, что с завтрашнего, — он уволится завтра. Чем раньше, тем лучше.

Затем Финкельмайер вынул еще один чистый лист, положил на него сберкнижку и трехзначную сумму графы "Доход" списал на бумагу. Он задумчиво разглядывал то, что теперь перед ним красовалось на девственном поле белой бумаги. Сумма выглядела непривычно солидно, потому что

первая цифра была в ней округло-пузатая, а не единица худая, к которой он так хорошо привык, читая ее каждый месяц в расчетном листке в день полочки. И с этой солидной цифрой на первом месте трудно было представить, каким же все-таки богатством он обладает реально. Много или мало — понятия относительные. Вот, например, приписать сзади ноль, — и выглядит все еще разительнее, а ведь он всего лишь перевел то же самое в старые деньги, в те, что были до реформы, когда десятка называлась сотней, а сотня — тысячей. Нет, лучше уж ноль зачеркнуть, чтобы не дразнил. Или оставить? Так он забавлялся с нулями, как с мыльными пузырями, и то раздувал свой капитал, и сам как будто распухал и чувствовал себя буржуем с карикатур, у которого на брюхе цепочка висит из нулей миллиарда, а то, уничтожив кружочек нуля, ощущал, как в нем опадают солидность и спесь, и он опять становился привычный себе Арон Финкельмайер. Однако не ради забавы прикидывал он то так, то этак реальную ценность своих денег. Он погрузился в сложные расчеты. Лист бумаги стал быстро покрываться записями. Столбики цифр перемежались столбиками букв, начинались буквы от А и шли по порядку месяцев от августа: А, С, О, Н, Д, Я, Ф, М — Арон планировал! свою жизнь!! на много месяцев вперед!!! Из этих букв Ф, О и Я появились также и в разрозненном виде в самых разных местах бумажного листочка. Но в этих случаях буквы обозначали вовсе не месяцы, а совсем иное: они расшифровывались словами "Фрида", "Отец" и "Я". Сей "Я" был, разумеется, сам Арон. И по тому, сколько раз переписывались эти начальные буквы и, в особенности, цифры, стоящие против них, было ясно, какую проблему старался Арон решить: он хотел список месяцев растянуть как можно дальше — быть может, до второго М — до мая, или даже до третьего А, сиречь — до следующего августа; и в то же время хотел как можно больше денег оставлять на Ф — Фриде и на О —

Отцу, для чего приходилось все уменьшать и уменьшать числа, выставяемые против "Я" — месячную сумму собственных расходов.

Чем дольше занимался Арон подсчетами, тем сильнее приходил в недоумение. Года не протянуть, это ясно. Месяцев восемь — вряд ли. Возможно, придется ограничиться полугодом. Подработает чем-нибудь. Но только захочет ли подрабатывать? Если мечтать о полном от всего уходе — как же думать тогда о зарплатке? Нет-нет, или все — или ничего. Иначе это просто безобразие, он на такое не согласен!

Тут он увидел Никольского. Тот входил в сквер со стороны кинотеатра и уже оглядывал скамейки, высматривая Финкельмайера.

— Вот это да! — восхищенно воскликнул Арон, когда они здоровались. — А ты, Леня, знаешь ли, прекрасный экземпляр! Строен, статен, загорел, мускулы так и играют! Я весь в комплексах! Моя городская бледность — а ведь и я был в отпуске — прямо-таки удручает!..

— Слушай, — морщась почему-то, как от зубной боли, перебил Никольский, — может, пойдем в холодок, пива выпьем?

— Пиво, пиво, диво, диво! — по-детски веселился Финкельмайер и чуть не пританцовывал. — А где его сейчас найдешь? Вон там был прежде пивной бар, так теперь молочная!

Никольский молча повернул его за локоть и повел за собой. Финкельмайер искоса взглянул на своего приятеля. Красив, черт, профиль как с классической медали, мужество и благородство, сила, смелость и открытый взгляд; а несколько порочные мешки под глазами придают ему еще больший шарм. Так сказать, следы переживаний: бурные ночи, бессонные бдения, женщины, вино, погони и дуэли.

– Нет, – вздохнул Финкельмайер, – не для того ты, Леонид, создан!

– Что? – откликнулся Никольский. Он не слышал слов Арона.

– Не для того ты создан, Леонид. Не для жигулевского пива и не для московской водки. Клерет, бургундское!.. Что там еще выпивают?

– Цикуту.

Финкельмайер снова посмотрел на него сбоку. Леонид был явно не в своей тарелке.

Меж тем они остановились у дверей кинохроники. Никольский подошел к билетерше, о чем-то спросил ее. Та громко крикнула куда-то внутрь:

– Шу-ур! Пивом торгуешь?

Она прислушалась к донесшемуся ответу и кивнула утвердительно. Никольский взял в кассе два билета. Через минуту оба приятеля сидели в пустом буфетике, неторопливо потягивали горьковатую жидкость из запотевших стаканов и курили.

Арон испытывал истинное блаженство. Когда утолили первую жажду, он, лихо жижикнув молнией, раскрыл свою папку и жестом факира выхватил из нее сберкнижку.

– Читайте, завидуйте! – изрек он, высоко в руке поднял книжку и передал ее Леониду. – Взгляни сюда... и еще сюда. – Вслед за книжкой Арон переправил Никольскому листок с заявлением.

Никольский взял и то и другое, и Арон вдруг увидел нечто, еще им не виданное, – растерянность, тревогу и, может быть, страх на этом твердом и уверенном всегда лице.

– Вот... видишь ли... – смешался Арон. Блаженство его улетучилось, и все, что так неглубоко под этим недолгим блаженством таилось – печаль и скорбь, усталость и неверие в себя и в жизнь, и знание того, что движутся события своей чередой стезею неизбежности, и в них менять что-

либо, как и в себе, как и вокруг, бессмысленно и невозможно, — все проявилось в голосе Арона. — Ты, помнишь, говорил... Если я решусь... ну, насчет квартиры... пожить пока... Но ни о чем никто еще не знает... ни дома... ни на работе... так что можно ничего не... Глупо, глупо, я вижу, как все глупо!.. В общем, я все равно тебе благодарен, ты тогда предложил, и я подумал, что...

Никольский поднял лицо, и Арон замолк. Они глядели друг другу в глаза.

— ...и н-н... н-ну это ладно все, Арон... н-неважно... привез я Дануту...

Он сразу не понял. Потом понял. И опять не понял. И понял — не понял, не понял — понял —

— ты — ее — привез...?

Отвратительно, что лицо напротив снова выглядит уверенно и твердо — рука вскинулась, пальцы впились в чужое запястье.

— ты-ы... ее — о-о...?

— Да. Отпусти.

— Ты-ы?!..

— Отпусти же, наконец, — зашипел Никольский, крутанул внезапно своею кистью, и обе сцепившиеся руки грохнули об доску стола. Покатился стакан, чья-то пуговица запрыгала рядом.

— Не хулиганьте, эй, мужики! — визгливо выкрикнула буфетчица.

Арон весь дрожал.

— Пошли отсюда, — сказал он глухо.

— Ну нет, старик. — Никольский деланно ухмыльнулся. — За пиво я платил, и я его допью. И тебе советую. А также советую послушать, что я скажу. Морду друг другу набить мы успеем.

Никольский встал, пошел к буфетной стойке и, вернувшись с тряпкой, аккуратно вытер пузырчатую лужу на сто-

ле. Он даже сменил стаканы. Вытер платком руки, налил обоим и рассчитанными глотками отпил. Финкельмайер смотрел и пытался решить, ненавидит ли он Никольского? Или он привязан к нему, как... как к старшему брату, которого младший и ненавидит, потому что — младший и потому, что — любит где-то в глубине души?

где-то он его любит

где-то он немного подлец

где-то он странный .

Никольский говорил, глядя в сторону и с интонацией делового равнодушия. Было похоже на скучную речь, заранее написанную и выученную наизусть: от Галочки я узнал, что ее... я пошел к ней домой, и она рассказала, что... я сказал ей, что... и я подумал, что единственный выход, это... конечно, она не согласилась, и я сказал, что... на следующий день я пришел, и она решила, что...

— Позвонил бы, — тихо сказал Финкельмайер.

— Слушай, Арон, ну зачем? — легко отозвался на человеческий тон Никольский. — Ну, терзался бы ты, или, хуже того, примчался бы, — а толку-то? Скажи, надо было ее вызволять? Говори прямо, надо или нет?

— Надо, — устало кивнул Финкельмайер.

— А как? Как иначе? Ты бы развелся? Вот так, сразу, сейчас? Скажи, скажи? — Никольский разволновался.

— Не надо меня припирять... к стенке, в угол, — сказал Финкельмайер моляще. Себя он чувствовал слабым, а Никольского — сильным человеком, и ощущение этого было постыдно.

— Не припираю вовсе, прости, — Никольский вкладывал в свои слова старательную ласковость. — Вот глупо, идиотизм это... говорить тебе... я, понимаешь, не тронул — вот (он сжал пальцы шепотью, как для того, чтобы крест сотворить) — ни на столько, понимаешь? и не трону. Хотя она такая... сам знаешь, лучше меня. Ты чувствуешь себя спокой-

но... с нею. Ее надо прописать. Я же это могу, у меня квартира, все легко устраивается. А там — ваше дело. Как она решит, как ты решишь. Ваше дело, я ж говорю. Развестись — не проблема, все сделаем в любой момент. Пусть пропишется сперва, поживет спокойно. А там — ваше дело.

— Поедет в Литву. — Финкельмайер махнул рукой.

— Ваше дело, — заладил Никольский одно и то же. — Квартиру тебе могу отдать, могу ей отдать, хотите — вместе там, черт бы вас подрал, живите. Я устроюсь.

— Где?

— У Веры.

Финкельмайер с грустью посмотрел на Никольского и почувствовал уже, что если сам он, Арон, по-прежнему остается очень слабым человеком, то и Леонида теперь не воспринимает очень уж сильным, разве чуточку сильнее себя... Вот оно что!.. Значит, и тогда, в парке, он думал, что у Веры, вот оно что... Значит, я верно догадывался!

— У Веры, видишь ли... — Финкельмайер набрал воздуха, но это не помогло ему продолжить свою фразу.

— Так что, так что, я правильно, значит, понял, — Леопольд, верно? — поспешно спросил Никольский.

Воздух с таким сипением вышел из гортани Финкельмайера, как будто на его адамово яблоко надавили. Но кадык продолжал торчать и судорожно двигаться над расстегнутым воротом.

— К лучшему, к лучшему! — проговорил, дважды отталкивая что-то от себя, Никольский и мрачно посмотрел в далекий угол. Ну точь-в-точь Царь Борис, кричавший "чур меня, чур!" — К лучшему, к лучшему! Я всюду опоздал немного, не находишь? — Никольский захохотал сардонически. Он хоронил свои надежды. Перед ним разверзлась глубокая яма, а возможно, и две ямы разверзлись! — и веселые гробокопатели с размаху, за руки и за ноги, бросали туда — раз — два-а, взяли! — и еще-о-о взяли! — и быстро, лопата за лопа-

той, забрасывали землей, и матерились громко, а из могил неслись еще женские крики — душе-раз-ди-ра-ю-ще! — Каждый человек без различия пола, возраста и национального происхождения имеет право на любовь и на тихое счастье, ты не находишь, Арон? Кроме, разумеется, меня.

— Кроме меня! — добавил Арон, готовый жалостливо-обнесчастневшего, обнищавшего обнять, облобызать, обласкать, облакать, облапить, облплпн —

— Сволочь, не ной, у тебя Данута, я же тебе ее привез, что тебе надо еще?!

— Не мне, не мне, мне не при...

— Что-что?!

— Уже недолго. Уйдет, уедет. Расправит крылышки, улетит.

— Полетит лебедушка за красным солнышком... Послушай, разведись и...?

— Нет. Это — нет.

— Ну и дурак.

Никольский вздохнул. Может быть, — несколько облегченно. Может быть, фантом надежды избег могильной участи и маячил еще за оградой кладбища?

— На! ключ! — Никольский звякнул ключом о стол. — У нее тоже есть.

— А ты?

— Я — где ночевал сегодня: у тетки. Я же тебе говорил: добрая тетушка из сказки. Бабушка у Красной шапочки. Отсюда в двух шагах, за "Пекином". Двухэтажная кирпичная коммуналка, бывший лабаз. Она меня обожает. Потому что сын у нее, мой двоюродный родственничек, далеко ушел в гору, и мамашу ему оттеля не видать.

— Нет, слушай, ключ возьми.

— Ты с ней не хочешь жить?.. Ну видали идиота?!..

— Хочу, хочу, успокойся... Но пусть она... сама...

– Пусть она сама откроет двери? Пусть. А ключик возьми. На всякий случай. Чтобы у меня не было.

Арон взял ключ и покрутил его перед собой.

– Нет, ты знаешь? – это смешно! Когда ты позвонил, я, знаешь? что вообразил? Что я, может быть, у тебя поживу. Даже если ты врал про тетушку, то с тобой вместе. Я подумал потом, что ты тогда в парке про Веру. Я ведь собирался тебе сказать, что к Вере тебе не следует... не надо рассчитывать, что там Леопольд и... В общем, был бы твоим компаньоном. Ты уходишь на работу с утра, и я весь день на свободе. А вечером – ну мы бы и не мешали друг другу, правда? Я бы и на кухне пристроился спать, правда же? И вот как все обернулось! А?

– Так живи там с ней, какого черта? А-а, свобода, свобода, правильно? – свобода тебе нужна! От денег и начальства, женщин и семьи? Так? Ну-ну... А где же все-таки будешь жить? Эх, горе ты мое злосчастье! Ну, поедем? – Свезу к Дануте? – *“Когда-а у вас нету-у тё-о-ти-и...”* – загорланил Никольский. Он выучился этой песенке в недавнем байдарочном походе.

– Не хулиганьте, не хулиганьте! – привычно закричала буфетчица.

Но Никольский не обратил на нее внимания, и, пока шли к выходу, он продолжал орать на все пустое гулкое фойе: *“...вам тё-о-ти не-е потеря-ать. А если вы не живе-о-те, вам можно не умира-ать... Когда у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Жена не уйдет к другому, если жены у вас нет...”*

– Расхулиганились! С пива-го! У-у, мужики! – неслоь им вдогонку.

XXX

Финкельмайер колебался еще с полмесяца, решая, увольняться ли ему с работы теперь, когда приехала Данута и когда все для него неожиданно усложнилось. Он проводил часы за грустными размышлениями и видел только, что любое событие, стоило лишь задуматься над ним, без конца оборачивалось прямо противоположными сторонами. Разобраться в происходящем он был бессилён. Раньше, собираясь уволиться, Финкельмайер отдавал себе отчет в том, что не сможет часто появляться в Заалайске и видеться с Данутой. Рассчитывал он, правда, сразу же, пока денег много, побывать там разок-другой, и еще рассчитывал на Манакина: скорее всего, та или другая редакция не однажды захочет напечатать стихи первого тонгорского поэта и будет посылать Финкельмайера встречаться с ним. Но вот стараниями Никольского появилась Данута в Москве, и проблема исчезла: Арон может видеть Дануту хоть каждый день. А это была уже другая проблема: какими станут у них отношения здесь? И есть ли у него сейчас право на ее любовь? Там, в Заалайске, когда он перевез Дануту и ее покойную сестру, спасая их от гибели, все выглядело иначе: он был избавителем, защитником, другом, братом и, наконец, мужчиной — просто мужчиной, который по понятиям всего тамошнего окружения у женщины должен быть — хотя бы для того, чтобы любой встречный остерегся хвататься жадной лапой за кофточку и грязными сапогами лазить через порог. Они все равно хватались и лезли, и покоя Дануте не было, и однажды Арон столкнулся с двумя. Когда он был уже избит до полусмерти, и они пытались затолкнуть его в разрытую канаву, ему удалось поднять кусок газовой

трубы и из последней, отчаянной мочи с безумною злобой ударить перед собой, по озверелым мордам. Он был вознагражден потом: три дня лежал у Дануты, и на третью ночь, когда он приник благодарно к ее коленям, она не высвободилась, не отошла и впервые осталась с ним. Их затеплившаяся любовь и родилась, наверно, из благодарности, из жалости — кто знает, как перемешаны бывают жалость, любовь, благодарность?.. Одиноким, несчастным, пригревшим и спасшим друг друга — разве не следует им полюбить, чтобы дать благодарности высшее выражение?..

А что ожидало любовь эту здесь, в Москве? Рядом была семья, и он знал, что близость ее будет его самого и Дануту всегда тяготить. И кем она станет — просто любовницей, чтобы его принимать, когда он захочет? — в квартире Никольского! значась женою Никольского, пусть и фиктивной! И он же, Никольский, — это ясно Арону и видно — конечно же, видно! — Дануте, влюблен в нее, и должен Арон признать, что ведет себя Леонид благородно, но до какой это будет поры? И кто ему запретит в любой безумный или рассчитанный миг воспользоваться всем — собственной квартирой, штампом в паспорте, женской беззащитностью и своими достоинствами — о чем говорить? великолепного самца!.. Двусмысленно, все складывается двусмысленно и пошло до отворачивания! А Фрида и девчонки? Разве мог он от них отвернуться? Все, чего хотелось ему, — это остаться на время в покое и тишине, уйти из ежедневной, ежечасной бессмысленности и суеты, которые на службе и в обстановке домашней обыденности проявлялись совсем по-разному, но действовали одинаково: сковывали, погружали его в меланхолию, вселяли в него неуверенность и беспокойство и заставляли думать о себе как о человеке никчемном, неполноценном, может быть, психе. Вот от чего хотел избавиться он — от бездарного быта как первопричины только, а главное — от безнадежного состояния, в котором вечно пребывал.

А тогда, — если бы удалось избавиться, — с облегчением в душе любил бы он детей своих, заботился бы о них без этого стойкого чувства гнетущей зависимости и вины, любил бы со свободой и радостью; и Фрида не стала бы мучиться ежевечерне, видя его неприкаянность, а то, что их двоих объединяет, не закрывалось бы тоской, беспросветностью, непониманием. Вот что было главным и явным и что казалось простым. Но было еще и неявное и непростое, но тоже главное: это — стихи. Он чувствовал, что в нем зрело давно и теперь готово выйти из него наружу, как из чрева — плод, и давно пора было освободиться от огромного и тяжелого и следовало, повинувшись чему-то инстинктивному, подобно обремененной суке, уползти в облюбованный тайный угол, и там рожать, и вылизывать, и вскармливать, и отдыхать... Уже все устраивалось, как он задумал: появились деньги, Никольский предложил свою квартиру. И вдруг это событие, вновь его повергшее в смятение полное: Данута в Москве!

Никольский привез его к ней, она знакомым движением протянула руки, прижалась на мгновение к груди, поцеловала дрожащими губами в лоб. Втроем поужинали. Никольский вышел из комнаты, сказав, что ему надо заняться байдаркой — он до сих пор не успел ее как следует уложить и запрятать в кладовке. Потом неожиданно щелкнул замок на входной двери. Арон выглянул в коридор — на замке висела бумажка: "Уехал к тетке. Позвоню завтра к вечеру". Арон вернулся к Дануте, обнял ее. И было у них, как раньше, — да только не совсем так: ему пришлось подумать о том, чтобы успеть на последнюю электричку, — ведь Фрида ждет его на даче... и эта комната Никольского... и эта-этой чужой-чужая диван-кровать... и эти немые вопросы — кто они теперь? зачем они теперь? куда они теперь?

Нет, все было не так, как раньше... Арон запутывался — неумелый длинноногий паук в своей собственной паутине.

Единственное, что он знал, — не знал, а определенно чувствовал, что не должен оставаться с Данутой, оставаться с нею изо дня в день. Ему, быть может, и хотелось согреться у ее тепла; но его уже потащило на открытое, продутое холодом пространство — в одиночество, где познабливает, а то и прохватывает до болезни, но где такой полынною, терпкою горечью пахнет свобода...

Итак, квартирой Никольского не удалось воспользоваться. А снимать жилье и платить за него рублей тридцать в месяц — значило и на обед-то совсем не иметь. Он и так, распределив свои финансы, для себя почти ничего не оставил...

Выход, однако, нашелся. Леопольд, к которому вконец потерянный Арон пришел излить душу, выслушал его, согласился, что связывать Дануту (он повернул это именно так) было бы опрометчиво, а затем, когда появилась Вера, спросил, как, по ее мнению, — мог бы в его свободной сейчас комнате жить Арон?

По лицу Веры было видно, что она обрадована. Она только посоветовала Арону пореже показываться на кухне: уж больно там, у Леопольда Михайловича, поганые соседи. Об этом Арон и сам знал. Да и что ему делать на кухне? — тарелку помыть, и то, при его хозяйственности, через день на третий.

Финкельмайер воспрянул духом. С работы его отпустили не без пожатия плеч, но и без уговоров остаться. Он перевез свое семейство с дачи и в сбивчивом монологе поведал Фриде о своем решении. Он еще раньше, весной, говорил ей, что мечтает, получив гонорар, уволиться. Она не очень понимала и тогда и сейчас, сколь многое стоит за его желанием, но все же догадывалась, что дело не только в тягостной службе, но и в их семейной жизни тоже. Поэтому Фрида была сражена намерением мужа поселиться у Леопольда — ради, разумеется, продуктивного творческого труда, кото-

рый по самой своей природе требует полнейшей тишины, сосредоточенности, самоотдачи — и так далее и тому подобное... Она, конечно, расстроилась. Но к Леопольду, к самому его имени, она питала доверие. Открыв чемодан с еще неразобранными дачными вещами, Фрида опростала его и принялась заполнять вещами Арона, вслух перечисляя, что именно дает она ему с собой, а что остается дома. Всегда заботливость жены удручала Арона. На этот раз он был готов повеситься.

Но день прошел, и еще, и еще. Блаженная жизнь началась у Арона! Все, что происходило теперь вокруг, доносилось до его сознания в приглушенных звуках, в расплывшихся контурах, в уменьшенных размерах; все теряло свое бывшее значение, растворялось, как леденец, но сладкой патокой обволакивало тело и сквозь поры проникало внутрь. То чувствовал себя он широким плоским зеленым листом, который занят уловлением воздуха, света и влаги; то шелковичной личинкой, завернутой в кокон и там переживающей осень — она уже наступила — и зиму — и ее он протянет — и так доживет до весны; то замечал, что колышет его невысокою, длинной волной, и он становится огрызком яблока, брошенного в реку, и течение реки несло его плавно вниз по руслу, и не имело значения, что он объеден, обглодан со всех сторон — только сердцевинка с зернышками осталась нетронутой — хорошо ему было плыть куда неведомо — ведомым — невидимым — мановением.

Бывало, что не выходил он из дому по несколько суток. Он забывал, что кончилась еда. Сидя за столом и записывая строку за строкой, он бессознательно мог почувствовать голод, свободная рука машинально тянулась туда, где лежал на обрывке газеты хлеб, но, не нащупав хлеба, он не помнил уже, что хотел поесть, и продолжал писать. Поздно вечером, обессиленный, он вдруг ощущал тупую боль в голове и голодную тошноту, но магазины были уже закрыты, и он засыпал.

Иногда, напротив, — днями напролет бродил он по городу, не присев, не остановившись, — бродил, оглядывая улицы, скользил неподвижным выпуклым глазом по лекальным линиям лепнин, по ватерпасным линиям прямых фасадов, по косящим трапециям крыш, по извивам арбатских кривоколен, по кольцам бульварным, садовым, по радиусам якиманским, полянским, ордынским. Он добредал уже к ночи и ночью, и женщина босая пробегала коридором к двери — "кто?" — "Арон" — и открывала, и входил, и ел, и пил, и любил, и спал, и просыпался, и умывался, и уходил, и бормотал, и спотыкался, и садился дома к столу, и не ел, и не пил, и скользила рука, и шуршала, падая на пол, бумага, за окнами были шаги, проезжала машина, стекло дребезжало и звякали склянки в углу на полу одна об другую бутылка об банку — до-бу-дь! — до-бе-ги! — шел дождь — о Боже! Дадь днесь, Отче наш!

В такой-то вот час, меж вечером и ночью, под самую полночь, в комнату к нему вошли, для формы стукнув, но не дожидаясь ни его ответа, ни даже поворота от стола.

— Проверка! — услышалось жесткое через туман.

— А? Вы... Простите, сказали?.. — Он отирал кулаками глаза и винтом поднимался со стула.

— Проверка. Ваш паспорт.

Он видел теперь милицейского лейтенанта, за ним соседку, жующую беспрестанно губами по-кроличьи. Лейтенант с деловитой быстротой направлял свой взгляд на стол, на постель, на стены и углы.

— Плитку держать не положено. Пожарная инспекция наложит штраф. — Он стал открывать планшетку из тугой блестящей кожи.

— Говори-ила им-то, говори-ила!.. — торжествующе пропела соседка.

— Так паспорт жду, — повторил лейтенант.

— Паспорт, — сказал Арон и развел руками. — К сожалению.

— Как понимать? Должны иметь паспорт и предъявлять.
— Здесь, к сожалению, у меня нет. Если вам очень нужно, я привезу. Ну, завтра — послезавтра.

Лейтенант в упор мрачно глянул:

— Вам! — нужно! — понятно? — а не мне! И без "ну" — завтра! — в обязательном порядке! Теперь так: прописку имеете какую?

— Какую — в смысле?..

— Москва, область или иногородний?

— Москва, конечно.

— Постоянно, временно?

— Да я в Москве родился! — вскричал Финкельмайер.

Лейтенант холодно возразил:

— Мы этого не знаем. Нет паспорта — и не знаем. Нет оснований. Постоянная?

— Постоянная.

— Так. Говорите по порядку: имя, отчество, фамилию. Год и место рождения, место прописки, место работы.

Лейтенант сел к столу и приготовился записывать. Арон занудным голосом начал диктовать. Когда добрались до пункта "место работы", он запнулся. У него теперь не было места работы! Он готов был радостно поделиться этим своим счастьем и весело сказать, что не работает нигде, и затем чуть ли не ждать от лейтенанта поздравлений с такой удачей — вот, дескать, молодец, живешь себе, на хлеб имеешь и на службу не ходишь!.. И вдруг увидел, с каким напряженным вниманием ждут его ответа и лейтенант, и соседка, которая, конечно же, и привела участкового к странному жильцу.

— Место работы... на данный момент... отсутствует! — казенным языком сформулировал Финкельмайер.

— "На данный момент"! Значит, отсутствует? Так, так. Сколько же не работаете?

— Да не знаю... Месяца полтора-два, наверно.

— Даже не помните точно, — резюмировал участковый. —

Чем это тут занимаетесь? — Он брезгливо взял листок со стола и стал рассматривать разбегающиеся строчки.

— Пишу. Положите-ка обратно, — угрожающе сказал Финкельмайер. — Я вам, кажется, не разрешал. Или тоже обязан?

Лейтенант еще на мгновение задержал взгляд на листке и молча, как будто не слышал протестующих слов, отложил бумагу в сторону.

— Семейное положение какое? — продолжил он.

Но Финкельмайер взвился:

— На кой вам мое семейное положение, а? Я вам скажу, что у меня семнадцать жен и сотни две детей — ведь вы не поверите? Ведь паспорта нет? Привезу паспорт — там все написано.

— Привезите, — подтвердил лейтенант. — Почему хозяин, квартиросъемщик отсутствует? Он вам сдает?

— Нет. Не сдает. Он болен, он старый человек, за ним ухаживают.

— Та-ак. — Лейтенант аккуратно записал и поднялся. — Паспорт имейте при себе. Хозяину передайте: пусть навещается, когда выздоровеет. В часы приема участкового.

Он приложил к козырьку ладонь, повернулся и пошел из комнаты. Потянулась за ним соседка, — оглядываясь, жуя, сжимаясь и разжимаясь при каждом шаге.

XXXI

Видеться и говорить с кем-либо, кроме Дануты, Арону было болезненно трудно. Если и раньше он в любой момент готов был уйти в себя, погрузиться в созерцательную отрешенность, — и признаками такого состояния являлись неподвижные, опечаленные глаза, недоуменно приподнятые

брови и блуждающая полуулыбка, — то теперь, если его не трогали, он пребывал в нирване постоянно. Когда же нечто внешнее касалось его разума, он реагировал с мимозной чувствительностью и сразу проявлял стремление свернуть, замкнуть, втянуть свои лепестки, чтоб снова ничего не видеть и не слышать.

Иногда звонили ему из Прибежища. Временами давал знать о себе Никольский. В Прибежище уже с началом сентября установили правило встречаться в своем кругу регулярно, в определенный день, каждые две-три недели. Никольский там не появлялся. Арон, когда Леопольд или Вера звали его прийти, отвечал что-то невразумительное — да, да... конечно же... я, наверно... — и не приходил. На него не обижались: все понимали, что ему сейчас никто не нужен.

Позванивала Фрида. Она спрашивала, все ли у него в порядке, хорошо ли с питанием, не надо ли ему к зиме купить утепленную обувь. Рассказывала о девочках. В речах ее вечно слышалась скованность, и, пока разговор их длился, голос Фриды набухал слезами. Ее звонки Арон переносил с особенным мучением. Фриде, которая и раньше знала адрес и телефон Леопольда, Арон поручил называть этот номер, если кому-либо очень понадобится разыскивать Финкельмайера. Но кому? И все-таки однажды рано утром раздался неожиданный звонок. Арон еще спал, не сразу пришел в себя, в трубке же вместо приветствия звучало нечто совсем неразборчивое, и ему показалось, будто говорят "Леопольд Михайлович". Пришлось начинать объяснения, что хозяин комнаты здесь не живет сейчас, но его перебили, и тут Арон понял, что трудноразличимые звуки — это знакомое "Аронмендель", что это Манакин собственной персоной осчастливил его вниманием. Арон почувствовал себя отброшенным назад, мгновенно унесенным куда-то в давно отошедшее. Там, в неудобном, колючем, необъяснимом, он, помнится, зависел от Манакина — ждал от него переводов

на деньги, которые ему, Арону, полностью принадлежали и из которых Манакин давал половину — лишь потому, что сам зависел от Финкельмайера; и, помнится, Манакин тайно — вероломно — пристроил глупую свою фамилию *Манакин* на титуле и переплете книги и, значит, уничтожил тот смешной, веселый псевдоним — уничтожил поэта Айона Непригена! О, этот мелкий, ничтожный Манакин!

— А-а-а, Манакин! Какая радость! Где же вы?

— "Метрополе". Говорить надо.

— Не могу, товарищ Манакин.

— Нельзя не могу, потому очень надо говорить.

— Вы большой человек, товарищ Манакин. Вам неприлично со мной говорить. А я так уже даже не знаю, как мне с вами себя вести, товарищ Манакин. Я, стыдно сказать, почти не знаком с товарищем Манакиным.

— Почему говоришь, смеешься, понимаю, дела надо говорить, Аронмендельч, когда...

— Нет, нет, я всегда имел дело с Айоном Непригеном. Куда вы дели Айона Непригена? Что вы с ним сделали, товарищ Манакин? Это правда, что на книге стихов, которая — не знаю, уже есть книга, а?

— Есть книга, авторский экземпляр называется, мало штук есть, скоро много будет...

— Я так и знал, с чего бы вы тут появились! И на книге написано что? — "Данила Манакин" написано?

— Лучше надо Манакин писать надо лучше дела будет.

— Эх ты, народный поэт! — Иди-ка ты!.. — легко сказал Арон и бросил трубку. Телефон немедленно зазвонил снова, но Арон и не подумал ответить на непрерывный звонок. С Манакиным было покончено! С прошлым было покончено! *Vita nova!* Он, Арон Финкельмайер, принадлежит себе и только себе!

Однако в этот день ему не давали покоя. Среди дня с работы позвонил Никольский.

— Ты, как я знаю, газет не читаешь, — начал он. — Так вот: открылось совещание... — постой, как бишь оно... — ”по проблемам литератур малых народностей”. Опять в числе нескольких книг упоминается сборник стихов Данилы Манакина ”Удача”. Совещание продлится пять дней.

— Какое мне дело? — тоскливо сказал Арон. — Манакин меня уже терзал. Да не желаю я обо всем этом слышать!

— Ага, Манакин здесь? Где он остановился?

— В ”Метрополе”.

— Понятно, — ответил Никольский и распрощался.

Чуть позже был еще один разговор: в трубке послышался старческий, но вполне уверенный голос, и по светски-изысканным модуляциям Арон узнал Мэтра.

— Мой мальчик, поздравляю! Ты ушел с работы? Несчастливая жена, бедняжка переживает, я ее, надеюсь, успокоил: судьба поэта, что поделаешь!.. Да, да, нас всех влечет неведомая сила, нас Музы призвали на пиршество, и нас никто не отвратит от сладкого соблазна. Мальчик, меня познакомили с этим твоим снежным человеком из тундры — Макакин? Манакин! Мерси боку. Он очень на тебя обижен. Там срочно нужна подборка стихов. Ах, для газеты, но невозможно брать из вышедшей книги! Я за тебя дал слово. Кстати сказать, ты когда ж пригласишь на торжество? Выход в свет первой книги! Мы должны разбить бутылку шампани — большому кораблю большое плавание, не так ли? А две других, разумеется, мы разопьем. Пренебрегая печенью больной и почками, — я по этой причине писал — м-м-м... н-ну, ладно, мне там нравится только составная рифма, — все, собственно, ради нее: ”бес в печень — беспечен” — конечно, мягкое ”эн” с твердым — а? по-твоему, ничего? Мерси, мерси... О чем же, дорогой, мы? Ах, да, — Макакин. Ты уж, будь добр, отдай им несколько стихов. Предполагается и альманах участников совещания. Ты, милый мой, зайди ко мне сегодня, я взял тебе гостевой билет, там очень полезно

побывать. Я сведу тебя с людьми, ты получишь постоянный заработок, — поэту невозможно жить, не имея каждый месяц по несколько переводов... Мальчик, обойдись без глупостей. Ты отличаешься ослиным упрямством... Если бы ты не был так талантлив и не я бы тебя открыл... Ты сукин сын! Мальчик, не смей раздражать меня, я старый больной человек. Не хочешь сегодня — завтра в десять ты приедешь ко мне, и вместе поедем. По дороге возьми мотор. Счетчик оплачу я. Между прочим, когда ты позовешь меня пить шампанское, я участвую в расходах. До завтра, дорогой.

Мэтр старел. Он становился слишком многословным. А нетерпимым он был всегда. Идти на проклятое совещание? Да провались оно ко всем чертям вместе с Манакиным, с редакторами, газетами и альманахами! Мэтр обидится — и пусть его, переживет. Что же касается торжества с шампанским — это, пожалуй, устроить неплохо. Даже было бы хорошо, просто превосходно! Прекрасная идея! Неблагодарная свинья! — забыл обо всех, кто столько сделал для него. Мэтру не удосужился позвонить — наверное, за полгода ни разу. С Леопольдом сколько уже не виделся? — да вот, как отдал он свою комнату, так и... А Никольский — Никольский всех стал избегать из-за него, из-за Арона. Нет, нет, нельзя быть причиной... разброда, раздора, разора... Собратся — да! прекрасно, да! прекрасно — за дружеским столом и слушать разговор (разор, разброд, раздор), потягивать вино, курить и ни о чем не думать!

Арон решил сперва сговориться с Верой: как отнесется к этой встрече Леопольд? И скоро Леопольд сообщил, что договорился со своими бывшими коллегами в "Национале": — Арон согласен? — Согласен, конечно, согласен! — Тогда установим дату и, пожалуйста, приблизительное число гостей?... — Вы и Вера, ну, надеюсь, Никольский, да? — Разумеется. — Обязательно должен быть Мэтр — вот, наконец-то, будет случай вам познакомиться, верно? — Что ж, очень рад. —

Я хотел бы Дануту... но... как она... — Постарайтесь, Арон, чтоб она была с нами. — Да, да. И... и кого еще захочет Вера, или вы пригласите? — Спасибо. Возможно, Толик? — Вот и хорошо! — Мы будем, следовательно, считать, что персон на десять? — Спасибо вам, спасибо!

Никольский, услышав о вечере в "Национале", ответил после долгой паузы. Он откровенно признался, что не знает, не будет ли ему не по себе.

— Ты придешь с Данутой? — спросил он вдруг.

— Да, я хочу ее со всеми познакомить.

— Валяй, валяй, — равнодушно сказал Никольский. — Мне можно позвать одну парочку, — своего приятеля с дамой? Там, у Веры, их знают хорошо — Витька и Варенька, жена художника. Мне с ними будет... повеселее малость.

— Варенька? Она бывала здесь, у Леопольда, я помню. А муж ее?..

— Кто его знает. Где-то в деревне, спивается, верно. Мой Витек в нее влюбился по уши. Так прихватить? И кой о чем тебе порасскажу. Я видел Манакина.

— Хорошо, хорошо, при встрече!..

Дался им чертов Манакин! Мэтр тоже начал что-то кричать про Манакина, когда Арон позвонил по поводу вечеринки. Старик был не на шутку разъярен из-за того, что его протеже Финкельмайер не выполнил веления во что бы то ни стало явиться на переговоры с Манакиным, с редакторами, издателями и поэтами-работодателями.

— Мальчишка! — разорвался Мэтр, не давая сказать ни слова. — Пижон, ты подохнешь с голоду! Ты, разье... — он перешел на матерщину, — гением себя считаешь?! Черной работы не хочешь, руки замарать боишься?! Ах ты...

Плохое дыхание Мэтру мешало, он на миг остановился, и Арону удалось сказать ему о ресторане. Мэтр сразу же стал отходить, успокоился и лишь пригрозил, что спустит при всех штаны и высечет.

”Националь” сиял буржуазной роскошью модерна последних золотых времен эпохи Николая, хотя на стенах, выкрашенных и небрежно и не в нужном стиле, на бра и люстрах с подмененными кургузыми плафонами, на мраморных полах, которые устлали учрежденческой — казенной, уже потрепанной дорожкой, — повсюду неизбежно проступали другие времена, другие нравы. Однако тот банкетный зал, который был заранее записан Леопольду, не выявлял былого увесистого величия ”по-московски” в смеси с нынешней удалой столичной мишурностью: небольшая, но просторная комната была спокойно обставлена, мягко освещена и выглядела в меру праздничной и в меру интимной. И сам хозяйничавший здесь Леопольд, как умудренный долгой службой при дворе церемониймейстер, источал особенный дух приподнятости — несколько домашней, какая присуща только семейным торжествам. При этом был он профессионально деловит, частенько подходил к нему пожилой официант, и они, причастные к таинству, говорили вполголоса, поглядывая на стол и размечая в воздухе ладонью некие возможные перестановки, как это делают шахматные мастера за разбором партии.

Леопольд и Вера, а с ними Женя, приехали сюда много раньше остальных. Арон появился в дверях, неуклюже пропуская мимо себя Дануту. Он радовался, что успели пораньше: Данута волновалась, ей было страшно представить себя участницей такого вечера — где-то в самом центре огромного, совсем чужого города, среди чужих людей, в пугающе богатой обстановке знаменитого ресторана, и Арон это понимал, и верно придумал привезти Дануту еще до того, как все соберутся. Леопольд поцеловал ей ручку и сказал: ”Прощу”, и это слово, точнее, польско-литовское ударение в нем, заставило Дануту заулыбаться, ее неловкость стала исчезать, и к тому же гостью взяла под свое покровительство Вера. Улучив момент, Вера подошла к Арону и, издали взи-

рая на Дануту ласково, сказала с тихим восхищением: "Какая она хорошая-а!.."

Пришел Толик, возбужденный тем, что на вешалке у него отказывались взять его потрепанный портфель, а на парадную лестницу с портфелем не пускали. Он пристроил сей предмет скандала в одном из углов и принялся с наивным любопытством разглядывать потолочную лепку, сверкающие подвески на люстре и позолоту на мебели: ему тоже все это было в новинку. И на лицах еще двоих — у Виктора и Вареньки, явившихся вместе с Никольским, — держалось некоторое время недоуменное выражение: атмосфера утонченного благородства смущала. Но Виктор, человек не робкого десятка, умел легко приспособливаться к любой обстановке, да и, откровенно говоря, на любую обстановку чихать он хотел, поскольку всегда и везде сам себе был хозяин. А главное — мог ли допустить, чтобы Варенька увидела, как он тушует? И если выглядел он смущенным немного, то из-за нее же, — так он обожал свою возлюбленную, что чувствовал себя рядом с нею младенчиком — восторженным и совсем еще глупеньким. Варенька же, с облегчением обнаружив, что и здесь, среди этой роскоши ее кавалер ей верен, глаз от нее не отводит и не покидает ее ни на миг, повела себя с обычной милой плавностью и приветливостью и в своем сарафане и белой с вышивкой блузке, поверх которой с груди спадала коса, была как юная царевна какого-нибудь патриархального царства берендеева.

Никольский, войдя, почел за лучшее поздороваться сразу со всеми — подняв руки в общем приветствии. Но к нему направился Леопольд, дотянул руку и сказал, глядя прямо в глаза:

— Очень рад вас видеть.

Никольский кивнул.

— Я тоже, Леопольд Михайлович.

И вслед за рукопожатием, уже отходя, Леопольд слегка

сжал ему локоть. Потом Вера, закусив губу, посмотрела на Никольского и раз и другой, показывая, что готова с ним говорить, и, пока он что-то преодолевал в себе, уже оказалась рядом.

— Здравствуй, Леня, ты молодец, что пришел, — начала она, он перебил:

— Ну еще бы, — такой стол!

Она поморщилась, — она не хотела этого тона.

— Я виновата, что как-то... ни о чем не было сказано.

— Э, Вера, — опять перебил он, — а он как раз такого тона не хотел: — Какое имеет значение? Разве что-то требует пояснений?

Уж не собралась ли она пролить слезы жалости?

— Да, хорошо, конечно, — быстро согласилась она. — Только одно: я хочу, чтоб ты знал, что все это слишком серьезно, чтобы...

Он понял. Ее слова означали: "Я побаиваюсь тебя. Пожалуйста, будь милосерден. Не помешай. Я дорожу тем, что есть, и мне потерять это страшно".

Теперь уже он взял близко к локтю ее руку:

— Пусть все будет хорошо. Ты, Вера, многого стоишь, скажу я тебе!

— И знаешь что? Ты приходи в Прибежище, ладно? И не только в четверги, когда собираются, — всегда. Позвони и приходи. Договорились?

— Что же, пожалуй.

Данута держалась около Финкельмайера. Никольский остановился перед ними и раскланивался и кривовато посмеивался и заговорил — все с одной игривой развязностью:

— Ну, женушка, здравствуйте, как вы там без меня поживаете?

В бок ему ткнулся костлявый кулак Арона, и это было чувствительно.

— Сразу и в драку, — посетовал Никольский и потер свои

ребра. Он увидел, что лицо Дануты беспомощно, и она умоляюще смотрит, и влага у нее под ресницами. Будто именно этого он ждал — он вдруг ощутил злорадную успокоенность (“неужто этого ждал?!” — подумал с ужасом), и переменялся, и сказал повинно:

— Не обижайтесь, ребята. Я чумовой сегодня. Данута, вот что нужно сделать. — Он полез во внутренний карман, достал бумажник. — Вот это на квартальный взнос.

Он стал ей объяснять, куда и как платить за квартиру. Арон вмешался, предлагая, что деньги даст он, Данута робко сказала, что она работает (она устроилась в приемный пункт химчистки), что может платить сама — Никольский их грубовато отшил, объяснил, что кооператив — его, он никому пока что квартиру не дарит, он только просит Дануту об одолжении, подъехал бы сам, да все некогда... За этим “некогда” подразумевалось, что он и близко не хочет появляться там, около Дануты, и пусть у них не будет сомнения на этот счет.

— Спасибо, — прошептала Данута, опуская деньги в сумочку. И не поднимая глаз: — Благодарна вам очень... вы... такой друг... Таких люди мало имеют...

Ду-ше-раз-ди-ра-ю-ще! Никольского жалеют женщины! Что происходит с миром?!

Ждали Мэтра. Старый волк как будто чуял, когда предстать пред взоры собравшихся, — как раз в тот момент, когда уж начали волноваться — приедет? не приедет? не заболел ли? не позвонить ли ему?

— Бон суар, бон суар! — опираясь на палку, медленно входил он в залу. Его сопровождал служитель, который почтительно простирает перед ним отставленную длань, указывая путь, словно цель их долгого совместного шествия по ковровым лестницам и коридорам еще не приблизилась. — Благодарю, — с княжеской величавостью было сказано служителю, и тот, склонив голову, удалился.

Ничуть не стремясь к тому, без малейшего усилия Мэтр завладел всеобщим вниманием. Просто-напросто, коль он оказывался среди имеющих зрение, — смотрели на него; коль он оказывался среди имеющих слух, было естественно, что *он* говорил, а остальные слушали, и если тоже говорили, то в роли *его* партнеров по беседе, которую он сам искусно режиссировал. Он был здорово зол на Арона и коршуном на него напустился, тыча палкой ему в живот. Мэтр выговаривал Арону язвительно, воздерживаясь, однако, от любимых грубостей, но, поругавшись в меру, принялся, так сказать, ”журить по-отечески”, вызывая улыбки своим парадоксальным юмором. Прервав после одной из наиболее удачных шуток свой монолог, Мэтр огляделся и с нарочитой капризностью сказал:

— Позвольте, нас будут кормить? Я есть хочу!

Стали рассаживаться, и он еще погрозил Арону палкой: — Не думай, что мой голод тебя спас. Берегись: насытившись, я не становлюсь добрее. Я еще поговорю с тобой всерьез!

— Я к вам присоединяюсь, — добавил Никольский. — Возьмите в союзники.

— Превосходно, — ответил Мэтр, — но с условием. Вы здесь знакомы со всеми? В таком случае, устройте, чтобы от меня ошуюю и одесную сидели наши милые женщины.

Его устроили между Верой и Варенькой.

— По традиции на столе должна лежать книга поэта. У тебя она есть, Арон?

— Одну минуту, — сказал Никольский и быстро вышел. Вернулся он, держа портфель.

— В гардеробе оставляли? — растерянно спросил Толик, когда Никольский уселся на свое место рядом с ним и открыл портфель. — А мой ни за что не принимали. Чуть не выгнали.

— Толик, Толик, — сказал Никольский с укоризной. —

Побольше хамства — и все будет в порядке. Вот, — протянул он Арону пачку небольших книжечек. — Тут десять штук. Можешь дарить.

Все радостно зашумели. Вера заплодировала, к ней присоединился Мэтр.

— Где ты их взял? — спросил Финкельмайер. С растерянной улыбкой смотрел он на книжку, непослушными пальцами переворачивал страницы.

— Манакин дал.

— Манакин? Ты видел Манакина?

— Ладно, ладно, потом, — отмахнулся Никольский.

— На стол ее, устройте на столе! — громко призывал Мэтр, потрясая книжкой. — Дорогая моя, — обратился он к Вере, — на эту вазу, среди гвоздик.

Узкая, высокая цветочная ваза превратилась в пьедестал, на котором и вознеслась книга, поставленная на нижний срез своих чуть раскрытых страниц. Красные и белые гвоздики окружали ее, и один из упругих стеблей оказался между страницами — цветок будто прорастал сквозь книгу.

Хлопнули одна за другой две пробки — Леопольд и Никольский наполняли бокалы шампанским, Мэтр начал говорить витиеватый тост, но неожиданно для себя расчувствовался, голос его дрогнул.

— Как ты вырос! С тех пор, в армии, десять лет назад, когда мы в первый раз увиделись. Ты помнишь? Мальчик, иди сюда, я тебя обниму, — сказал он совсем по-стариковски.

Арон, вскакивая, чуть не уронил стул... Мэтр тоже встал, поворачиваясь лицом к подбегавшему Арону, и сцена объятий была трогательной до слез. Мэтр и утер под глазами платком, высморкался, поднял бокал. Все поздравляли виновника торжества и пили.

Арон ликовал: так удачно все шло! Чудесно, чудесно, что эти люди пришли, он любит сейчас их всех — и рыжего Вик-

тора, с которым совсем незнаком, тоже любит; и Мэтра, который, конечно, становился вздорным, и его не всегда легко сносить, но который бывает так мил, когда ребячится и шутит; и Леонида! — любит, любит его, красавца, умницу, нахала, — в нем от породы исчезнувших (эполеты, пистолеты, ментик, пунш, дуэль, цыгане) или от породы грядущих (звездолеты, свет астральный, шлем, скафандр, бесконечность), и он здесь совсем одинок, хуже, чем одинок, потому что и Вера здесь — счастливая Вера! — и... Люблю, люблю Данушку; люблю, люблю Леопольда; люблю, люблю Леонида; лю-лю-ле-ле-ля-ле-о-лак — *проходит Солнце неба середине...*

Мэтр галантно развлекал своих соседок, причем Вареньку назвал он "боярышней" и только так обращался к ней. А разговор с Верой, которая быстро ответила ему на какое-то французское словцо и потом на расспросы Мэтра сообщила, что владеет итальянским, французским же — неважно, разговор с нею лихо и непринужденно перескакивал от русского — к французскому, от итальянского — к классической латыни.

Леопольд сидел по другую руку от Веры, но через угол, на короткой стороне стола вместе с Ароном: отсюда удобнее всего было управлять ходом пиршества. Официант частенько наклонялся к плечу Леопольда, чтобы выслушать его указания, иногда же Леопольд вставал и сам ухаживал за гостями. Не участвуя в беседе, он, однако, время от времени поглядывал на Мэтра и едва заметно усмехался в усы, слушая его изящные тирады.

— Где я вас мог встречать? — обратился Мэтр к Леопольду. Тот развел руками.

— Видимо, в "Национале".

— Ну, ну, шутки шутками, — а все же? Ваше лицо мне кажется знакомым, — продолжал Мэтр.

— Какие же шутки? — возразил Леопольд. — Если нужда-

етесь в доказательствах, — извольте: в годы после окончания войны вы бывали здесь у нас постоянно, — к примеру, в обществе — Юрия Карловича Олеси или...

— Позвольте! — вскричал Мэтр, — это все верно, верно! — я не пойму только, что значит ваше "здесь у нас"? Вы хотите сказать?..

— До выхода на пенсию ваш покорный слуга работал официантом в "Национале".

— То есть... Вы?!.. — выпучивал Мэтр глаза, отчего на лбу его наморщилась пергаментная с желтизной кожа. — Нет, что вы ерундите! Где-то еще, когда-то раньше, видел, видел я вас!

— Возможно, что и раньше, — спокойно согласился Леопольд. — Во времена Литературно-художественного кружка. Вы читали там свои ранние опыты. И не однажды! Не думаю, правда, что в ту пору вы могли меня запомнить. Вы были, если так можно выразиться, начинающей знаменитостью, а я принадлежал к среде актерской молодежи.

— Ах, вы — на театре были?

— Нет. Любительство и ничего более. Это длилось года полтора. Я был во главе... КЭМСТ'а — вам вряд ли вспомнится такое звуко сочетание, хотя мы и очень старались шуметь.

— Как вы сказали? Это, я полагаю, по тогдашней моде — аббревиатура?

— Разумеется.

— Леопольд Михайлович, и что же это значило, этот КЭМСТ? Расскажите, — горячо попросила Вера, и уже всеобщее внимание было привлечено к завязавшемуся разговору.

— Гм... — начал несколько смущенно Леопольд, и обычный в его взгляде юмор сменился откровенным лукавством. — Видите ли, тут как читать: через "е" или через "э" обратное. Официально мы свой КЭМСТ расшифровывали так: "Коммунальная Экспериментальная Молодежная

Студия". Но имели в виду некий лозунг. Первоначально он, собственно, и дал те слова, из которых сложилось буквенное сочетание — КЭМСТ. Если дамы не будут шокированы... Приблизительно так: гм... "К Эдакой Матери Старый Театр!"

За столом восторженно расхохотались. Мэтр смеялся до слез, вытирал глаза, кивал головой; — он вспоминал те удивительные времена, когда, казалось, все были молоды и, казалось, всем было все дозволено.

— Но ведь тут тоже "э" обратное?!.. — вдруг с недоумением спросила Женечка.

Вновь разразился хохот.

— Ах ты моя деточка! — умильно воскликнул Никольский и, заключив Женю в страстных объятиях, оглушительно чмокнул ее в пунцовую щеку.

— Отстаньте! — оттолкнула его Женя с тем смешанным чувством возбуждения и стеснения, какое было ей присуще всегда, а в непосредственной близости мужчины становилось особенно заметно. — Ну никогда не объяснят ничего! — возмущалась она.

Леопольд обошел вокруг стола и, целуя ей руку, смущенно-успокоительно сказал:

— Простите, милая. Не очень приличная шутка. Не обижайтесь.

Он возвратился на свое место. Мэтр, все еще стараясь припомнить ускользавшее, проговорил:

— Но почему ваше лицо... представляется мне... что есть какая-то связь с живописью, а?

— Леопольд Михайлович — искусствовед. Он читал в ЦДРИ, — подсказала Вера. — Но вообще-то Леопольд Михайлович — историк.

— Отказываюсь понимать! Мне голову морочат! — И Мэтр демонстративно схватился за голову. — Режиссер, искусствовед, официант, историк!.. Нет, нет — живопись, живопись,

холст, масло, рама — вот что! Склероз проклятый! А вы меня, старика, дурачите!

— Отчего же? Я, вероятно, догадываюсь, о чем идет речь, — возразил Леопольд. — Вы бываете у Жилинского?

— Еще бы! Мы хорошие друзья, дай Бог не соврать, лет тридцать, — с той поры, как я занялся французскими переводами.

— У него в собрании — портрет художника — с кистью, палитрой, на мольберте — обнаженная натура.

— Эврика, эврика! Bravo, bravo! — торжествовал Мэтр. — Я вас узнал, я вас узнал! Ну вот, — вы художник!

— Это был тоже недолгий период любительства.

— Кто же вас писал? Не помню, я, наверно, и не спрашивал у Жилинского!

— Это автопортрет.

— Автопортрет?! — Мэтр снова выпучил глаза. — Ну, друг мой! Любительство! Я не Бог вещь как в подобных вещах разбираюсь, но уж наш общий знакомый посредственных работ не держит!

Леопольд и на это промолчал. Потом сказал "извините" и встал: профессиональное чутье подсказало ему, что пришла пора подать новое блюдо.

— Отказываюсь понимать, отказываюсь, — бормотал Мэтр. Он давно уже вытащил трубку, мял в ней табак и теперь посасывал мундштук, не зажигая огня: то ли забыл, то ли берег здоровье.

Перед десертом получился в застолье перерыв — возможно, что не без умысла Леопольда. Была открыта дверь в большую соседнюю залу, где играл оркестр и танцевали чинные пары. Женя потащила туда Толика, и следом Виктор, набравшись храбрости, увел Вареньку. Мэтр устроился в кресле под огромным абажуром углового торшера. Села рядом и Вера, которая, судя по всему, взяла на себя миссию опекать старика. Мэтр попросил книгу Арона, надел очки и

стал наугад раскрывать, страницу за страницей, — читать вслух, то и дело со смаком акцентируя строчки, на его вкус наиболее удачные. Дойдя до такого места, он заранее поднимал вверх палец, требуя особенного внимания, а когда сценически отчетливо, богато модулируя каждый слог, прочитывал отрывок, то обводил своих слушателей горделивым взглядом. Поспешно прикрыли двери, чтобы не мешала музыка, пододвинулись поближе, и все стали слушать Мэтра. Именно Мэтра, — поскольку поневоле забывалось, что читаются стихи Арона Финкельмайера. И сам Арон сидел замороженный. Его длинные руки сцепились где-то под коленями, он замер в неподвижности и лишь иногда внезапным толчком подавался вперед, — Одиссеей, привязавшийся к мачте, чтобы слушать пенье сирен.

— Какая свобода! Какое легкое дыхание! — восторгался Мэтр. — Какая протяженность! — от строфы к строфе! Эти цезуры! Эти люфтпаузы! Мелодика, ритм — это Моцарт, — да, да, поздний Моцарт! Поэт Айон Неприген, — поклоняюсь и благодарю! *и приветствую звоном щита!*

Он сказал это с пафосом, обращая свои слова к книге, как если бы она была священным евангелием.

— Что уж Непригена поминать! — саркастически подал голос Никольский. — Мир его праху! Аминь.

— Простите? — повернулся недовольный Мэтр.

— Я говорю, что нет никакого Айона Непригена. Фикция.

— Фикция! — пожав плечами, повторил Мэтр. — Не фикция, а реальность. Сама жизнь, если хотите! Книга Непригена — это, по-вашему, фикция? Неприген — псевдоним, мистификация — таковые были, есть и будут в литературе всегда. Литература по своей природе потаенна, молодой человек, и придет пора, когда за Непригеном будет по праву стоять Финкельмайер.

— Да нет никакого Непригена! — ответил Никольский с

неуважительным пренебрежением. — На книге-то стоит "Манакин". При чем тут Неприген?

До Мэтра смысл сказанного дошел не сразу. Недоуменно уставился он на Никольского, перевел взгляд на обложку со стилизованной головой оленя, держащего на рогах солнце; медленно, дрожащей рукой водрузил на нос очки; прочитал, чуть шевеля губами:

Данила Манакин

УДАЧА

Раскрыл книгу на титуле, пробежал глазами:

Данила Манакин

УДАЧА

книга лирики

Авторизованный перевод

с языка тонгор

— Мальчик... — Голос Мэтра как будто дал трещину, и он заговорил с трудом. — Мальчик... Зачем?.. Ты так допустил?.. Ты...

— Нн-не... я нн-не знал, вы... Понимаете, я ничего не знал, я... — начал по-школярски — ученик перед учителем — оправдываться Финкельмайер. — Я, вы знаете, и не предпол...

— Зачем? — говорил одновременно с его лепетом Мэтр. — Ты допустил... чтоб уничтожили судьбу!.. Поэт должен выстроить свою судьбу!.. — от первого шага и до последнего... У каждого... означен путь!.. От чтения в лицейском зале до выстрела на Черной речке!.. Если предначертанному изменить — по собственной воле, по наущению — это становится предательством! поэзии! искусства! Ты... как ты мог? Все шло... ты начал... я вводил тебя... и с этой книжкой... пошел бы слух, и никакой Манакин... Ах, мальчик, мальчик!

Он горестно умолк. Леопольд с заметным любопытством поглядывал на Мэтра и явно ничуть не переживал за Арона. Сам же несчастный губитель собственной судьбы, как видно, испытывал лишь неловкость от того, что так расстроил

старика. Никольский, которому в свое время тоже казалось диким равнодушие, с каким Арон уступил Манакину право поставить на книге свое имя, вдруг начал что-то осознавать... не ясное... объяснимое трудно... и связано это каким-то образом с Леопольдом, с его лекциями, каждая из которых опровергала, уничтожала смысл предыдущей, отчего они и влекли притягательно — неизвестностью, парадоксом, самоотрицанием. И вот Арон, который так стремился выпустить книгу и даже ездил в Заалайск, чтобы уговорить Манакина — теперь в такое трудно поверить! — и Арон, который легко отвернулся от детища своего, едва стало ясно, что книга выходит, — разве не пахнет это таким же само-опровержением, само-уничтожением, само-съедением, черт возьми?! ”Над этим еще подумаю! — остановил себя Никольский. — Еще поговорю и с ним, и с Леопольдом”.

— Как ты мог! — снова начал Мэтр. — Как ты не понимаешь? Ты мне ничего не сказал: предлагал тебе, звонил, уговаривал — чтобы ты напечатал новый цикл стихов!

— Все выглядит несколько иначе, — сказал Никольский. — Я уже говорил, что эти книги мне дал Манакин. Я с ним разговаривал.

— Вы его знаете? — обернулся Мэтр. — Какое вы отношение?..

— Я познакомился с ними одновременно — и с Ароном и с Манакиным. Это было там, в Сибири, в начале весны. Я сказался высокой шишкой-куратором из министерства культуры. Манакин шибко меня испугался, и, собственно, это я заставил его согласиться на издание книжки.

— Я уговаривал Арона, а вы — Манакина? — сказал Мэтр.

— Да, видимо, так. Несколько дней назад я узнал из газеты, что книга выходит, и позвонил Арону. Я понял, что они с Манакиным полаялись, — точно так же, как и в тот раз. Правильно, Арон? Вот видите. В общем, я пошел в ”Метрополь” к девяти утра и выяснил, где этот тип остановился, —

короче говоря, повторилась ситуация, уже бывшая в Заалайске. Только мы с Манакиным поменялись ролями: там он шпионил за мной, а тут я шпионил за ним. Мы столкнулись как будто случайно, — ну, я посмотрел на него, вроде бы стараясь вспомнить, кто он такой. Манакин просиял — узнал меня, значит. Стал трясти руку — ”товались Никольски, товались Никольски!” — а я: ”Товарищ Манакин, какая встреча!” У меня все было сработано по системе Станиславского. Выяснилось, что он вознамерился завтракать, посмотрел я на часы — да, говорю, меня молдавский замминистра культуры в номере ждет, но ничего, подождет немного, еще рано. Мы пошли в буфет, и как там я из него вытягивал — неинтересно, а узнал я вот что. Во-первых, как на книге оказалась его фамилия. Он действовал очень расчетливо, чего, признаться, трудно было ожидать от него. У Манакина была с собой папка, в которой он таскал эту самую ”Удачу”. Когда Манакин преподнес мне экземпляр, я ему говорю: ”Дайте мне для министерства еще — много у вас? Мне бы штук десять”. И что же? — пошел как миленький обратно в номер и принес десять книг. Тут я с удивлением спросил — как же так, Данила Федотыч, вы же под псевдонимом печатали — Айон Неприген, я хорошо помню! Он заулыбался, закивал и стал говорить, — представляете? — что я его вразумил и что, значит, мне спасибо, — да за что спасибо, Данила Федотыч?! А вот, оказывается: сказал я тогда в Заалайске, что книгой надо ему укрепить свою ответственную должность заведующего тонгорской культурой. Я и в самом деле говорил тогда, что руководителю культуры полезно иметь к этой самой культуре хоть какое-то отношение, так, мол, будет спокойнее жить. Если он будет не только членом союза писателей, но и автором книги, которую издали в Москве, то это, так сказать, будет наилучшим доказательством его компетентности. И Манакин, не будь дураком, резонно рассудил, что ему нет никакой выгоды скрываться за псевдонимом:

его обкомовские начальники могли и не понимать, что Неприген и Манакин — это один хе... хрен, простите. Конечно, куда проще, если зав тонгорской культурой зовется Манакин и первый тонгорский поэт — зовется тем же Манакиным. Вот так. Таким путем, в таком разрезе. Теперь второе. Оказывается, на совещании Манакину в Москве сказали так: вы, товарищ, должны оправдать наше доверие. Вы вот пишете про тайгу и про тундру, про солнце и про луну, — знаете, мы понимаем, что этот ваш пантеизм — представьте, Манакин это слово наизусть выучил, так и сыпал — ”паньтеизм”, ”пань-теизм”! — идет, значит, этот ваш пантеизм от народного источника; но нам нужно больше примет современности, нужно конкретнее отражать сегодняшний день работников пушного промысла, ихние трудовые будни, рост культуры и всякое такое — сами понимаете. То есть, мол, давай, Манакин, свою, понимаешь, лиру настрой маленько иначе. Мы сейчас разом-вдруг десяток ваших стихов напечатаем в центральной газете. Но только именно таких, без этого пантеизма. Ну так, одно-два можно и с пантеизмом, а остальные чтоб — без. Манакин и забежал, перепугался очень: руководящие указания надо выполнять. Я ему говорю: ”Правильно, Данила Федотыч, отражайте, говорю, сегодняшнюю трудовую будню! А кто, спрашиваю, переводит ваши заготпушные стихи с тонгорского языка? Вот, спрашиваю, кто эту книгу переводил?” Он хихикает и, собака, не отвечает: помнит же, стерва, что я с Ароном знаком! ”Он, товалис Никольски, плохой пирибочик был, мне сказали. (Ему сказали, вы видели, а?) Он, мне сказали, паньтеизм большой делал очень — увеличивал: Меньше делать надо паньтеизм однако”. Я спрашиваю, кто же вам пантеизм-то ваш сделает меньше? ”Помогли мне, товалис Никольски, спасибо, Москва помогли. Дал союз пирибочик, другой пирибочик. Хороший — не знаю сказать пирибочик”. Ну, спрашиваю — кто, как фамилия, они мне тут все знакомы, в

Москве. И теперь, друзья дорогие, кто же, по-вашему, принял Манакина тепленького от Арона — из рук, что называется, в руки?

Никольский с улыбочкой всех оглядел.

— Ну? И кто же? — поторопила Вера.

— А вот кто: Пребылов!

Толик изумленно свистнул. Финкельмайер от души заливался гогочущим смехом. Вера и Женя реагировали потоком возмущенных междометий, Леопольд сидел с таким видом, будто и не услышал никакой сенсации. Остальные недоумевали, так как не имели счастья знать Сергея Пребылова. Но Мэтр к их числу не относился:

— Пребылов?! — кричал он и потрясал кулаком. — Мразь! Черная сотня! Молодые прохвосты! — о, они далеко пойдут, негодяи! Ты отказался! — вдруг накинулся он на Арона. — Ты видишь, что получилось?! Ведь я пообещал, что ты им сделаешь эту подборку! А ты наплевал, наплевал!

— Да какой же смысл? — вступился Никольский. — Теперь-то было бы "Манакин" — значит, Арону пришлось бы дарить ему свои стихи!

— Ничего подобного! — отрезал Мэтр. — Если Манакин идет под своей фамилией, карты сразу раскрываются: "Перевод Финкельмайера" — так пишется на титульном листе. С книгой он это просто прошляпил, его надули — и Манакин, и издательство! Если бы я знал, ни за что бы не допустил! Арон смог бы получить гонорар за перевод официально, а не втемную, от Манакина, как это было у них до сих пор. А теперь Манакин упущен! Пребылов! Черт знает что!

Мэтр бушевал, но к Леопольду подошел официант и негромко сказал, что десерт подан. Однако и за столом, куда все вернулись, Мэтр не мог успокоиться. Какая глупость! Так опростоволоситься! Он не мог этого Арону простить. Выходило, что обманули не столько Арона, сколько самого

Мэтра. И в каком-то смысле так оно и было: ведь именно Мэтр придумал эту затею — выдать стихи Арона за русские переводы несуществующего Айона Непригена. Не говоря уж о том, что и Арон Финкельмайер был детищем, неким поэтическим отпрыском старого литератора, который, *в гроб сходя, благословил* и т.п. К полувековой уже славе Мэтра — скандальной и шумной в начале, тяжкой — славе нищего поэта — позже, и легендарной, с академическим нимбом сейчас, на склоне лет, очень уж годилось такое, опять-таки в меру скандальное, сенсационное завершение: представить поэтическому миру непризнанного гения, ввести его на Олимп, держа за руку, и наслаждаться, стоя подле, криками восторга, воплями завистников и, может быть, снова на миг ощутить, как повеет ароматом давно миновавшей молодости. Он, конечно же, нес в себе эту мечту, но она была скрытой и вряд ли осознаваемой разумом — импульсивным и непривычным к самооценкам. Мэтр чувствовал только глубокую обиду. Его мечту обманули! Обманул тот самодовольный туземец; обманул Финкельмайер; и — не имел ли отношения к обману этот седой, слишком уж невозмутимый человек, вызывавший у Мэтра чувство, похожее на ревность?..

— А вы? — обратился Мэтр к Леопольду с вызовом. — Вы, как я понимаю, с ним близки теперь? — Он кивнул на Арона. — Вы могли на него воздействовать! Вы немолоды, и у вас жизненный опыт. Я полагаю, не только официанта? Надеюсь!..

Это прозвучало грубостью. Леопольд бросил на Мэтра взгляд насмешливый и незлобивый — как если б то была пустая выходка подростка.

— Отчего же? — медленно заговорил Леопольд. — Я не разделяю ту точку зрения, что жизненный опыт — это прежде всего трудовой опыт, и, следовательно, жизненный опыт официанта непосредственно связан с умением сервировать.

Но я был бы неискренен, отрицая, что моя работа лучше, чем что-либо иное, помогла мне понять и жизнь и людей. За столом-то, батенька мой, — произнес он по-простецки, а смотрел с нескрываемой иронией, — за столом-то человек — весь на ладони.

Пергаментная кожа на лице Мэтра будто посерела. Он не ответил.

— Воздействовать на Арона, — задумчиво произнес Леопольд. — *Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...*

— Тютчева я знаю не хуже вас! — задиристо выпалил Мэтр.

— Разумеется. Поэтому вы не поймете меня превратно. Я, скажу вам, из тех, кто вместо того, чтобы давать советы в связи с той или иной ситуацией, ограничиваются обсуждением проблемы.

— Не хотите брать на себя ответственности? — насакивал Мэтр. — Или я вас превратно понял?

— Допустим, что и так, — но не я тут — главное, а тот, другой, кто столкнулся с проблемой и приходит ко мне. Мы слишком мало знаем о себе и много меньше — о другом, чтобы судить и предугадывать чужое поведение. Это в лучшем случае бесполезно, чаще же приносит вред, особенно, когда проблема — в самой психике человека, в его душе, когда он, к примеру, страстно любит или предается творчеству, искусству. Простите, я, возможно, тривиален?

— Тривиально, да! все это, извините, расхожие рассуждения, и так можно дойти черт знает до чего! — возмутился Мэтр. — Это неприемлемо! И вы жонглируете понятиями!

— А именно? Укажите? — быстро сказал Леопольд. В глазах его зажегся огонек, он даже ухо склонил в сторону Мэтра, изготовившись не упустить ответа. И все за столом внимали — с любопытством, но и с тревожной неловкостью от того, что пожилые уважаемые люди не на шутку готовы

схлестнуться. Но Мэтр чувствовал себя в своей стихии — в центре внимания и на грани скандала.

— И укажу! И укажу, пожалуйста! — запетушился он. — Вот: пример с любовью! Нельзя научить любви? Или не нужно? Не нужно давать советов? Чуть, мещанская чуть, обывательщина! В любви — о, есть чему в любви учиться и в чем получить совет! И потому любовь без наперстника — это только пол-любви!

— Bravo, прекрасно сказано! — вставил с улыбкой Леопольд, пока возбужденный Мэтр справлялся с непослушным дыханием.

— А другое? — на том же подъеме продолжал Мэтр. — Об искусстве! Жизнь в искусстве — грубая жизнь, жестокая и двусмысленная. Творчество? — о да! А кушать, простите, вам не хочется? Я ходил сюда, в "Националь", но я ходил и в столовки, где на мисках был хлеб, и я его поедал, закрываясь газетой, — жадно, кусок за куском!

— И если я скажу: *но надо рукопись продать*, — вы ответите, что знаете Пушкина не хуже меня? — опять Леопольд быстро вставил.

— Что? Вот именно! — подтвердил Мэтр. Но, похоже, он сбился с мысли, умолк, и Леопольд сказал:

— Простите, я, кажется, неудачно вас перебил. Но мне ясно: вы говорите, что практическая сторона присутствует в любви, присутствует и в творчестве. Это безусловно так, если понятия любви трактовать с вашей, так сказать, широтой. Я же более узколюб: для меня любовь — само любовное чувство, вне руководства по общению полов; и творчество — лишь сам его процесс, вне таких его реализаций, как что-то к нему внимание, материальный успех и память потомков. — Леопольд вдруг сгорбился, и глаза его как будто потухли. — Все это мишура...

Мэтр махнул рукой:

— Оставьте! Ни к чему приbedняться и называть себя уз-

колобым — мы с вами умные люди. Но любовь — всегда компромисс, даже между двоими, не так ли?

— Bravo, bravo, — уже довольно равнодушно отметил Леопольд очередной афоризм.

— ...и творчество — всегда компромисс, даже между идеей и ее воплощением. Согласны?

— Превосходно, — легко отвечал Леопольд.

— Но еще больших компромиссов требует жизнь, жизнь, жизнь! И как вы хотели бы их избежать?

Леопольд не отвечал.

— А? Практических, грубых, жизненных компромиссов вот с этими вашими — чистейшими! — понятиями любви и творчества? — Вы хотели бы избежать?

Леопольд поднял голову и прямо посмотрел в лицо Мэтру.

— Да.

Он сказал это громко, с отчетливостью и твердостью, за которыми слышалось неизмеримо более существенное, чем просто ответ в разгоревшемся споре. И Мэтр это почувствовал.

— Признаете, что такие компромиссы — существуют, и хотите — избежать?

— Да.

— О, я понимаю! Иисус сказал: "Кто может вместить — да вместит". Я понимаю: один идет на значительные компромиссы, другой — лишь на незначительные. Но не хотите же вы сказать, что — избежать совсем?

— Да, — в третий раз и с той же твердостью повторил Леопольд.

Мэтр выпучился на него.

— Но как возможно избежать? Как? Какой способ?..

— Отказ. Такова единственная возможность: отказаться.

Царила общая тишина. Мэтр качал головой недоверчиво:

— Отказываться?.. от любви... отказываться от искусств-

ва?.. ради... чтобы избежать компромисса?.. — это, знаете ли... это слишком уж как-то!.. нереально!.. что-то очень уж... умозрительное!.. — Мэтр вдруг вскинулся: — Да помилуйте, где вы такое видели? Может ли так устроиться жизнь, что человек!.. — Он прервал себя; и неожиданная догадка заставила его умолкнуть надолго.

Потом он, дыша тяжело, заговорил, и они с Леопольдом глядели в глаза друг другу:

— Ах, так — вы?.. Значит, вы... Вы — бывший актер; вы художник — наверно, талантливый, да!.. талантливый?.. и вы историк, вы — искусствовед, было сказано... так? Вы — чтобы избегнуть? — да, да, отказ, отказ! — вы служили?.. — официантом!?..

Мэтр отвел взгляд. Звякнули ложечкой.

— Это — знаете..! Это... воистину! Знал бы — я бы приходил в "Националь" поклоняться вам... Я-то, — я-то, аз грешный, — все больше компромиссы... один за другим... И не помню уже, с чего начались... а что не кончились — это само собой разумеется... Творчество... любовь, говорите... Я, вы знаете? — не был никогда женат. А вы?

— Был. Мы очень скоро разошлись.

— Дети?..

— Дочь...

— У меня детей не было. Как по-вашему — к лучшему?

— Возможно. Моя дочь — плохой человек.

Мэтр сокрушенно качал головой, а может быть, она тряслась произвольно.

— Самовольный... отказ... добровольный, — бормотал Мэтр, погружаясь в себя, и уже не заботясь о том, как его мысли выразятся словами. — Самоогра... скажите, да, да... вы не... у вас, наверное, не много разо... разочарований, да? Вам легче, легче — от часу... к часу... Легче пере... жить и легче уме... уйти... Вы отказались прежде чем... А? Вы были готовы... к проклятой старости!?!

– Старость..! – Леопольд осветился изнутри. Вера на него смотрела, как на чудесное виденье. И все смотрели на него. – Прекрасное время старости. Я переживаю эти свои дни как незаслуженный, случайный дар, вкушаю каждый миг отдельно, как пчела – благоую каплю нектара в чашечке цветка. Давно уже, очень давно я ничего не желал от жизни; всего лишь я доверился ее течению. И она, вероятно, слишком щедра ко мне, медоносная.

Мэтр кивал головой, и казалось, она тряслась у него. И Финкельмайер нарушал всеобщую неподвижность: тело его слабо раскачивалось, как будто он неслышно распевал молитву. Остальные же сидели оцепенело, и вряд ли Толик, или Данута, или Женя, или Виктор, или Варенька могли бы сказать, о чем каждый из них задумался. Никольскому на ум пришла та самая песенка – ”А если вы не живете, вам можно не умирать”, – потому, наверно, пришла на ум, что из-за дверей негромко доносились звуки джазовой музыки, а у песенки этой был припев:

А ударник гремит басами,
А трубач выдувает медь,
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.

– Вы с мальчиком... беседовали много раз... об этом? С ним? – Мэтр указал на Арона. И опять нечто похожее на ревность послышалось в его голосе.

Ответил Арон – запинаясь и не очень вразумительно:

– М-мэтр, вы... н-ну, не в этом... дело не в этом... что б-беседовать, потому что каждый сам себе... понимаете?

Мэтр понимал. Он кивал головой.

– Понимаете, – продолжил Леопольд, – вы теперь понимаете, почему я не должен, как вы сказали вначале, не мог воздействовать. И я не должен воздействовать. И уж никак не давать советы.

— Понимаю... все понимаю... — бормотал Мэтр.

И тема разговора, сделав круг, замкнулась... А вскоре Мэтр, сославшись на усталость, заторопился уходить. И хотя он жил неподалеку, против Центрального телеграфа, Виктор предложил подвезти: видимо, спешил и сам — остаться поскорей наедине с любезной своей Варенькой. А к Вареньке ехать, как было известно, мимо Прибежища, и значит, — не стоит ли и нам, Леопольд Михайлович, с Виктором? — спросила Вера.

Все поднялись, и, пока один за другим тянулись из залы, Леопольд успел рассчитаться с официантом и проститься с ним.

Внизу, над козырьком "Националя" пара грифонов пристально смотрела перед собой. Старались ли они увидеть что-то вдаль и, увы, в темноте осеннего позднего вечера, за плотной пеленой морозящего воздуха не могли рассмотреть ничего? Или взгляд грифонов был равнодушен? — потому что тысячи раз проходил один и тот же спектакль на краю огромной театральной сцены, сзади которой высилась, они знали, стена из красного кирпича; но и стена, и все безжизненное пространство Манежной площади сейчас перекрывались занавесью, сотканной из мглы ночной; чуть ближе опущен был марлевый задник тумана, из которого свет уличных фонарей и огней ресторанных выхватывал мелкие частые капельки влаги. И вот на этом холодном серебряном блеске дешевенькой декорации, на тесной авансцене перед рестораном разыгрывалось привычное действо: толкались возбужденно-усталые, пьяные, сонные люди, сверкали мертвым лаком автомашины, кроваво полыхали стоп-сигналы, звучала разноязыкая речь, и гримированные коломбины картинно висели на шеях любовников — российских и заграничных — и целовали их, размазывая краску на своих губах, — вчерашние школьницы, сегодняшние проститутки, капризные, проказливые, им по колено — море, а юбки — по

самую попку, и когда садятся одна за другой в такси, неторопливо втягивают ляжку, голень и лодыжку и закрыть не торопятся дверцу — ой-ой-ой! — дипломатический *ситроен* отвалил! — они, как гончие собаки, его проводили носами, и одна, кривляясь, приседая, хлопая по бедрам, чуть не побежала следом: лакомый кусочек недоступной жизни проскользил на четырех колесах мимо...

В машину Виктора, кроме него и Вареньки, садились Вера, Леопольд и Мэтр. Начинили прощаться. Толик по-рыцарски вызвался проводить Женю, и они ушли, Финкельмайер, под руку держа Дануту, о чем-то наспех договаривался с Леопольдом. Никольский обошел машину и поверх спущенного стекла сунул пятерню в кабину к Виктору.

— Ну, рыжий, пока!

— Пока, начальник! Обещал ко мне заехать, не забудь!

— Ладно. Позвоню.

Из соседней машины какой-то тип глазел на Никольского и, обсматривая в упор, чуть ли не высунул наружу голову. Неприязненно глянув, Никольский отошел, чтобы проститься с остальными. Финкельмайер беспокойно озирался, но, увидев Никольского, кивнул успокоительно:

— А! Я думал, ты удрал.

— От тебя удирать, что ли? — огрызнулся Никольский. До чего смехотворная на Ароне беретка!..

Захлопнулась дверца, из кабины помахали им, они ответили — стоявшие рядом Никольский, Финкельмайер и Данута. Машина сдвинулась, и через открывшуюся площадку стало видно, как трогается с места и соседняя "Волга", и в ней лицо проехало смазанно, и показалось, что опять, почувствовал Никольский, в упор посмотрели — и даже, показалось, что с ехидством, и — проехало, смазалось. Виделись где-то, подумал Никольский, меня узнал, а я не помню, и черт с ним, пусть его катится!..

Данута шла в середине, Арон ее вел под локоть, и явно

же сей кавалер был плохо приспособлен для прогулок с дамой: Никольский замечал, что Дануте постоянно приходилось сбиваться с ровного шага, Арон ее как-то там неожиданно задевал и подталкивал. Никольский злился отчаянно, жалел, что не смылся сразу, его тянуло тоже взять Дануту под руку — уж он-то не так бы ее повел, как этот со своей уродской кинематикой! А пальтишко жалкое у нее, — эх, такой ли женщине в нем ли по Москве гулять?!

Они шли в метро по переходу между "Охотным" и "Свердлова", когда Данута вдруг едва не уронила сумочку: Арон остановился, подался назад, потом зачем-то обежал своих спутников и преградил им путь.

— Отец, отец! — не надо, не хочу, чтобы увидел! — Леня, подойди, ты как-нибудь загородишь, и мы пройдем, а ты догонишь, хорошо?

— Что, что? — Никольский ничего не понял.

— Отец, — ну, мой отец, — там впереди, с газетами — ну, видишь?

В близком конце пролета, перед простенком, разделяющим арки проходов к станции, стоял раскладной козлоногий столик со стопкой газет на нем. Человек в ожидании редких сейчас покупателей пересчитывал мелочь — было слышно мерное звяканье звонких монет.

— Твой отец?.. — Никольский через плечо Арона пытался рассматривать —

— ...ах, иди же! ну? — иди же, купи у него!

Никольский, обойдя Арона, приблизился вплотную к столику и стал вынимать бумажник, мельком оглядывая продавца.

Он был совсем не высок — в кого Арон вымахал? — круглолиц, выступали чуть розоватые скулы, раскосо, японски, прорезаны были глаза, седеющая бороденка редко текла по щекам и сбегала на грудь курчавыми длинными прядками. Голова его прикрывалось шапочкой из шелко-

вистой черной материи — наподобие тех, какие зовутся "профессорскими", "академическими", и было на нем пальто неопределенного толка — темно-серое, в один ряд пуговиц, наглухо застегнутых под самый воротник.

— Что, папаша? — заговорил Никольский. — Поздно вы стоите! Плохо раскупают? Какая у вас?

Старик не отвечал. Только узкие глазки его моргали, поблескивали живо, и красивые дуги бровей — а! как у Арона! — поднялись вверх и на добром круглом личике появилось выражение человека, который может слышать, даже понимать, но не может отвечать словами.

— А, значит, "Известия"!

Никольский знал, что Арон с Данутой успели уже проскочить за его спиной. Но ему не хотелось уйти, не услышав от старика ничего. — Так, так, — очередная речь Никиты — на три полосы! Понятно, что не берут... Или из-за этой речи поздно привезли?

У старика отвечали как будто и глаза, и брови, и беззвучные губы, которые шевелились, одна рука протягивала газету, вторая готовилась принимать деньги, — и тут Никольский услышал: старик тихонечко распевал. Очень высокие звуки, замирая совсем и слабо возникая вновь, летали, протяжно-витиеватые, около старика.

— Рубль вот... у меня, — сбивчиво сказал Никольский. Что-то бы надо сделать для старика... — А знаете? — возьму-ка я для обоев! — ремонт у меня. Да хоть бы и всю эту пачечку, авось, доведу. Сколько тут?

Старик, ничуть не выказав удивления, ловко перебрал между пальцами стопку газет, взял рубль, вернул двумя монетками сдачу и передал покупателю пачку. Высокие тихие звуки не прерывались.

— Благодарю, папаша. Доброго здоровья!

Старик склонился в поклоне — вперед круглым верхом черненькой шапочки. — и его небольшая фигурка замерла...

Сбежав по ступенькам на станцию, Никольский чуть не налетел на Арона и Дануту, ждавших у самой лестницы.

— Что так долго? — обеспокоенно спросил Арон. Взгляд его упал на толстую пачку газет под мышкой у Никольского. — Вот это да-а!.. — Арон принялся хохотать. — Ты их — выкупил?!

Дануту это тоже развеселило, и она улыбалась сдержанно.

— Чудак, — говорил Арон сквозь смех, — для него же это — ну, как бы тебе..? — занятие, что ли, приятное, понимаешь? Проводит время, работает, прирабатывает немного к пенсии, — он от этого, не думай, не устает. Ему нравится! Ай-яй-яй, вы думали, молодой человек, что обрадовали старика? А он из-за вас, бедняга, будет теперь расстроен! — И Арон по-идиотски снова захохотал.

— Бред какой-то! — Никольскому все это было не слишком приятно, он чувствовал, что выглядит комично перед Данутой. — Но быстрее продаст-то — чем ему плохо?

— Да видишь, Леня, — Арон перешел на тон сравнительно серьезный. — Мой отец всю жизнь торговал. И посадили его за торговлю. И как я думаю, когда вернулся, ему было нужно снова... для самого себя... как бы сказать?..

— Я понимаю, — тихо сказала Данута.

— Реабилитироваться — перед собой? — уточнил Никольский.

— Вот-вот! — подхватил Арон. — Реабилитироваться. — Он помолчал. Все трое вышли уже на перрон. Отходил с оглушающим воем поезд, и когда его грохот стих, Арон не то спросил, не то сказал утвердительно: — Ты пытался с ним заговорить?

— Да. Почему он не отвечает?

— В общем-то, конечно, немного тут... — Арон указал на свой лоб. — В лагере еще отец с каким-то человеком — может быть, тот был раввин или фанатик, или просто помешанный на религии — короче говоря, они дали Богу такое обе-

щение: говорить только на языке Торы — то есть на древне-еврейском. Вот он и молчит всегда. Все слышит и все понимает — но молчит. Удобно, правда? — грустно усмехнулся Арон. — Прекрасный способ жить, как по-вашему?

— Я его очень понимаю, — снова тихо сказала Данута.

— И поет — на древнееврейском? — спросил Никольский.

Арон кивнул:

— Защитная реакция. Чтобы вдруг не заговорить. Это у него защита. Ты, значит, очень ему досаждал, если уж он начал петь.

— Ну и ну... — протянул Никольский. Как там вспоминали сегодня? — *нам не дано предугадать...*

Настроение у Никольского вовсе упало.

— Ну и семейка, эти Финкельмайеры! — чтобы сказать хоть что-то живое, сокрушенно вздохнул он. Однако прозвучало это вымученно. — Слушайте, какого лешего вы тут торчите? — решительно сказал он: — Это мне сюда, на Маяковку. А вы валяйте-ка через Павелецкую. Счастливо! Я позвоню.

Подходил состав, Никольский пожал прохладную ладонь Дануты, тряхнул сухие костяшки пальцев Арона и быстро шагнул в вагон.

Несколько позже, под самую полночь, когда немногие парочки, еще гулявшие в этот туманный вечер вдоль "бродвея" улицы Горького, спешили в метро, чтобы успеть до закрытия станций проводиться и распротиться в подземном тепле, — некоторые из этих парочек были остановлены у здания зала Чайковского странным субъектом — на вид вполне респектабельным, но, судя по всему, малость тронутым.

— Граждане! — обращался он громко к прохожим. — Вечерняя пресса! Шесть новорожденных у итальянской синьоры и речь дорогого Никиты Сергеевича! Выдается бесплатно! Только один раз! Возьмите! Благодарю вас! Дай Бог вам много личного счастья!.. Вечерняя пресса! Итальян-

ская мама с шестью близнецами и речь товарища Хрущева, младенцы здоровы! Хотите две штуки? Бесплатно, бесплатно, вы разве не знали? — сегодня все вечерние газеты идут бесплатно! Благодарю! Успехов в труде и личного счастья! Вечерний московский выпуск!.. Ах, у вас уже есть? Миль пардон, желаю вам праздничных будней в труде и учебе!..

Наконец, — мозги ли просветлели у субъекта, или ему наскучило его занятие, — он свернул оставшиеся газеты в довольно-таки безобразную толстую трубку и стал заталкивать ее в жерло мусорной урны у входа в метро. Итальянская мама и все ее шесть младенцев настойчиво этому сопротивлялись, они норовили вылезти из урны обратно, внезапно плюхались на землю и там возлежали по-свински в мокрой грязи...

Милиционер стоял неподалеку, решая гамлетовский вопрос "брать или не брать?"

"Смотри, смотри!.." — сказал ему Никольский мысленно. Ладно, сказал он уже себе, хватит, развлекся. И эти подыми, вот так. Уважайте труд уборщиц, дворников и продавцов газет. Что, не возьмешь меня за нарушение общественного..? Он оглянулся неприязненно на милиционера, пошел от метро — и вдруг — он приостановился и откачнулся, и переступил, и пошел быстрее и быстрее — это свое неприязненное чувство, которое вновь он испытал, вторично за этот вечер, — ведь там же, у "Националя"! — там же было! — из черной "Волги" смотрел на него тот тип — сейчас смотрел вот этот милиционер, — и то же самое чувство! — ну да, и еще где-то видел он этого типа! — да вспомнил же, вспомнил! — ах, блядь! сука, сука! — тот самый?! — иль нет?! — конечно же, тот! — на даче у Вареньки! — который вдвоем с архитектором, — книжечку Витьке совал! — да он это, он! — ах, мать же честная! — так, значит, выследил Витьку?! — так, значит, его поджидал у подъезда, пока мы... — поехал!!!? — следом

за Витькой!?! В Прибежище!?! Ах, мать-перемать!.. Что же делать, быстрее! что делать?

Он чуть было не кинулся ехать в Прибежище, однако же остановил себя, попробовал думать спокойно. Куда, на ночь глядя, нервы людям трепать? Да и что до утра случится? Те, на черной машине, свое получили — нашли дорогу к картинам, и поначалу им этой радости хватит!

Ну и ну — вечерочек! Вино и женщины, поэты, старик с древнееврейским песнопением и — детектив впридачу.

Никольский двинулся к дому и, пока шел, бормотал, выругивался непрерывно — ассенизаторской помпой выкачивал из себя нечистоты. Легче ему не становилось. Но в теткинском холодильнике он содержал бутылку "Столичной", и на нее была теперь вся надежда.

XXXII

Еще в середине лета, вскоре после успешной операции по перевозке картин в Прибежище из Нахабина, Виктора вызвали в автоинспекцию. Вроде бы проверяли документы на машину и вроде бы, как рассказывал Никольскому об этом Виктор, выясняли, не был ли он причастен к какому-то происшествию на Волоколамском шоссе. Спрашивали, проезжал ли тогда-то на таком-то участке шоссе? — Нет, говорил Виктор, не ездил. — А вот у нас есть сведения, что были там остановлены. — Это когда-то? — Тогда-то и во столько-то часов. — А-а, припоминал Виктор, а ведь, правда! было, было! — Зачем же ездили? — А вот стройматериалы перевез. — Откуда и куда? — А приятель попросил. — Какой приятель? фамилию скажите? адрес какой?

По тому, как в Виктора вцепились, он сразу понял, что разговоры насчет аварии на шоссе — трепотня для отвода

глаз; что интересуют их картины, место, куда их перевезли из Варенькиного дома, и тот человек, который вместе с Виктором этим делом занимался. То есть Виктора сразу признали за того, кем он и был на самом деле, — всего только владельцем транспортного средства, которым воспользовались для перевозки; а вот второй, именно же Никольский, был, естественно, принят за основную фигуру, и через Виктора хотели "выйти" на него. Но Виктор не дался: как зовут приятеля? — Володькой, фамилия у него — Евдокимов; куда вез? — куда-то в Марьину рощу, было темно, Володька только говорил, куда крутить баранку, — "направо да налево", адреса его я не знаю; сколько сделали ездов в Нахабино? — Виктор сообразил, что видели их два раза, и ответил: две ездки. — А из вещей ничего не перевозили? Ценности какие-нибудь? — Какие такие ценности? ! Доски, штакетник, фанера — это вам ценности?!

Виктора попробовали уговорить, намекнув, что ему не могут всего рассказать — речь идет о государственных ценностях, где-то пропавших и куда-то спрятанных, — но что он должен помочь, исполнить свой гражданский долг и ничего не скрывать. Он отвечал, что скрывать ему нечего. Тогда ему пригрозили — смотри, мол, кто права тебе дал, тот их и взял, и где ты будешь без прав работать, если мы их отберем? Тут Виктор принялся материться, поливая все и всех без разбору — инспекцию, приятеля, штакетник и эти ваши ценности, в гробу я их видал! От него и отстали, вернули бумаги и пустили.

Рассказал еще Виктор про Вареньку. Она, уехав вместе с ними из Нахабина и проведя, как и Виктор с Никольским, ту летнюю ночь, когда была гроза, у Веры в Прибежище, поехала потом к московской подруге, и Виктор там чуть ли не каждый вечер Вареньку навещал: он, как сам говорил, вмазался в нее намертво... Недели через две она забеспокоилась и попросила отвезти ее в Нахабино. Виктор стал ездить

и туда, и Варенька ему сказала, что к ней опять приходили те двое — "архитекторы", облазили они весь дом, хамили ей и прямо говорили, что до всего доберутся, что мы, мол, знаем, для чего стеллаж на чердаке, и вы еще со своим муженьком-художничком допрыгаетесь! Варенька сразу же написала сестре в деревню, куда уехал ее Колька. Сестра ответила, что Колька пьет, что он там гуляет с учительницей, оформляет стенды и плакаты для клуба и — ни стыда, ни совести! — среди дня с учительницей этой в клубе запирается. Говорит Колька, когда пьяный напьется, что в Москве ему плохо, потому что там жена есть, а самогону нету, а тут, в деревне, жены-то нет, а самогону сколько хочешь. Между прочим, все это выплакала Варенька на грудь своему любушке — Виктору, когда они в первый раз оказались в кровати: вишь, восхищался Виктор, говоря с Никольским про Вареньку, честная она баба, — видел же, млеет она от меня, дышать не может, когда обниму, а нет, не давалась никак, пока про Кольку не узнала, что он с училкой живет! А теперь она — все! как повернулась ко мне, — все, такая ни на кого смотреть больше не будет, теперь мне на ней жениться — это как штык!

— Ну хорошо, — направлял его Никольский, — а что архитекторы?

— А ничего: походили-походили, к соседям зашли и отстали. Здорово мы их объе...али, а?

Никольский посмеялся тогда вместе с Виктором и решил Леопольду и Вере не рассказывать ни о чем, тем более, что в Прибежище не бывал.

Смеется, однако, тот, кто смеется последним. Смеялся — ехидной ухмылкой глянул тот тип, отъезжая на черной "Волге". И значила эта ухмылка одно: снова, голубчики, встретились, и теперь-то вы меня не объ...ете!

Все было ясно, как Божий день — как ясный Божий день, который назавтра после вечеринки в "Национале" пришел

сменить промозглую ночную темноту: сияло спокойное солнце, на небесах ни облачка не было, а землю и деревья с пожухлой листвой прикрывал уже первый пушок негустого раннего снега. Ночью провевало воздух морозцем, и бывает же так удивительна метаморфоза природы, когда внезапная в ней перемена проступает отчетливым обликом! — таким вот, хотя бы, графически ясным — уголь и сепия, тушь и перо, и белеющий лист под ровным неярким светом...

В Прибежище пили кофе. Было уже к одиннадцати, и Никольский, сообщив на службу, что сегодня не появится, приехал сюда, к Леопольду и Вере, и теперь выкладывал им последовательно — про Виктора и Вареньку, про автоинспекцию и про вчерашнюю "Волгу". И резюме Никольского было таким: *они*, — или *эти*, как еще он *их* называл обезличенно, — *они* проследили дорожку к Прибежищу, так что надо ждать гостей, положим, из пожарной команды, из госстраха или из общества любителей пения. — Но как же, спрашивала Вера, они могли узнать, что Виктор после ресторана сюда поедет? — А они, наверно, и не знали, говорил Никольский. Знали, что Виктор ездит к Вареньке в Нахабино, и любой сосед мог вовремя стукнуть, что приехал к Вареньке ее московский хахаль, а там опять, как в первый раз, у выезда на шоссе подождали, а потом пристроились. — Вы приехали вместе? — спросил Леопольд. — Что, что? — не понял Никольский. — Я хочу сказать, заезжал ли Виктор вчера за вами или вы добрались до ресторана не в его машине? — Э-э-э, а ведь вы правы! — покачал Никольский головой. — До меня и не дошло. Черт возьми! Бедная тетушка, придется, наверно, и ей беседовать с пожарниками. — Может быть, все не так? — сказала Вера. — Ведь могло же показаться. Ты же сам, Леня, говоришь, что этого человека не узнал, а вспомнил про него только около дома. Мало ли какие машины отъезжают. Их там сколько всегда стоит!.. Может, показалось?..

Никольский не стал на это отвечать, потому что хотелось

ответить резкостью. Он не баба, чтобы из-за "показалось" шум поднимать!

— Нет, видите ли, друзья, — задумчиво сказал Леопольд, — главное-то не вызывает сомнений. Главное, что они не отступились после исчезновения картин. Дело, надо полагать, серьезнее, чем это выглядело тогда, в начале лета.

— И дернуло же Витьку в нее влюбиться! — сокрушенно вставил Никольский.

— Варенька прелесть, — улыбнулся Леопольд. — И все же я думаю, у них и другой путь нашелся бы. Раньше или позже — не столь существенно...

Никольский недоуменно взглянул на него: в голосе Леопольда была — усталость? обреченность?.. И Вера посмотрела с тревогой.

— Нет, у меня нет никаких оснований предполагать, что конкретно стоит за этой историей, — поспешил объяснить Леопольд. — Просто... Вероятно, во мне говорит мой жизненный опыт.

Он усмехнулся: вчера говорил он о жизненном опыте...

Кофе допили молча. Леопольд что-то обдумывал, потом сказал, что полезно было бы посоветоваться с одним человеком, и, пожалуй, надо сейчас поехать к нему. Никольский стал прощаться, взяв с Веры и Леопольда слово, что ему немедленно сообщат, если будут какие-то новости.

Часа в три Никольский дозвонился Виктору. Тот недавно возвратился из Нахабина. Рыжий был счастлив.

— Слушай, а вчера ты ее тоже вез из Нахабина? — как бы между прочим спросил Никольский.

— А откуда же? У меня-то нам нельзя, брат же в комнате. И она боится дом оставлять. Только вот, бля, муж ее появиться может, вот что плохо. Ну врежу я ему, чтобы понял. Дом-то ведь — ее, понимаешь? На нее записан, еще от родителей. А он уже полгода не живет, его и выписать можно уже, понимаешь?

— А-а-а, — протянул Никольский. Из этого всего интересно было ему лишь одно: Виктор подтвердил, что вчера вечером он действительно ехал из Нахабина...

Несколько дней прошло обычной чередой. Беспокойное чувство не покидало Никольского, и он как-то раз набрал номер Прибежища. Ответила Вера.

— Что слышно?

— Ничего не слышно! — с удовлетворением, чуть ли не с торжеством сказала она. — Я же говорила! Зря разволновались, сами теперь видите!

— Ну что ж, хорошо... — протянул Никольский неопределенно...

Доказывать Вере, что радоваться еще рано, было бессмысленно: ей просто не хотелось думать, что неприятности могут начаться в любой момент. Она, конечно, оберегала Леопольда, и своим оптимизмом — сознательно или нет — стремилась отвести тревогу и от него. Никольский слишком близко знал Веру, чтобы не услышать за ее словами упрека: это он, Никольский, пришел в Прибежище с неприятными вестями, и получалось, будто он, Никольский, а не сами эти вести, и есть причина волнений... И больше он не звонил. А спустя еще, примерно, неделю стал и себя ловить на мысли, не зря ли он устроил панику? не спяну ли, в сонном тумане привиделась ему ухмылка? — наглая, как думалось тогда, но загадочная, мистическая даже (если бы он был мистиком) — как представлялась ему теперь та смазанная ухмылка...

Среди недели забрел Никольский к Арону. Стукнул в окно — вот так же стучал, когда приходил сюда к Леопольду еще совсем недавно, весной, но казалось уже, что было это в некоей иной, отлетевшей куда-то жизни — и Арон впустил его к себе, и длинные губы его разверзлись, и длинные зубы его выставились наружу, сияя многоярусными рядами.

Хозяин и гость поболтали чинно о том о сем, Никольский расспрашивал что-то про Мэтра, и Арон пообещал найти его книжечку ("когда поеду к Фриде, у меня же все там"), сказал, что старик заметно сдает, и это огорчительно. Вот Леопольд — другое дело, тот держится; правда, он моложе. — Сколько же ему? — Под семьдесят.

Никольского подмывало рассказать про то, как засекли, но он остановил себя: зачем? И этот станет переживать за Леопольда...

Они попивали чаек — абсолютно трезвый жиденский чаек, и были к питью восхитительные сушки — прямо-таки алмазной твердости. Без долгих уговоров стал Арон читать стихи, и все, что он читал, было новым. Поразительно было новым и, как вдруг ощутил Никольский, пугающим — настолько плотным и безудержным был этот поток полуобъяснимых сознанием, но зримо, слышно, осязаемо — явственных слов, и сталкивались они, кружились и расходились, текли и взмывали, пели, шептали, рдели в огне, умирали в безмолвии и возрождались в любовном соитии. Неподвижный слушал Никольский, и когда, не выдержав напряжения, мозг его вынужден был отступить хотя бы на короткое время от соучастия в божественном игрище страстного воображения, на ум приходило — чтобы себе же помочь: Данте? Апокалипсис? Пророки из Библии? Да, да, из Библии — он помнил, он читал, он помнил тот восторг и ужас, когда полыхали пред ним поднебесные всадники, и разверзались моря, и надписи зажигались на стенах и людей обращало в столпы соляные!..

Вера позвонила Никольскому на работу.

— Зайди вечером, ладно? — попросила она. И звучало это так, будто она просила пощадить ее...

Приходили, оказывается, проверять электропроводку в доме. Приходили сразу трое: двое мужчин и женщина; и женщина, нервничая заметно, расспрашивала о числе розе-

ток и числе ламповых патронов, говорила, что счетчик старый, надо сменить, потому что сомнительны у него показания — для такого большого дома. И был детальный, длительный осмотр всех помещений, и на антресолях кто-то из мужчин тронул составленные картины — к искусству, значит, был неравнодушен. "Художница?" — спросил мужчина у Веры. "Нет!" — отрезала она. "Любительница!.." — с издевательской оттяжкой заключил мужчина. То есть и не старался особенно уж скрыть, что электропроводка — лишь повод, чтобы войти в дом, и вот, увидев картины, убедившись в своей удаче, *они* почти раскрывали карты.

Никольский испытывал идиотское торжество. Тщеславие буквально распирало его. Он мудро кивал головой, и утонченно-скептическое выражение его лица лишний раз говорило, как точно все он предвидел, а ведь не верили же ему! — некоторые..!

— Так что ты оказался прав, — смиренно сказала Вера. И тщеславная спесь пылью слетела с Никольского, он разом помрачнел.

— Вы прошлый раз собирались у кого-то побывать? — обратился он к Леопольду. — Вы что-нибудь знаете... определенное?

— Глухие слухи, — кратко сказал Леопольд. И повторил: — Только глухие слухи. Говорят, что ведется какое-то следствие. Возможно, дело крупного масштаба, и эти картины — только часть, второстепенная часть чего-то более значительного. Нам остается только гадать: или это просто-напросто отголоски гонений на формалистов; или нежелательное общение с иностранцами; или, хуже того, — валюта. Кем и чем непосредственно они заинтересовались, пока совершенно не ясно.

Леопольд сделал небольшую паузу и вдруг положил ладонь на локоть Никольскому.

— Хочу, чтобы вы наверное знали, Леонид Павлович.

Я брал на себя одну только роль: хранителя талантливых работ и, в некоторой степени, роль филантропическую — помощи способным молодым художникам. Филантропическую, потому что меценатством такую помощь нельзя назвать из-за моих слишком мизерных возможностей. Ведь я жил на пенсию, очень небольшую, а эти картины оплачивал только тем, что получал за свои лекции. Вот чаевые, — весело вспомнил он, — дело другое, это были изрядные суммы! Но чаевые я тратил до копейки — на фламандцев, голландцев, кое-кого из французов и англичан, и было это давно!..

— Леопольд Михайлович, могли бы мне не говорить! — начал Никольский, но Леопольд нажал тихонько на его руку и сказал спокойно:

— Спасибо, я знаю. Но у вас должна быть убежденность... И у Веры... — Он посмотрел на Веру с таким страданием, что у Никольского дыхание перервалось на миг. — Убежденность, что ничего противозаконного... предосудительного не было и нет. Вас будут расспрашивать обо мне. Кто знает, чем все это кончится!..

Последняя фраза прозвучала зловеще, Вера принялась говорить что-то успокаивающее, а Никольский вслух задался вопросом: каким образом *они* смогут узнать, что картины принадлежат Леопольду Михайловичу? А если картины принадлежат ему — то есть Никольскому? Известно-то им, что перевозили Виктор и Никольский, — вот вам и версия?

— Ну-ну, не настолько они наивны, — возразил Леопольд. — Да и вы... не наивны. Вы это так, — и сами не верите, признавайтесь? Как вы говорили? — *выйдут*, так или иначе *выйдут* на меня. И тогда что-то, может, начнет проясняться...

Скорее всего, действительно следовало ожидать, что центром начавшихся событий станет Леопольд. Но пока что Никольский мог поздравлять и поздравлять себя — он выказывал поразительную догадливость, и недаром он был

отличный преферансист — предвидел игру на несколько ходов вперед. "А вот увидите, — возьмутся за меня!" — сказал он Леопольду, и немного позже тому явилось первое подтверждение.

К тетушке заявился сынок — двоюродный братец Никольского — старший возрастом, и, между прочим, тоже Никольский, — то есть носил фамилию матери, потому, вероятно, что тетушкин муж получил в наследство еще с петровских времен плохую фамилию немцев, — из обитавших тогда в Лефортово и потом в течение двух столетий исправно поставлявших России военных врачей.

Славный братец — славный, так как пребывал в каком-то очень уж высоком аппарате и даже иногда выступал на каких-то очень уж высоких активах как представитель аппарата, о чем сообщалось разом во всех газетах, — братец накинулся на своего двоюродного, не успев поздороваться с матерью. Старший двоюродный попытался устроить младшему разбор по типу стандартных собраний общественности: производственное лицо, моральный облик, свободное от работы время, отношение к женщинам и к коллективу вообще. Младший хохотал и все предлагал хоть немножко выпить. Внезапно старшего прорвало, и он заорал по-кухонному. Брат же его продолжал от души веселиться, и он не обратил внимания даже на то, что старший в грубой форме, недопустимой для нашего общежития и для достоинства наших граждан, предложил своему двоюродному брату немедленно убираться из этой квартиры, а старую женщину прекратить обманывать и эксплуатировать! Тут младший, поскольку обладал интересом к литературе и, несколько уже, к грамматике и фонетике, спросил:

— "У" или "О"?

— Что-о?!? — обалдело завыл славный брат.

— Я имею в виду слово "эксплуатировать", — терпеливо стал разъяснять младший, — через "у" оно у тебя или через

”о”? Видишь ли, товарищ Сталин всегда писал его через ”о”, и представь себе! — до сих пор продолжают споры!

На этот раз грамматического спора не вышло: помешала матушка — она же тетушка.

— Совесть потерял, совесть совсем потерял! — заплакала она, и старший некоторое время вдумчиво слушал, стараясь понять, кто же именно потерял эту самую совесть? Однако дальнейшие причитания не оставили в этом вопросе неясности, поскольку вместе со словом *совесть* упомянулось слово *мне* рядом с глаголом третьего лица единственного числа и, главное, настоящего времени — *дает*, а так как глагол этот — переходный, то за ним последовало — *деньги* (*денег, деньгам*, мн. ч.). Ну, а славный сынок точно знал, что никогда своей мамаше денег не давал.

— Вы-ырас-тила! — причитала старушка. — Совесть-то, совесть-то где у тебя, а-а-а?

— ”Совесть”, — как бы вспоминая что-то, задумчиво произнес младший брат. — Как, тетя, вы сказали? Ах, ”совесть”! Да, да! Существительное! — Он опять предался грамматическому анализу. — Помню, помню! Устаревшее понятие. Оно относится к тем временам, когда ”ять” писали и твердый знак в конце слова после согласной. Так ведь реформу провели! ”Ять” и твердый знак убрали — ну и ”совесть” заодно, хоть она и с мягким!

— И не кричи тут! — неожиданно тетушка перешла в наступление. — Не прописан ты тут у меня — и не кричи! Нету такого права! Бессовестный!

Славный брат это понял: в самом деле, прописан он был в гигантской квартире, а вовсе не в этой комнате. Он поднялся, посмотрел в окно — не ушел ли его персональный шофер от машины — и стал натягивать пальто, кутать шею, и шапку — конечно же, из пресловутого пыжика! — стал надевать, и тут его опять прорвало:

— Ну, смотри!.. Ну, Леонид!.. Я с тобой!.. Ух, ва-ал-

лютш!.. — Он остановился, смешался, зашипел, забормотал, разбрызгивая слюну, — и хлопнул дверью.

Вот как! Выплюнулось у братца — не успел проглотить: ”валютчик”! Значит, вот почему не сразу тронули: тетушка-то — мама высокой птицы, и сначала с ним, с двоюродным братцем поговорили: кто он — ваш родственник? и как бы это — без неприятностей? конечно, конечно! вы ни при чем, ни-ни! но им-то мы займемся?.. С чем связано? — да как вам сказать... неясно пока... занимаемся... похоже, что причастен к валютным операциям — но между нами, без огласки! Конечно, конечно!

И братец, почуяв, что родственник бросил тень на славное его имя, помчался выяснять и что-то предупредить — а, может, заминать будет?!

Однако же не замаялось. Вскоре вежливый шеф, усадив Никольского перед собой в гостевое кресло, стал вести разговор по душам: — Все ли в порядке с той работой, в Заалайске? — Вы же прекрасно знаете, что договор закрыт. — Да, да, совершенно верно... Не кажется ли вам, что мне бы следовало, гм, повысить вам ставку? — Ого! Разумеется, я бы не возражал! — Разумеется, разумеется... К сожалению, штатное расписание... Вы же знаете: денег не дают... — Тогда я не очень вас понимаю, к чему нам это обсуждать?.. — Да, видите ли... Вы, может быть, недовольны — э-э, я имею в виду, — условиями вообще?.. Вы специалист очень высокого класса, и вы можете испытывать... гм, неудовлетворение... Работа у нас не всегда интересна, не так ли? И если я вам буду предлагать экспертизу не вашего уровня, — а такой работы теперь появляется все больше и больше, вы, вероятно, станете возражать, но мне, знаете ли, придется со временем...

”Куда он клонит?” — пытался понять Никольский. И вдруг его осенило! Он резко подался к шефу, тут же решившись пойти ва-банк:

— Минутку! С вами беседовали обо мне?

Взгляд шефа заметался. Никольский встал.

— Скажите же: да или нет?

Шеф развел руками.

— В общем, я вам ничего не говорил... — тихо сказал он.

— Я вас понимаю: вам запрещено говорить. Так вот: дело это выеденного яйца не стоит! Не старайтесь от меня избавиться: согласитесь, что я полезный работник.

— У нас бывают закрытые договоры, вы же знаете, Леонид Павлович...

На шефа жалко было смотреть.

— Не беспокойтесь обо мне, я вам повторяю! — сказал Никольский твердо. — Я могу идти?

— Да, пожалуйста. И вот что: вы лучше не отлучайтесь с рабочего места. Я это в ваших интересах говорю, не обижайтесь.

— Хорошо, постараюсь.

Стал намечаться круг и около Веры. Пришел взволнованный Боря Хавкин и с порога задал вопрос: "Что случилось?" Борю, начал он тут же выкладывать, позвали зачем-то в отдел кадров института, в котором он сейчас преподавал на почасовой оплате, а в свое время учился вместе с Верой. Какой-то человек, явно не из института, спросил Борю про Веру — хорошо ли он ее знает? Боря ответил, что они — сокурсники и до сих пор дружат. Он подумал сперва, не хотят ли Веру принять на преподавательскую работу, подумал, что она подала, наверно, заявление, но ему об этом почему-то не сказала, и Боря даже собрался обидеться на нее. Но распросы быстро съехали на темы, не имеющие никакого отношения к преподавательским качествам Веры. Человек интересовался, бывает ли Боря у нее дома? А кто у нее бывает еще? Что эти компании — часто ли собираются? И о чем же беседуют? Кроме стихов и пения — что же еще? Живопись? Это интересно! Там есть много картин — откуда они у нее?

А кроме как от родителей — еще откуда? Не знаете... Понятно... Скажите, а на какие средства она живет? Тоже не знаете... "Простите, — спросил в свою очередь Боря, — а вы кто? С кем беседую?" Человек ответил: "Оперативный работник". И предложил Боре сесть и не торопясь написать все, что он знает про Веру и ее окружение. "Это что — допрос? — догадался спросить Боря. — Я что — обязан писать? Или я имею право не писать? Вы мне, пожалуйста, объясните". — "Пожалуйста. Можете и не писать сейчас. Но и мы можем вызвать вас повесткой, и тогда вам все равно придется. В обязательном порядке". — "Куда вызвать?" — "Как — куда? — удивился человек. — В прокуратуру".

Боря замолчал.

— И что? — спросила Вера.

— Не стал писать. — Боря вздохнул. — Пусть вызывают. Не очень я много лишнего наболтал, а? — спросил он с надеждой.

— Послушайте, Борис, — сказал Леопольд, — у вас нет никакого повода себя казнить. Вы нам рассказывали... как будто с чувством вины. Это совершенно ни к чему!

— Вот-вот, постоянное чувство вины! — с облегчением подтвердил Боря. — Словно я Иуда, ей-Богу!

— Как же они до тебя добрались, вот что интересно! — вслух размышляла Вера.

— Очень просто: Шурик сказал, — ответил Боря. — Я с ним столкнулся буквально в дверях, когда шел в кадры. Я еще обратил внимание, что он мимо шмыгнул — ну, может, не заметил, — знаешь сама, в институте с каждым по десять раз на день встречаешься, забываешь, с кем сегодня здоровался, а с кем нет. Так потом я понял, что его вызывали передо мной.

— Кто он — этот Шурик? — спросил Леопольд.

— Он тоже наш однокурсник. А сейчас — замдекана, — пояснил Боря. — Уж он-то понарасказал!

— Что это он мог рассказать? — с неожиданным вызовом сказала Вера.

— А что ему захотелось. Он же здесь бывал. К сожалению, — ответил Боря.

— Он неплохой парень! — заступилась Вера за Шурика. Когда-то в студенческие времена и Шурик, и Боря соревновались в ухаживаниях за Верой.

— Он *был* неплохой парень. Потом стал комсоргом, потом секретарем, потом вошел в партбюро, потом стал замдекана, — перечислил Боря.

— Ну и что из этого? — насакивала Вера.

Грозившая продолжиться и дальше, эта бессмысленная перепалка была прервана появлением Никольского, которому Вера позвонила вскоре после прихода Бори Хавкина. Вкратце Никольскому повторили рассказанное только что. Он тоже заинтересовался Шуриком, — в частности, спросил он, многих ли из тех, кто бывал в Прибежище, Шурик знал? Выяснилось, что многих, а, например, Славика это он привел сюда в первый раз.

— Славика, дорогого Славика с телевидения! — восторженно вскричал Никольский, как будто узнал приятные вести про закадычного друга. — Поздравляю, Леопольд Михайлович! Вот мы и до вас добрались!

— Почему? Почему? — Вера вскинулась, готовая опровергнуть все, что ни будет сказано.

— А потому! — жестко отвечал Никольский. — Когда в тот раз, впервые, Арон и Леопольд Михайлович сюда пришли, кто был у тебя еще? Ну-ка, листочек бумаги есть? Давайте вспоминать.

Вспомнили всех. Вспомнили и скандал, которым закончился тот вечер. Славик с какой-то девкой, поэт Пребылов, чета кандидатов, Карменсита со своим Хозе — чего было ожидать от этой публики?..

— Жаль, что Арона могут замешать, — сказал Леопольд.

– Да уж!.. Пребылов постарается! – пророчествовал Никольский. И не удержался, чтобы не сказать Вере: – Поэт! Телевидение! И чего им было сюда таскаться!..

– Прошу вас, Леонид Павлович, – настойчивым тоном остановил его Леопольд.

– Простите. Извини, Вера. Больно уж дрянно все это выглядит. – И он сменил тему: – Слушайте, вы такой анекдот еще не знаете? Осматривал Никита новые дома. Входит он в совмещенный санузел...

XXXIII

За событиями последних недель само собою забылось, что еще у подъезда "Националя" решили возобновить собрания – по примеру весенних, всем памятных вечеров. Прошел, однако, месяц, подходил к концу другой, и жизнь звала отдавать ей то, что было положено ей отдавать, какие бы силы ни стремились отвлечь людей от привычного и желанного ее хода. Для встреч назначили вторую и последнюю пятницы месяца. Что же касается места сбора, то над этим пришлось поразмыслить. К Прибежищу не хотелось привлечь чрезмерного внимания. Но, с другой стороны, с чего бы это бояться? И потом, как можно было судить, *они* если еще не успели, то в любой момент могли узнать завсегдаево этого дома. А кроме того, – волнуясь и краснея, сказал милый Толик, когда его предупредили о слежке за домом, – это будет настоящее предательство, если друзья станут реже здесь бывать! – за что Вера звонко чмокнула Толика в щеку... Квартиру Леопольда тоже не следовало обходить, потому что, во-первых, там жил Финкельмайер, и нужно было его иногда навещать и устраивать ему нечто вроде встряски, чтобы он в своем одиночестве не превратился в иссохшую

мумию; а во-вторых, Леопольд, как хозяин, должен был появляться в своей комнате перед окном соседей и, значит, милиции и тем подтверждать свои права на прописку. Остановились на том, что напрашивалось: чередовать собрания — одно устраивать в Прибежище, одно — у Леопольда.

Темой первого из вечеров Леопольд избрал "русский авангард". Положив перед собою стопку репродукций и фотографий, начал он с Врубеля и мало кому известного Чюрлениса, а спустя часа полтора шла речь уже о художниках, чьи работы хранились теперь в Прибежище и были выставлены на этот вечер для обозрения. С чьей-то легкой руки эта первая встреча в Прибежище получила кличку "От Березова до Лианозова" — так как, объясняя идеи авангарда, Леопольд сопоставлял живопись начала века с живописью передвижников и упомянул по какому-то поводу суриковского "Меньшикова в Березове", и в конце вечера вышел шумный спор о "лианозовцах", которых сам Хрущев, а за ним вся общественность подвергли осуждению.

В следующий раз, уже в своей комнате, Леопольд поставил себе задачей проследить, как менялось отношение художников к обнаженной натуре. Вдоль длинного пенала комнаты — у стен, на полу, на кровати, на столе и стульях расположились десятки изображений — черно-белых и сияющих телесной розоватостью: античные фрески; итальянцы

Возрождения, начиная с боттичеллевской "Афродиты"; аскетичные средневековые немцы; романтики и классицисты; конечно же, Ренуар; рисунки Пикассо, скульптура Майоля, Родена и Мура; появилась и "Обнаженная" Фалька — опять-таки разруганная недавно прессой; и наконец, под общие возгласы одобрения, представлены были собравшимся работы любимого всеми Толика — его бесконечная серия "Балет" (пастель, уголь, сепия, акварель на цветной бумаге). Рассуждая о выразительных достоинствах его работ, Леопольд брал в руки лист за листом, обращался то и

дело к автору, и постепенно стеснительный Толик оказался вовлеченным в диалог. Не замечая явных провокаций, он бурно отстаивал вполне очевидные истины, при этом, однако, с таким жаром и вдохновением говорил о линии — женского тела! — и о колорите — женского тела! — что, когда он в сердцах воскликнул: "Эх, нет у меня натурщицы! Мне бы — натурщицу, мне так нужно работать с натурщицей!" — Вера вдруг с бесовским отчаянием хлопнула себя по коленкам:

— Толик! Ой, пропадать! Сколько сеансов выдержи — приходи! К черту условности! Правда же?!

В ответ закричали, заплодировали, с хохотом было предложено выпить по этому поводу; и Боря Хавкин кинулся за дверь — успеть в угловой магазин до закрытия. Толик стоял счастливый, Леопольд из груды балетной серии выбирал отдельные листы и ставил их поверх Венер, Психей, Вирсавий и Олимпий. Скоро вся комната оказалась заполненной листами Толика, и тогда сквозь сизую пелену сигаретного дыма — закурили нещадно! — увиделось всем: да это же прекрасно!.. И кто-то так и сказал: "Послушайте, это — прекрасно!.." И все умолкли. И тут же вздрогнули разом — от крепкого стука в дверь.

О вечная, непостижимая загадка искусства! Нет, нет, загадка эта — не загадка красоты: красоту сегодня можно измерить и вычислить. Загадка искусства в ином: в банальности. Избегать ли ее как чумы? Или ей поклоняться как откровению? Или есть золотая пропорция между банальным и неповторимым? И что говорит по этому поводу жизнь — для искусства пример великий и единственный? Чему полезному учит она, если способна сработать таким вот грубым, банальным приемом — на дешевом, как говорится, контрасте: в момент наивысшей духовной радости явить просветленному зрению лик участкового уполномоченного и иже с ним дворника и старуху соседку — ? Ах, нет! — уж лучше пусть

оно не учится, искусство, у жизни, если она настолько неоригинальна!

Леопольду предложено было объяснить происходящее. Он сказал, что читает своим друзьям лекцию по искусству. Участковый заметил на это, что такие мероприятия положено проводить в специально отведенных общественных местах, как то: в клубах и красных уголках. Леопольд счел за благо не вступать пока в пререкания и промолчал. В миг этой паузы раздались за дверью шаги, участковый отступил, и взору его явился Боря Хавкин, а с ним – авоська с нахально выпирающими из нее бутылочными округлостями.

– Обратите внимание, – указал понятым участковый. – Вот у них лекция – как водку пить.

Взгляд его внимательно рассматривал балетные листы. Такого обилия обнаженных тел и такого разнообразия поз ему еще не доводилось видеть!

– Что такое? – спросил он, даже растерянно несколько. – Он тянул палец к одной из работ.

– Акт, – ответил коротко Леопольд.

– Акт? Половой акт, что ли? – с сомнением переспросил участковый. Две изображенные фигуры были для этого несколько далековаты одна от другой.

– "Акт" – это тоже самое, что "ню", в пластических искусствах так называют обнаженную натуру, – объяснил Леопольд.

– Голые все, прости Господи! Тьфу! – на еще более понятный язык перевела соседка. И теперь участковый удовлетворенно сказал:

– Ясно! Вы хозяин? – обратился он к Леопольду снова.

– Да.

– Пусть ваши "друзья" приготовят документы, у кого есть, а у кого нет – правильность сведений будет под вашу ответственность.

– Может быть, вы потрудитесь мне объяснить, на каком

основании вы это устраиваете? — не повышая тона, спросил Леопольд.

— На законном. А вот то, что у вас жилец проживает, а сами вы неизвестно где, — это вот на незаконном, понятно? И людей собираете. Для не известно чего.

— Я не имею права, как вы говорите, — ”собирать людей” у себя в комнате? — по-прежнему спокойно спросил Леопольд.

Собирайте, собирайте! Дособираетесь... — мрачно ответил участковый.

Паспорт оказался у Финкельмайера — но с ним участковый был знаком и долго не рассматривал; у Леопольда — и этот паспорт был тут же возвращен владельцу; и еще — у Дануты, которая, вероятно, как бывшая поселенка, в силу приобретенной привычки всегда имела документы при себе. Этот паспорт лейтенант рассматривал долго.

— Та-ак... Вы супруга — кого? Ни-кола... Никольского?

”Знает! — легко заключил наблюдавший за участковым Никольский. — Знает и мою фамилию, и Верину, конечно, — его уже поставили в известность!”

— Я Никольский, — сказал он. — Это моя жена. Прописана у меня. Работает приемщицей в пункте химчистки. Что вас еще интересует?

— А вы меня не торопите, — оборвал его участковый. Положив на спинку кровати планшет, он списывал что-то из паспорта Дануты. — Фамилия у вас трудная. Литовка?

— Литовка, — тихо подтвердила Данута. Лицо ее было покорно... Проверка документов! — Езус-Мария! Как это ей знакомо!..

Затем и остальные по очереди называли — фамилию, имя, отчество, место прописки, место работы... Дворник вожделенно поглядывал на бутылки; старуха поджимала губы и нудела неразборчиво. Наконец процедура была окончена, и участковый с двумя предстоящими удалился.

Выпили немного и без энтузиазма, но потом разохотились, стали острить, издеваться вдогонку непрошеным гостям. Леопольд предположил, что старуха-соседка всегда рада была ему насолить: оказалось, что комната эта принадлежала некогда ее семье, но дети с нею не жили, муж умер, комнату у нее отняли — еще до того, как здесь стал жить Леопольд; однако же кому, кроме него, могла она мстить за отобранную жилплощадь?..

Расходились поздно. Данута осталась вместе с Ароном. Чертова старуха вылезла в коридор в семь утра, когда Данута хотела незамеченной бесшумно выскользнуть из квартиры.

— Эт что же? — воскликнула старуха под дверью Арона. — Вчерася с мужем пришла, а с чужим ночевать остаеся?! Ой страм, ой ну и страм! — Арон был в одних трусах и ничем не мог Дануте помочь. — Эт что же в квартире-то коммунальной устроили, а?! Бесстыжии твои глаза! Тьфу на тебя!

Чуть слышно шелкнул замок. Арон бросился к окну. Но Данута не сразу появилась: наверно, постояла в подъезде, чтоб прийти в себя от перенесенного унижения. А затем в законном предутреннем зимнем сумраке прошла она тенью, а когда прошла, фонарь, светивший наискось, перенес на стекло ее тень, и отодвинул в сторону, и скрыл за рамой...

Неделей позже, в следующую пятницу, три повестки были присланы по адресам Леопольда, Никольского и Веры. За Леопольда расписался в получении Финкельмайер; за Никольского — Данута; Вера получила повестку в собственные руки. Всем троим было предложено явиться в разное время и в разные дни в городскую прокуратуру (комната номер такой-то, следовательно — имярек) для дачи свидетельских показаний. Леопольд вызывался первым, за ним Никольский, последней приглашали Веру.

— Что ж, Леопольд Михайлович, народная мудрость гласит: понедельник — день тяжелый! — болтал Никольский. — Знаете? — Повели заключенного на гильотину, а он спрашивает: "Какой сегодня день?" — "Понедельник" — "Ну и ну! — говорит он им. — Ничего себе неделя начинается!" — Прекрати! — выкрикнула Вера. — Бородатая шуточка! — Знаю, зато к месту, — вяло оправдался Никольский.

Всего противнее было ожидание. А ждать предстояло еще долгих три дня, и они заполнялись бесплодными попытками предугадать, предвосхитить, найти наилучший способ поведения для каждого из них. Но любая мысль, как ни казалась она хитроумна, умирала в самом начале ее обсуждения, настолько тяготило их сознание того, что *они* знают, чего будут от нас добиваться, а *мы* этого не знаем, а без такого знания — можно ли придумать что-либо дельное? Все трое чувствовали, будто должны вступить в сражение с призраками, которые обступили их, наблюдают, молчат, но с каждой минутой все приближаются...

Беспокойство, однако, внутри нас; а то, что идет извне, пусть даже и неся с собою новые угрозы, все же приносит облегчение: реальная действительность, по крайней мере, воплощена в живые формы, и как не отойти душой, если убедишься, что за серенькой повесткой никакие ни призраки, а обыкновенный, с невыразительным лицом человек — следователь, одетый в помятый, даже некрасиво на нем сидящий гражданский костюм; и сам этот человек озабочен как будто не меньше тебя, — тебе даже легче! тебе-то надо только отвечать! а ему-то вопросы — выдумывать, и тебя — слушать, и — направлять куда следует, — получать и перерабатывать и запоминать информацию, вот как! — а он не машина, и способности его, конечно же, не больше средних, иначе к своим, примерно, сорока пяти годам сидел бы он не в этой тесной комнатке (и у них в учреждении маловато площади!), а где-нибудь повыше — словом, обыкновен-

ная жизнь, обыкновенная работа у него. И не легкая, — тем более, что *дело* нужно представить грамотно, доказательно, полно, а это тебе не деталь на заводе выточить — соблюсти законность, и факты собрать, и в конце написать, что дело следствием закончено — и тоже к сроку, а не когда-нибудь...

Леопольд отвечал на вопросы следователя медленно, давая себе время подумать. Это не понравилось. И когда его спросили, не может ли он отвечать побыстрее, сказал, что не может: я не молод, сказал он, и мне беседа с вами стоит усилий. Следователю пришлось с этим смириться. Вопросы касались прошлого Леопольда, и он ждал, что сведутся они к его старой, уже не существующей коллекции, которая почти вся досталась дочери и была потом разбазарена. Леопольд предполагал, что его начнут страшить прежними "нетрудовыми доходами". Но этого не произошло, следователь, по всей видимости, не знал о той коллекции. Почему же тогда интересовался он тем далеким уже временем, когда Леопольд работал в "Национале"?

Следователь спрашивал, сохранились ли у Леопольда знакомства с той поры? Какие именно? И Леопольд назвал того, кто обслуживал банкетный стол, когда по просьбе Арона устроен был в "Национале" ужин. Но явно не на такие знакомства рассчитывал следователь. Приходилось ли обслуживать иностранцев — вот что спросил он, и как бы без особого внимания выслушал ответ, что да, иногда приходилось. "Не буду вас утомлять, — сказал после этого следователь. — Продолжим через несколько дней. Мы вас вызовем повесткой".

Никольский, в противоположность Леопольду, отвечал мгновенно и, кажется, вогнал в запарку самого следователя. Никольский никогда не упускал случая потешиться над недалекими людьми, и тут ему подвернулся подобный случай. То он отвечал коротко "да" или "нет" на вопросы, начинающиеся со слов "когда" или "где" или с просьбы

”рассказать по порядку”, и следователь не сразу улавливал бессмысленность этих ”да” и ”нет”, повторял свой вопрос, и тогда Никольский спохватывался, что ”не понял”; то, напротив, пространно и витиевато философствовал по какому-то незначащему поводу, пока следователь не прерывал его. Словом, забавлялся Никольский в свое удовольствие, но глупостей не порол. Он уже знал, что Леопольду не было задано ни одного вопроса о картинах, и поэтому почувствовал себя чуть ли не именинником, когда добрались наконец до Виктора.

— А как же! Рыжий! Мы же с ним вместе работали. Что он опять натворил?

— Опять? Вы имеете в виду что?

— А не знаю. Ну, выпивает парень, он при мне однажды пассажира избил.

Следователь pokrивился.

— Почему он давал показания, что вы живете в Марьиной роще?

Никольский развел руками.

— Ну, это вы меня с кем-то спутали... Как он мог такое сказать?

Такой вот пошел разговор — про Марьину рощу и несуществующего Володьку Евдокимова, Никольский спокойно сказал, что Виктор все это наврал. Спокойно, потому что расспрашивали Витьку неофициально, в ГАИ, без протокола, и теперь ему ничего не стоило от тех показаний отречься. А зачем Витька врал? — как же вы не понимаете? — вез для меня стройматериалы, но он же не знал — вдруг эти материалы ворованные? Он бы меня тогда подвел.

— При чем тут стройматериалы? Почему вы все это связываете со стройматериалами? — спросил следователь и не смог скрыть некоторого оживления.

”А-а, голубчик! — обрадовался Никольский в свою очередь. — Ты думаешь, я себя выдал? Это ты себя выдал!”

— Что ж я, по-вашему, не помню? — удивленно сказал он.
— Нас же пытались остановить — пожарник и архитектор. Чуть по мордам не надавали.

— Почему вас пытались остановить?

Никольский не удержался от улыбки.

— А вы у них спросите!..

Но следователь настаивал. Ему очень хотелось выяснить, что именно свидетелю известно. Поупиравшись еще немного, Никольский был вынужден конфузливо признаться, что он догадывается, почему их останавливали.

— Почему же?

— Потому что, наверно, и в самом деле ворованные, — со вздохом ответил Никольский. И следователю должна была стать понятной причина этого вздоха: припертый к стене человек выдавал другого... Легко ли предавать! — говорил весь вид Никольского.

— Так... — протянул следователь. Но он не был обескуражен неудачей и зашел с другой стороны. — Где, как и при каких обстоятельствах вы познакомились с Варварой Бегичевой?

Никольский принялся мучительно вспоминать. Не вспомнил. А эта сделка насчет стройматериалов произошла у Леопольда, это он точно помнит. Когда она произошла? А где-нибудь недели за две до того, как он эти материалы вывез.

— Сколько же вы сделали ездов?

— Две.

Пауза.

— Когда ваш друг вступил в сожительство с Бегичевой?

— Витька? — взгляд Никольского заметался. — Н-не знаю. То есть я не знаю ни про какое такое сожительство! — поспешно сказал он и посмотрел на следователя глазами честного человека. И весь вид Никольского говорил, что на сегодня одного предательства ему достаточно, Витьку, хоть бы он и сожительствовавал, ни за что сегодня не предаст,

потому что и тот своего друга не предал!.. Вот какой был смелый и благородный Никольский!

На том беседа и закончилась — до следующего вызова, как было объявлено...

Вера начала разговор со следователем нервно и агрессивно, хотя Леопольд, Никольский и Боря Хавкин, который бежал теперь в Прибежище едва ли не ежедневно, — все умоляли ее быть тише воды, ниже травы. Взяв резкий тон, она каждый раз, когда следователь о чем-то допытывался, сбивалась на то, чтоб вызывающе спросить: "А зачем вам это нужно знать?" Или: "Какое вам дело до моих личных отношений?" Следователь обозлился. Кроме того, Вера закурила, а её собеседник не выносил табачного дыма, велел ей курение прекратить. Вера отказалась...

Оттого ли, что свидетельница вызвала такое раздражение у следователя, или оттого, что она была хозяйкой дома, куда привела из Нахабина ниточка, Вере — первой из допрашиваемых — был задан сакраментальный вопрос: о картинах. Она ответила, что картины в доме есть. Появились они там в разное время. Ей их дарили. Перечислить все она не могла. Если следствию нужно знать точное число картин, можете прийти и посчитать. Но, кажется, для обыска нужен ордер прокурора, да? Имен всех художников не помню. Например? Например, Коровин, Бенуа... В дом приходят? — Приходят друзья. Иностранцы?! Здравс-сьте! Они у меня вот где сидят, ваши иностранцы! Я переводчица, я вам уже говорила, меня приглашают на научные конференции, — что такое синхронный перевод, вам известно? — бывает случайная работа — гидом на выставках. Вот и все, понятно? И никакого общения с ними вы мне не пришивайте, понятно?

Вера была собой очень довольна. Пусть, пусть поищут среди московских абстракционистов Бенуа или Коровина! — злорадствовала она. Боря Хавкин смотрел на нее с вос-

торженной завистью, он — ну просто переживал! — что ему не досталось водить за нос туповатого следователя!

Но досталось и ему побывать в тесной комнате над скрипучей лестницей двухэтажного старого особняка с флигелями; досталось и ему в полутемной прихожей, перед дверью в эту комнатку писать потом собственноручно на бланке протокола допроса следователя "Я, Хавкин Борис Григо..." — досталось и Женечке, которая вернулась с плачем; и соседу Веры, Константину Васильевичу — он и Леопольд сошлись за последние три месяца тесно и, благо поблизости, частенько заходили один к другому поговорить по-стариковски, — довелось, довелось на старости лет дяде Косте; довелось и Толику — прямо в институте, в комитете комсомола, и он закричал: "Исключайте! Да я за Леопольда Михайловича!.. Я за него!.. Этот ваш комитет!.. Вы в подметки ему — поняли?!" И над ним уже повисло исключение — еще не было ясно, откуда: из комсомола или из института, но едва он опоздал на лекцию, как получил немедленный выговор, и это значило, что деканат заготавливает "матерьяльчик" на Толю...

Довелось и супруге гражданина Никольского — Дануте, и к ней прицепился следователь клещом, и оказалось, что он все знает про нее — про Заалайск, про быстрое замужество, про то, что сожительствовала с гражданином Финкельмайером до замужества и продолжает сожительствовать с таким и в настоящее время, используя для интимных свиданий квартиру мужа и комнату, которую предоставил Финкельмайеру известный нам пенсионер...

Наступил Новый год. Празднество в Прибежище было скромным. За обычными пожеланиями слышалось всем одно: скорей бы прошла эта темная полоса... Среди ночи вышли во двор, и в ветвях старой ели Вера зажгла большую свечу.

Ближе к утру Данута сказала Никольскому: "Прошу...

Арон хотел сам, без меня... Но так будет нехорошо. Вам спасибо за все, теперь больше не надо... Мне нужно... должна!..” — ”Да, конечно, конечно, — поспешно продолжил Никольский, он все понимал, он все тонко чувствовал, он был очень чуток с женщинами, они это за ним всегда замечали и очень ценили!.. — я понимаю, и я обещал, что в любой момент, мы, давайте, договоримся в ближайшие дни и поедем подать заявление, но имейте, Данута, в виду, что прописка за вами и после развода, — она по закону за вами, и сколько вы захотите, вы можете быть...” — ”Вам спасибо, Леонид. Вы доб... настоящий другас... Я хочу ехать в Каунас. Искать кого-то...” — ”Вон что... Пожалуй, пожалуй... сейчас вам бы, действительно, стоило смыться... А как Арон?” — ”Он хочет, чтобы уехала...”

Никольский потом стоял напротив Арона, и они исполнили молча религиозный канон (*со времен средневековья — форма многоголосной музыки, основанная на строгой имитации темы, начавшейся в одном голосе, затем продолженной в других голосах*), — в данном случае двухголосный канон на такой, приблизительно, текст: ”*О святая — о святая Дану — я Данута зачем — та зачем покидаешь меня — покидаешь меня в тяжкий час — в тяжкий час...*”

- Погано, — сказал Никольский.
- Угу, — сказал Финкельмайер.
- Дурак. Женился бы, — сказал Никольский.
- Дурак. Не хочу, — сказал Финкельмайер.
- Что ей делать в Литве.
- Отсюда надо уехать.
- Иначе затаскают.
- Угу.
- Тебя не трогают почему-то.
- Фриду вызывали.
- Жену?!

— Что ты удивляешься? Жену Никольского таскают, а жену Финкельмайера не должны?

— Весело.

— Меня оставили на закуску. Я к Леопольду ближе других. Мы знакомы больше десяти лет.

— Да. Все сводится к нему...

Леопольда вызывали по два, по три раза в неделю. Следователь начал настойчиво выяснять, с кем из художников Леопольд поддерживал отношения, кто продавал ему свои картины, у кого в мастерских он бывал, кого там встречал — и так далее. Нередко Леопольд по каким-либо соображениям уходил от прямых ответов в сторону. Чтобы получить нужные ему показания, следователю пришлось упомянуть о фактах, которые, как понял Леопольд, могли оказаться известными только из допросов вполне определенных людей. Это уже хоть что-то говорило о ситуации. Осторожно, через знакомых, Леопольд разузнал, что, действительно, дело, которым занят был следователь, тянулось еще с той поры, когда вскоре после известного выступления по поводу абстракционизма и формализма устроили на Западе выставку, на которой показали картины, вывезенные отсюда, от этих самых абстракционистов. Растрезвонили про выставку в реакционной прессе, а это наносило вред, с чем мириться было никак нельзя, и потому-то, как можно понять, искали виноватых.

Адвокат, с которым пошел Леопольд советоваться, заключил, что события грозят обернуться самым неприятным образом. Пусть Леопольд никак не был замешан в незаконных делах, но, говорил адвокат, судите сами: вы покупали у автора картину — и, как вы утверждаете, почти задаром — пусть так; затем, по первому желанию художника, возвращали, принимая от него ту же небольшую сумму обратно — пусть так; и, представьте, та же картина продана за валюту — и вот известно, что она продана; известно, что автор про-

давал ее вам; а то, что автор у вас ее забрал, чтобы перепродать — это известно, кроме вас, только ему самому, художнику, и он от этого может отречься. "Но как они будут доказывать, что именно я перепродал?" — спросил Леопольд. "Ах, презумпция невиновности, презумпция невиновности!.. Оставьте!.." — махнул рукой адвокат. Беседовали у него дома, и он мог быть вполне откровенен.

— Рассуждений, которые я вам сейчас привел, вполне достаточно, чтобы вы в какой-то момент из свидетелей перешли в число подозреваемых. Это хуже всего. Я готов предположить, что следствие столкнулось с трудностями, и, пока допрашивали самих художников, не многое удалось собрать. Кто картины продавал? Кому продавал? Как продавал? Каждый из авторов мог утверждать, что, продав свою работу кому угодно здесь, он уже не знал, что она оказалась за границей. Тут концов не найдешь, и следствию в таких случаях очень желательно отыскать единую руку, которая все это *организовывала!* Стянуть — все, все! — в один, общий узел! — это было бы дело!

— И теперь, любезнейший, — адвокат продолжал увлеченно, так как чувствовал, что проницательность свою и красноречие демонстрирует достойному клиенту (был адвокат, действительно, уважаемым, пожилым юристом, которому долгая практика принесла не только отличное знание закона, но и — что, как показал ему опыт, было куда важнее — отличное знание *беззакония*) — теперь предположим, такого единого узла у следствия не намечалось. Но смотрите: выявился дом в Нахабино. Затем вы перевозите картины в особняк — туда, где они сейчас. Разумеется, это подозрительно. А вы — личность, по всем данным, не внушающая доверия: официант "Националя"! а на старости лет читает лекции по искусству! Вы могли работать официантом для маскировки, а, уйдя на пенсию, поддерживать прежние связи: в ресторане всегда полно народу, особенно иностран-

цев, и любое дельце там легко обстряпать... Картины к вам стекаются... вы в них смыслите... рекомендуете, подсказываете... устанавливаются связи..! А? Разве плохая версия? И хозяйка особняка преподает язык.

— Однако все это догадки. Понадобятся факты, а их не будет, — попробовал возразить Леопольд.

— Да верно, верно, — устало согласился адвокат. — Я о чем говорю? — о том, что вы, повторяю, легко может стать, будете проходить по этому делу как подозреваемый, а уже не как свидетель — вот что плохо. А факты — факты для суда. И я бы не взялся предсказывать исход — с ваших слов.

Когда Леопольд, поблагодарив, стал прощаться, адвокат спросил:

— У вас что-то с ногами?

Он кивнул на палку, с которой Леопольд не расставался.

— Да, ноги неважные, — ответил Леопольд, не вдаваясь в подробности.

— Что я вам посоветую. — Адвокат немного подумал. — Сделайте так: возьмите врачебное заключение — ну, что нуждаетесь в лечении... что-нибудь в этом роде. Понимаете ли, для вас полезно уйти от следователя — подольше потянуть, подольше, понимаете? Вы не могли бы уехать — на месяц, предположим, в санаторий, а там еще и поболеть? Вам полезно исчезнуть. Как рыба. — Адвокат рукой сделал ловкое движение, и ладонь его рыбкой быстро нырнула вниз. — Уйти на глубину.

— Разве мой временный отъезд что-то изменит? Это вызовет лишние подозрения. В лучшем случае оттянет развязку.

— Как сказать! Боюсь, что вы для них — козел отпущения, и они вот-вот повернут на вас. А если вы надолго исчезнете — могут повернуть и в другую сторону, а с вами бросить, ограничившись тем, что уже есть. Следствие идет давно, и я думаю, — по тому, что вы рассказали, — они

поспешат завершить его в ближайшее время. Ваша ситуация в любой момент может резко ухудшиться. Постарайтесь уехать месяца на два. Вот мой совет. А ваши друзья пусть держат меня в курсе дела.

— Спасибо. Подумаю над этим.

— И последнее. Если сбудутся мои худшие предположения — готов взять на себя защиту.

О свидании с адвокатом Леопольд рассказал Вере и Никольскому, умолчав, однако, про настоятельный совет уехать из Москвы. Он понимал, что рискует упустить последнюю возможность: когда предъявят обвинение, будет поздно. Но он все не мог заставить себя воспользоваться таким унижительным бегством. Он надеялся еще, что, убедившись, наконец, в том, что и он, и те, кто его окружают, ни в чем не замешаны, следователь оставит их в покое и на крайний случай им предложат явиться на самый суд для подтверждения показаний, — буде этот суд состоится.

Поздним вечером Виктор привез в Прибежище заплаканную Вареньку. Объявился в Нахабине муженек — Колька Бегичев. С угрозами, бранью и пьяными рыданиями он рвался к Вареньке в дом. Остановился Колька у дружка и там ночевал уже несколько дней, возобновляя каждый раз после утренней опохмелки осаду запертого дома. Правда, он боялся Виктора, поэтому уходил, завидев в начале улицы его машину. Жена Колькиного приятеля, разозленная непрерывной попойкой мужчин, пришла к Вареньке посочувствовать, излить душу и сказала посреди своих стенаний, что на Кольку в милицию не пожалуешься: он похвалялся, будто милиция за него, потому что он им все как есть рассказал. — А что рассказал-то, что рассказал? — выспрашивать стала Варенька. — Да пьяного нешто поймешь? — отвечала приятелева жена. Смеялся он, Колька: я, говорит, и от себя отвел, и от дружков своих — художников тоже все отвел, а на старого хмыря ("Это вас он так, Леопольд Михайлович! —

вновь расплакалась тут Варенька, которая по наивности все пересказала как есть. — Вы-то ему сколько хорошего сделали!” — “Ах, Варенька, ну дальше говорите, дальше!” — подгоняла Вера) — а на Леопольда Михайловича взял, да все и показал — я, похвалялся Колька, за Варьку отомщу, за то, что она через него с таксистом снюхалась! Я, говорит, ненавижу этих профессоров. Художники — свой брат, про них ни за что ни слова не скажу, хоть бы меня сажали. А этих критиков-знатоков мне не жалко, пусть засудят, виноватый или невиноватый — мне все равно!

— До чего довела-то водка-а, а-а? — плакала Варенька. — Вот подлец-то како-ой..! Сам с учительшей, а са-ам меня-а..! из-за меня-а..! вас, Леопольд Михайлович, надо же, а-а?..

Вареньку обласкали и успокоили. Спешно был созван “совет в Филях” — так острил воинственный Боря Хавкин, который все повторял без конца: “Будет суд — мы им покажем! Мы им, если суд состоится, покажем!” К нему присоединился и Толик, и оба хорохорились, пока на них не прыкнули: остальные были настроены мрачно.

Леопольд позвонил адвокату. “Вы еще не уехали?” — удивился тот. А когда услышал о последних новостях, ответил резко: “Немедленно! — вы меня понимаете? — немедленно-но делайте то, о чем мы говорили! По телефону повторять не буду. Вы губите себя!”

Леопольд положил трубку. Все выжидающе смотрели на него, но не сразу он начал говорить, а заговорив, не сразу перешел к сути дела. Он счел нужным опять сказать, как сказал уже однажды Никольскому, что перед своими друзьями, перед близкими людьми и перед самим собой тоже, он чувствует себя незапятнанным и хочет, чтобы никто ни минуты не сомневался в полном отсутствии каких-либо предосудительных поступков с его стороны. И жаль только, сказал Леопольд, что всем вам приходится переживать это тяжелое время. Но я, друзья мои, вам благодарен сердечно, и оттого я счастлив...

(Отчего же он счастлив — об этом не было сказано слова, но было сказано *слово*, так как только в словах *было сказано слово* выражается *слово*, которое не было сказано в долгом молчанье беззвучного слова).

Он решился, наконец, заговорить о своем отъезде и рассказал об опасениях адвоката — что дело может обернуться плохо.

— Уезжать! — решительно заключил Никольский и для пущей убедительности хлопнул ладонью об стол. — Леопольд Михайлович, что вас смущает? Не хотите нас бросить? Глупости! Вы — центр, а мы — окружение, зачем мы будем им нужны, если они решат оставить в покое вас? Естественным образом перестанут таскать и нас. Разве нет?

— Да, Леонид Павлович, я рассудил приблизительно так же, — кивнул Леопольд. — Иначе я бы оставил всякую мысль об отъезде.

Принялись обсуждать, куда ему направиться, но самому Леопольду это было все равно, а воображение остальных спотыкалось на пресловутом сочетании Крым — Кавказ. Придумать ничего не могли.

— И с Данутой неясно, — задумчиво сказал Никольский. — Поедет в Литву, куда ей там деться — хотя бы на первых порах?

Дядя Костя, сидевший рядом с Леопольдом, поднял голову.

— В Литву? — переспросил он. — Паланга — это в Литве? На море, да?

И когда ему ответили утвердительно, он оживился:

— Там у нашего предприятия дачки арендуются. Я хоть завтра путевку в местное возьму. Сейчас не сезон, все пусто. Эх, Леопольд Михайлович, а что-ка взять мне отпуск да с тобой махнуть? А? Год закончился, а я не гулял. Мне в один день оформят отпуск — и поедем!

— И если бы с вами Данута... — осторожно подсказал Никольский.

— Как здорово! Леопольд Михайлович! Дядя Костя! Отлично! — возрадовалась Вера. — И Данута! Она за вами поухаживает, она чудесная! Я абсолютно буду спокойна за всех! Поезжайте втроем!

Назавтра все так и решилось: дядя Костя принес обещанные путевки и даже билеты купил на поезд, уходящий через сутки. Никольский поехал к Дануте. Он торопился и молил Бога, чтобы Арон не оказался у нее. Сколько — ну полчаса наедине, ну час (два-три-сутки-и-вечность), чтобы поговорить, чтобы выска-выслу-однаж-до-конца, ты, Никольский, волнуешься. Безнадежно. Точней — *безнадежно*. Внезапно на него накатило: *он шел в ином, чем тогда, — в обратном направлении!* Он торопился, но сделал маленькую остановку, чтоб развернуться и снова, как тогда, оказаться спиной к церкви и снова, глядя через плечо, назад, увидеть, как сияют золотом высокие кресты, но кресты не сияли сейчас, потому что был зимний вечер, тогда — был весенний день, — Боже милосердный! — как много дней, как много страниц промелькнуло! — вода прожурчалась и в землю ушла, и пала с небес, и замерзла, и снегом легла, тогда это слово *надежда* явилось ему, и следом явилось имя *Данута*, а теперь — *безнадежно* и, как прежде, — *Данута*...

Они сидели за столом ("vis-a-vis", "tete-a-tete" — по-дурачки вертелось у Никольского в голове) и неторопливо беседовали. Он с самого начала спросил, когда придет Арон. Она ответила смущенно, что не скоро ("на ночь", — подумал Никольский), и добавила, что Арон обещал позвонить перед тем, как поехать к ней. И Никольский был спокоен, уверенный в том, что необходимое сказать — он скажет.

— Имею несколько адресов, — говорила Данута. — Люди вернулись давно из Сибири. Каунас, Вильнюс, Аникшю, Тяльшяй... Многие. Но хочу приехать сама. Увидеть Литву

хочу. Глазами. Сначала ехать в Палангу — так, хорошо будет. Кому напишу, — пусть знают, что сама приехала, сама живу. Плохо, если пригласят от жалости только, правильно говорю?

— Правильно, Данута. Вы молодец.

— Как говорят, жизнь учила. Что хочу сказать. Это вы придумали — мне ехать в Палангу. Я вам очень благодарна, что вы так...

— Как?

Никольский ощутил, что неожиданно для него застучало в груди. Он знал уже, к чему сведет сейчас ближайшие слова, которые скажет сам и которые скажет — но что она скажет...? — Данута.

— ...так... без... бес... Какое слово, забыла...

— бескорыстно? — да — бескорыстно? корыстно! — почему говорите так — вы сами знаете, Данута — я не понимаю — я сейчас скажу, и вы поймете, что вы понимаете, но... не хотите... сказать... разве бескорыстно, если надежда, что вы... что я надеялся всегда, что вы, может быть, то, что видите в моем отношении — вы, Леонид, хороший очень — и, однако, не это же вовсе, вы понимаете сами, что если я хороший вообще, и для всех, а это не так, вы же знаете сами, какое, собственно, это имеет значение для нас, вы видите, я говорю для нас значение имеет то, что вы и я, и то, что у меня — почему я чай на плиту не — не надо о чае, мы пили его тогда, в Заалайске, вы помните — помню, но — и я все же должен сказать, потому что, вы знаете, целый год проскочил, и я не заметил. Я только и делал, что я вас любил.

Мученье было на ее лице, и с этим лицом пошла она ставить чай на плиту. Никольский раскуривал сигарету — со вкусом, раскуривал горькую сладость душистого дыма, которому было теперь что заполнить там, внутри, где стало пусто-пусто, будто ничего и не выстукивало с силой у него в груди лишь несколько минут назад.

Данута пришла и села. Ничего не произошло.

— Скажите, Данута, мне откровенно. Вы не вернетесь к Арону?

Она долго раздумывала, отвечать ли ему или нет. Но он — в утешение — не был разве достоин ее откровенности?

— Я ему... мало нужна. Ему — ему все очень мало нужны. Он и сам для себя — понимаете? — мало нужен.

— Да. Понимаю.

— Ребенок маленький совсем в лесу останется, он не знает, что ему нужно. Как себя спасти? Найдет его человек, согреет — будет тепло; не согреет никто — он сядет под деревом на мох и будет сидеть. Что с ним будет — никто не узнает.

Это было не очень понятно. Никольский, однако, почувствовал, что ему стало немного не по себе.

— Мне надо, чтобы я была нужна, — тихо сказала Данута.

— Да. Понимаю. Вы хотите детей.

— Так. Простую жизнь. Красивую. Где люди ее имеют? Я не видела. Там — не было. Только сестра.

— А тут — вам было плохо?

— Хорошо было. Я отдыхала. Я приготовилась теперь. Чтобы жить.

— И вы думаете — в Литве? Там — жизнь, счастье, семья?

— Хочу увидеть. Тут говорит — она дотронулась до своего виска, где тонкий русский пух клубился, матово поблескивал под светом, — что не будет хорошо в Литве. А тут говорит, — рука ее скользнула к груди, к изгибу крутого плавного контура вязаной кофточки, — что не буду спокойной, пока не поеду. Кто знает, как?..

— Вот, Данута, что я скажу. Как бы там ни сложилось... В общем, как пишут в старых романах: "Знайте, госпожа, что, как бы судьба ни была жестока, разлука никогда не сможет погасить тех чувств, которые испытывает к вам ваш верный раб, и, что бы ни случилось, госпожа моя, вы всегда

найдете во мне человека, чье счастье будет составлять сама надежда оказать вам и малейшую услугу, когда бы вы обо мне ни вспомнили!” Я это серьезно, Данута.

Она засмеялась весело. Он впервые увидел ее веселой. С неисчезнувшей улыбкой она задумалась.

— В старых романах... Я мало читала. Хочу еще много-много читать. По-русски, по-литовски. Я, вы думаете, плохо читаю по-русски?

— Совсем и не думаю..!

— Хорошо читаю. Быстро. И понимаю все-все, когда говорят. Сама говорю плохо — хорошо читаю.

— Совсем не..!

— плохо, потому что много молчала. С чужими. А со своими по-литовски говорила только. Книги читала русские. Буду читать. Правда, хорошо?

— Да.

Позвонил Арон и сказал, что выезжает. Это означало, что еще полчаса можно бы говорить с Данутой. Но что-то нарушилось в их беседе, слова и голоса их стали незначущими. И Никольский попросил только, чтобы Данута из Паланги и после Паланги — из Каунаса или где ни окажется, сообщала бы ему о себе, например, в Прибежище, на адрес Веры. Не надо, сказал он, заставлять Арона передавать мне приветы: он может забыть, а возможно, не очень-то захочет упоминать о вас. Сообщайте хотя бы коротко. Обещаете? — Данута обещала.

Арон, появившись, сказал с порога:

— Поздравляйте. Сегодня меня наконец!

Его поняли с полуслова: Арон побывал у следователя. Действительно, — наконец-то это произошло! Допрашивали всех и не однажды, и только Финкельмайера не трогали, что вызывало удивление и тревогу — особенно у Леопольда, но никак не у самого Арона, который все заявлял беспечно, что оставлен ”на закуску”.

— Ну-ну, рассказывай! — нетерпеливо поторопил Никольский. Ему и любопытно было, и хотелось уйти скорее, чтобы не смотреть на них, когда они вдвоем, рядом, вместе, и на свою — свой собственную-ный диван-кровать.

Арон пожал плечами.

— Да ничего интересного. Стандартные вопросы. Больше всего их волновало, почему я не работаю и почему живу у Леопольда.

— Их..?

— Ну да, их было двое.

Никольский покачал головой. Это новость!

— Та-ак. И что ты им наговорил?

— Все больше о литературе беседовали. Что она поглощает целиком и отвлекает от общественно-полезного труда. Я им рассказал о враче по фамилии Чехов и об инженерере путей сообщения Гарине, в скобках — Михайловском. Но оказалось, что про Чехова они что-то слышали до нашего разговора, а вот о Гарине...

Болтливость Арона была первейшим признаком, что он возбужден. Никольский прервал его.

— Слушай, брось молоть чепуху! Послушай меня. Завтра, когда проводишь Дануту и Леопольда, возьмешь все свои манатки оттуда, с Кропоткинской, и переберешься сюда. Ключ возьмешь у Дануты.

— Спасибо, Леня, но... Ты думаешь, это нужно?..

— Необходимо! Для твоего же спокойствия, дурень. Леопольд уедет — и его комната должна быть заперта. Меньше будут придирааться.

— Спасибо, Леня, спасибо, ты настоящ...

— Заткнись! Ну, я пошел, Данута, — прощайте? Или это слишком звучит *бездна*..?

Он хотел сказать *безнадежно*, вспомнил получившееся у него сегодня слово *безнадежно*, но *д* заскочило вперед, разверзлась *бездна* — и он остановился, пораженный.

— Ты разве не проводишь завтра? — спрашивал Арон.
— До свидания. И будьте здоровы, — говорила Данута.
Она подошла к нему.

— Моя мама, — она опустила глаза, может быть, обращаясь к Богу, — попросила Бога, чтобы маме было хорошо там, у Него. — Мама говорила, что у них в старину мужчина и женщина, когда они были хорошие друзья, так прощались, вот здесь.

Она подняла, положила Никольскому на плечи руки и губами коснулась его левого плеча, ближе к шее. И он осторожно — плечи ее под вязаной кофточкой, мягкий запах волос и открытой шеи — повторил старинный ритуал.

XXXIV

Не прошло и полмесяца, и калининградский поезд, которым уехали Данута, Леопольд и дядя Костя, увозил из Москвы и Никольского. Он лежал на верхней полке, куда бросился не раздевшись, а внизу под ним компания солдат, возвращавшихся из отпуска, пристроилась выпить, чтобы отметить последние сутки своей свободы, — они и Никольского звали к себе, извиняясь вежливо, но он отговорился тем, что будто бы пил только что в вокзальном ресторане, его даже малость мутит, — и теперь сквозь мерный гул, постукивание и скрип вагонной подвески неслись к нему навверх грубовато-стесненные, отрывистые голоса. Острый водочный дух перешибался запахами недалекого туалета. Вентилятор не действовал, его задвижка лишь отвратительно дребезжала.

Уснуть бы, отрешиться — забыть, уничтожить все, что было затянато адской воронкой памяти! — затянато вглубь, вдруг вытолкнуто на поверхность, перевернуто, развалено в куски и смешано, вновь увлеченное в тьму — все, что проис-

ходило в эти недели, — где Леопольд? — со стиснутым ненавидящим ртом озверевшая физиономия следователя — а-а, голубчик, поищи! поищи! — и у Веры: где Леопольд?! — и ее безудержные рыдания: ”неужели они не оставят его в покое, Леня, скажи?” — и у Арона: где Леопольд?!? — по какой причине вы внезапно переехали к Никольскому? — ”Я думаю, Леня, теперь-то они за меня по-настоящему возьмутся!..” — глаза у Арона горят лихорадкой, Фрида звонит: ”Вы его друг, Леонид Павлович, постарайтесь, пожалуйста, вы! я вам верю — спасите Арона!” — но это потом уже, да, да, потом, телеграмма пришла сегодня утром, послана была вчера ПАЛАНГИ 16306 18 26 1745, первые цифры — номер, затем — количество слов, затем — число, когда телеграмма отправлена, затем — время отправления телеграммы (первые две цифры — часы, следующие две цифры — минуты), значит уже больше суток назад, — Фрида звонила в 10 утра, откуда же знала, что я дома? — наверно не знала, звонила на служ... — а, конечно, и там ей сказали: ”Никольский не будет”, — он прочитал телеграмму шефу: **НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЙТЕ ПАЛАНГА ВИТАУТО 6** — а разве давал он тетушкин адрес? я же Дануту просил сообщать... — ах, да! Леопольду на экстренный случай — и дядя Костя рядом сидел, он догадался — не Вере, они так решили, послали ему, чтобы он, — он! я! он! я! я, Никольский, он! он! — проходил коридором Прибежища — ключ был у меня! ключ почему-то ей не отдал, почему-то оказался он в кармане, и — проходил коридором Прибежища и — проходил коридором Прибежища и — приближался к дверям, туда, где она, и — ”Кто?” — ”Я, Вера!” — ”Ты? Что случилось?!” — и — приближался к алькову, туда, где она, и — ”Вера, ты не одета? Оденься. Ты ничего не знаешь, Вера?” — откуда же ей было знать, пустой вопрос, он искал одного лишь — *подхода*, он! я! он! он! я, Никольский! — он думал, что может ослабить, сумеет не сразу, а — *постепенно* Веру приблизить, и приближался к алько-

ву, рукой проводил сверху вниз по окаменелости складок, они раздвинулись – Вера в рубашке, наброшен халатик – жутким шепотом: ”чш-то-же-а...?” – Вера, Вера! плохо я получил у окна подойдем я сегодня поеду ты с кем-нибудь побудь с кем-нибудь потому что тебе ни к чему, – смалодушничал, сволочь он! я, я, сволочь, Никольский, мне надо было сказать, а я протянул, или не протянул, а держал, а она, ей пришлось взять самой, и читала, она не читала, она заглянула и не читала, знала как будто, и так и сказала жестяночным звуком ”знала же, знала, Боже мой, знала..!” и держала, и ”когда, Боже мой..?” – и стала читать, но не было там когда, было **НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЙТЕ ПАЛАНГА ВИТАУТО 6 СКОНЧАЛСЯ ЛЕОПОЛЬД МИХАЙЛОВИЧ – ҚОНСТАНТИН** – ”Почему тебе прислали? Я еду” – ”Нет. Не поедешь”. – ”Как? Как же я не..?” – ”Ты не поедешь” – и было, казалось, на грани истерики, он уже весь подобрался, чтобы противостоять, но она – почему? – покорно, покорно, как детский игрушечный ослик – у него когда-то был, головка на крючках легко покачивалась, – стала кивать равномерно и – он увидел – болезненно заулыбалась, и он испугался: не психо- ли это..? – но слезы сбегали, она улыбалась мучительно, слезы висели на подбородке, а на белой бумажной рубашке, где ее поднимала грудь, уже намокло пятно. ”Хорошо” – ”Кто-нибудь” – ”Хорошо” – ”Боря Хавкин?” – ”Да” – ”Я позвоню. Женя тоже?” – ”Нет. Не хочу. Нет, как же там? Я не могу! Совсем без меня? Я не мо...” – ”Я тебе обещаю. Даю тебе слово. Я приеду с... Я привезу”. – ”Боже мой” – ”Вот что, Вера. Никому, слышишь? Арону – ни слова Арону. Он может просто... Ты сильнее. А он может просто свихнуться”. – ”Хорошо” – ”И *этим*. Только после. Когда уже все...” – ”Да. Мы похороним без *них*. Они свое дело сделали. А мы его похороним, правда? Мы его не совсем похороним”.

Все же было в ее реакции что-то необъяснимое, и, лежа на

своей вагонной полке, Никольский пытался унять возбуждение мозга, чтобы разобраться в Вериных странных фразах и постараться понять ее поведение. Он помнил, каким голосом было сказано "я все равно с ним останусь" и еще более загадочное "он будет быть", и несколько раз появлялась потом на лице ее улыбка, сперва пусть и скорбная, но позже — трудно представить! — умиротворенная? Чтобы Вера и в самом деле была не в себе? Нет, нет! Они все обсудили спокойно, и его даже чуть покорибил ее практицизм... Она говорила о крематории и о могиле матери на Новодевичьем, где предполагала урну захоронить. "Он будет всем доволен" — опять сказала она *ничто*. Кого-кого, а Веру трудно было заподозрить в мистицизме — даже в такие минуты. Она любила Леопольда, на нее обрушилась внезапная катастрофа, — это так, но Никольский с беспокойством ощущал, что не способен уловить причину Вериного... Вдруг слово произнеслось: *торжества!*

Он заворочался на полке. Он почувствовал, как это слово пришлось очень точно по заготовленной где-то в глубинах сознания лунке. И хотя *торжество* ничуть не объясняло, а лишь определяло необъясненное, Никольский начал успокаиваться понемногу.

Еще он думал о Дануте. Ей, бедной, пришлось стать свидетельницей этой смерти. Но сколько же смертей она перевидала там, в Сибири! Теперь приехала она домой, в Литву, — и вот начало...

Думал Никольский и о том, что помимо воли завертелось в нем сразу же, как прочитал он телеграмму: смерть Леопольда разрубала все единым махом... Ни как свидетель, ни как подследственный и обвиняемый Леопольд уже не будет существовать... Он ушел. Освободился и — всех! всех, кого мучали, освободил своей смертью.

И вкрадывалась — почти не проявлялась мыслью: сам..? само — ..?

И оставалось — слушать, как бегущие черные круги удаляют в сталь; оставалось — ждать; ждать-ждать; пережидать; ждать-ждать; переживать; ждать-ждать...

Утром Никольский сошел с поезда в Кретинге и увидел дядю Костю.

— Ну, слава Богу! Боялся, в телеграмме перепутают, — протягивая руку, сказал он. — Так-то оно у нас, Леонид Павлович!.. — Он вздохнул сокрушенно. — Пойдемте на автобус.

Но Никольский не стал торопиться к автобусу, а пошел вместе с дядей Костей в комнату начальника станции.

— Отправить умершего? Недавно генерала перевозили, — сказал начальник. — Если будет цинковый гроб. Только таким способом. И по особому распоряжению.

— Где такой гроб — вы не знаете? — где они доставали? — спросил Никольский.

— Не знаю. Интересуйтесь в воинской части, — и начальник стал смотреть на перрон, своим видом показывая, что действительно не знает или не хочет сказать ничего.

В автобус, по счастью, сели два офицера, оба подполковники. Никольский заговорил с ними, и офицеры, узнав, в чем заключается дело, проявили сочувствие, — помимо прочего по той причине, что один из них оказался москвичом. И вообще, было сказано, "мы тут должны друг друга выручать, иначе как?" Словечко "тут" означало Литву, а "мы" означало русских... Подполковник-москвич был замполитом той самой воинской части, которая имела прямое касательство к умершему генералу и к постройке цинкового гроба. Военные обещали помочь.

Пустой и серой, кой-где с островками лежалого снега, тянулась мимо земля. Монотонно бубнил дядя Костя, как будто вспоминал давно-давно прошедшее.

— ...и дачка вполне подходящая. Теплая. Топили все время, даже до нас, когда пустовала. И чисто. Они на этот счет, ничего не скажу, — дай Бог, как говорится, и нам такое.

Аккуратно. Пылиночки нету, а уборщица придет, всё тряпчочкой перетирает, пол метет, то есть без халтуры, по-человечески. С едой хорошо. Молочного много есть — сыр этот их литовский, белый, знаешь, на овечий похож, но это не овечий, а коровий, как если бы творог отжатый, очень Леопольд Михайлович полюбил... Ох, мать честная!.. Угри копченые, представляешь, я уж и не помню в наших магазинах — когда их видел. Колбаса приличная.

Что говорить? — с питанием хорошо. Данушка-то, это ж одно только поглядеть на нее любо-дорого, как же она обхаживала нас! Около нее душа отходит. И заботливая, и характером ровная, вот, не поверишь, сияние в ней какое-то, что ли? И с легкостью, с радостью все делает — и с родными-то людьми редко так, а мы-то ей кто? — два старых мужика!.. Ох, Леонид Палыч, как же это у нас получилось!.. Ну, он, значит, писал в своей комнате. С утра часа по два — по три, а то после обеда. Я уж подумал потом — не утруждался ли работой? Да нет, веселый был, ходили мы с ним помногу. Опять, думаю, уставал, может быть? Я спрашивать не забывал: — "Как, мол, Леопольд Михайлович, не пора ли возвращаться?" Все-таки с палочкой ходит. "Нет, говорил, пойдемте туда и туда" — очень увлекался. Новые места. А воздух какой! Не бывали здесь раньше, нет? Тут ведь что — микроклимат. И йоду много в атмосфере. Потом еще — сосны. Почва песчаная. Море, само собой. Погода, правду сказать, неустойчивая. Но в дождь гуляли, нравилось ему. Что скажу? — хорошо отдыхали, по всем показателям. Как приехали — так неприятности позабылись, ни разу не вспоминали. Не говорили на эту тему. А там не знаю. Я ему в душу не лез. Но знаю, спал он неплохо. Мы хотя в разных комнатах спали — в дачке всего четыре, мы каждый по комнате заняли, а четвертая пустовала. Вечером в ней, бывало, сядем, Данута вышивает, а мы с Леопольдом Михайловичем о том о сем... Интересно он рассказывал. Да... так что я?

Вот. Неплохо он спал, неплохо, сам говорил. Ну, а как случилось... Не поверишь, Леонид Палыч... Вот как и ничего. Был человек. Нет человека. Что такое, а?

Дядя Костя начал шмыгать носом, и ему приходилось теперь говорить отрывисто.

— Отдыхали с обеда. Я то есть. Лег — вздремнул, Данушка на кухне, слышу. А он, я думаю, писал. Потому так думаю, что лежало все. Потом, когда уж. Вошел к нему, все так и лежало. Бумага и самописца его. На бумаге, поверх. Ну, поспал я, значит, встаю. И он — услышал, что ли? — выходит, спросил еще: "Что, Константин Василич, разморило?" К тому я, что в норме он был, никаких. Признаков не видел. Я говорю: "Чайку? Дануту спросим". — "Давайте, говорит. Не возражаю". А Данушка — она какая? У нее уже чайник подкипает. Сели. И ведь какой разговор у нас получился. Говорит: "Вы, говорит, Константин Василич, тридцать пять лет на заводе. Со всей откровенностью скажу — я, говорит, преклоняюсь. А на такой вопрос мне ответьте. Положим, сказали вам тридцать лет назад: Константин Васильевич, как только тебя потянет — уходи с работы; зарплату тебе сохраним; делай что хочешь. И вопрос такой: сколько бы вы еще проработали, зная про такое вам условие". Ну, я засмеялся, подумал-подумал, говорю: "Год. Может, два. Я бы так вам сказал, Леопольд Михайлович: лет до тридцати — до сорока любой работать хочет. А после сорока — не хочет". Я смеюсь, в шутку это говорю. Он, вижу, серьезный. Задумался. "Возможно, говорит. Очень много примеров: как наступало истощение жизненной энергии — в этот период. Как раз от тридцати до сорока". Ну, что же... Вышла Данута. Что-то на кухню, взять там. Он говорит, Леопольд Михайлович и говорит. Улыбается: "Думать, говорит. Разговаривать. Пешком, говорит, ходить. Люди не знают всю жизнь. Как это хорошо".

Тут наклонился — слышь, Леонид Палыч? Слышь — наклонился.

Дядя Костя сглотнул и подышал молча.

— Я, думаю, уронил что? На стол, на угол, понимаешь, грудью и плечом, с поворотом таким. Ну и все тебе. На тебе. Не поверишь ты, мать честная!..

И Никольский не мог поверить. Не мог поверить, когда вошел он в небольшой коттедж, и появилась Данута, и заплакала, не сказав ни слова; не мог поверить, когда ходил за справками в больницу и слушал врача, говорившего: "Что вы хотите? Глубокий склероз, сосуды буквально рассыпались. Тромб. Закупорка мозговой артерии. Одно мгновение. Что вы хотите?" — и назавтра в морге не мог поверить, когда глядел на покрытое белой простыней тело — Никольский не открыл его, не видел мертвого лица, рабочие торопились с гробом, и надо было торопиться, потому что в воинской части ждали с цинковым ящиком, а до прибытия поезда времени оставалось в обрез, и предстояло оформлять бумаги и грузить в вагон Леопольда Михайловича...

И в Москве не дал Никольский открыть: боялся за Веру. Она не настаивала. Он сказал, что перед кремацией откроют, а раньше нельзя. И она согласилась.

Вечером того же дня, когда Никольский вернулся, в дверь Прибежища позвонили. Боря Хавкин пошел открыть. Из коридора донеслись резкие голоса, Никольский поспешил туда, за ним следом Вера. Перед Борей стоял следователь.

— Если вы скрываете местонахождение!.. — кричал он.

— Боря, отойди, — сказал Никольский и, отстранив его, занял его место. — Иди, иди. Идите с Верой в комнату.

Он дождался, когда они ушли, и произнес:

— Закрывай это дело, начальник.

Следователь непонимающе смотрел, как Никольский достал из внутреннего кармана пиджака бумаги, перебрал их и протянул ему одну. Это было медицинское заключение о смерти. Никольскому показалось, что следователь, прочи-

тав, стал бледным. А может быть, это он после холода отходил.

— Я возьму... — хрипло начал следователь.

— Ну нет! — Никольский настойчиво потащил справку из его пальцев. — Вы что? Нам нужна.

Тот не сопротивлялся. Он постоял немного и повернулся к выходу.

— Мы вас вызовем, — сказал он по своей привычной форме.

— Валяйте, валяйте! — небрежно ответил Никольский, и было непонятно, соглашался ли он снисходительно или невежливо гнал пришельца к выходу.

С утра повалил крупный снег и не прекращался весь день. Похоронная машина с трудом взбиралась по занесенной улице вдоль стены Донского монастыря. У поворота долго стояли: впереди, на трамвайной остановке, кто-то забуксовал. Опустились ранние сумерки. И когда во дворе крематория гроб установили на железную подставку, сняли крышку и убрали простыню, пепельная тень, покрывавшая лицо Леопольда Михайловича, лежала тенью ушедшего дня. На лицо падал снег. Вера касанием пальцев снимала нетающие снежинки с его прикрытых век, медленно проводила рукой по щекам, но в седине волос и в щеточке небольших усов снег пристраивался и оставался.

Внезапно полная дама, спеша, отодвинув стоящих у гроба, положила букетик, деловито стала опрavlять обшлаг пиджака у покойного.

— Убери ее, Леонид, — твердо произнесла Вера.

— Не смеее, не смеее! — громко и уверенно сказала дама. — Я дочь. — Она с достоинством повела взглядом вокруг. — А вы ему никто! — Это было сказано презрительно и относилось к Вере. — Игорек, подойди! Попрошайся с дедом! Шапку-то, шапку!

За ее спиною терся худощавый парень, она тянула его

вперед, снимала с его головы ушанку, а у себя под глазами водила платочком — все это делалось в одновременной суете.

— Вам следователь сказал! — будто удовлетворенная чем-то, проговорила Вера. — Доносители. Вы не дочь, — вы —

Но дама вряд ли уже слышала ее: расширенными зрачками она смотрела на Никольского, который жесткой рукой вдавливал ей в запястье клещеобразный золотой браслет ее часиков.

— Ну-у-ка мма-арш, — шептанул он даме и стал наступать на нее.

— Безобразие, — огорченно сказала она и исчезла за кругом стоящих, Боря Хавкин взял из гроба ее букетик, выкинул вслед.

Подошел распорядитель и разрешил внести покойного в зал. Там пришлось присутствовать при чужой церемонии и слушать машинописное слово о ком-то, кто вел активную общественную работу также и после того, как ушел на заслуженный отдых, и кого товарищи по производству и партийной организации никогда не забудут и чей светлый образ сохранят в своих сердцах, — и слушать потом, как заголосолил, запричитал пронзительный бабий голос, в котором было: "о-ой, Петенька, Пе-етень-ка мо-ой!" и было "о-ой, Царствие тебе-е Не-бе-есное-е!..."

Над Леопольдом Михайловичем, прежде чем перенести его тело на опускной катафалк, постояли молча. Вера наклонилась, у виска поцеловала коротко и сказала что-то неслышимое почти, но к Никольскому и к Боре, которые стояли по обе стороны от нее, донеслось: *"обещаю... будет настоящий... ты будешь..."*

И опять у Никольского поскребло меж лопаток, а Боря посмотрел на Веру с откровенным недоумением. Она, распрямляясь, поймала этот взгляд, и снова торжествующая тайная полуулыбка тронула ее губы...

При выходе, когда спускались по ступенькам во двор, раздались звуки лающего кашля: разрыдался Толик. Никольский обнял его как мальчика и привлек к себе.

— Ну?.. Ну же!.. Ну что ты!.. — бормотал Никольский.

— Сволочь!.. подлая!.. сволочь!.. — всхлипывал Толик. И знал ли он сам, кого ненавидел сейчас и что проклинал: людей? саму ли жизнь? или одна только смерть была этой подлюю сволочью?..

— Если хотите... — обратилась Вера ко всем, — поедемте к нам... ко мне?

В Прибежище их встретила Варенька, изготовившая еду, как то положено русским простым обычаем, для поминального стола. В самом деле — все были голодными и застывшими.

Поздно вечером, прощаясь с Никольским, Вера сказала:

— Я тебе... просто должна тебе сказать. Ты должен знать. Я беременна. Его ребенком. Я решила его сохранить. Он успел узнать, представляешь? Как он радовался! А я, дура, скрывала, раздумывала еще... Понимаешь, как это все?..

— Понимаю.

— Нет, тут многое, многое в этом есть... Ты подумай: он мою маму любил. А у меня ребенок — его. Он с мамой...

У нее потекли слезы — светлые, потому что она улыбалась.

— ...вместе будут лежать, в одной могилке. Ведь есть же судьба, есть же, правда же, ну скажи?

— Да. Ты сильная. Ты хорошая женщина, вот и — судьба.

— Да. Он меня сделал сильной. Я боялась жить. А теперь — не боюсь. Вот никак не боюсь!

Финкельмайер о случившемся не знал. Никольский, когда видел его в последний раз перед самым отъездом в Палангу, встревожился не на шутку: Арон был возбужден и переутомлен физически, он осунулся, веки его непроизвольно мигали и были красны, красная же сеточка лежала на его выпуклых белках... И поэтому позже Никольский все время боялся, что весть о кончине Леопольда обрушится убийственным ударом на Арона, и ничего не сказал ему ни в день получения телеграммы, ни когда вернулся с гробом покойного. А потом и в день похорон и два последующих дня молчал — малодушничая и рассуждая так, что все дела с прокуратурой вот-вот утихнут. Арон немного отойдет и, возможно, ради этого стоило бы пожить им некоторое время вместе — Никольский, по крайней мере, заставлял бы Арона поесть как следует хоть раз в сутки, хотя бы по вечерам, и загонял бы его спать.

С тех пор, как началось хождение к следователю, Арон вел страннотекущее бытие, в котором утеряно было еще в большей степени, чем раньше, то дробное деление жизни на сутки, ночи, дни и часы, на простейшие периоды, которые диктуются физиологией — от одного приема пищи до другого, от бодрствования до сна, или на другие периоды, связанные с нашей психикой, — от желания видеть людей, говорить с ними, до желания оставаться в одиночестве и безмолвии. Арон всегда лишь мирился с тем, что надо есть и спать, встречаться с кем-то, говорить, и было, может быть, всего только два-три человека, кто не причиняли ему душевных неудобств; теперь же, оказавшись в квартире Никольского в изоляции полной, даже и без соседей, о присутствии которых он не мог совсем забыть, живя в тесной комнатке на

Кропоткинской у Леопольда, — теперь же, здесь, он мог от всего отстраниться и вести такую жизнь, о какой мечтал, — какую, по внешности, могло бы вести животное, ушедшее в берлогу, в нору, в логово для совершения некоего таинства, которое сообразно с самою его натурой животному следовало совершить; но скорее бы надо назвать не животное — из млекопитающих, например, — а какую-нибудь актинию или другое подобное ей существо из подводных и низших, если бы только у низших имелся мыслительный аппарат, наполненный множеством образов зрительных и слуховых, тактильных и вкусовых, обонятельных или каких там еще, а также обилием — жутким, безмерным обилием слов, всех этих синони-, антони-, омонимов и метафорических переносов, уложенных в ритмику и вылетающих из нее, точных, не точных, годных, не годных, на месте и не на месте, спокойных и возбужденных, жидких и твердых, теплых, горячих, зеленых, оранжевых, синих, пурпурных, добрых, жестоких, поющих, свистящих, низменных, величественных слов... да, да, назвать такое вот низшее было бы лучше всего, и особенно то, которое, само по себе неподвижное, все же перемещается как-то в пространстве, пользуясь тем, что живет в симбиозе с раком-отшельником, прикрепившись к его раковине, и, чуть пошевеливая ресничками, ест кое-что из плывущего мимо. Роль этого рака играл, как ни странно, следователь. Он побуждал Арона покидать квартиру; движение и свежий воздух обостряли чувство голода, и когда случался по дороге магазин, легко оказывалось вспомнить, что надо бы купить еды, — реснички-щупальца тянулись к хлебу, сахару и колбасе; жуя на ходу, грызя кусок рафинада, можно было от этой досадной помехи — голода — избавиться быстро, несъеденное же оставить на дне портфеля и снова вспомнить о еде, быть может, назавтра к вечеру. Тем же следователем в огромной мере определялся и ход поэтического мышления Финкельмайера. Является ли рак-отшель-

ник чем-то вроде Бога для своей актинии? Пожалуй, что да, в том некотором смысле, в каком на примитивном уровне воплощает этот *Рак* могущественную силу, которая руководит существованием актинии. Следовательно тоже был таким высшим Руководителем, дававшим не только питание брэнному телу, но и питание духу Арона. Ведь более полу-года жил Арон меж впечатлением и словом, и существовало одно, поскольку существовало другое, и наоборот; и — ”я мыслю, значит я существую” в применении к нему означало ”выражаю, значит существую”, а выражать — что было выражать помимо *Рака*, завладевшего ныне всем существом Финкельмайера? Разве не выражает Поэзия — Бога?

Придя в первый раз от следователя, Арон накинулся писать. Явилась поэма из драматических сцен для двух лиц, в которой речь героев густо испещрялась пространными авторскими ремарками — причем стихотворными, входящими прямо в текст, — как эти двое держатся друг перед другом; как у них меняется выражение лиц, как они жестикулируют, как встают, садятся и т.д. Нельзя сказать, что Арон писал реальность. Не были эти сцены и фантазией. Кто-то там — не Федор ли Михайлович? — говорил про свой ”фантастический реализм”? Или кто-то про ”надреализм”? Или ”сюр”, или, пуще того, про ”без берегов” (было ли тогда уже сказано так или нет?) — Арон об этом вовсе не знал. Пожалуй, что знал он, и знал неплохо по листам, хранившимся у Леопольда, о Гойевских ”Капричос”, — ну да это легче всего сказать о литературе, сославшись на живопись и графику, о музыке — сославшись на поэзию, и проч. и проч. Писал-то Арон — свое, и лезло это из него, карабкаясь и оступаясь, но лезло так, как лезут на реду, давя друг друга и сшибая, чтобы достичь, занять и снова, снова лезть, не помня уже кто, куда и зачем посылал на эту безудержность. Каждый визит к *Раку* рождал собою главу — завершенную часть поэмы, стиль которой то взвивался к одической меди

труб, то опускался к пошлости балалаешного трень-брень. Поэма куда-то двигалась — и уже сама по себе, уже не подчиняясь автору. Поэма требовала матерьяла — такого, какой ей был нужен. Тогда как *Рак* искал своего, и его матерьял не всегда стал годиться. Кто же есть, однако, Поэт, как не посредник меж Поэзией и Богом? Арон попробовал вдруг срежиссировать очередной диалог и увидел, что *Рак* поддается, — Бог поддается Поэту! — клюет на приманку, и можно было веревочку дергать, водить и туда и сюда, возникали вопросы, вопросы, вопросы, — громоздилось, клубилось вокруг подводное царство, таинственный мир разверзлся и шире и глубже, — Арон торопился домой и начинал подбрасывать отличные, трескучие поленья в пылающий и ненасытный зев своей — и не своей уже — Поэмы. Она грозила разрастись необозримо. Но *Рак*, призвав по телефону Финкельмайера на внеочередное внеурочное посещение — Арон торопился, переживая заранее, что будет что-то необычно! любопытно! интригующе! интересенькое для Поэмы! — ударил правую, сильной клешней об стол:

— Дур-рачить?!?.. меня-а?!?!.. — взревел *Рак*. — Я проверил!! А если бы я не проверил?! Да ты понимаешь, ты!.. ты!.. Городил тут!! Ну, бля, попоешь у меня! (Ругательство возникло у него впервые). Ну я тебя заставлю!

Он потирал ушибленную клешню и был утомлен и орал с надрывом, распаяя себя.

— По порядку пойдем, ты понял?! Все, к матери, сначала! От первого допроса! Все факты раз за разом! Все вытряхну, бля, из тебя! Фантазер проклятый! Ты где живешь?! Ты что себе думаешь?! Сейчас же тебя и вытряшу по первому разу, ты у меня попоешь!!

— Ах, — грустно вздохнул Финкельмайер. В нем все ликовало. Какой прекрасный финал! То есть нет, не финал, а, всего вероятней, конец первой части... — А может быть, не сейчас, а? Конец первой части, и вы устали, и я.

-- Что-что?!!

— Конец рабочего дня, вы устали, и я. Может, завтра начнем? хоть прямо с утра?

Рак взглянул на часы.

— Черт с тобой! Тебе хуже будет! На свежую голову я растрясу твои яйца, так ты и знай!

Арон ушел, чтобы писать апофеоз. И он не знал, что в этот вечер следователь прямо из прокуратуры направился в Прибежище и там прочел протянутую Никольским справку о смерти Леопольда.

Для *Рака* это был истинно черный день...

Финкельмайер ни назавтра, ни позже в прокуратуру больше не вызывался, отчего, конечно же, недоумевал, правда, без того чтобы задумываться о причинах затишья. Мало ли у следователя своих соображений?

Но что-то не наступало оно, затишье, как то казалось Финкельмайеру и как на то надеялись Никольский и все остальные, причастные к делу. Вдруг Никольскому, который не успел еще даже свидеться ни разу с Арном, позвонила Фрида и сказала взволнованно, что мужа ее разыскивает Мэтр, и вот она не знает, как тут быть, Арон на вашей квартире, и, может быть, вы — вы, Леонид Павлович, знаете...

— Так что же, Фрида? — ну дайте вы Мэтру тот телефон. Что, собственно, вас смущает?

— Леонид Павлович, вы извините... Он так говорил!.. Он говорил, что Арону грозят какие-то люди и что ему из-за Арона тоже могут быть неприятности, он хочет, чтоб Арон к нему приехал, и сказал, чтобы вместе со мной приехал, а я боюсь, и сама боюсь и за Арона, понимаете? — мне стыдно вам говорить, вас просить, но только вы...

— Когда нужно ехать? У вас адрес есть?

— Есть, есть, Леонид Павлович, он сказал! Он сказал — приезжайте немедленно, но...

Мэтр сидел в глубоком кожаном кресле. Он мерз и кутался непрестанно в плед, у ног его стоял включенный рефлектор, хотя в его комнате не было холодно. Мэтр удивился, что не приехал Арон, а приехал Никольский, но сразу же стало ясно, что главное для него сейчас — возможность излиться в раздраженной и назидательной речи, а будет ли слушателем сам Арон или кто-то другой, несущественно. Фрида и Никольский (он — терпеливо, со скрытой иронией, она — стушеванно, с испугом) — внимали желчной тираде Мэтра, в которой "мальчишка" обвинялся в полном непонимании жизни, инфантилизме и — да, да! — в гениальничанье, потому что гениальничанье может выражаться не только в публичном самовосхвалении, эпатаже и высокомерии, но и, напротив, в собственном унижении, в добровольном отшельничестве как средстве противопоставить себя другим, вообще в каком-нибудь необычном образе жизни или поведении — я не хочу сказать, что он так поступает сознательно — нет, отнюдь, но поверьте мне, старому зубру, все это было, — не с ним одним, могу вам привести примеры, но это излишне, а важно то, к чему такое положение вещей ведет, и тут не может быть двух мнений: я в тревоге, я в тревоге, и нужно предпринять немедленные меры, так как я...

Так продолжалось долго. Вошла в комнату старая величественная женщина, ледяным взглядом, в котором читалось "стыдитесь!", — посмотрела на благочинного Никольского и на прибитую Фриду и подала Мэтру капли:

— Ты не должен нервничать, ты забываешь.

— Да, да, мерси, мерси. Мы скоро.

Женщина удалилась. Подействовал ли сам ее визит, или подействовали капли, или же Мэтр уже достаточно спустил пары, — он заговорил спокойнее и, наконец, перешел к сути.

Кто-то из знакомых писателей, давно уже знавший от Мэтра, что он опекает некоего талантливого поэта, который мало кому известен, — писателю же был известен, тем бо-

лее, что Мэтр ему говорил недавно о книге Манакина как о курьезе и неудачной мистификации, — остановил сегодня Мэтра и спросил, что за история, в которую ввязался его подопечный? Мэтр, естественно, ничего не слышал. Писатель и сам мало что знал, но ему сказали, что история с поэтом — сама по себе, а хуже то, что нашлись желающие и Мэтра втянуть в скандал, очернить его, словом — нагадить, свести с ним старые литературные счета. ”Врагов у меня всегда было много! — с гордостью пояснил Мэтр. — Мне сказали, кто это старается! Один старый боров, который нынче в секретариате. Я за него романы писал в голодное время, и он хочет меня опозорить, он этого мне никогда не простит!”

Писатель указал Мэтру на какого-то молодого парня, от которого узнал эту последнюю литературную новость. Парень редактировал поэзию в журнале, где только что напечатали Сергея Пребылова, и по этому поводу вместе с Пребыловым пили в ресторане. Пребылов похвалялся, что ему обещана скоро еще подборка, в другом журнале, и, главное, один секретарь обещал, что протолкнет в издательстве книгу и устроит, чтобы дали большой объем и двойной тираж. Парень-редактор спросил, за что же Пребылову такие блага? Довольно пьяный, проболтал Пребылов, что прокуратура готовит громкое дело, что в этом деле все перемешано — не разбери-поймешь, не то валюта, не то фарцовщики, но связано все с какими-то художниками и еще с одним подонком — Пребылов говорил со злобой, и парень, передавая Мэтру его слова, нарочно это подчеркнул, — с подонком-еврейчиком, которому Пребылов хотел отомстить за что-то. Из пьяных поношений, которыми Пребылов обливал Финкельмайера, было неясно, чем вызвана злоба, но упоминался еще какой-то нацмен (это был, конечно же, Манакин), который не хочет платить Пребылову больше, чем раньше платил Финкельмайеру; однако же злоба носила личный характер, а нацмен и вполне понятная ненависть к еврею

дополняли, так сказать, картину. Так что же толком сказал Пребылов: что он в прокуратуре уж сообщил — так сообщил про этого Арона! Что случайно был заведен Пребылов в особенный дом и видел Арона, — а там бордель; разговоры о чем хотят; над ним лично, как русским поэтом, и над его патриотическими стихами насмеялись; и что двое его друзей это подтвердили. А теперь вот вызывали к секретарю, и тот просил помочь как раз по этому вопросу: позвонили из прокуратуры, знают ли, мол, такого поэта — Арончика? Стали выяснять. Оказалось, кто же за ним стоит? И Пребылов, захохотав, назвал Мэтра! Секретарь-то Мэтром больше заинтересовался, потому что тот еврейчик никакой не поэт, он никому не известен, в писательском союзе не состоит, ни к какой организации у него отношения нет, и пусть прокуратура с ним что захочет, то и делает; а вот Мэтр — это наш, сказал секретарь, и они с Пребыловым договорились обо всем. "Я в накладе не буду, — хвалился Пребылов. — Подборка — раз; книжку быстро толкнут — два; ну и квартира — я на очереди, я в Москве-то недавно прописан, вот и попросил подсобить!"

— Каков стервец? — не без восхищения комментировал Мэтр. — Это вам, милые мои, новое поколение! Цинизм как способ существования, а? Но что же это все такое, вы же, как я понимаю, близко стоите к Арону? — обратился Мэтр к Никольскому.

Тот, однако, был в затруднении. Что нужно Мэтру ответить? Рассказывать, как их всех уже несколько недель таскают к следователю? Старик будет думать, что и его могут вызвать повесткой в любой момент. Сказать, что дело, которое выглядит для него так серьезно, сейчас уже потеряло всякий смысл, потому что умер Леопольд? Нет, старому человеку нельзя вот так, неожиданно, это преподнести, — давно ли оба, Мэтр и Леопольд сидели за одним столом в "Национале"? И Фрида тоже не знала про смерть Леопольда

Михайловича. Никольский поэтому, взяв самый уверенный тон своего низковатого баритона, объяснил Мэтру, что да, действительно, такое дело затевалось, но касалось оно именно художников, они же все — и сам Никольский, и Арон — к художникам этим не относились никоим образом, было одно лишь случайное знакомство, и это все выяснилось уже, все уже разрешилось, а сведения, полученные Мэтром от редактора, устарели, это во-первых, а во-вторых, эта сволочь Пребылов по пьянке себя выставлял, все смешав воедино — и то, как его на вечеринке поставили на место — это действительно было, — и то, как с ним беседовал секретарь, чего быть, конечно же, не могло, просто Пребылов знает, что вы благосклонно относитесь к его врагу — Финкельмайеру.

Мэтр был успокоен, чем уж больше — тем, что выговорился, или небрежно спокойными объяснениями Никольского — кто его разберет... Но, успокаивая Мэтра, Никольский вовсе не кривил душой, так как и вправду был убежден, что все эти новости таковыми уже не являлись, а устарели теперь, и что пьяная болтовня Пребылова — лишь отголосок уже утихшего.

— Все должно сейчас уладиться само собой, — сказал он, прощаясь, и Фриде.

— Ой, что-то не верится! Так тяжело, так тяжело! — горько вздохнула она. — Вы повидаетесь с Ароном? Вот, отдайте ему письмо. Уже с неделю у меня лежит. Из какой-то воинской части.

Фрида протянула Никольскому конверт. Взглянув на обратный адрес — "в/ч" и номер, — он сунул письмо в карман.

Когда на следующий день, вернувшись с работы, Никольский присел к столу, чтобы выпить с тетушкой чаю и затем отправиться к Арону, он взял вынутую только что из ящика "Вечернюю газету" и развернул ее, проглядывая невнимательно. Заголовок в подвале третьей страницы заставил вскинуться и бросить ложечку.

– Что там, Ленушка? – спросила тетя. Но Никольский не слышал ее, он читал:

НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР – "ПОЭТ"

Некоторое время назад некто Финкельмайер вообразил себя поэтом. Конечно, каждый вправе считать себя, кем захочет. Известный гоголевский герой, Поприщин, называл себя Алжирским беєм... Но никто у нас не вправе, возомнив себя "лично-стью", наплевательски относиться к нормам и правилам нашего общежития, не выполнять по отношению к обществу прямых обязанностей гражданина, среди которых одна из высших – обязанность заниматься общественно-полезным трудом. А что же Финкельмайер?

Он решил, что надо жить в соответствии со своими мещанскими, обывательскими представлениями о том, как должен жить "поэт". Прежде всего он оставил работу. У Финкельмайера, поясним, есть диплом, которым он обзавелся в заочном институте. Бывшие его сослуживцы, конечно, не могли не видеть, с какой "элегической" ленью проводил за конторским столом дни за днями этот "поэт" с высшим экономическим образованием! Но зато он никогда не отказывался от командировок по причине, известной всем ловкачам – "сачкам", как они сами себя называют: в командировке можно ничего не делать, а к окладу получать дополнительные суточные...

Итак, "поэт" оставил работу. Затем он оставил семью, жену и двоих детей. Вы, читатель, возмущены? Не стоит возмущаться. Среди обывателей широко распространено мнение, что все поэты живут "романтической жизнью". Конечно, откуда взяться вдохновению, если "быт заедает", из кухни запах щей, а под ногами малыши копошатся?! Нет, нет, для вдохновения нужно другое. Свобода чувств! Богема! Жизнь без обязанностей!

Нашлось и богемное общество – в доме преподавательницы, ни больше ни меньше, итальянского языка! Не правда ли, красиво? Там собирались, чтобы пить водку, сводить знакомства, ну и, между прочим, развлекаться для пушшего интереса, беседами "за искусство". В основном – за абстрактное. И "за поэзию" – тоже непонятную, без мысли и идей, которую в изобилии постав-

лял Финкельмайер. А что же насчет свободной любви? Один из новых приятелей Финкельмайера, по роду службы эксперт по патентным делам, оказался экспертом и по другим делам, весьма неприглядным: он (разумеется, из одних только поэтических чувств) предоставил "поэту" свою... жену. Невероятно, но факт: милиция, вызванная в комнату, шпиошь уставленную рисунками обнаженных женщин, с трудом могла установить, "кто есть кто": были тут и муж, и бывшая жена, и "поэт", и тот, кто предоставил ему свою комнату после того, как "поэт" ушел от законной жены. Правда, испугавшись милиции, Финкельмайер спешно перебрался к "эксперту" – у того, слава Богу, есть однокомнатная кооперативная квартира! И эксперт, конечно, тоже не задумался отдать ее в распоряжение "поэта".

Все это грязно и скучно. Удивительно, однако, что у Финкельмайера нашлись и солидные покровители, например, в лице одного уважаемого пожилого поэта. Ему бы следовало наставить сумасбродного молодца на путь истинный и объяснить ему, что долг каждого – служить народу. Если ты поэт по призванию – служить оружием гражданской поэзии. А если не поэт (как в случае с Финкельмайером) – то честным трудом в соответствии со своими способностями. Но вместо этого маститый литератор взял на себя роль мецената и открывателя новой "звезды". Думается, писатели оценят этот достойный сожаления случай.

Вызывает удивление и то, что бывшие коллеги Финкельмайера не сочли нужным поинтересоваться, почему внезапно захотел уволиться их сотрудник... Почему он многие месяцы не снимается с профсоюзного учета?

Долг общественности не оставлять ни малейшей возможности тем, кто хочет "легкой" жизни тунеядца. В нашем прекрасном городе не должно быть ни одного человека, позорящего честь столицы. С паразитическими элементами, в какую бы "поэтическую" или иную тогу они ни рядились, необходимо вести решительную борьбу.

Дело тунеядца Финкельмайера направлено в суд.

С. БЫЛОВ.

С. Былов! С. Былов?! Пре-былов?! Пребылов! Он! Никольский кинулся к Арону. Квартира была пуста.

В три часа ночи удалось его найти: Финкельмайер содержался в КПЗ — в камере предварительного заключения.

XXXVI

— Значит, вы говорите, следователь приходил?

— Да. Он был уверен, что Леопольда Михайловича скрывают.

— Понятно, понятно... Понятно, понятно...

Свое рассеянное "понятно, понятно" адвокат повторял уже битый час. Никольского это бесило — не сами слова, а их тон, который означал прямо противоположное, — что адвокату далеко не все понятно... Бесила Никольского и трубка, эдакий картинный, бесполезный предмет, который адвокат без конца вертел в руках, посасывал, со стуком клал на стол и снова брал, и все никак не раскуривал. И сам адвокат раздражал: грузный, пожилой человек этот держался с каким-то фатовством, он начинал ни с того ни с сего причесываться, застегивать пуговицы пижамного пиджака, то, наоборот, расстегивался и закладывал пальцы за подтяжки, которые и без того едва не лопались на объемистом брюхе. Отвечая на вопросы адвоката, Никольский старался говорить кратко и точно, не размазывая, но тот сразу же начинал демонстрировать свое полное равнодушие к разговору, принимался листать какие-то журнальчики, бюллетени, какие-то пухлые своды постановлений. Досадуя, что его не слушают, Никольский умолкал, однако адвокат с небрежностью бормотал: "слышу вас, слышу, вы продолжайте", — вовсе и не думая отрываться от своего дурацкого перелистывания.

— А вот эта... — Адвокат ухмыльнулся. — Маленькая хозяйка большого дома — да? Она будет свидетельствовать?

– Ни в коем случае! – резко сказал Никольский. – Я категорически... Словом, это невозможно. Она беременна.

– А-а... – Понятно, понятно. Отец вы?

– Нет, Леопольд Михайлович.

– О, Господи! – вырвалось у адвоката.

Он нахмурился и, уставясь в пол, долго сосал свою трубку.

– А ваша... не знаю, жена? Подруга вашего приятеля? – она могла бы свидетельствовать?

– Ну к чему это вам?! – взорвался Никольский, но взял себя в руки. – Во-первых, она в Литве. Во-вторых, ее тоже не следует мучить. Ей достаточно выпало, хватит. И потом, я же вам объяснил – не жена, брак был фиктивный. И мы уже разведены.

– Ах, вы разведены?

– Да.

– Понятно, понятно... Эта новость полезна, полезна... Хоть эта новость у нас полезна...

Он бросил трубку, застегнул пиджак, опять расстегнул, затем мельком взглянул на Никольского.

– Вы, пожалуйста, без этой вашей тихой злости. Послушайте меня. Вы же хотите, чтоб я? Другого-то некогда вам искать, да и кто, не знаю, возьмется... А покойному вашему товарищу – искусствоведу я обещал свою помощь.

– Простите, я совсем не... – смутился Никольский.

– И будет, и будет! Я это к тому, что нам нужен контакт, вы меня понимаете?

– Понимаю. Спасибо.

– И отлично. Мы ограничены временем, а проблем тут сверх головы. Процесс пойдет на гребне волны – на гребне кампании по борьбе с тунеядцами. А угодить в самый разгар кампании – особенно неудачно. Защитнику оставляется роль сострадательная... Так-то вот... Это одно. Второе: я не специалист по административному праву. Но было бы это

иначе, — ситуация вряд ли стала бы оптимистичней. Эти самые суды над тунеядцами начались недавно, им от роду двух лет не наберется. Сами законоуказания недостаточны, чтобы моя позиция выглядела основательной, вот, дорогой мой, в чем казус!

— То есть? — недоуменно поднял брови Никольский. — Закон если есть, — то он есть, я так понимаю!

— Разумеется, разумеется... Я вам одну лишь детальку приведу: дела такого рода отнесены к административным, а на практике ведутся как уголовные. И сама эта практика еще не успела сложиться. А нам без практики, без прецедента и без многочисленных разъяснений и толкований ух как тяжело!

Было непонятно, иронизирует адвокат или говорит серьезно.

— Но давайте последовательно, — продолжал он, и теперь уже явно приступил к сути. — Ситуация из ряда вон. Как развивалось следствие поначалу, мне было известно от Леопольда Михайловича. Ваш рассказ только уточнил кое-какие факты. И я уверен, мои предположения — я их высказал тогда же вашему покойному другу — подтвердились теперь. Но уже без него, без него... На кого-то следствие хотело выйти, видимо, на него, здравый смысл подсказывает. С художниками, — с валютой и прочим что-то там не получилось, но надо было отыграться, обязательно надо! И он уже был в сетях. Вокруг него все очень удобно выстраивалось. Человек вне... так сказать, вне общественной сферы... он поставил себя вне — или выше, если хотите, — каких-либо организаций, а это... не поощряется, мм-да-с... Теперь эти ваши собрания, диспуты, чтение лекций в приватном порядке — и круг недостаточно тесен, это всегда — неосторожность! — это всегда кончается чем-нибудь... в этом роде... Теперь поставьте себя на место следователя...

Адвокат принялся, наконец, набивать и раскуривать трубку. Никольский мрачно вставил:

— Не собираюсь. Поставить себя на место этого..!

Адвокат махнул зажатой в ладони трубкой и нацелил мундштук ее в грудь Никольскому.

— А я, милый мой, только этим и занимаюсь. Так вот, на месте следователя. Крупное дело не получилось. Улик не хватило, ума не хватило, что-то наверху переменялось, — мы не знаем. Поглуше стали в печати ругать абстрактную живопись, вам не кажется, нет? Допускаю, что это одна из возможных причин... Что же делает следователь? Просто-напросто закрыть дело? Это поражение. Повернули поэтому на Леопольда Михайловича. По всем признакам видно, что в последнее время его готовили в подсудимые. И вдруг — пресловутое вдруг! — все меняется. Вы догадываетесь?

— Догадываюсь, — подтвердил Никольский. — Смерть Леопольда Михайловича? Ухватился за Арона?

Адвокат рассмеялся.

— Видите! Как вы легко оказались на месте следователя! Вы показали ему заключение о смерти, — а утром следующего дня — он не мешкал — он уже готовил дело. Не просто на какого-то тунеядца... а громкое дело, — с прессой, с заказной статьей. С фа-ми-ли-ей!

— То есть?

— Чудесная фамилия для такого дела: Фин-кель-май-ер! Звучит. И все это литературно-эстетическое обрамление... Кстати, будет ли ваш знаменитый Мэтр выступать на стороне защиты?

— Ну нет! — покривился Никольский. — Это не для него. Он и так на сердечных каплях сидит. И, скажу вам, толку все равно было бы мало. Остричь и рассуждать о судьбах поэзии — не это же нужно?

— Но нам нужна фигура из литературного мира. Я пока еще не знаю, на чем построю защиту, я не знакомился с де-

лом, но подозреваю, что во время разбирательства Финкельмайера будут третировать как самозванного поэта. Вы же видите, из статьи это так и прет. Поэтому нам нужен литератор. Конечно, лучше бы критик, который мог бы философствовать – ну, вы, я думаю, представляете не хуже меня: общественное, воспитательное значение поэзии – как там? – Адвокат заглянул в газету. – Вот по этому поводу: ”служить оружием”! Нужно будет показать, что его стихи полезны обществу. Это затруднит положение обвинительной стороны, поскольку они доказывают, что он ведет антиобщественный образ жизни.

– Одну минуту. Если вы позволите, я пока взгляну... – сказал Никольский, достал из портфеля конверт с письмом, – тот самый конверт, который Фрида передала для Арона. Никольский еще раньше, когда просматривал бумаги Финкельмайера, отобрал из них все, что могло бы пригодиться в суде, вспомнил про это письмо и решил его на всякий случай вскрыть: уж очень удивлял обратный адрес – ”в/ч”. Бегло просмотрев его и выяснив, кем оно послано, Никольский положил письмо в портфель. Трудно было представить, когда Арон его прочтет... Но сейчас, при упоминании о литературном критике, Никольский вдруг подумал, что, может быть, именно этот конвертик послужит...

– Извините, я прочитаю...

– Да-да, ради Бога! А я организую нам чай.

”А. – здравствуй!

Третий раз переписываю свое послание, очищаю его от эмоций. Даже обращение. ”Арон” – официально. ”Арошка” – фамильярно. Вряд ли ты теперь тот Арошка, какого я знала десять лет назад.

Хотела написать: ”Вот уж не думала, что ты меня еще помнишь!” Но это было бы неправдой. Думала. Но только вне времени и вне пространства.

Спасибо, что не забыл обещания, которое я с тебя взяла, и прислал книгу. Ты тогда смеялся и не верил, что тебя когда-нибудь издадут. Понимать ли так, что это и есть твоя книга, – ведь в дарственной ты написал: "от автора"? Но автор – Данила Манакин, а ты, значит, только переводчик? Почему же не указали на титуле твое имя? Все это не очень мне件нятно. Но я все равно тебе благодарна, что не дал разочароваться в твоём, так сказать, "поэтическом лице". Не беспокойся: "Знамя полковое" А. Ефимова в свое время попало и в мою библиотеку. Я как получила ее – так сразу изорвала в клочья, чтобы никто тебя тут не вспоминал. Этим прежним идиотским смехом. Тут вообще все по-прежнему.

Что касается книги "Удача", то я так считаю: это запоедная страна, которую никто не открыл до сих пор. Я имею в виду поэзию. Если это ты впервые перевел этого удивительного Манакина, то ты открыл в океане прекрасную Новую Ландию. Я там уже поселилась. Кто они, эти тонгоры? Какой же это светлый, чистый народ, какой поэтический! Я хотела бы родиться тонгоркой! И, в общем-то, от чтения этой книги я, может быть, в самом деле переродилась? Вот что ты сделал!

Я еду в Москву. Взяла отпуск – и еду. У меня этих отпускных месяцев накопилось до черта. Захочешь ли повидаться?

Вообще-то, выглядит это так: я уступила мольбам моего уважаемого папаши. Бедняжка в Питере совершенно истосковался по своей любимой доченьке. Но доченька раз уж сказала, что домой никогда не вернется, то, значит, не вернется. Но сейчас профессор, доктор общественных наук товарищ Карев читает в Москве какие-то свои марксистские лекции о классовом подходе к истории литературы от Плутарха до мемуаров Эренбурга. Папочка заваливает меня письмами и долдонит одно и то же: "Сознавать, что я так и умру, даже не повидав свою дочь, для меня непереносимая

мука". Правда, красиво? Короче говоря, я решила и написала ему, что в Москву так и быть приеду.

Выезжаю, вернее – вылетаю я завтра. Когда ты это письмо получишь, я уже буду в Первопрестольной. На обороте – адрес и телефон папочкиных родственников, где он остановился и где скорее всего буду и я. Хотя с большим удовольствием пожила бы в номере гостиницы. Но там видно будет.

Ну, пока!

Ольга Карева"

– Вот, взгляните сюда, – Никольский указал адвокату на то место в письме, где шла речь о лекциях Карева.

– Андрей Валерьянович Карев?! – воскликнул адвокат. – Как же, как же! В двадцатые – в начале тридцатых годов это было имя! Потом, правда, утихло, – что, собственно, судьба всех тогдашних корифеев, – тех, кто жив остался после репрессий... Карев – это было бы превосходно! Но почему вы думаете, что он согласится?

– Согласится! Ради дочери он на все согласится. У меня ни малейшего сомнения.

– Значит, Карев за вами. С женой Финкельмайера побеседуйте завтра прямо с утра... Теперь, что нужно еще...

Адвокат взял лист бумаги, и вдвоем они принялись обсуждать возможных свидетелей, уточнять какие-то факты и даты, которые Никольскому часто казались совсем несущественными, адвокату же для чего-то были необходимы.

Уходил Никольский за полночь. Ему хотелось как-то загладить маленькое столкновение, которое вышло у них поначалу.

– Насчет удобной фамилии... Вы сказали, что чудесная фамилия – Финкельмайер. Я не сразу вас понял. Но вы, наверно, правы. – Никольский остановился. Адвокат безучастно молчал. – Однажды я был мальчишкой – отец меня

отхлестал по щекам: я сказанул про своего одноклассника "жиденок". Так вот, отец мне рассказал, что мой дед-священник в дни погромов читал проповеди о любви к евреям и прятал евреев в своей церкви.

— Возможно, и меня, — улыбнулся адвокат. — Нас, всю семью, тоже священник спас.

Они распростились, условившись о завтрашнем дне...

Накануне суда в той же "Вечерней газете" появилась подборка читательских писем под общим заголовком: "ТУНЕЯДЦАМ НЕ МЕСТО В СТОЛИЦЕ!". Некоторые из писем содержали только морализирование на предложенную тему, без ссылок на конкретные имена и факты. Читатели писали об общем вдохновенном труде поколения, которому предстоит жить при коммунизме, и о тех отдельных элементах, которые еще мешают жить... Говорилось о необходимости объявить такую войну позорному явлению, чтобы у тех, кто не желает трудиться по своим способностям, земля под ногами горела... Обращалось внимание на нетерпимые случаи, когда милиция недостаточно активно выявляет паразитические элементы. Писал об этом юрист, знавший статистику. Из нее следовало, что в одном районе выявлено около сорока тунеядцев, тогда как в соседнем — лишь восемь. Предлагалось учесть недостатки: усилить работу по выявлению; обеспечить контроль; и вообще проводить систематические мероприятия, улучшать, активизировать деятельность милиции и общественных организаций на фронте борьбы с лицами, уклоняющимися...

Далее следовало письмо слесаря завода металлоизделий. Слесарь начинал с чувства возмущения, которым он был охвачен, когда читал в газете про тунеядца Финкельмайера. "Я интересуюсь поэзией, люблю ее. Поэт Финкельмайер? Я и мои товарищи по бригаде, — а мы народ не темный, мы все имеем или законченное среднее образование или еще продолжаем учебу в школе без отрыва от производства, —

мы всей бригадой заявляем: нам, рабочим людям, не нужен такой, с позволения сказать, "поэт". Пусть-ка поработает руками, узнает, что такое настоящая поэзия трудовой жизни!"

Следующее письмо начиналось со слов: "Я работник умственного труда". Его написала учительница. Она размышляла о долге интеллигенции. Особенно восхищал ее подвиг безымянных ученых и инженеров, способствовавших тому, чтобы весь мир увидел улыбку Юрия Гагарина. "А таким, кто позорит звание советского интеллигента, я хочу сказать прекрасные слова великого Н.А. Некрасова: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан".

Ниже писем, отбитое тремя звездочками, шло краткое сообщение:

"Выездное заседание суда по делу А. Финкельмайера состоится завтра в Доме Культуры работников пищевой промышленности. Справки по тел..."

XXXVII

Было уже почти совсем темно, когда Финкельмайер вслед за милиционером выпрыгнул из закрытого фургона. Они очутились посреди захламленного двора, рядом с кучей различного клубного вздора — поломанной мебели, размазанных и отслуживших свое фанерных стендов и марлевых декораций... Милиционер — симпатичный круглолицый старшина озирался в растерянности: куда идти, он не знал, спросить было не у кого.

— Ты шофера пошли, пусть разузнает, — посоветовал Финкельмайер.

Старшина обрадованно подбежал к кабине, шофер вылез, подергал одну и другую из выходящих на двор дверей,

наконец нашел незапертую и скрылся. Через несколько минут он явился с суетливым человечком, который был без пальто, в одной лишь меховой шапке.

— Я директор, — сказал он, — здравствуйте. Знаете, столько дел! — принялся он оправдываться перед старшиной, — мероприятие-то для нас... гм... необычное... людей не хватает, не успели вас встретить. Проходите сюда, проходите!

Финкельмайер шел за директором, старшина позади. Поднимались довольно долго по узкой едва освещенной лестнице — за кулисы, на сцену, объяснил директор.

— А вы не в курсе, как устроить для него, — он посмотрел на Финкельмайера, не зная, как назвать — заключенный? подсудимый? арестованный? — Не в курсе, слева от суда или справа?

— Я до этого не касался, — ответил старшина. — А у судьи чего не спросите?

— Совещаются.

— По-моему, справа, — сказал Арон. — Смотрите: правосудие!

И засмеялся. Директор посмотрел на него с недоумением.

За кулисами пришлось стоя ждать едва ли не с полчаса. Арону отчаянно хотелось есть, и от голода начинала побаливать голова. Сновали вокруг здоровые парни с повязками на руках и со значками дружинников. На Арона поглядывали с интересом, он же смущенно наблюдал за общей мельтешней. Тащили мимо стулья, пронесли графин с водой и красное полотнище, от зала, через закрытый занавес, доносился глухой многолюдный шум — и все это было связано с ним, с Ароном Финкельмайером! Он оказался в центре общего внимания, и получалось, будто ему воздаются почести, которых он вовсе не достоин, а это так некрасиво, когда из-за тебя собирается столько людей, когда вокруг тебя столько волнений, и если б он мог, извинившись, уйти тихонько, и все смогли разойтись и заняться чем-то другим,

а не его персоной, то он бы, конечно, ушел, но зная, что это нельзя, что ему придется еще какое-то время быть в этой своей некрасивой роли, он ощущал, что ему сейчас вовсе не нужно быть, сознавать свое существование, но поскольку он все же здесь был и существовал, то эта его некрасивая роль стала мучить его как вина — постыдная, жалкая, неисправимая. Лицо его приобрело растерянное выражение — такое, словно он, толкнув кого-то, хотел попросить прощения, но не успел, потому что обиженный им человек прошел дальше, и теперь остается только переживать допущенную неловкость. Со стороны, однако, это выражение растерянности вполне можно было принять за обыкновенный страх, тем более что Арон являл собою действительно жалкое зрелище: небритый, исхудавший, костюм измят, сорочка несвежая, на ногах — истертые войлочные зимнушки...

Подбежал директор и нервно сказал старшине:

— Пора, говорят. Велят идти!

Боковым проходом вывели их в зал, близко от сцены, мимо первого ряда сидящих. Поблизости женский голос произнес со вздохом:

— Ой, и как же он так?..

Голос показался знакомым, Арон поднял голову и увидел Свету — молоденькую девушку-финансистку, свою сослуживицу из того же экономического отдела, где он работал. Арон удивленно улыбнулся и покивал ей, она же смотрела на него расширенными глазами.

Его посадили на скамейку — эдакий модерн, тяжелая, зализанная лаком доска на тоненьких металлических трубочках. И такие же, на трубочках, два составленных столика — видимо, из буфета, — стояли перед скамейкой, образуя барьер, предназначенный для того, чтобы отделить подсудимого от остального, обычного мира. Но этот замысел плохо удался: хоть и отгороженный столами, Финкельмайер, как и милиционер за его спиной и появившийся рядом солдатик,

и сидевший поблизости, чуть впереди и сбоку адвокат, — не являлись чем-то отдельным от зала, потому что занятые публикой места начинались сразу же, близко подступая к столикам, а очистить больше пространства перед эстрадой, убрав, например, три-четыре ряда передних кресел, было нельзя, так как они, вероятно, наглухо крепились к ступенчатому, уходящему вверх полу. И получилось, что лишь судейские места, пока еще пустые, были сами по себе — вне и над — устроенные на краю эстрады, высвеченные слепящими софитами.

Арон недоуменно вертел головой, плохо слушая то, что говорил ему адвокат. Вон Фрида и рядом отец — зачем он пришел? — здравствуйте, здравствуйте! — ну? неужели же, Фрида, ты без конца будешь плакать? — и Леня тут же сидит, нога на ногу царственно, — и руку поднимает ладонью вверх, как римлянин, — привет тебе, Леня, привет! — Ave, Caesar, morituri te... И — соседка? Соседка Леопольда — старуха, которая... Что ей-то здесь надо?..

Ряды охватывали эстрадную площадку и то тесное пространство перед ней, где сидел Арон, полукруглым амфитеатром. Поэтому, оглядывая зал, Арон видел множество лиц, образующих стену из желто-розовых кафельных пятен, которые могли смещаться, дышать, колебаться около им предназначенных мест, наполняя эту подвижную стену вибрацией, но не столь заметной, чтобы стена разрушалась.

Взгляд Арона скользил вдоль рядов, и он тоже ловил чьи-то взгляды и со все растущим недоумением обнаруживал, что где-то встречал... кого-то видел... с кем-то был знаком... когда-то... Где и когда?

Почему эти люди тут? Он их забыл, но они — они его помнят..?

— Я вам вчера объяснил, — усмехнулся адвокат. — На девяносто девять процентов места заполнили ваши коллеги по министерству. И общественный обвинитель будет из ми-

нистерства. Вы работали в их коллективе, вот их тут и собрали.

— А я думал — так... Просто — публика... — протянул Арон.

— Понятно, понятно... Публика!.. Случайной публики тут нет. И ваших друзей — им придется померзнуть на улице, перед входом.

Тут раздалось: "Встать! Суд идет!" — Финкельмайер вскочил и в это мгновение понял, что он от суда по левую руку, а не по правую. Судьей была женщина, и одним из двух заседателей тоже была женщина, — обе средних лет, седоватые, в строгих костюмах. На лице заседательницы — миловидном, простодушном, застыла не идущая ей значительность, и Арона от этого кольнуло неловкостью. Заседатель-мужчина имел, напротив, естественный вид администратора, для которого разборы персональных дел — занятие привычное. Почти над плечом Финкельмайера устроились две туфельки и пара капроновых ножек судебного секретаря — молоденькой девчонки, которая тут же принялась писать.

— ...материалы на Финкельмайера Арона-Хаима Менделевича... У вас два имени? Пока сидите, сидите!

— Да, это два имени, — поспешил подтвердить Арон.

— И еще уточнение: "А-а-рон" — два раза "а" у нас записано, это правильно?

— Да-да: А-а-рон!

— Спасибо, очень хорошо. "...тысяча девятьсот тридцать второго года рождения, уроженца города Москвы, еврея, беспартийного, образование — высшее, проживающего по адресу..."

Финкельмайер о себе все это знал, но надо было с готовностью слушать, потому что его опять могли о чем-нибудь спросить, и он, отгоняя рассеянность, старался культивировать в себе эту готовность, что получалось с трудом. Он

почувствовал себя неуютно здесь — внизу, под нависающим амфитеатром и рядом с эстрадой, поблизости от ножек секретарши: куда ни направишь глаза, все на что-то наткнешься. Приходилось поэтому голову опускать, но он тут же спохватывался, что так невежливо — не смотреть на судей, что опущенная голова может выглядеть знаком раскаяния, — и он резко откидывался назад и снова как будто с готовным вниманием слушал.

Но наступил момент, когда ему стало что слушать и стало на что смотреть, так как начали вызывать свидетелей: первой — Фриду; за нею — Никольского; следом — редакторшу издательства, где вышла книга "Удача" (редакторша взглянула на Арона с ненавистью, его опять укололо болью стыда); потом профессора Карева — "Карев Андрей Валерьянович!" — вызвала судья, и появился импозантный, до мозга костей партиец-интеллигент уже отходящей формации, похожий или на Луначарского или на Бонч-Бруевича — не внешностью, а именно формацией, — Арон мгновенно забеспокоился, вспомнив про Ольгу и ища ее глазами, она должна где-то быть! — где же? где же она, как же бедненькой не повезло! приехать, чтобы попасть на эту неприятность... И тут пришлось ему с изумлением обнаружить, что в зале находятся люди, которых видеть было так странно, как если бы это были давно уже позабытые или даже умершие люди, явившиеся участвовать в делах сиюминутных, но не реальных, что бывает разве в сновидениях, потому что вызван был — кто?! "Пребылов"?! Пребылов! Умора! О чем он будет говорить?

— Найдет, найдет, — тихонько сказал адвокат. — Они тут все не зря. А этот вам тоже известен?

"Этот"?! Этот — это... как? как назвала судья?.. "Штейнман... Александр Эммануилович?!" Критик Штейнман из "Литературки"! — почтил своим присутствием?! Зачем ему...

— Известен, известен! — с возбужденным шепотом нахло-

нился Арон к адвокату. — Когда-то читал!.. моих стихов!.. рецензировал!.. Хотел литературный институт, на конкурс! — ну да, ну да! Зачем ему, по-вашему?..

— Понятно, понятно... — пробормотал адвокат и, покачав головой, жирно записал в блокнот: *Штейнман*.

Финкельмайер еще во все глаза рассматривал проходившего мимо Штейнмана, эту приспущенную волейбольную камеру, его все те же серые, ничуть не поредевшие патлы на огромной голове, — как объявили новый персонаж, и рядом прошел недавний начальник Арона — подтянутый, одетый с иголочки парень, который возрастом был помладше многих из своих подчиненных, но пылом деловых стремлений превосходивший их всех. Арон ему кивнул. Тот подвигал плечом, как отмахиваясь от осы.

И старушка-соседка! Притащилась, болезная. Волнуется — такое в жизни ее происходит! Свидетельствует в суде, да еще в каком — в особенном, в показательном. Бог ее простит...

— Разъясняю вам, что вы обязаны говорить только правду... — заученно заговорила судья, — что свидетели несут ответственность за отказ от показаний и за дачу ложных показаний... порядок предусматривает, что сейчас вы должны покинуть зал суда, поэтому прошу...

Свидетели направились к боковому выходу. Никольский поддерживал Фриду под локоть, рядом с ними разыгрывалась картинка: Штейнман и Карев на ходу обменивались рукопожатием и бормотали друг другу что-то приветственное.

В зале зашевелились, закашляли, и Арон не сразу понял, что его адвокат, встав с места, выступает с каким-то возражением.

— Манакин? — переспросила судья и заглянула в бумаги. — Есть, есть. Манакин Данила Федотович, так? Но он же иногородний.

— Считаю, что его присутствие совершенно необходимо, — твердо сказал адвокат. — С точки зрения защиты Манакин — один из основных свидетелей.

— На чем основано такое ваше утверждение? — Судья строго взглянула на адвоката.

— Манакин — поэт, член Союза писателей. Его показания должны пролить свет на характер трудовой деятельности моего подзащитного. Как всем здесь понятно, именно этот вопрос будет предметом рассмотрения.

— Предмет рассмотрения нам, действительно, понятен, — иронически согласилась судья. — Что же предлагает защита?

— Ходатайство о перенесении настоящего слушания на более позднюю дату с тем, чтобы Манакин Данила Федотович имел время прибыть в Москву и участвовать в разбирательстве дела в качестве свидетеля.

Поднялся возмущенный шум. Судье пришлось постучать ладонью об стол. Адвокат обернулся к Арону:

— Не обращайтесь внимания, говорите, как было условлено.

Арону адвокат заранее объяснил, что их ходатайство — отложить судебное разбирательство из-за отсутствия Манакина — будет отклонено. "Нам это нужно только для протокола", — пояснил адвокат. У него был какой-то свой юридический интерес... Но возмущения зала Арон совсем не ожидал, сотни глаз, вперившихся в него, он ощутил всей кожей и с трудом мог встать, когда судья обратилась к нему.

— Н-н... да... я хотел бы...

— То есть вы ходатайствуете? — поторопила судья.

— Совершенно верно, да.

Арон потерянно сел, с облегчением слыша, как зал стихает.

— И насчет второго, — быстро сказал адвокат. — Вы помните? — ничего не известно!

Арон не ответил, даже не кивнул.

— Держите себя в руках! Вы слышите?

— Да-да, я — естественно...

— После совещания на месте, — четким голосом начала судья. Воцарилась тишина. — Посоветовавшись на месте, суд решил отклонить ходатайство защиты. Названный защитой Манакин не является жителем Москвы, следовательно, он не может сообщить полезные для нас сведения о том, какой образ жизни ведет привлекаемый к суду.

— Правильно! — удовлетворенно сказали из зала.

— Кроме того, писателей и поэтов среди свидетелей у нас достаточно. Вот по этим причинам ходатайство оставлено без последствий. Вы что-то хотите добавить? — спросила судья, увидев, что адвокат встает.

— Надеюсь, все это занесено в протокол, — растягивая слова, будто с ленцой произнес адвокат. — И теперь второе. Со слов подзащитного, по описанию его родственников и других окружающих его лиц видно, что он вел уединенный образ жизни, нередко забывая о еде...

— Уединенный! С бабами! Газету бы почитали! — выкрикнул кто-то, и поднялся сдержанный ропот.

Адвокат возвысил голос:

— Уважаемый суд! Я убежден в необходимости рабочей обстановки!

— К порядку, к порядку! — громко сказала судья, стуча костяшками пальцев. — Продолжайте.

— Не останавливаясь на примерах, ходатайствую, таким образом, о направлении Финкельмайера Аарона-Хаима Менделевича на судебно-психиатрическую экспертизу.

— Экспертиза была! — с плохо скрываемым торжеством ответила судья. — Уж, конечно, мы предусмотрели... — начала она, но спохватившись, что это "предусмотрели" может означать, что суд еще до заседания настроился каким-то образом, поправилась: — Мы тоже решили, что заключение эксперта будет полезно. Вот акт экспертизы, тут в деле.

— Мне об этом ничего не известно, — с легким, как бы извиняющимся, но, в сущности, с насмешливым поклоном ответил адвокат. — Когда была экспертиза?

— Недавно, сегодня, — поспешила судья, адвокат немедленно вставил:

— Я не ознакомлен с актом!

— Подсудимый... ответчик мог вам сказать, — быстро продолжала судья, как будто не слыша.

Но адвокат не уступил:

— Таким образом, защита не ознакомлена со всеми материалами дела, и в протоколе прошу...

— Хорошо, хорошо, — перебила судья. — Вам нужен факт экспертизы и результат. Я вам акт сейчас передам, вы ознакомитесь, это ничего не меняет. А заключение я прочту — не буду читать все, только само заключение. Так... Вот, пожалуйста: "Финкельмайер А.М. психическим заболеванием не страдает. Обнаруживает психопатические черты характера: обнаруживает некоторую замкнутость, погруженность в собственные переживания, избирательность в общении с окружающими, безмотивные колебания настроения, нереалистичность мышления в том, что касается собственной личности. Как недушевнобольной может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Трудоспособен".

— Благодарю вас, — сказал адвокат. Девушка-секретарша перегнулась с эстрады и протянула несколько листочков. Арон перехватил их у нее и отдал адвокату. Тот взял не глядя, так как продолжал говорить:

— ...содержался под стражей необоснованно, о чем также считаю необходимым заявить суду.

Адвокат кончил.

— У вас все?

— Да.

— Гражданин Финкельмайер, встаньте. У вас есть замечания по составу суда? Согласны? Других замечаний, хода-

тайств у вас нет? Разъясняю ваши права: вы можете участвовать в разбирательстве на всех этапах, задавать вопросы...

...Когда он вставал, начинало стучать в затылке, какое-то время все плыло перед глазами. Потом это проходило, но оставалась та боль в голове, которую он ощущал постоянно. Чувство голода, как это бывало обычно, притупилось, но он страдал от духоты и подумал, что, может быть, жар у него, что простужен и голова поэтому так плоха, трудно соображать, а главное — вот как сказали о нем в заключении — эта нереалистичность мышления в том, что касается собственной личности, тем более трудно ему относить к своей собственной личности слово за словом, которые судья зачитывает по бумаге, слушать про человека чужого совсем, про того, кто в течение более чем полугода ведет антиобщественный образ жизни, паразитирует на окружающих, бросает семью, жену с двумя малыми детьми и старика отца практически оставляет без средств к существованию, сам же участвует в отвратительных непотребствах, во время которых пьют, избивают женщин, потом с ними спят, меняясь женами, меняясь квартирами — сегодня тут и с той, а завтра там и с этой, и опять все сначала, все эти долгие полгода, как один сплошной не-пре-ры-не-при-гля-не-про-бу-не-скон-ча-не-во-об-ра-зи-мы-ор-га-зм-зм-зм, — что подтвердили свидетели, не реагировал на предложение трудоустроиться...

— Понятно вам, за что вы привлекаетесь?

— Да... то есть... Мне непонятно, откуда взялось... Мое превро... — мое времяпрепро... вождение..? Описание?

— Это мы разберемся, это и называется — судебное разбирательство. Отвечайте прямо на вопрос: вам понятно, в чем вас обвиняют, значит, что вы, являясь трудоспособным, нигде не работаете и ведете антиобщественный образ жизни?

— Это мне понятно, в чем, мне не понятно, почему...

— Так, достаточно, достаточно! — успокаивающе остано-

вила судья. — Ответьте суду: признаете ли вы себя виновным в том, что в течение длительного срока не трудились по своим способностям, уклонялись от общественно-полезного труда?

— Видите, это как рассматривать: я действительно не работал в учреждении, но насчет общественно-полез...

— Гражданин! — э? — Финкельмайер! это хорошо, что факт, что вы не работали в учреждении, вы признаете, это понятно, тут сидят ваши бывшие сослуживцы, они знают, что вы уволились, а больше вы никуда не устраивались... Тут мы терять времени не будем, вы интеллигент, вы себя считаете, и вам и нам ни к чему говорить, что черное это белое. Ни к чему! Не работали, это вы признаете. А нужно ответить, признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам обвинениях, а не — "как рассматривать". Подумайте.

Арону казалось таким простым сказать "признаю", — тогда и весь зал был бы им доволен и, значит, ему б от этого стало легче; но адвокат затряс головой и напомнил — "нет-нет!" — так он велел ему — не признавать! — и Арон через силу выдавил:

— Нет. Я не признаю.

Не надо, не надо так сильно шуметь, болит голова!

Он оглянулся — лица качались, и полукружия амфитеатра повсюду то и дело искажались из-за поворотов и беспокойных смещений множества розово-желтых скругленных кафельных блюшек... Подсчитывать число рядов очень трудно, когда все шевелятся. Сколько же человек?

— Что же вы делали все время, пока не работали — в учреждении, по вашим словам? Если вы отвергаете обвинение. Чем были заняты?

— Я, видите ли, я всегда... писал стихи. То есть я занимался своими стихами... все это время, можно так сказать.

— А может быть, так сказать: жили в свое удовольствие? — не упустила повернуть судья и даже тонко улыбнулась.

Юмор всегда освежающе действовал на Арона. Он встрепенулся и тоже одарил судей лучезарной улыбкой своих бесчисленных крупных зубов:

— Можно и так. Вы знаете — ведь это совершенно одно и то же, если вы поэт: заниматься своими стихами и жить в свое удовольствие.

Судья на это не ответила, она листала бумаги, зал недоуменно обсуждал услышанное. "Писали же — поэт!" — объяснял кому-то девичий голосок. "Пра-ав-да-аа?" — тянул ей в ответ другой. Адвокат повернулся к Арону:

— Вы молодец, вы молодец, не волнуйтесь. Только проще надо, проще, вы же видите сами...

— Спасибо-спасибо, я понимаю...

Новый голос раздался с эстрады — спрашивал заседатель-мужчина:

— Вы, у нас указано, семейный, так? Значит, не разведенный с женой, так? А ушли с работы и ездите по чужим квартирам, так? У вас что, жилплощади по норме на человека достаточно?

Арон пожал плечами.

— Достаточно.

Мужчина с достоинством наклонил голову:

— Вопросов других пока не имею.

Судья задала еще несколько вопросов: не было ли у него конфликтов на службе, перед тем как он ушел с работы? интересовалось ли руководство причиной, по которой он подал заявление об уходе? почему он сразу же не снялся с профсоюзного учета?

— Есть ли вопросы у защиты? — спросила судья.

— Благодарю вас, — ответил адвокат и встал. — Расскажите, пожалуйста, какое вы имеете отношение вот к этой книге, — адвокат высоко поднял небольшую зеленую книжечку и громко прочитал: — А. Ефимов. "Знамя полковое".

— Эту книжку написал я, — начал Арон машинально, так

как знал заранее, о чем будет спрашивать адвокат и что нужно будет ответить. Уговорить адвоката обойтись без упоминаний об этой книге не удалось, — напротив, защитник собирался использовать ее как один из веских аргументов перед судом, и Арону, пересиливая отвращение к самому себе, оставалось молоть механические объяснения: — ”А. Ефимов” — это мой псевдоним, я им воспользовался, когда был в армии, когда мои стихи печатались в армейской газете. Потом под этой же фамилией стихи издали отдельной книгой.

— Был ли заключен у вас договор с издательством на эту книгу?

— Да, был.

— Вторая книга, — с нажимом произнес адвокат. — ”Данила Манакин. Удача. Авторизованный перевод с языка тонгор”. Расскажите, пожалуйста, об этой книге тоже.

— Эти стихотворения публиковались в периодических изданиях в течение нескольких последних лет. Публиковались на русском языке. Я их переводил. Теперь стихи выпущены отдельной книгой.

— Что такое авторизованный перевод?

— Это значит, что Манакин одобрил мои переводы... были внесены некоторые... изменения.

— Спасибо. Прошу обе эти книги приобщить к делу, — сказал адвокат.

Арон сел. Но судья обратилась к нему:

— Теперь вы должны дать ответ суду. Каковы ваши объяснения по существу обвинительного заключения. По порядку, по всем материалам. Фактически. И почему вы отрицаете, не признаете обвинения. Вам понятно, что от вас требуется?

Арону снова пришлось вставать и, еще вставая, чувствуя, что судья говорит с ним нервозно, он сказал поспешно-успокоительно:

– Понятно, а как же? – понятно! Сейчас!..

У него была на этот случай бумажка – адвокат посоветовал выписать на бумажку по пунктам все, что Арону необходимо говорить в свое оправдание.

– Вот. Сейчас... Значит, хочу сказать, что, мне кажется, нельзя считать меня тунеядцем по той причине, что когда...

– Минуточку! – перебил адвокат. – Фактически! – вот что нужно суду, а не то, что вам "кажется". Это мы будем решать, можно вас или нельзя считать тунеядцем, у нас есть постановление. Говорите конкретно: почему ушли, как жили, почему не устраивались. Мы решили провести выездное заседание, чтобы вас услышали ваши бывшие товарищи по производству. Вот и объясните суду и всем, кто вас слушает, общественности, – объясните ваше поведение.

Арон непроизвольно оглянулся к залу, увидел, что отец приложил ладонь к уху лодочкой и смотрит на него с печальной ободряющей улыбкой и едва заметно мерно кивает. Арон вздохнул, им овладело безразличие. Он заговорил не сбиваясь.

– Я окончил среднюю школу и сразу же устроился на работу. Тогда у меня не было никакой специальности, я работал на почте. Очень скоро меня призвали в армию. Я только что говорил, – там я начал писать стихи. Командование части было заинтересовано в том, чтобы я сочинял стихи для газеты, для праздничных торжеств. Меня перевели в распоряжение армейской газеты. Когда я демобилизовался и вернулся в Москву, стихи издали отдельной книгой. Я хотел поступить в Литературный институт. На конкурс я представил не военные стихи, другие. Они казались мне, так сказать... более интересными. Меня не приняли, я устроился на работу в министерство экономистом, одновременно стал заочно учиться в Рыбном институте. Закончил его, продолжая работать уже в должности инженера. И работал там же почти до осени прошлого года. Да, забыл сказать, – Арон заглянул

в бумажку, — по производственной линии никаких взысканий не имел. Это одно, а второе, я забыл сказать, что песню "Знамя полковое" исполнял краснознаменный ансамбль песни и пляски, — то есть музыка на мои стихи...

Арон говорил, и от собственных слов ему становилось муторно. Он выставял напоказ то, чего стыдился, — говорил про эти ужасающие военные стихи, о которых старался никогда не вспоминать, а теперь вот, следуя приказу адвоката, должен был этот грех нечестивца выдавать за добродетель. Но совсем стало тошно, когда он начал говорить о себе с фальшивыми — возвышенными интонациями, назначение которых было придать еще большую убедительность фразам о том, что он, Финкельмайер, всегда был поэтом — поэтом без отрыва от производства, то есть поэтом в свободное от работы время, и если ему доверяли переводить, значит, его признавали поэтом, и книга Манакина — она-то, когда ее издали, вселила в него уверенность в собственных силах, почему он и ушел с работы — временно! конечно, временно, временно! — он чуть не забыл, что адвокат особенно настаивал на этом временно —

— ...временно, пока у меня имеются материальные средства, чтобы содержать семью и жить самому. Эти деньги я же получил за работу — за работу над книгой. Поэтому нельзя считать, что я жил... как это... да, — на нетрудовые доходы. И я все время занимался стихами, — ну, можно считать, работал. Поэтому считать, что я тунеядец, что я уклонялся от общественно-полезного труда, это... Правда, как считать. — Арон вдруг задумался. А когда продолжил свою речь, со страхом понял, что несет он совсем не то... — Как относиться к работе поэта? Можно ли считать это занятие общественно-полезным? Поэзия существует сама по себе, — как воздух, никто не спрашивает, существует ли воздух для общей пользы, но мы им дышим, он нам полезен, хотя в нем, если я не ошибаюсь, ненужный для наших легких азот, больше

половины, вот я и говорю: кислород — общественно-полезный, а азот — бесполезный. Разве может поэт, если он имеет дело с *Поэзией*, все время думать, что в его поэзии — общественно-полезное, то есть кислород, а что для пользы общества является азотом. Это дело самого общества — решать, что ему полезно, а что нет. — Арон видел, как адвокат, смешно вытягивая руку щепотью вверх, пытался дать знак, мол, остановись же, безумный! — но Арон оседлал конька. — Всегда цитируют: "Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан", — верно, верно, однако же, не задумываются, что и здесь поэт — *отделено от гражданина*, то есть поэт — это особое, что гражданин — это, значит, всегда, а поэт, получается, особая категория. Но у Пушкина есть другое на ту же тему, это, к сожалению, мало известно и не цитируется, а зря, я на память приведу, я помню, так это звучит: "*Если кто пишет стихи, то прежде всего должен быть поэтом, если же хочешь просто гражданствовать, то пиши прозой*". Ну можно с этим спорить, это не абсолютная истина, однако нельзя не признать правоты в общем смысле. "*Погасло дневное светило, — воодушевленно начал декламировать Арон, — на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной угрюмый океан*". Ну какой, скажите, общественно-полезный смысл, — стоять на палубе ночного парусника и сочинять такие строки?

— Гражданин Финкельмайер! — резко сказала судья. — Вы нам..!

— Сейчас, сейчас! Я кончаю! Я говорю, что поэзия сама по себе бесполезна, но общество может воспользоваться. "*Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать!*" — вот вам и выгода и для поэта и для общества. Я много над этим думал, это сложный вопрос... Что еще... — Арон заглянул в бумажку, и скучной скороговоркой стал перечислять: — Значит, работу я оставил временно; официального

предупреждения о том, что нужно устроиться, я не получил; насчет антиобщественного поведения в быту — я временно жил без семьи, чтобы заниматься творческой работой, которая по своему роду требует уединения; никаких пьянок, избиений — это все неправда, если друзья собираются, никто такого не запрещает, просто собирались на квартире... — Он хотел сказать "на квартире Леопольда Михайловича". Но адвокат строго-настрого предупреждал: имя Леопольда не упоминать, равно как ни словом, ни намеком не упоминать о следствии по делу о картинах. Дело это решили замять, объяснил адвокат, и наверняка тем, кто передал материалы на Арона в суд, выгодно об этом умолчать. Выгодно это и Арону — иначе судья все может направить на следствие, и чем оно закончится — неизвестно. Поэтому задача — ничем не ссылаться на имена и события, связанные с той сложной историей.

— ...собирались на квартире, где я жил, и ни о чем э-э... предосудительном не говорилось. А работать — я разве намеревался отказываться? Я буду работать.

Прошу суд снять с меня обвинение в туеядстве, в уклонении от общественно-полезного труда, в антиобщественном поведении, так как это обвинение не соответствует действительным фактам.

Он опустил на стул.

В зале шумели. Секретарша стояла за спиной судьи и что-то показывала в своих записях, судья ей отвечала, тыча авторучкой в бумаги. Адвокат в упор смотрел на Арона — с великим интересом, но не без насмешки. Отец продолжал легонько кивать и раскачиваться. Потом все поплыло, и Арону пришлось прикрыть веки.

Теперь он может отдохнуть.

Зеленоватое темное поле в закрытых глазах пещрилось красными, желтыми пятнами, они расплзались, мерцали, меж ними на белом неровном овале обгорало, как будто

сделанное из зажженных спичек 14 — Арон только что эту цифру видел на подлокотнике кресла перед собой, четырнадцать значит сонет, a-b-b-a, a-b-b-a, c-d-c, d-c-d, но не обязательно, в терцетах может быть и по-другому, c-c-d, c-c-d, в Сонете о сонете — "Суровый Дант не презирал сонета", — кажется, c-c-d, e-e-d, Дант — ад-анд-Данте — анданте — играют на игрище — чистилище — рай, почему очередность он выбрал такую, что первое — ад, дальше, выше — чистилище, а на горе (Арапат) — рай, слово с оттенком собеса — рай-гор-отдел, восхождение, да, от подземного АД сквозь ЧИСТИЛИЩЕ в РАЙ, — очищение и возвышение духа, ах, — наивное средневековье, очиститься — значило ВВЕРХ, но теперь все не так, не годится такая игра, и суровому Данту сегодня бы, чтобы очиститься, нужно спуститься — ВНИЗ, в АД, о! — прекрасно, прекрасно, тебя вел Вергилий, а ты — ты мог бы меня, только ВНИЗ, и я в соответствии с духом эпохи очищусь, если сподобит, тогда это будет иная комедия, с формой обратной: сначала, конечно же, РАЙ, а следом ЧИСТИЛИЩЕ и, в заключение, и в заключении! — ДА — будет — АД...

— ...двух девочек, еще совсем маленьких. Как же это вы могли?

— Меня? Извините. Не расслышал..?

— Вот вы сказали, что чтобы сочинять стихи, вы захотели жить в одиночестве, как же, я спрашиваю, вы оставили семью, двух маленьких девочек, ради такого... Из-за сочинительства вашего? — Это говорила с ласковой укоризной женщина-заседательница.

Арон вставал, пытаясь хоть как-то обдумать...

— Вы не оставили семью, — негромко сказал адвокат, глядя в пространство.

— Я не оставил семью, — повторил попугаем Арон. — То есть как? Ну да. Временно.

И он снова стал садиться, думая уже о том, о чем же он думал перед тем, как обдумать — ах, да — ад — Дант — ан — дант...

– Свидетельница Финкельмайер Фрида Исаковна!

Фриду выпустили сбоку. У нее была подкушена неровно нижняя губа, – чтоб не дрожала, и от этого лицо, круглощекое, пухлое, перекосило будто мышечным параличом.

– Распишитесь в том, что вас предупредили об ответственности по статье уголовного кодекса... Нет, вот здесь... Так. Защита?

– Скажите, пожалуйста, – обратился к Фриде адвокат, – вы работаете, не правда ли?

– Да, – кивнула Фрида.

– Громче! Вас должны слышать, – сказала судья.

– Да, работаю. В детском саду.

– Отлично, работаете, – удовлетворенно констатировал адвокат, как врач, который узнал, что больной хорошо себя чувствует. – И бюджет ваш из чего складывается?

– Деньги?.. Значит, Арон... то есть муж. Его деньги. Мой оклад потом. Дедушка еще... у него пенсия маленькая, и он немного подрабатывает. – Испуганно она добавила: – Нет, это ему просто хочется – работать, можно обойтись, это немного, но ему нравится – пусть работает.

– Хорошо, понятно. Вот насчет денег мужа: он давал деньги, когда работал, так? А сейчас – когда ушел с работы – он вносит в семью..?

– А как же! – подхватила Фрида. – Он вносит, мы договорились, сколько он будет давать, то есть вносить, он столько и вносит.

– Вы договорились, сколько он будет вносить, он столько и вносит, – отдельно повторил адвокат. – И есть ли у вас к мужу материальные претензии?

– К мужу претензий... материальных претензий, – поправилась она по-ученически, – у меня нет.

– А какие – есть? – спросила судья.

В зале кто-то хохотнул. Возник шумочек.

– Я имею в виду – вы довольны его поведением в быту – как отца, как мужа, главы семьи? – пояснила судья.

Фрида опустила глаза и совсем уже была близка к тому, чтоб расплакаться.

— Да... до... вольна... — чуть слышно выговорила она.

— Чем же вы довольны? — неожиданно подал голос крупный человек, сидевший за таким же столиком, каким был оторожен Арон, но напротив него, по правую руку от судейских. Арон успел уже припомнить, что увесистый этот мужик обитал в министерстве на должности то ли хозяйственной, то ли по кадрам. — Чем вы довольны? Муж, значит, бросает работу, бросает семью, уходит от вас, — где живет, с кем живет? — а вы почему-то довольны?

— Прошу суд принять мой протест! — решительно сказал адвокат. — Вопрос задается в недопустимой форме и не направлен на выяснение фактов. Кроме того, я, защитник, хотел бы продолжить!

— Ну уж сразу и протест! — насмешливо сказала судья. Была она, сразу видать, хваткой женщиной. — Продолжайте, мы слушаем.

— Итак, — снова заговорил адвокат, — претензий к мужу нет, в том числе, подчеркнем, материальных. Вопрос такой: вам известно, из каких средств муж дает вам деньги?

— Мне известно. Он получил деньги за то, что переводил стихи. Он мне сказал, что получил деньги, и на сколько хватит, он пока не будет работать. Это правда, на эти деньги мы живем.

— Известны ли вам другие источники, из которых бы ваш муж мог получать деньги, чтобы давать на расходы вам и тратить на себя?

— Нет. Неизвестно.

— Скажите, ваш муж пьет водку? Он пьющий?

— Ой, что вы!..

— Понятно. Ваш муж — непьющий. Есть ли у него, может быть, вы раньше замечали или теперь знаете за ним, — какие-нибудь пристрастия — например, он играет в карты, или в

тотализатор на ипподроме, — словом, на что бы он мог тратить крупные суммы денег?

— Этого нет, нисколько ничего такого нет! — возбужденно сказала Фрида. — Он... он, знаете? Он как... крот, сидит и пишет — только это и было одно...

— Вы знали, что он пишет стихи, что он ими увлечен. Понятно. Скажите, когда он стал жить отдельно, вы не собирались с ним разводиться?

— Нет, не собиралась...

— Вопрос такой: может ли быть, что вы тратите на мужа больше, чем он сам дает в семью? Вы поняли мой вопрос?

— Поняла! Это не так, он дает деньги — и я трачу на семью, на дочек, а он себе немного оставляет, он у меня ничего не просит, я даже сама предлагаю что-нибудь купить — ну, из одежды, — но он такой — он ни за что...

— А если ему придется жить совершенно отдельно, если он не сможет давать вам деньги, то семье придется труднее? Вы справитесь материально без помощи мужа? Вам известно, что по суду его могут...

— Снимаю вопрос! — прервала судья. Она хотела добавить что-то еще, но адвокат успел произнести:

— Благодарю вас, больше вопросов нет! — И сел.

— Общественный обвинитель, — ваши вопросы? — повернулась судья, и тот монументальный, напротив Арона, тяжело поднялся.

— Я интересуюсь в таком плане, гражданка. Относительно как вы считаете положение, когда ваш муж когда вздумает семью оставит, а где захотел там проживает. Вы как такое положение расцениваете?

Повисла тишина. Все смотрели на Фриду. Голова ее клонила, рука пыталась достать из кармана вязаной кофточки платок. Все выглядело так, будто Фрида виновна в чем-то позорном, и это ее народ судит и осуждает. Тягостное молчание продолжалось, уже не было сил его выдержать — Арон

чувствовал, что оно может вот-вот прорваться — протестующим диким криком, который гнойным нарывом вспухал в его глотке. Фрида стала негромко всхлипывать.

— Ну чего — ну чего..! такого мы сделали?! — смогла она вытолкнуть между всхлипами и разрыдалась.

— Подайте воды! — велела судья. — Так, вы свободны. Можете пока покинуть зал, а успокойтесь — имеете право присутствовать при дальнейшем. Так, свидетель Никольский Леонид Павлович!

Фрида из зала не вышла и не стала ждать, пока ей протянут стакан. Она села близко от адвоката. Плечи у нее вздрагивали, из глаз бежали слезы, — она не отнимала от лица платка, и Арон страдал от невозможности ее утешить словом и — даже взглядом: Фрида на Арона не посмотрела...

Никольский был спокоен и деловит. Он поставил на бумаге свою подпись и спросил, должен ли давать показания лишь в ответ на вопросы, обращенные к нему, или может вначале сам рассказать то, что ему известно по данному делу? Этот энтузиазм свидетеля судья восприняла без особой радости, но разрешила: "рассказывайте, рассказывайте..."

— Арона Финкельмайера я знаю год, — начал Никольский уверенно. Его баритон был прямо-таки создан для речей в суде. И для обольщения женщин. — Познакомились мы случайно, в командировке. Сначала он показался мне человеком странным. Но чем ближе я его узнавал, тем яснее становилось, что его странности связаны с большой одаренностью этого человека, Арона Финкельмайера. Я хочу заявить здесь определенно: я горжусь тем, что мы с ним стали друзьями. Арон — настоящий поэт, в самом точном и высоком смысле этого слова. А поэты — люди особого склада. Сейчас поэзия, стихи у нас в стране, у молодежи, популярны как никогда. Поэзию любят. Но надо любить и поэтов,

уметь понимать, что за каждым настоящим стихотворением — личность особого склада.

— Вы не объясняйтесь в любви, переходите к основному, о чем вы хотите говорить, — сказала судья.

— Это и есть основное — личность. Насколько я понимаю, суд занят личностью Арона Финкельмайера, его поведением. Так вот, я, как его друг, достоверно знаю и заявляю об этом суду и присутствующим: все последнее время, больше полугодя, Арон был занят интенсивным поэтическим творчеством. Нужно понять и нужно учесть, что когда человек увлечен своим любимым делом, то этому увлечению он подчиняет всю свою жизнь. Вот почему Финкельмайер ушел с работы — не бездельничать, не тунеядствовать, а выполнять то, к чему он стремился. Кавычки при слове поэт, как это было в газете напечатано, тут не годятся: он действительно поэт. Я предоставил ему свою квартиру для той же цели: чтобы он мог спокойно работать. До того, как у меня появилась эта возможность, он некоторое время жил у другого своего знакомого. По-моему, это естественно — помощь своему другу. Считаю также необходимым сказать, что я знаком с семьей Финкельмайера, у нас есть общие друзья, поэтому я мог наблюдать его поведение в самой разнообразной обстановке. Заявляю, что никогда и ни в чем Финкельмайер не проявил себя как лицо антиобщественное. Он человек скромный, даже слишком скромный, в бытовом отношении довольствуется самым минимальным. К деньгам он равнодушен — может быть, отчасти это объясняет, почему он расстался с работой. Ну что же, ему не мешает быть немного... поближе к земле, и если здесь есть случай ему об этом сказать, то я это говорю. Но человек живет на свои деньги; занят творческой работой и днем и часто ночами; и его называть — тунеядцем? Я уверен, что суд во всем разберется и снимет с Арона все обвинения!

В последних рядах, под потолком, послышалось два-три

хлопка, отчего в зале возмущенно зашевелились. Но все же напористая речь Никольского произвела впечатление, и даже судья помешкала, прежде чем смогла пустить ход процесса дальше.

Меня расхваливают, думал Арон, и это тягостно не меньше, чем когда меня унижают. Даже больше. Если мне говорят: *ты хороший* – это пусто, разве кто возьмется сказать себе *я – хороший?* – это бред, фанфаронство и тупость, и если тебе это скажут, ты можешь лишь вежливо улыбнуться в ответ или вежливо протестовать, разве могу я себя воспринять в утвердительном смысле? – нет, я могу о себе только знать *я не есть то-то и то-то*, а то, что *я есть то-то и то-то*, *аз есмь* – этого я о себе не знаю, и никто обо мне не знает *ты есть*, а знают они обо мне *ты был* в лучшем случае, и я с чьей-нибудь точки зрения – положим, Никольского Лени, – *был настоящий поэт*, но я для него только *был*, а не *есть*, я сейчас ничто и никто, я раздавлен собою, зачем-то годами потворствовал глупой затее вязать слово к слову, сосать из них сок несловесного смысла и думать, что в этом значения больше, чем просто в игрушке, она меня съела, моя погремушка-змеюшка, ползучая строчка, прыгучая строчка, я и сам теперь, оказалось, высосан, выпит и ядом пропитан, мумифицирован и от себя отделен, кишочки отдельно, стишочки отдельно, ты, глупая Фрида, зачем ты по мне уби-ваешься – я был всегда нехорош с тобой и с детьми, а теперь и такого меня уже нет меня, нет...

Никольский, как боксер на ринге, стоял с чуть расставленными ногами и отвечал на вопросы общественного обвинителя.

– А ваша жена – где она проживает?

– Уехала. А зачем вам моя жена? Что вам нужно о ней узнать?

– Материал есть такой, что ваша жена вела себя амораль-

но с гражданином — вашим другом, которого так выгораживаете, что он в быту скромного поведения.

— Откуда у вас такой материал? Он в деле? Или вы имеете в виду статью в газете? Там мое имя и имя моей жены не указаны. Откуда вам это известно?

— Свидетель, отвечайте на вопрос! — приказала судья.

— Хорошо, отвечаю: у меня жены нет.

Адвокат от удовольствия откинулся на спинку стула и забарабанил пальцами по столу. Обвинитель растерянно оглянулся на судью.

— Как нет? — пришла та на помощь. — Но была же у вас жена!

— А это другой разговор, — согласился Никольский. — Была. Но мы разведены. И чтобы избавить уважаемого общественного обвинителя от очередного вопроса, скажу сразу, что сперва моя бывшая жена из моей квартиры уехала, а потом уже мой друг Финкельмайер в мою квартиру въехал.

— Вы не уклоняйтесь, — с угрозой добивался своего обвинитель, — вы нам подтвердите факт нарушения моральных норм общежития, с вашей супругой обвиняемый был в незаконной связи?

— Постыдились бы! — зло бросил Никольский и кивнул на Фриду. — Мало вам? — довели до слез.

— Потрудитесь ответить! что вы знаете! — настаивала судья. — Вы должны проявлять уважение! Вас тоже могут привлечь за недостойное поведение в суде, напоминаю!

— Пожалуйста: отказываюсь подтвердить! Мне ничего об этом вашем факте неизвестно!

— У нас есть другие свидетельства! — сказала судья.

— А я повторяю: мне об этом не-из-вестно! И я ничего не могу добавить к тому, что уже сказал!

— Садитесь! — оборвала судья. — Но с вами еще не закончили, имейте в виду.

— Дело ваше! — задиристо ответил Никольский. Когда он с победоносной миной усаживался около Фриды, адвокат укоризненно покачал головой.

— Полегче, полегче, молодой человек.

— А, ладно!.. Арон, ты как..?

Арон улыбнулся кисло. Никольский принялся что-то шептать на ухо Фриде. Адвокат схватил очки, подобрался, — перед судом уже стояла редакторша издательства — беспокойная, худощавая женщина лет около сорока — сейчас Арон ее впервые видел без сигареты и гладко причесанной, прибранной. Адвокат расспрашивал ее с подчеркнутой неторопливостью, всякий раз повторяя вкратце основной смысл ответа, — редакторша, наоборот, выпаливала быстро, но говорила с оглядкой, возвращаясь к уже сказанному и поправляя то одну, то другую поспешную фразу. Как давно она знает Финкельмайера — она не может точно сказать, несколько лет, точнее не помнит; а разве ее знакомство с ним не совпадает с первой публикацией переводов стихотворения Манакина? — не могу сказать точно, я редактор книги Манакина, а переводы публиковались в периодических журналах; однако же Финкельмайер утверждает, что это вы работали в свое время в редакции журнала, что это вы, узнав от него, что он, Финкельмайер, едет в Сибирь, просили привезти оттуда стихи одного из национальных поэтов, разве это было не так? — возможно, да-да, вспоминаю, действительно, что-то было, но я не помню точно, когда это происходило; а нельзя ли это при необходимости установить по дате публикации? — конечно, при необходимости это легко; а скажите, там была указана фамилия Финкельмайера? — я не помню, возможно, хотя, я не знаю, может быть, и не была, у нас существует такая практика, что не всегда имя переводчика мы указываем; а, вот это интересно, существует такая практика, а как выплачивается гонорар? — гонорар в мою компетенцию входит постольку-поскольку, этим занимается

бухгалтерия; а все же? вот с той же книгой Манакина? с кем был заключен договор, кто получал гонорар? — Манакин! договор был с Манакиным! — вам при этом было известно, что именно Финкельмайер перевел стихи Манакина на русский язык?

Тут ей окончательно стало ясно, куда гнет адвокат. Редакторша лихорадочно обдумывала, как ей говорить дальше.

— Все ваши вопросы относятся к прошлому, суду важно поведение Финкельмайера после того, как он бросил работу, — сказала судья.

— Мои вопросы прямо связаны с разбираемым делом! — жестко сказал адвокат. — Вы снимаете мой вопрос? Это записывается в протоколе?

— Нет-нет, продолжайте! — уступила судья.

— Итак: было ли вам, при заключении договора с Манакиным, известно, что Финкельмайер перевел его стихи?

— Н-не знаю...

— Вы предупреждены об ответственности за отказ давать показания!

— Я не могу восстановить, процесс издания длительный и... — Тут редакторшу осенило. Она быстро повернулась к судье: — Я должна говорить о фактах — официальных?

— Да, говорите, говорите об официальных, — ответила та.

— Официально обстоит дело таким образом, — оживилась редакторша. — Договор заключен с Манакиным, и Манакин весь гонорар получил один. Официально никому не известно, кто переводил его стихи, может быть, сам Манакин, почему бы и нет? Мы получили готовую рукопись, мы ее издали.

— Ах, вот как! — иронически воскликнул адвокат. — А Финкельмайер, — он появлялся у вас в редакции?

— Не все ли равно? Пусть себе появлялся, мало ли кто появляется!

— Отвечайте: участвовал ли Финкельмайер в подготовке рукописи к печати?

— Н-ну, положим, участвовал. То есть как участвовал? — неофициально! Это нигде не зафиксировано. Как бы по своему личному желанию.

— Финкельмайер утверждает, что он, уйдя с работы, жил на деньги, которые получил за перевод этой книги. Подчеркиваю, что доказать это обстоятельство очень важно. Получал он деньги за перевод или нет?

— Он? Он не получал!

Поднялся шум, тут же прервавшийся, потому что редакторша стала испуганно пояснять:

— То есть получал, но — официально/не получал! Понимаете? Я не знаю — как, я на него гонорар не выписывала, а на Манакина. Но я не исключаю, что...

— Напомню вам, — перебил ее адвокат, — что Финкельмайер получил в бухгалтерии издательства половину всей суммы гонорара на основании доверенности Манакина, и бухгалтерия перевела эти деньги в сберкассу на имя Финкельмайера. Вы это подтверждаете?

— Правильно, конечно, подтверждаю, потому что есть официальный документ, ведь эта доверенность должна сохраниться.

— Вот именно! Доверенность — это документ. И вы отказываетесь прямо сказать, что Манакин половину суммы отдал Финкельмайеру за его работу?

— А как я могу сказать? Может быть, Манакин эти деньги ему задолжал или дал взаймы? Это их личное соглашение, издательство тут ни при чем.

— Я снова, и уже в последний раз, задам вам основной вопрос, но так, чтобы вы ответили "да" или "нет": подтверждаете ли вы, что книгу Манакина "Удача" перевел на русский язык Финкельмайер, за что он и получил, на основании доверенности, соответствующую сумму? Да или нет?

На редакторшу грустно было смотреть. У нее запрыгало веко, она с усилием ломала сухие сцепленные пальцы.

– Нет... – прошептала, наконец, она.

– Раиса Григорьевна!? – сорвалось у Арона. Та вздрогнула.

– Превосходно! – в мертвой тишине произнес адвокат. – Но мы не кончим на этом. После такого ответа вынужден от имени подзащитного заявить о следующем: Манакин не является автором книги "Удача"! Издательство это отлично знает. Автором книги является Финкельмайер, а Манакин – подставное лицо! Подтверждаете или нет? – раздельно отчеканил адвокат и обличительно указал перстом на редакторшу.

– Нет, нет, нет! – взмолилась она и вскинула руки, обороняясь. – Как я могу – я не могу! Не подтверждаю!..

– Превосходно! – снова с омерзением повторил адвокат. – Вопросов не имею! – Он обратился к суду: – По поводу последнего заявления мой подзащитный к вашим услугам.

И сел.

Публикой все это было воспринято как адвокатская штука, в которой простым смертным не разобратся, и общее отношение к ней выразил возглас, недоуменный и подозрительный: "Ну, закрути-ил!"

Арон прерывисто дышал. Тошно, тошно это все! – и как ни убеждал его адвокат, что рассказать о книге необходимо не только ради защиты, но и как правду, Арон теперь, когда сия правда была объявлена во всеуслышанье, ощутил с острой горечью, что нету здесь правды, одна только ложь, и он в ее паутине барахтается – с той самой поры, как решил печатать стихи – ложь, ложь, ложь! – как тот псевдоним, – но тогда он хотя бы в открытую врал, он играл, он выдумывал бодренького А. Ефимова, а Манакин – зачем был он нужен, живой, неприятный ему человек и мифические стихи, которые тот как будто бы, якобы, как бы, почти что писал, – ты стремился поймать на перо, на бумагу бегучее, ты стремился из строчек и строф поставить запруду теку-

чему, ты хотел преломленный радужный отблеск окрасить в чернила, потом в типографскую краску и заложить в перешлет — и для этого ты притворился Манакиным — ложь, ложь, ложь! — ты себя обманул, и Манакина — вот оно в чем твоя правда: ты предал, и ты это знаешь, один только ты это знаешь — и никто не поймет, если будешь им объяснять, нет, не буду, не буду, но есть Леопольд, вот он это знает и без объяснений, когда он вернется, когда я вернусь, мы скажем друг другу без объяснений, и я у него попрошу, чтоб простил, а у себя уже нет у себя уже не — потому что предатель я предал я предан обману и ложь ложь ложь ДА низвергнут очиститься АД...

Лицо каррарского мрамора — белое, матовое, и в сини глубоких глазниц тоже словно бы с матовым, приглушенным блеском, — возникло перед Ароном, ближе и ближе быстро перемещалось, ныряло колебалось над темно-зеленою тенью шаг за шагом, и вот уже рядом, где были места для свидетелей, опускается, и робкая улыбка трогает красивое безжизненное лицо.

— Олешка! Я знал! — ты..!?

— Меня не пускали, я вместе с отцом, когда он входил, побоялись остановить! — взволнованно проговорила она, кивнула, с тревогой огляделась по сторонам и заерзала на кресле, чтобы устроиться, скрыться, запрятаться глубже, как в темную воду, по самую шею в зеленую толстую шаль.

Профессор Андрей Валерьянович Карев снимал и надевал очки — в тоненькой золотой оправе, похожие на старомодные *pinse-nez*, и голос его старомодно грассировал, а вместо принятого "што" и "штобы" слышалось отчетливое "что" и "чтобы"; профессор снимал и надевал очки, закладывал руку за борт глухого, похожего на френч и на толстовку пиджака, опирался рукою о стол, но принятую позу снова менял, — то есть по всем признакам был в растерянности. Он привык вещать с кафедры, говорить бесспорные истины,

провозглашать объективность — учить говорить о законах природы и общества, учить диалектике и классовому подходу к проблемам науки, культуры и искусства; так что сомнений в правоте своих слов ему испытывать не приходилось, тем более он знал, что в каждом вопросе может всегда опереться как на первоисточник, так и на самую свежую установку. Он был хорошим, старой, еще полупарламентской, европейской закваски оратором, а применяя диалектический метод, в любой самой острой дискуссии мог ловко выйти из-под удара. Теперь же он был в растерянности, потому что не с кафедры он говорил, а перед судом — народным судом, и чувствовал, что бесспорность, к которой он так привык, переходила в свою противоположность по закону отрицания отрицания, так как, с одной стороны, суд, по самому смыслу этого понятия, занят проблемой спорной, где может быть сказано да, а может и нет, но, с другой стороны, суд народный, а точнее — классовый, действуя в интересах класса, в конечном счете не должен заключать в себе даже малейшего признака двойственности, дуализма, он должен быть определен с начала и до конца. Принципиально профессору следовало поддержать обвинение, поскольку оно исходило от органов классовых, тогда как защита отстаивала интересы отдельного индивидуума, то есть отнюдь не интересы коллектива, общества в целом. Профессор же всегда служил только обществу. Правда, и тут проявлялось некоторое диалектическое противоречие: Ольга, когда профессор думал о дочери, заставляла забыть об обществе и обо всех объективных законах, которым отец поклонялся. И вот она, Ольга, сказала: "Ты выступишь в суде как свидетель защиты. Иди к адвокату, возьмешь у него стихи Арона — Арон Фин-кель-май-ер, запомнил? — прочтешь их внимательно. Трепаться ты умеешь, ты должен доказать как дважды два четыре, что стихи написаны профессиональным поэтом — во-первых; что они нужны людям, обществу, помога-

ют строить и жить, помогают поступательному движению, ну, ты сам знаешь, — это во-вторых. Адвокат тебе все расскажет подробно. Если откажешься...” Глаза у дочери мрачно сверкнули, и Андрей Валерьянович Карев поспешно сказал: ”Да, да, да, конечно, конечно! Но как ты решишь насчет дальнейшего?” — Он не упустил сыграть на желании дочери, подобно тому как она играла на его родительских чувствах, и надеялся вырвать хотя бы намек на то, о чем мечтал столько лет: что дочь вернется к нему. ”Ты сделай так, как я говорю. А потом я буду решать...”

Полчаса назад профессор узнал, что его соратник по марксистской критике Штейнман выступит за обвинение. И это окончательно выбило Карева из колеи. Не слишком уверенно говорил он о различных аспектах задачи эстетического воспитания масс. Он говорил, что задачи эти всегда не просты, поскольку мораль, нравственность, этика и эстетика вторичны по отношению к основе общества — к материальному производству, относятся к нему как к базису надстройка и, следовательно, отстают в развитии. Он ссылаясь на примеры писателей, которые зачастую не сразу понимали, как это понял пролетарский поэт Маяковский, что надо свое перо приравнять к штыку; бывают отдельные заблуждения среди работников литературы и искусства даже и сейчас, о чем свидетельствует недавнее посещение товарищем Хрущевым художественной выставки и последовавшие затем встречи с деятелями культуры.

Пока он все это говорил, профессора слушали с вежливым вниманием. Но затем, когда он призвал к чуткости и призвал отнестись с пониманием к тем, кто ищет свои пути в литературе и искусстве, возникла настороженность. Когда же он обратился непосредственно к Финкельмайеру и его стихам, вслед за чем прояснилось, что профессор намерен защищать, а не осуждать, общее настроение переменилось уже окончательно против него. Как опытный оратор, Карев

тут же это почувствовал, от волнения смешался. Судья немедленно задала вопрос: давно ли он знаком со стихами?

— Мне их дали вчера, — пролепетал честный профессор. Его слова были встречены хохотом. Он вскричал: — Простите, но это значит, что я объективен! С автором я лично не знаком!

Вокруг продолжали смеяться.

— Вы цитатки тут зачитывали, так? — сказал заседатель. — Я, вам признаюсь, ничего в них не понял, так? Вы берете на себя ответственность, что молодежь, рабочие, техники, вот у которых трудовая деятельность, возьмут такие стихи читать? Что же они оттуда получают? С точки зрения, если искусство принадлежит народу?

Профессор Карев что-то отвечал, его не слушали.

— Защита? — спросила судья.

— Вопросов нет, — ответил адвокат и уничтожающе посмотрел на Никольского. Тот в сердцах плюнул: профессор оказался бесполезен, если только не навредил...

Карев поплелся туда, где сидела Ольга. Но она разъяренно мотнула головой, и отец послушно свернул в сторону и сел поодаль.

Появился первый из свидетелей обвинения — тот щеголеватый молодец, под чьим руководством работал Арон в министерстве.

— Я вкратце охарактеризую производственное лицо Финкельмайера. Главная его черта как сотрудника — кстати, он занимал инженерную должность, — была безынициативность. Это главное. Скажешь: "Арон Менделевич, надо то-то и то-то сделать". Так он двадцать раз переспросит, что и где, прежде чем пойдет и сделает! Ответственных заданий ему не доверяли. Вообще, он вел себя по принципу: никак себя не проявлять. Может целая рабочая неделя пройти, и даже я, начальник, не знаю — здесь Финкельмайер или его нет? Не принимал участия ни в каких общественных мероприя-

тиях. Общественной работы никогда не вел. Мы тут с товарищами прочитали в газете, что он себя изображает поэтом. Если у тебя такие способности, почему тебе не выступить в стенной печати или взять на себя нагрузку по этой части? Но такого не случилось. Я скажу так: он всегда находился вне коллектива. Он был сам по себе, а коллектив сам по себе. Поэтому, когда он подал заявление об уходе по собственному желанию, задерживать его не стали. Но, конечно, мы просмотрели, что у него такие отрицательные тенденции. Что его привлекает паразитическое существование. Мы не приняли вовремя воспитательных мер. Вообще, этот факт служит указанием на неблагополучие в постановке идейно-воспитательной работы во вверенном мне отделе. Мы этот факт рассмотрели на треугольнике и вынесли его на общее собрание сотрудников. Собрание вынесло решение осудить Финкельмайера и просило общественные организации нашего министерства выдвинуть общественного обвинителя на этот процесс.

Правильно говорил начальник, Арон его слушал весело. Молодой, расторопный шеф был совсем не дурак, и Арону под его началом жилось прекрасно, то есть шеф никогда Арона не трогал. И Арон никогда не лез на глаза, ничего не требовал, глотку не драл ни за премиальную десятку, ни даже за местечко рядом с окном или поблизости от калорифера. И безотказно таскался зимою и осенью в командировки черт знает куда инспектировать базы — одно только плохо: не привозил для начальника рыбки. Ну да в рыбке ли дело?..

Шефа долго не задерживали. Все понимали, что его свидетельства ценности не имеют и нужны они обвинению только для формы. Защитник не преминул использовать это обстоятельство для реванша за досадную неудачу с Каревым:

— Вы подтверждаете, что у Финкельмайера не было взысканий? — спросил адвокат.

– Да, но... – начал шеф.

– Взысканий не было! – повторил адвокат. – Поэтому ваша отрицательная характеристика голословна и не может быть принята во внимание. Теперь расскажите, что вы знаете о Финкельмайере, о его образе жизни в последние месяцы, уже после того, как он уволился?

– Ну-у, лично я, конкретно, не в курсе, но по статье в газете...

Адвокат отчеканил:

– Свидетель не может показать ничего! – что относилось бы непосредственно к выдвигаемым обвинениям!

– Суд учитывает личность обвиняемого в целом, – вяло заметила судья. И сочла за благо шефа отпустить.

– Свидетель Штейнман Александр Эммануилович!

Штейнман вкатился – дряблкое крупное тело на низких ногах, – и еще не закончив расписываться, заговорил с клокотанием:

– Эрр... понимаете... правильно? – благодарю! – понимаете, я был крайне! Я был крайне удивлен! Тунеядство и литер-эрр-литература!.. Специфическая ситуация! Позвольте, я предварительно выясню, – я, безусловно, не должен ограничиться ролью – литературного эксперта. Общественно-идеологическая сторона явления в первую очередь!

Он обратился к судьям за поддержкой.

– Мы слушаем, слушаем, – неопределенно сказала судья.

– Поскольку от литературы – ...ррэрр... – подобного рода явление далеко. ”Не за то волка бьют, что он сер, а за то, что овцу съел” – у Даля. Плохая литература – полбеда; главное, с чем мы боремся, это – антилитература. Но – простите, простите, у кого что болит, тот о том и говорит, я отвлекся, я к вашим услугам.

Он опять вопросительно посмотрел на суд и подобно пуделю склонил кудлатую голову набок.

– Вы представитель писателей, – сказала судья. Она взяла

из папки бумагу, протянула ее Штейнману. — У нас в деле справка, вы ее зачитите и расскажите, что вы знаете. Суд интересуется претензиями гражданина... Финкельмайера называть себя поэтом.

— Справку мы выслали, — согласно ответил Штейнман и, встряхивая в руке листок, прочитал: — "Справка... народному судье... в ответ на ваше..." Так. "Сообщаем, что в составе московской писательской организации Финкельмайер Арон Хаим Менделевич не состоит. Нам, московским литераторам, это имя абсолютно неизвестно. Выражаем свой решительный протест против жалкой попытки этого самозванца именоваться "поэтом". Мы никому не позволим позорить высокое звание советского поэта, использовать поэзию в недостойных целях, не совместимых с благородными целями нашей литературы".

Штейнман повертел листочек так и сяк, вернул его судье.

— Вот хорошо прочитали про высокое звание, — заговорил общественный обвинитель. — А тут перед вами, вы не слышали, старались его превозносить, Финкельмайера. Как ваша точка зрения? У него есть творчество в вашем понимании?

— Совершенно верно! — подхватил Штейнман. — Совершенно верно поставлен вопрос. Творчество — не вообще, вне времени и пространства. Творчество именно в нашем понимании, и я постараюсь ответить.

Он умолк, задумался, но затем встрепенулся, чтоб заговорить безостановочно — с темпераментом, с модуляциями, с рыканьем и клекотаньем:

— Я сошлюсь на слова большого нашего писателя покойного, я его хорошо знал, Александр-ррэр... Александр-Александровича Фадеева, который так, примерно, противопоставлял буржуазный, если хотите, христианский гуманизм нашему воинствующему, если не ошибусь: "Старый гуманизм говорил: "Мне все равно, чем ты занимаешься, мне важно,

что ты человек”. Социалистический гуманизм говорит: “Если ты ничем не занимаешься и ничего не делаешь, я не признаю в тебе человека, как бы ты ни был умен и добр”. Вам понятно, эрр... разумеется, эти слова прямым, тесным образом связаны с тем, о чем общественность, народный суд, ведет сегодня эрр... разговор. Но я иначе, я применю иначе, в переносном смысле, и прошу проследить, это тоже — прямо относится к нашему разговору, к вопросу, который мне задан: “Буржуазное искусство говорит: “Мне все равно, о чем ты пишешь, мне важно, что ты писатель”. Социалистический реализм говорит: “Если ты ничего не делаешь, чтобы отобразить наши идеалы, многообразие жизни нашего общества, мы не признаем в тебе писателя, как бы ты ни изощрялся в своем, с позволения сказать, творчестве. Мы не назовем это подлинным творчеством”.

Это прямо относится к — эрр — Финкельмайеру. Почему наша писательская организация направила сюда именно меня? Да потому что был случай, представьте, я читал его, так сказать, сочинения. Лет десять назад, я запомнил, можете мне поверить, не мог не запомнить, потому что случай был из ряда вон, из мэррм — из ряда вон... Я рассматривал рукописи, присланные на вступительный творческий конкурс в Литературный институт, обратил внимание на стихи — несовершенные, конечно, слабые, слабые были стихи, но такое прощается молодым, начинающим, — так, да, эррмрр — если тема актуальна, общественно-значимая. Стихи, я думаю, не ошибусь, описывали будни армии, мирный солдатский быт — мило, мило, наивно и слабо, но я заинтересовался автором, я даже пригласил к себе. А что оказалось? Под псевдонимом даются стихи патриотические, а под собственной фамилией нечто противоположное — упадочно-формалистическое трюкачество. Вы догадываетесь, я отверг притязания на такое литературное двурушничество. Мы отказали! этому молодому человеку в праве! поступить в институт. Это был...

И Штейнман, развернувшись круглым животом к суду, указал короткопалой рукой на Арона.

— Это был Финкельмайер! — закончил он патетически. И пораженная жутким, кошмарным разоблачением публика, вся как один человек, вперилась глазами в Арона. И он, который мало слышал, но услышал, что называли его по фамилии, торопливо задвигал руками-ногами и встал, и потерянно вытянул шею к суду, и вот-вот собирался сказать: извините, не слышал, что-то вы спросили?..

По залу прошло гы-гы-гы, судья махнула на Арона с нетерпением, он понял, что который уже раз сегодня оплошал, и сел.

Короткий этот инцидент сбил у Штейнмана пафос, но он снова задумался и снова, постояв потупленно, смог продолжать в прежнем тоне.

— Признаться вам, тогда я подумал: а не жестоко ли? Может быть, надо нам было к экзаменам допустить и принять в институт? Еще Аристотель писал, что юноши плохо владеют своим сердцем, которое иногда затмевает у них рассудок. Как говорится, молодо-зелено, повзрослеет, эрмгrr — поумнеет. Нет! Значит, нет, не ошиблись. Мы видим, мы видим сейчас, до чего докатился наш бывший абитуриент, мы видим, что мы не ошиблись, не подпустив его к литературе. Так он, оказывается, пытался теперь — эррумп — проникнуть в ее здание с черного хода!

Эта фраза Штейнману понравилась, и он остановился.

— Позвольте? — спросил адвокат.

Судья вопросительно посмотрела на обвинителя, тот поднял брови и развел руками — мол, о чем еще говорить, все ясно.

— Вы член Союза писателей? — спросил адвокат.

— Разумеется, — скромно ответил Штейнман.

— Вы московский писатель?

— Да, конечно. Я критик.

— "Нам, московским литераторам, это имя абсолютно неизвестно". Имеется в виду имя "Финкельмайер", вы это зачитали в справке. Только что вы сообщили суду, что знали Финкельмайера еще десять лет назад. Итак, справка не соответствует действительности?

Штейнман опешил. Но зал взорвало. Публика была приувавшей уже — людей собрали сюда сразу после рабочего дня, — и вот явился повод разрядиться и пошуметь. Вдобавок, все почувствовали, что пошло тотальное наступление на подсудимого, который был и жалок и смешон; попытка же защитника притормозить естественный ход событий вызвала возмущение, и сквозь общий шум неслось: "К словам цепляются!" — "Видали? Умник нашелся!" — "Гнать таких адвокатов!" — "А что, а что, он имеет право!" — "Какое право? Трепачи они, вот кто!" — "Тянут свою бодягу! Зачитывали бы решение, и все тут!" — "Деньги заплатили, вот и стараются!"

Судья выждала и призвала к порядку. Штейнман приободрился.

— Вы имеете в виду формулировку, — улыбнулся он адвокату. — Точнее было бы сформулировать так: "*поэт* Финкельмайер нам абсолютно неизвестен". Он не поэт. Может быть, он что-то пишет, но такого поэта не существует.

— Такого поэта не существует, — повторил адвокат. — С вашего позволения, я к этому вашему заявлению еще вернусь...

— Прошу вас, прошу вас!

— ...а пока будьте любезны ответить. Вы почему-то уверены, что не совершили ошибки, не позволив ему участвовать в конкурсе на поступление в институт. Не лучше ли было предоставить ему возможность учиться? Тогда вы и ваши коллеги могли бы направить его на путь истинный. Вы считаете, что он пошел по неверному пути, — разве это не ваша вина? Разве не вы его оттолкнули?

В общем, Штейнман не вызвал симпатий у публики. И в эту минуту, выбирая между ним и адвокатом, зал снова зароптал, но теперь — воздавая должное ловким ударам защитника.

— Эмрэрэрр... — дольше, чем обычно, проклокотал Штейнман. — Нет, нет, я должен отвергнуть, эрмэр, вашу постановку вопроса, ваш подход. Так сказать, гипотетическая вина — это не то, это не то. В литературе нянек нет, — вы должны учитывать! И почему обязательно институт? Молодые поэты с успехом работают, трудятся, а стихи пишут на основе общего подхода к проблеме... народного творчества! — Он опять воодушевился. — Всем известно, что творческая самодеятельность масс приобрела сейчас невиданный размах! По всей стране создаются народные университеты культуры, народные театры, народные филармонии. Для тех, кто стремится к литературному творчеству, существуют так называемые литобъединения, их в Москве больше десятка. Давайте спросим, состоит ли Финкельмайер членом литобъединения?

— Привлекаемый, отвечайте на вопрос свидетеля! — велела судья. — Повторите вопрос...

— Вы состоите членом какого-либо литературного объединения? — спросил Штейнман, не глядя на Арона.

— Нет, я не состою и никогда не был... — ответил Арон и вдруг наморщил лоб, пытаясь что-то вспомнить. — Александр Эммануилович, а ведь это вы делали обзор поэзии журнала "Дружба"? За прошлый год? Вы, вы, мне показывали! Вы знаете, вы там приводили стихи — в качестве удачного примера, — это же были мои стихи... или переводы, ну, как хотите!..

— Не так, не так, — пробормотал Штейнман и выжидающе посмотрел на судью. Он все больше становился похож на потрепанный мяч, из которого выходил понемногу воздух.

— Значит, вы настаиваете, что Финкельмайера как поэта

не существует, — сказал адвокат. — Я возвращаюсь к этому вашему утверждению. Но почему мы должны считать, что вы выражаете объективное мнение? Только что профессор Карев, который с Финкельмайером лично не знаком, который приехал сюда из Ленинграда, сказал, что это настоящие, профессиональные стихи. Вам известны имя, авторитет профессора Карева?

И все увидели поникшую фигурку Карева. В ней вовсе не было импозантности...

— Профессор Карев! — укоризненно сказал Штейнман. — Экрурм — я недоумеваю... Вы, вы — уважаемый партийный деятель... Вас, вероятно, ввели в заблуждение? Кому же, как не вам; когда, как не сейчас, когда только что прошел пленум по узловым проблемам идеологического и эстетического порядка; после того, как были проведены встречи с Никитой Сергеевичем, — я не понимаю, Андрей Валерьянович! Я был уверен, что вы поддерживаете!.. А мы на разных полюсах? Это действительно так?

Штейнман туда и сюда колыхнулся — к судьям, в сторону Карева, снова к судьям.

— К сожалению... вынужден, — слабо проговорил профессор и встал, выставя бородку. — Вынужден после всего, что услышал, признать... Я был неправ, я заблуждался и...

И он опустился на место — будто ссыпал себя в сиденье. Стало тихо.

— Дрянь.

Зал вздрогнул. Арон с ужасом посмотрел на Ольгу — он увидел щеку с пунцовым пятном, острый профиль, суженный глаз.

— Кто посмел?! — выкрикнула судья. — Сейчас же из зала!

— Нет, нет, она больна, моя дочь! — застонал профессор и разрыдался.

К нему подбежали дружинники, повели его осторожно,

под руки, к выходу. Арон смотрел на Ольгу, — она не отрывала взгляда от согбенной спины профессора Карева, медленно вслед поворачивала лицо, контур его непрерывно менялся, и Арон мог видеть уже только выступ скулы, резкую нежную линию от подбородка до мочки уха и в завитках подобранных волос тонкий ее затылок.

Появился еще один литератор — Пребылов. Но судья и обвинитель стали задавать ему вопросы, с литературой никак не связанные. Свидетель Пребылов показал, что он и его друзья — если нужно, он назовет их имена, они подтвердят его показания — нет, сказала судья, не нужно, не нужно, говорите от себя, — мы, то есть я и мои друзья, наблюдали, как Финкельмайер и компания проводят время, это был настоящий разгул, пьянка и драка; мы попали туда случайно, хозяева сразу поняли, что мы чуждые ихним нравам, нас оскорбляли, — расскажите, свидетель Пребылов, об этом подробнее, — значит, ну, это было в отдельном особняке, и надо соответственным органам проверить, кто такая хозяйка особняка, если она ведет такой образ жизни — ни чести, ни достоинства, ее по пьянке избивали по лицу — сначала довели женщину до слез, до нервного припадка, а потом били, требовали, чтобы прекратила плач и ей пришлось подчиниться, а потом она как ни в чем не бывало снова сидела вместе со всеми, хохотала и пила водку, из чего понятно, что там это обычное развлечение, а когда я, чтобы противопоставить, прочитал свои стихи — вы кто по профессии? — я поэт, я член Союза писателей, у меня две книги стихов, меня публикуют, — так, так, продолжайте, — им, которые видят свою цель в прожигании жизни, мои стихи не понравились, само собой (Пребылов частенько вставлял это вводное "само собой"), потому что я в них воспеваю труд, рабочие руки и против красивой, по ихним, понятиям, жизни, меня начали оскорблять, но мы, то есть я и мои друзья, не позволили, а потом покинули.

– И лично Финкельмайер, хочу уточнить, лично тоже участвовал? – спросил общественный обвинитель.

– Лично участвовал. Он у них там гений! – скривился Пребылов.

– Теперь скажите, вот там сидит свидетель Никольский, – указала судья, – он вам знаком?

– Знаю его. Они оба из той компании.

– Правильно. Никольский показал, что они друзья. А в каких отношениях Никольский и эта хозяйка особняка, вам известно?

– В каких – в любовных!

Никольский процедил взбешенно: "Ссссволочь... ну сссволочь..."

– Так-так, – сказал обвинитель, – значит, Финкельмайер женат и с женой не живет; Никольский женат и с женой не живет, а живет с любовницей; Финкельмайер, значит, – с любовницей, бывшей женой Никольского. Вот как у них получается.

– Свидетель Никольский, встаньте! – потребовала судья. – Ответьте суду, вы подтверждаете показания свидетеля Пребылова, то, что он наблюдал и что вы были участником этих событий?

– Ложь! От начала до конца. Не подтверждаю! – Никольский это как выстрелил.

– Ложь, да? Ложь, да? Ты же ее и бил, ты бил! – сварливо кинулся Пребылов.

– Ложь! Одно только верно, что Пребылов читал свои стихи – плохие, безграмотные стихи! Что касается пьянки – Пребылов там единственный из всех напился. В стельку! Ему, наверно, в белой горячке...

– Прекратите! – прервала судья. – Финкельмайер! Вы что скажете? Вы участвовали в том, что рассказал свидетель Пребылов?

– Участвовал, – потерянно сказал Финкельмайер. Зал

восторженно бурлил. Никольский что-то быстро говорил, склонившись к адвокату, тот кивал и делал пометки в блокноте.

— Вы видели, значит, Никольский ее бил, эту женщину, которая его любовница? — спросил общественный обвинитель.

— Понимаете, — доверительно стал объяснять Финкельмайер, — я расскажу, он не бил, он ее похлопал по щекам, чтобы...

Грохнула публика и хохот скатился с амфитеатра на сцену: смеялась судья, смеялся заседатель, только женщина-заседательница смотрела на Финкельмайера с серьезным осуждением, как на шута, который не вовремя взялся за шутки.

— Ну, силен!..

— Да псих он, не видите?

— И себя и приятеля топит!

Арону было все равно. Все, что происходило вокруг, — и длинные слова свидетелей, и хлесткие вопросы, и эти выкрики над головой проникали в него механически — куда-то в угол, в какой-то стеклянный бокс внутри его головы, где крутился магнитофончик, записывал, переключался — стоп, перемотка назад, снова пуск, вопрос и ответ, снова запись, — но сам он, Арон Финкельмайер, каким он обычно себя ощущал, отсутствовал вовсе, — не было больше ни сил, ни желания, не было больше *потенции* — чувствовать, думать, воспринимать — даже собственную тошноту, даже боль, которая схватилась изнутри за череп, схватилась изнутри за ребра и распирала настойчиво, непрерывно.

Наконец, когда в зале стало стихать, поднялся адвокат.

— Свидетель, сколько раз вы посещали этот дом, как вы его называете, — особняк?

— Я-то, например, — не много...

— Конкретно? Десять, пять, сто?

— Вы что, запомнить...

— Или только один?

— Ну, один, а что? Мне рассказывали...

— Только один раз! Прошу суд это обстоятельство учесть.

Когда это было, свидетель?

— Откуда я помню?

— Неправда, вы помните! Отказываетесь отвечать?

— Не помню!

— Уважаемые судьи, при необходимости защита докажет, что Пребылов, который видел Финкельмайера и Никольского только один раз, встречался с ними на вечере почти год! тому назад. Финкельмайер, как известно суду, и тогда и еще полгода затем все еще работал в министерстве. Показания Пребылова к разбору данного дела не имеют отношения! — ни по самим фактам, ни по времени, когда они имели место!

— Вы повторяетесь, вы это уже говорили об одном свидетеле, — подковырнула судья.

— Совершенно верно, приходится, — ответил адвокат, и тоже не без ехидства.

На том с Пребыловым покончили, и старушка — жиличка из квартиры Леопольда — в страхе и готовности заспешила к суду.

— Свидетельница Завьялова, посмотрите, вы знаете обвиняемого Финкельмайера?

— Кого-ет? Ну, знаю я, знаю, фамилиё не знаю, а по личности знаю, жил он-ет в квартире моёй!

— Свидетельница, вы не волнуйтесь и расскажите суду по порядку, как долго он жил в вашей квартире, чем занимался, ходил ли он на работу, приходили к нему люди, как они проводили время. Пожалуйста, мы слушаем.

— Да по порядку-от будет-ет так. Хозяин-то еще с лета не жил. Комнаты-от. А сперва женчина пришла — вроде бы в помощь ему — сготовить, прибрать. Нащет ночью ет я не скажу, не буду грешить зázря, не знаю. Но приходила. А ентот-

то, его, судите-то щас которого, ентот звон когда ходил, давно. У их в окно, значить, уговор был — торкнуть — и шел входную-то открывать. Ент штобы нас как будто не беспокоить, — а рази не беспокоить? — дверь-то все одно хлопом-то, щелком отворится, где ж не беспокоить? Беспокойство и есть. Ну воот. А женчина появилась — тут стали гуртом ходить. Ходють и ходють — неровен час в квартире што случится, пропадет што, скандал какой, а как же? Так-то мы тихие, а так-то — ходють и ходють, ну? А летось, говорю, съехал, — енти двое, женчина и ентот вота вещи-то его увозят, а я и говорю, да кто такие будете, а она скажи — племяница! Тьфу, думаю, ты и племяница, откель взялася только! Племяница! Ишшо стол велела с кухни штоб взяли. Ну воот. Месяц — два никого, а там ентот и поселился. Живет. Цельный день дома. Я к участковому — кто, говорю, живет-то? Может, натворил што? На двор-то не выходит, а то и ночью нету. Документ, говорю, проверьте, мало ли што? Пришел — так и так, документа с собой нету. А работать? Не работа-ат. А делаешь-то што? А ништо. Во как! Участковый-от вежливый, спасибо сказал, мамаша, говорит, выясним, как по-положенному. Ну, живет, значит. Хозяин-то, пожилой-то, приходить, бывает, — прописку-то терять, кому охота? — никому. Вот и приходить. И опять к ним — торк-торк в окно-то — отворяй, мол, пришли! Я и говорю, участковому-то: — ”Мотри, говорю, Алексеич, не дело!” — ”Вы, говорит, Настасия Федоровна, сообщите, коли што!” Што ж, как опять было, так пошла, позвала. Входим — батюшки! Вот, товарищи дорогие судьи, стыд-от сказать, вы, может, в Бога-то не верите, а как перед Господом! — прости меня грешную! — уся комната в голых женчинах! И мущинах! Картинки. Расстановили. Тьфу, прости Господи! Страм-то, я старая, смотреть-то стыдую! Опять, значит, документа проверить, — а один говорит: ”Ет жена моя” — блондиночку такую указывает. Литовка она. Ну, жена хоро-

шо. Чего уж они там, не знаю, а тут, аккурат, с водкой приходят, с авоськой-то, с угла. Вот они чем занимаются-та — на женчин голых смотреть, водку пить, во как! Да ладно. Так што же — разошлись потом, — а жена, блондиночка-то, с ентим-то ночуеть! А? Я говорю ей: "Бесстыжие твои глаза! При живом-то муже! Совесть-то есть? Людям-то вчерася што говорила? Ентому жена, а с ентим спать ложисся?" А она — шусть, шусть — и за дверь, без ответу. А нам што отвечать-то? Мы простые. А енти — они ученые, вот и живут по-ученому, так вот и есть, товарищи судьи!

Старуха Завьялова в списке свидетелей шла последней, судьям и обвинителям все уже было понятно, вопросов больше не задавали, только судья обратилась к защитнику: станет ли он и теперь убеждать, будто рассказанное Завьяловой не относится к делу? Адвокат ответил, что "по времени событий — к делу относится, по существу же этих событий, — не относится".

— Свидетельница, вы свободны, садитесь вон туда, — сказала судья. Но старуха не поспешила уйти.

— Товарищи дорогие судьи, мне бы по моему-то ет вопросу, — можно спрошу-то?

— Что у вас? Слушаем.

— Комната-ет его-то? Внук-то с армии пришел, жениться-то хочет, куда же? На голову што ли? Дадуть мне комнату ету-от? Я как участковому говорила: комнату мне дайте его-то, он жа когда въехал-то — сын-то мой не жил, а теперь с женой-то развелся, опять со мной живеть в одной комнате, двадцать метров-от площади-то, да и внук прописан, женится, я участковому говорю: "Лексеич, я пойду в суд-то, свидетельствую, как надо скажу, а суд мне пускай поможет..."

— Свидетельница, это к нам не относится, это к райсовету, жилищный отдел. Мы не знаем, о какой вы комнате говорите, вы с этим в жилищный отдел, понимаете?

— Дак его комната-от, покойного! Помер-от, Ляпольд Мыхалыч, помер же, — Царствие Небесное, — может, грешила на него, но спокойный был, не скажу. Участковый-то и сказал — помер сосед твой, Настасья Федоровна, может, дадут тебе комнату, а ты иди свидетелем в суд-то...

Сухо звякнуло — стул опрокинулся, ножки об ножки стола, стол качнуло, солдатик метнулся вперед — Арон выгнулся, — падал и стол, — Арон протягивал руки, хрипел: "Аааввысказали — ктоо — умме..?!"

— Кто?! Кто, скажите, скажите!! — уже закричал он, Никольский вскочил, старшина оттеснил его локтем, а грудью навалился на Арона, тот рвался к эстрадке — вцепиться в старуху! трясти ее! встряхни! правду! кто умер! он слышал?! нет, врет она, врет! все-все! все вы здесь, все!! для чего?! что он вам? где он? сделал?! Где?! — Ну! ну пожалуйста, я — вы же ви! — я же не! — Леопольд! где он, где он?! — кричал и хрипел и шептал он, слюна от тошнотных позывов копилась, текла с языка, — мимо губ и мешала — о! как я слаб, как я слаб, я всегда только слабый, беспомощный, вот они, вот, навалились, и мне ничего не сказали, зачем ничего не сказали?! — за-чем..??

Он сидел, перед ним поправляли, выравнивали столы, он пытался обдумать хоть что-то, но все распадалось, пришел Леопольд, тронул пальцем с краю усов, — он был старый, да-да, он был старый, теперь вот он мертвый, закрыты глаза, теперь улыбается, не говорит, на кого он показывает? — на Никольского? Леня? Ты знал? Это правда?

Опускает Никольский глаза, поднимает Никольский глаза, громко шепчет Никольский — Арон, не успели сказать, — значит, правда? — кивает Никольский, да, правда, да — ад, да — анданте, а вы, вы со мной говорили, вы мне не сказали, и ад-ад-во-кат-ад-да-ад-от-ве-ча-го-во-ет — да, он знал, да, я знал, ад, я знал, но я думал, что вы тоже зна — а когда? — а-ког-да? — поднимает Никольский глаза, нахло-

нился — не-де-ля, не-де-ля-про-шла -- про-шлаг-баум опущен, полоска-к-полоске, черная, белая, черная, белая, жизнь -- это зебра, полоска к полоске, черная, белая, жизнь — это детские трусики, короткие и обкаканые, жизнь — это -- Арон сползал на сиденье глубже и глубже и достиг, наконец, положения, когда удалось голове улечься на руки, сложенные на столе. Они у него оставались — руки его, плечи, локти, предплечья и кисти, чтобы с заботой принять на себя его голову, чтобы собою прикрыть ее справа, слева и спереди так, чтобы ничто не достигло слуха его и зрения.

Он плакал там, в темноте, и было ему почти хорошо, и так длилось долго — пока говорил обвинитель, пока говорил адвокат. Когда ему громко сказали: "Суд предоставляет вам последнее слово", — Арон осторожно повел головой в одну и в другую сторону, и его оставили в покое.

Потом растерянный старшина поддерживал его под локоть — мой милый, добрый, уютный, спасительный локоть, — и судья грудным голосом читала приговор.

— то есть в течение более полугода нигде не работает и ведет сомнительный образ жизни. Он оставил семью — жену с двумя детьми дошкольного и младшего школьного возраста и престарелого отца. Он сначала жил на одной квартире, у чужого лица, без прописки, когда милиция им заинтересовалась, Финкельмайер вновь сменил местожительство. Все это время Финкельмайер проявлял пренебрежение к принятым нормам поведения в быту, участвовал в вечеринках и попойках, которые устраивались у него или у друзей, причем ряд его действий носили аморальный, развратный характер (сожительство с женой своего друга, рассматривание порнографических рисунков, соучастие в драке, оскорбление других лиц). На предупреждение милиции о необходимости немедленно трудоустроиться Финкельмайер не реагировал. О том, что Финкельмайер не работал длительное время, он не отрицал, этот факт подтвердили свидетели. Факты

недостойного поведения Финкельмайера подтверждены свидетелями Пребыловым и Завьяловой. Доводы Финкельмайера, что он поэт и может поэтому не работать, опровергнуты свидетелями Штейнманом и Каревым.

Судебный разбор производился в выездном заседании, с участием представителей общественности, бывших сотрудников Финкельмайера. В опубликованных в "Вечерней газете" высказываниях читателей Финкельмайер подвергся со стороны общественности суровому осуждению.

Суд, ознакомившись с предварительными материалами, проверив их путем опроса свидетелей, выслушав стороны общественного обвинения и защиты, пришел к выводу, что факты, указанные в материалах дела, нашли свое подтверждение в судебном заседании, а поведение Финкельмайера подпадает под действие Указа "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими паразитический образ жизни". На основании изложенного суд

ПО С Т А Н О В И Л:

Сослать Финкельмайера Аарона-Хаима Менделевича, 1932 года рождения, уроженца города Москвы, в отдаленную, специально отведенную местность сроком на четыре года с обязательным привлечением к труду по месту поселения.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит...

"Ворвался в глубь моей дремоты сонной тяжелый гул, и я очнулся вдруг, как человек, насильно пробужденный", – громко рукоплескали, выкрикивали, низвергали сверху гремящий поток, в водовороте лиц и фигур – орали, качались, поманивали, помавали – явилась косая злоба Никольского, мелькнули опухлые Фридины веки, – *"Я отдохнувший взгляд обвел вокруг, встав на ноги и пристально визи-*

рая, чтоб осмотреться в этом царстве мук”, — сквозь толпу — она раздвигалась в опаске — шел маленький, с улыбкой на детском круглом личике отец, его пальцы плясали над бородачкой, он как будто играл и пугал бодучей козой — идет коза рогатая, идет коза бодатая, бе-е-е — забодай-забодай-забодаю! — пел, слишком громко он, против обыкновения, пел в этот раз — *шма исроэл адонай злофейну адонай эхад борух шем кводо малхуто лэолам воад — Слушай, Израиль, Йегова Господь единый благословенно имя Его, почитание, царствование Его навечно и навсегда!* — Мы были возле пропасти, у края, и страшный срыв гудел у наших ног, бесчисленные крики извергая, — по ступеням, по той же боковой и полутемной лестнице, какой привели Арона сюда, теперь он спускался снова во двор, следом за его спиной громыхал сапогами дружок-старшина, а перед Ароном, пролет за пролетом, ступая неровно, кренясь в каждом шаге на свернутый бок, с лицом запрокинутым к нему, к Арону, вверх, катилась Ольга.

— *Я увожу к отверженным селеньям,* —

— а ты обещаешь мне, я все равно узнаю, обещаешь, я приеду к тебе, ну, поселюсь я где-нибудь рядом, ответь же мне, ну? —

— *Я увожу сквозь вековечный сон,* —

— я ничего от тебя не хочу, я только для себя, у меня ничего не осталось, ты меня пожалей, я так одинока, ты же знаешь все обо мне, ну Арошка, ну что ты молчишь? —

— *Я увожу к погибшим поколеньям.*

Был правдою мой зодчий вдохновлен: —

— в конце концов, ну что четыре года? — ведь это ничего, а оттуда я все равно уехала — ты, ты это сделал, я тебе писала, ты сделал, что я захотела приехать сюда, значит, позволь, Арошка, позволь же, позволь, я поеду с тобой! —

— *Я высшей силой, полнотой всезнанья*

И первую любовью сотворен. —

— и ты не должен молчать! — ты должен, ты должен позво-

лить, ты должен захотеть, чтобы я оказалась рядом, ты же помнишь, я знаю, что ты ничего не забыл, почему же ты так, ну скажи —

— *Древней меня лишь вечные создания,* —

— ты не отвечаешь, ну почему? мне же незачем жить! не хочу, мне не нужно, я ненавижу ее, эту жизнь, за которую люди цепляются, я не хочу больше жить, ты, ты, ты можешь продлить мне, и может быть —

— *И с вечностью пребуду наравне* —

— но ты пожалеешь! ты думаешь, нет ничего вокруг, нет никого, что ты сам по себе? ты не хочешь понять! ты не понимаешь, я ведь мертва, я прошу немножечко жизни, чего тебе стоит? и ты не хочешь мне капельку хоть подарить, одно только слово, Арон, ну скажи мне, ну милый... —

Входящие оставьте упования.

— Гражданка, пройдите! За двери; за двери! И во дворе нельзя! Вообще, как вы сюда попали? Не положено!

Старшина подвел Арона к фургону. Сели в темноте на лавку. Кузов промерз, и скоро Арона стало бить ознобом. В шоферской кабине не было никого. Милиционер сперва сидел спокойно, но потом, замерзнув, принялся то и дело выглядывать из-за дверцы фургона во двор, выискивая хоть кого-нибудь, кто пошел бы разыскать шофера. Арон мало что воспринимал. На какое-то время он впал, вероятно, в полное забытие, потому что не слышал, когда пришел шофер и как заработал мотор. Лишь когда взяли с места, Арон от резкого толчка пришел в себя. Выехали в ворота, и водитель принялся отчаянно сигналить. Сквозь тонкое железо стенки доносился возбужденный говор множества людей, машина еле двигалась, наконец остановилась вовсе. Внезапно взревела сирена, заливались всюду клаксоны, Арон безотчетно взглянул в зарешеченное окошко и увидел слепящие фары и выше — кровавые вспышки мигалки. От фар, от мигалки, от воя надрывной сирены люди растал-

кивались и теснились, но каждый не далее плотного круга, который пустел и пустел — полукружие света вдвигалось в него, тяжелый передок грузовика свисал напротив, люди смотрели вниз, на землю, Арон ухватился за прутья решетки, привстал, чтобы тоже увидеть — ни любопытства, ни просто желания что-либо увидеть он не испытывал, он взглянул все так же безотчетно и — закричал, отпрянул, метнулся к дверцам.

Он увидел бесформенное на снегу, небольшое, темным холмом, и сбоку лицо — запрокинутый остроточенный контур среди беспорядка длинных женских волос.

Старшина истуупленно бил по рукам, — Арон, дико вскрикивая, хватался за дверцы, но старшина размахнулся, — ну, т-твою мать! — и сильно ударил под дых.

Арон рухнул на пол.

XXXVIII

Финкельмайер — Никольскому.

Я буду тебе писать постепенно. У меня тут не всегда есть время и место для этого занятия. Начинаю письмо, а когда и где закончу его — не знаю. Уже, вероятно, в Азии, поскольку сейчас нахожусь вблизи границы с ней. Сижу — точнее, лежу на койке в подвале номер 101. У подвала — древние своды и крепостная толщина стены. В цементный пол вмуровано 13 железных кроватей, из железа — дверь, железные прутья (три на три) в окошке, железная колючая проволока окаймляет двор. В углу напротив — бидон. Он не железный, — алюминиевый. Когда-то сделали его для коровьего моло-

ка, теперь же в нем – человеческая моча, бидон дурно пахнет. Это пятая остановка, если не считать тюремной больницы, где я пробыл три недели – сразу после суда. Везде все по-разному и все одинаково – как в жизни. Я многому научился за это время. Главное, как ни странно, за редкими исключениями, легко лажу с коллегами. У меня есть достоинства, которые вызывают у коллег большое уважение. Так, например, они меня научили "забивать козла", и оказалось, что я великий игрок. Примитивные расчеты "кто, как и куда" мне даются легко, я почти не проигрываю, – вернее, проигрываю лишь для того, чтобы не вызывать к себе излишней злобы. Кроме того, "Граф Монте-Кристо", "Айвенго", "Лунный камень", фабульные подробности которых с детства застряли в моих мозгах, сделали меня Певцом во стане русских воинов. Здесь ценят искусство. К сожалению, не научился пить политуру, и это их раздражает. Говорят здесь посредством слов из матерного и сортирного наборов, а междометия служат для связи этих слов в осмысленные и весьма разнообразные фразы, которые кратко передают суть всего необходимого. Поразительно, как избыточен наш словарь! Великий и свободный русский язык, как мне здесь кажется, действительно непомерно, ненужно велик, и потому в своей большой части свободен – от использования. Но, как сказал Пребылов, не мне судить о русском языке.

Очевидно, завтра нас отправят на последний этап. Впереди Заполярье. Здесь еще долго будет зима.

Вчера приехали в Салехард. Вышли на маленькой станции после четырех суток дороги, во время которой пришлось больше, чем обычно, пострадать от махорочно-потной и уборной вони. В большую пургу повезли нас по льду реки Обь к Салехарду, который улегся точно на пунктире, обозначающем Северный полярный круг. Но это еще не конеч-

ный пункт. В дальнейшем я должен оказаться километрах в пятистах к северо-востоку, в тундре.

Лежу на деревянных нарах. Сейчас придет очень милая девочка четырнадцати лет. За свою короткую, но интересную жизнь она обокрала около двух десятков квартир. Мне она, кажется, симпатизирует, по крайней мере, мы всегда друг другу улыбаемся. Девочка приносит нам еду.

Сбежал на почту. Мне за это влетит, но не очень. Тут нравы патриархальные, ведь не убежать же в самом деле, это все понимают.

Около почты произошла только что неожиданная встреча! Помнишь ли ты, Леня, официантку Галочку из ресторана в гостинице Заалайска? Галочка утверждает, что ты ее, конечно, помнишь. Ее-то я и встретил сейчас. С кем-то она связалась – не то с матросом, не то с бичом, не то с уголовником, сосланным сюда, – в общем, Галочка не распространялась особенно о своей личной жизни. Зато стала спрашивать про Дануту. Когда я подтвердил, что эта история с браком была только фикцией, она очень обрадовалась. Я понял так, что был у Галочки с тобой роман, уж признавайся! Передает она тебе привет и поцелуй.

Письмо, наконец, отсылаю. Но пока не прибуду на место, нет смысла заканчивать просьбой: "Пиши..."

Никольский – Финкельмайеру.

Получил твою телеграмму. Итак, ты на месте. Полез в атлас, посмотрел, куда тебя кинули. Нашел реку Таз. Ничего себе! Отправил телеграфом денежный перевод на 50 р. Думаю, что большими кусками высылать не буду: у тебя могут спереть или сам раздашь. Когда будут кончаться – сразу телеграфируй, вышлю еще.

Адвокат уже начал войну. Нам с этим мужиком здорово повезло. Хваткий, как овчарка, и никого не боится. Он достался тебе в наследство от Леопольда, ты этого, кажется, не знаешь. Адвокат написал жалобу, которую должны рассмотреть в порядке надзора в суде следующей инстанции. Не выйдет – пойдет дело еще выше. Адвокат сумел взять за глотку издательство. Они дали справку: "Издательству известно, что Финкельмайер выполнял работу по переводу стихов Манакина на основе личного соглашения с ним". Что-то в этом роде. Кроме того, старик Мэтр, когда узнал обо всем, разъярился, поднял скандал, кричал на борова в его кабинете, в президиум союза писателей написал письмо, в котором поливает Манакина и превозносит тебя. Он же, то есть Мэтр, по наущению адвоката написал "Отзыв", который приложен к жалобе. Адвокат собрал какие-то старые твои квитанции, доверенности и расписки – все для того, чтобы подтвердить твою причастность к литературе. Но главное, адвокат рассчитывает доказать, что суд прошел с нарушением процессуальных норм и что материалы милиции, как и показания свидетелей, не дают основания применять к тебе Указ о тунеядцах. Что-то он говорит о нетрудовых доходах, которых не было, и о паразитическом существовании, которое тоже не было таковым. Что же касается избивений, пьянок и т.д. – то избивал Никольский, а пьяным был Пребылов. Ну и так далее... Короче говоря, адвокат считает, что шансы – половина на половину.

Данута несколько раз звонила по телефону. Она в Паланге, устроилась временно медсестрой. Кажется, не верит мне ни в чем. Просила твой адрес, но я же только вчера смог ей сообщить.

За окном бегут олени упряжки, медленно тащится трактор. Сегодня вьюга стала стихать, а то непрерывно мело. Жизнь на краю географии, как говорит мой здешний знакомый – адвентист. Он зовет меня жить с ним, у него есть место. Но пока я в общежитии. До этого обитал в вагончике, а теперь – в двухкомнатной избе. Стены комнат выбелены известкой. Живет тут нас 7 человек. Почему-то все мы сгрудились в первой комнате, вторая пустует. Посреди обиталища нашего – столб, к нему приперт колченогий стол, заваленный грязной посудой. Рядом печка, на ней, вокруг нее, на веревках – штаны, сапоги, телогрейки, носки и постиранное исподнее. От всего идет мутный дух, но он послабже махорки и одеколona. В углу окурки, консервные банки, пустые флаконы. Одеколон здесь предмет первой необходимости, пьют его ящиками. Все ждут, когда уйдет лед: тогда, говорят, придут лихтера со спиртом и водкой, тогда тут начнется веселая жизнь. Но и сейчас народ не скучает. Есть тут клуб, и в нем вечером крутят пластинки; есть избы, где бабы отдаются за водку; есть блатные песни, их поют с рычанием; постоянно режутся в карты; ежедневно смертные драки. Словом, налажен особенный быт. Я в него могу вписаться только боком. Например, блатные песни. Не поверишь, я сочинил одну, потом другую – теперь во мне души не чают. Я стал идти у них за святого, только что не молятся на меня. Раньше звали меня "Эй, ханурик!" или "Эй, доходяга!", а сейчас уважительно: "Зяма". Почему еврей это именно Зяма? А не тот же Арон или Хаим? Тут есть глубинная связь с языком.

Сегодня ханыги из нашей бригады ходили в чум к нанайцам и принесли мне огромную рыбину. Я хотел заплатить,

но меня обматерили. Я растрогался до слез. Надо будет сочинить еще одну песню.

Никольский – Финкельмайеру.

Только сейчас получил письмо, посланное из Салехарда. Шло ровно месяц! Предлагаю договориться: надо писать друг другу, не дожидаясь ответов, иначе будут двухмесячные перерывы.

Здесь пока без перемен. Адвокат говорит, что ждать результатов рано: пока истребуют дело, пока его изучат и прочая, прочая, должно пройти время. Перемены есть у меня: увольняюсь с работы. К счастью, по собственному желанию, хотя увольнение висело надо мной с того дня, как начальство узнало, что мной интересуется следователь. Но в общем-то, виноват я сам. Бабы меня погубят! Несколько лет назад была у меня любовница – секретарша нашего шефа. Любовница она очень способная, чего не скажешь о ней как о секретарше. Когда она вышла замуж, наши радости прекратились. Но недавно она решила вспомнить былое, – да как! На нее накатило среди рабочего дня, она меня просто-напросто вызвала по внутреннему телефону. Шефа не было, но диван в его кабинете был. Далее произошла паскудная сценка: снаружи дергали за дверь, и смыться незамеченным мне не удалось. Убежден теперь, что если ситуация и не была подстроена в деталях, то моя милашка во всем этом сыграла тщательно продуманную роль. Она мне сама предложила, чтобы я уволился. Бедняжка, видишь ли, не может меня забыть и, простите, всегда меня хочет. Когда я уволюсь, она будет ко мне приезжать, даже ночевать иногда, так как ее

муж бывает в разъездах. Она все расписала по нотам! Я эту сучку послал подальше и написал заявление об уходе. Шеф просиял, трусливая сволочь! Баба искренне рыдала. Боюсь, что припрется как-нибудь на ночь глядя.

У нас уже вовсю весна. Не представляю, что там у тебя – все еще ночь или она окончилась? К какому общественно-полезному труду тебя привлекли? Вопросов мог бы задать очень много, но надеюсь вскоре получить от тебя письмо с места.

Никольский – Финкельмайеру.

Три дня назад отправил тебе письмо. Сейчас на почте пишу коротенькую записку – сообщить, что высылаю тебе заказной бандеролью большой конверт. В конверте – рукопись Леопольда. Насколько можно понять, он занимался ею в Паланге. Ее, вероятно, можно считать законченной, хотя рукопись лежала на его столе раскрытая на последней странице, сверху осталась авторучка. Написано все очень аккуратно, с немногими поправками, так что Вера легко смогла все перепечатать. Я подумал, что следует послать экземпляр тебе, – даже с риском, что пропадет. Напиши, благополучно ли бандероль дошла.

ИСКУССТВО БЕЗ ФИКСАЦИИ

Первоначально мне хотелось избрать для заголовка своих заметок другое название. Например, – ”ПЕРЕД ТЕМ, КАК УМОЛКНУТЬ” или даже ”СЛОВА МОЛЧАЩЕГО”. И то и другое показалось мне претенциозным. ”ИСКУССТВО БЕЗ ФИКСАЦИИ” прямо выражает мысль, которую намерен я обсудить на страницах заметок; тогда как отвергнутые названия говорили обо мне самом, о причинах, побудивших меня обратиться к этим записям, и лишь намеком – об их содержании.

Все же есть необходимость предварить эту рукопись кратким объяснением причин, почему я принимаюсь за то, чего всю жизнь избегал. В течение последних лет мною читаны циклы лекций по истории искусства. Аудитория оказывалась самой различной, чаще всего меня слушала молодежь. Я никогда не записывал своих лекций заранее. Со временем это стало моим принципом. Я высоко ценю мысль ”неизреченную”. И если ”изреченная – есть ложь”, то записанная прежде, чем она сказана вслух, – есть ложь вдвойне.

Сравнительно недавно я узнал, что изреченное мною записано. Я уступил просьбам В. и, слушая старые записи, стал комментировать их, стремясь, чтобы, может, разрушить стройное здание лжи. Но преуспел лишь в том, что вокруг прежнего громоздил и громоздил новейшие постройки – не менее лживые. Я мог бы начать сызнова, выстроить новый цикл, но и он бы заключил меня собою в пределы уж которого по счету круга! Я решил разомкнуть кольцо. Для этого избираю способ, который сам же я отрицаю: принимаюсь

писать заключение, которое перечеркнет не только все, записанное ранее в том, чему В. дала название "Жизнь искусства", но и, по основному существу, отвергнет то, что в нем, в заключении, будет зафиксировано. Тогда разрушится все. После чего мне останется умолкнуть, и моя рукопись станет словами молчащего.

То, что я собираюсь изложить, не вчера родилось. И не у меня родилось. Я только записываю. Я не сделал бы этого, если бы, повторяю, В. не сохранила мои лекции. Я не сделал бы этого, если бы А.Ф. — поэт, столь близкий мне по духу, не обсуждал бы со мной в течение многих лет эту излюбленную нами обоими тему. Более того: А.Ф. сам по себе — его личность, его творчество, его жизнь — красноречивее всех слов, которые мне предстоит сказать.

1.

Сосны зимней Паланги стоят за моим окном. Я иду под их стволами, ступаю по дюнам, и море открывается передо мной.

Вот оно море, которое созидает, чтобы расплескивать содеянное.

Но я не иду к морю. Лист белой бумаги лежит передо мной. Чего я жду от него?

Бог два дня творил море. Но человеком он занимался недолго. С человеком он позабавился, как ребенок. Когда творят что-то дети — лепечут, рисуют, поют — они забавляются мигом творения. Но миг пролетел — и лепет умолк, песенка забыта, скомкана глина, рисунок разорван — исчезло недолговечное и прекрасное, как детская улыбка. Ребенок забывает дело рук своих.

Бог создал человека и в тот же миг забыл о деле рук своих.

Прекрасны сосны, и дюны, и море в зимней Паланге. Они

говорят мне о том, что витает улыбкою радости между рождением и смертью любого из нас — мужчины и женщины, и сосны, двоящейся близко у общего корня, и набегов холодной воды на песчаные дюны. Так все возникает, чтобы исчезнуть.

Прекрасная импровизация — жизнь! Сама же и создает себя. Не любитесь делом рук своих, и приятно ей, отбрасывая бывшее, сущее любить, не ведая, что вылепится в грядущем.

Потому-то, когда, как в мгновенье любви, входит в нас и из нас исторгается жизнь, мы подвластны ее вдохновенной игре и не помним о прошлом и не мыслим о будущем.

О, самозабвенность искусства!

Прекрасно в искусстве все, на чем нет мертвой заботы запечатлеть себя.

Ребенок плачет — и забывает о чем плачет. Смеется — и забывает о чем смеется. И потому легко плачет, и потому его смех заливиственный и беспечный.

О, детство искусства!

Прекрасно в искусстве все, что не осознало себя.

Любовники знают, что страстное чувство бежит огласки. Шепотом и наедине твердят они свое глупое "люблю, люблю!" — они лелеют в себе опасение, что чужие взгляды и слова убьют их чувство. Покров тайны нужен любви, как покров темноты.

О, тайная связь меж творцом и его шедевром!

Прекрасно в искусстве все, что не ищет огласки.

2.

Но все это смешно и наивно. И все здесь поставлено с ног на голову, потому что смешаны понятия "творчество" и "искусство".

Творчество преследует самое себя, и в этом оно – проявление изменчивой жизни. Цель творчества – быть, существовать, находить переживания в акте творения.

Искусство преследует не себя, а свой результат, как нечто застывшее, запечатленное. Цель искусства – запечатлеть, передать и вызвать переживание после того, как произведение создано. И потому вот ответ на сакраментальный вопрос, что такое искусство: КОНСЕРВАЦИЯ ПЕРЕЖИВАНИЙ.

Что может быть отвратительней?! А между тем, я никак не могу подыскать сему определению какой-то альтернативы, как бы ни хотелось мне того...

Живое ПЕРЕЖИВАНИЕ лежит в основе искусства; но и мертвое КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ? – лежит здесь же. Однако же, именно задача *фиксации* переживаний – выступает той главной задачей, которую искусство решает. В самом деле: меняется все, и чувства быстрее всего; но те же радости и муки испытываем мы, что и тысячелетие назад. Меняется все, и искусство быстрее многого; но радости и муки у нынешнего художника вовсе не те, что были когда-то: ему надо не повторять уже сказанное, ему надо быть изощреннее, ему надо выразить "свое" – и так далее. Безумен тот, кому мешает жить знание того, что он повторяет собою многих и многих. Но мы посмеемся над художником, который представит нам нечто, похожее на искусство других.

И вот все, что учит искусству – все эти академии живописи и музыки, литературы и театра – все учит технике фиксации. А пройдя искус, художник бьется над тем, чтобы преодолеть влияние школы и найти еще не найденное. Правда, рядом с ним – его коллега. Тот не бьется. При помощи школы – техники, мастерства, системы – он умеет легко фиксировать и без переживаний – с холодной душой имитировать их, как опытная любовница умеет имитировать любовь.

Прекрасно в искусстве уметь!

И постыдно быть дилетантом!

Постыдно предаваться творческому акту, не получив на то патента!

Любить и жалеть — как это мало для искусства!

Прекрасно то в искусстве, что профессионально!

3.

Все выглядит сегодня так, будто искусство в своем тщеславном "остановись, мгновенье!" старается превзойти и обмануть природу. Но природа мстит. Чем изощреннее обман, тем коварнее месть. Искусство все глубже заманивается в тупик. Оно давно уже чувствует, что дело неладно. Природа смеется, жизнь торжествует, а искусство задыхается.

Как это случилось?

Мне придется здесь крайне сжато дать то, что вкрапывалось в мои лекции в качестве комментария, отступления, введения или заключения к рассказу об эпохе, стиле, об отдельной школе, и о конкретном мастере.

Когда человек открыл, что для эмоций существует простейший выход в творчестве, он открыл искусство. Это было наивным, очаровательным и гармоничным началом! Само переживание, его выражение в творчестве и акт наслаждения им были неразделимы, подобно Божественной Троице! И никто не заботился о возможном зрителе и не было оглядки на творчество соседа или предка!

Но плод с прекрасного Древа Искусства сорван, и змей уже торжествует мрачно. Едва появляется первый зритель и слушатель, как творчество уже берет его в свой расчет. Начинается развитие особых, устойчивых знаков — условностей для того, чтобы творчество первого было "прочитано" кем-то вторым, то есть чтобы эмоции творца были через его

искусство переданы потребителю. Наслаждение результатами творчества начинает отделяться от творца. Забота об условиях – знаках передачи – рождает новое качество техники и к первоначальной проблеме творчества ЧТО добавляется пресловутая проблема КАК. А потребителю нужно все больше искусства; а художник уже не живет без зрителя; и основное качество – острое переживание творческого процесса – все более сдает свои позиции, поскольку профессионализация растет, живое творчество уже в оковах в виде школ, течений, технологий. И поскольку открыто, что произведение искусства обладает удивительным свойством хранить эфемерное – чувство, разум и дух – возрастает забота о вечном и правильном их закреплении. Наитие, порыв, случайность, непреднамеренность отступают еще и еще. Отступают и под натиском внешних сил: искусству дается просветительная и культурная миссия, художественное творчество отдельного лица эксплуатируется в интересах общества. Между тем идет дальнейшая формализация искусства, когда самоцелью становится не непосредственно переживания, а их наиболее удачная фиксация и передача и когда – о, где оно, доброе старое время! – уже сама форма становится стимулом переживаний художника. Вокруг искусства справляется предполуночный шабаш: результаты личного, неповторимого творчества размножают посредством копирования – личные эмоции художника отчуждены от бесконтрольных или специально направленных эмоций миллионов потребителей; растет накопление массы искусства и насыщение им, возрастает жестокая конкуренция произведений, которым в общей толкучке так необходимо пробивать дорогу к потребителю. Но зачем? Почему не хотят оставаться в неизвестности?

Явившийся посреди семи светильников сказал Иоанну Богослову: "Итак напиши, что́ ты видел, и что́ есть, и что́ будет после сего".

Нарисованное выше -- "что́ видел, что́ есть" -- уже всем хорошо известная картинка Апокалипсиса от искусства.

Что́ будет после сего?

Негоже пророчествовать тому, кто не Боговдохновенный. Не похожий ничем на пророка, я, однако, собираюсь изложить здесь соображения о том, что будет с искусством после сего.

Природа не так глупа, чтобы дать обмануть себя окончательно. К тому же, коль скоро искусство присуще чадам ее, она сделает исподволь так, что заблудшие вновь повернут к равновесию, к гармонии, к естественному. Просвистев бичом над отбившимися, она рано или поздно вновь собирает свою паству и гонит, куда этого она, природа, хочет.

Отбившиеся уже поворачивают на ее естественную дорожку. Вероятно, что-то случилось с людьми. Говорят, виновата бомба, но сейчас много меньше стремятся себя воплотить в чем-то материальном. Сейчас ценят жизнь, просто жизнь, и, следовательно, стали теперь понимать, что цель и высший смысл ее -- *переживание* во всем его богатстве, будь оно в любви ли, в работе ли, в созерцании. Слабеют суетные стремления людей "создать", "увеличить", "накопить", "превзойти" и "достичь", какой бы сферы жизни это ни касалось. Слабеет желание в нечто материальное вкладывать и воплощать свою душу и этим суррогатом удовлетворять свою жажду бессмертия.

Люди меньше заботятся о мертвом бессмертии своих машин и своих полотен, вбитых в музейные рамы, больше -- о быстротекущем благе данной нам минуты.

Для судеб искусства такое мироощущение должно иметь далеко идущие последствия.

Обратившись лицом к природе и жизни, мог бы человек и отбросить искусство, как нечто двойственное в своей основе, где живое переживание соседствует с мертвой его зафиксированностью. Но мы, люди, никогда не сможем избавиться от двойственности в нас самих, и искусство — отражение этого нашего качества. И если искусство останется жить, то лишь в первоначальном, гармоничном проявлении — только как переживание в творчестве, для творчества, с творцом и для творца, с художником и его моделью, в миг творения и ради него. Возникающее как переживание художника и исчезающее, когда это переживание исчезнет, освобожденное от расчета на постороннего, — вот искусство, которое без оговорок можно назвать тем истинным самовыражением, к которому стремится творческая натура. Оно не будет искусством для искусства, как нет любви ради любви: есть любовь, как свойство живого, как есть переживание и ничего больше.

Прекрасно искусство интимное!

Склонные к творчеству начинают понимать, что искусство, оставаясь интимным, остается чистым и дает истинное наслаждение. Появляются те, кто сознательно хотят оставаться в безвестности. Их зовут снисходительно дилетантами и любителями. Но они с оправданным презрением смотрят на профессионалов, как на сутенеров, живущих за счет объекта своей интимной связи.

А сами профессионалы? Они находят выход: берут деньги за разрисовку рекламных щитов; а ради творчества — пишут то, к чему лежит их душа.

Искусство, которое не заботится о фиксации или, как сказано, не ставящее своей целью консервацию переживаний, легко представить себе, когда речь идет, положим, о музыке. Музыкант-импровизатор творит в минуту вдохно-

вения, его импровизация в самом процессе звучания рождается и умирает одновременно. До сих пор успешно противится всякой фиксации танец. Пластические искусства, казалось бы, фиксационны по своей изначальной структуре. Однако это не так. Изначально рисунок лишь выражал и отнюдь не фиксировал, а когда ловил и останавливал в себе быстротекущее, то это получалось без преднамеренной задачи уловить и запечатлеть. Достаточно указать на петроглифы и на рисунки детей, чтобы это стало явственным.

Но можно указать и на другое.

На тонком висячем мостике, низко перекинутом через тихое озеро, стоит человек. Склонившись к воде, сыплет он на гладь ее легкие песчинки. Каждая из них окрашена в синее, зеленое, коричневое, розовое, золотое, белое. На воде возникает Фудзи. Облачко плывет над нею. Вишня цветет у подножья горы.

Едва заметно движется вода. Едва ощутимо движется воздух. И непрестанно меняется этот пейзаж. И то, что было в нем, — того уж нет, и новое является и исчезает, и все исчезает совсем.

Прекрасно искусство, которое не сберегает себя!

Милый юноша Т., который сделал уже свыше тысячи набросков двух обнаженных фигур, — почему-то он называет все это "Балет" — мудрее многих и многих из тех маститых живописцев, с которыми я был знаком в разное время. Он, этот юноша, приходит к чистому листу, а насладившись линией и цветом, уходит и дважды не идет в одну и ту же воду. Что ему до своих листов? Его волнует только тот из них, который хочет вот-вот появиться.

Особо следует остановиться на искусствах словесных. Тут все подчинено фиксации. Если краска, движение, звук — те элементы, из которых строятся, положим, живопись, танец, музыка, — сами по себе еще ничего не фиксируют, то элемент поэзии — слово — есть не что иное, как именно

фиксация – смысла, хотя бы. Но и существо изначальной поэзии – импровизация. Мой друг А.Ф. находит в ней избавление и выход из тупика, в который зашла поэзия вообще и в который он постоянно боялся попасть сам. Он, А.Ф. – ссылаюсь на него, так как он многое мне говорил об искусстве слова и сам превзошел в нем едва ли не грань невозможного, – А.Ф. утверждает, и я часто это чувствовал сам, что ему удастся придать словам зыбкость, лишить их фиксированных значений, придать словам текучесть, а тексту подвижность. Интонация, темп, динамика громкости (не обязательно при чтении вслух, но и при артикуляционном внутреннем чтении) могут быть переменны – в зависимости от настроения читающего. Он пропускает отдельные слова, оставляет незаполненные места даже для целых фраз – смысл их дополняется при чтении, и могут при этом рождаться разные варианты. Паузы имеют значение – длительность их и напряженность, – при том, что именно слова могут оставаться пустыми, – кому не знакома эта незначащая речь, когда в наплыве чувств слова исчезают? В идеале своем поэзия жаждет отсутствия слова. Музыка – тишины. Живопись – белого листа. И я подхожу к пределу, где должен умолкнуть.

Прекрасно в искусстве то, что ведет к его исчезновению. Мы в каждый миг стремимся к собственной смерти – разве это не придает вкуса жизни? Жизнеспособно лишь искусство живое – искусство без фиксации, искусство, призванное к умиранию.

Десятки лет я собирал картины. Я спасал то, чему отказываю теперь в праве на существование. Я не жалею о содеян-

ном — я следовал самому себе, одной стороне своей двойственной человеческой натуры. Но еще менее жалею о несовершенном: я не хотел быть рабом искусства такого, каким оно было и какое оно еще есть.

Смогут ли отказаться от такого искусства?

Я не смог. И многие еще не смогут. Все мы подобны тем, кто ищет и не находит душевного покоя, общаясь через громкую молитву с Богом, который видится им где-то вне их. И вот говорят им:

— Откажитесь от молитвы, обращенной к такому Богу, его нет. Есть другой, но Он внутри вас. Лишь молчаливое общение с этим Богом, который есть ваш собственный дух, дает истинное умиротворение.

Если так скажут молящимся, не легко им будет понять смысл этих слов; но будет еще труднее отказаться от тех молитв, к которым они привыкли.

Но кто-то сможет. Дорогой мой А.Ф. достиг этого. И потом еще многие другие смогут. А позже будут удивляться тому, что когда-то молились иначе.

А я умолкаю.

Финкельмайер — Никольскому.

Получил, наконец, от тебя письмо. Еще раньше — деньги. Спасибо! Очень пригодились. Приобрел на них кое-что из одежды — а то очень замерзал на работе. Но теперь тепло одет, здешняя весна идет к концу, я понемногу перестаю кашлять. В будущем постараюсь обходиться заработанным. Это те же, примерно, 50 рублей в месяц. Работа, которую я делал до последнего времени, большего не стоила: таскал ящики, ломом долбил мерзлоту, выламывал из-под льда кирпичи. Были сильные морозы. Говорят, что здесь не хватает тридцати процентов кислорода, от этого долго не проходит кашель и якобы от этого же ссадины на руках

не заживают и гноятся неделями. Теперь, кажется, у меня изменилось к лучшему: знакомый адвентист устроил мне работу на пристани сторожем. Это значит, что ночью я сижу на пристани, а днем сплю, это очень удобно, так как меньше общаюсь с компанией по общежитию. Адвентист все зовет меня к себе, но я боюсь его религиозных бесед. Он видит во мне представителя Богом избранного народа и поэтому, в силу каких-то непонятных мне адвентистских убеждений, считает своим долгом заботиться обо мне. Это очень трогательно. Но он, простая душа, недоумевает, отчего это его особенное внимание к моей персоне меня тяготит. Я, к сожалению, не всегда способен это скрыть. Но все это – личное. Благодаря труду я свою натуру, которая, по существу, есть натура паразитическая, антиобщественная, должен перевоспитать и думать не о личном, а об общественном в первую очередь. Пока мне это плохо удастся. Но я стараюсь. Например, мне было поручено прибить на пристани большой лист с перечислением сообразительств трудящихся района на этот год. Я эту бумагу внимательно изучил. На ней нарисована оленья упряжка на фоне полярного сияния; в другом месте – охотник в кухлянке бежит на лыжах, а перед ним собачонка. Собак здесь, кстати, очень много, они по ночам целой стаей приходят ко мне на пристань, ложатся около и греют мои ноги. Но тебя интересуют сообразительства. В целом план этого года по различным отраслям народного хозяйства мы выполним к 25 декабря. Общее поголовье оленей мы доведем до 50 тысяч голов и добьемся резкого снижения яловости маточного поголовья, причем от 100 важенок получим не менее, чем по 74 теленка! Что касается голубых песцов, то каждая самка берет обязательство дать деловой выход в пять и пять десятых щенка! Согласись, что это немало. Общепит широко внедрит передовые методы торговли и обеспечит бесперебойное снабжение трудящихся. А мы, передовые труженики речного флота, навигационный

план выполним еще к 25 сентября и усилим работу по рационализации и изобретательству. Но особые успехи ждут нас в области здравоохранения и культуры: красные чумы будут полностью укомплектованы медицинскими работниками, учителя повысят свое педагогическое мастерство, а грамотность в течение года повысится на один класс не менее чем у ста малограмотных.

Эти сияющие перспективы, как ты понимаешь, заслоняют собой всякую мысль о возможном пересмотре моего дела. И если я нужен здесь, где грядет такой подъем и где так хорошо прикорнуть на пристани ночью, — значит, я останусь здесь, сколько это будет необходимо обществу, чтобы выполнить соцобязательства.

Словом, я начинаю вживаться. Я начинаю уважать себя. Никогда я не был так близок к тому, чтобы стать как все. Разве не это самая прекрасная миссия на земле — быть как все и не стремиться быть иным?

Адвоката, пожалуйста, поблагодари. Пусть он не огорчается, если ему ничего не удастся.

И еще, Леня, просьба: поговори с Фридой. Я напишу ей письмо, но боюсь, что оно не будет убедительным. Я не умею объяснить ей самых простых вещей. Может быть, она надеется на мое скорое возвращение. Скажи ей, что я твердо решил: нам не следует быть вместе. Я уверен, что дочка она вырастит, я преклоняюсь перед ее жизненной стойкостью. Я уверен также, что моему отцу там, рядом с ними, всегда будет лучше, чем где-то еще, — да и где еще он смог бы жить? Но мне там не место. Я вовсе не желаю смотреть вперед: я не вижу для себя впереди ничего, кроме темноты. Но пусть Фрида не смотрит назад и не пытается оттуда, из неудачного прошлого, перекидывать какие-то мосты в будущее, которого не будет, — по крайней мере у нас с ней. Объясни ей это более понятно, ты сумеешь. И прости, что надоедаю. Теперь, к лету, письма должны идти быстрее.

Данута – Финкельмайеру.

Много случилось от времени, когда уехала из Москвы. Правильное слово по-русски тоска. Так я чувствую все дни. Радовалась, что не одинокая приехала в Литву, а с хорошими друзьями. Но случилось, что Леопольд Михайлович умер здесь, а ты теперь на севере. Нехорошо будет мне жить здесь, когда тебе быть на севере четыре года. Могу приехать туда. Я много там умею. Тебе трудно, а я ничего. Я все знаю, чтобы можно было жить на севере. Поэтому не надо беспокоиться, что не смогу. Тебе не буду мешать, если боишься. Только помогать.

Сказала обещание Леониду Павловичу не ехать к тебе, что буду ждать пересмотра дела по жалобе. Значит пройдет лето. Но летом трудно меньше. Конечно, много мошки. Знаю хорошо, что ты хочешь быть один. Так. Я приеду, а ты будешь один, как захочешь. На севере совсем одному нельзя. А свой срок отбудешь, я уеду опять в Литву. Я никогда не буду тебе мешать.

Финкельмайер – Никольскому.

Читал рукопись Леопольда и плакал, как дитя. Только теперь я почувствовал и поверил, что у меня его больше нет. До сих пор оставалось ощущение, что меня обманывают. Ведь меня все время обманывали и не говорили о его смерти. Я привык думать об этом как об одном большом обмане. Может быть, обман все еще продолжается, и мне еще предстоит узнать правду, и она окажется совсем иной. Может быть, Леопольд жив, а его только приговорили к заключению или сослали, как меня? Я ловил себя на том, что прислушиваюсь к рассказам недавних эзков, – вдруг кто-ни-

будь упомянет его имя? Но теперь во мне пусто. И пусто вокруг. Пока я читал, со мной происходило что-то необъяснимое. И это продолжается и теперь. Как будто это процесс, обратный процессу проявления фотографии: все вокруг меня медленно бледнеет и бледнеет, исчезает, растворяется в пустоте.

Наверно, это началось у меня раньше. Сразу после болезни я заметил, что смотрю на окружающее не так, как обычно. Мое сознание всегда было чем-то вроде беспрерывно вертящейся мясорубки: все, что попадало внутрь, перемалывалось, чтобы в виде словесного, стихотворного фарша выйти наружу. Теперь ничто не затрагивает меня. Я спокоен. И слова больше не управляют мною. Я пишу тебе письмо, и это дается мне с усилием. Последнее, что я "сочинил" – это несколько блатных песен. Но они – откровенная версификация по заданным образцам. А ведь я был уверен, готов был, ждал, что вот-вот начну третью часть драматических сцен. Но не будет, не будет уже ничего! – больше не хочу ничего.

Я теперь понял. Я всегда лгал. Я предавался пороку. "Писать и писать, только была бы возможность писать!" – и это безумие сделал я своей целью?! А ведь все началось, когда я стал печататься. Никогда себе не прощу, что ступил однажды на эту липкую, осклизлую дорожку.

Жизнь наказала меня справедливо. Слава Богу, теперь покончено с тем ужасом, в котором я жил. Я стал обыкновенным человеком, как все. Впервые со времен юности я стал чувствовать легкость внутри. А когда прочитал рукопись Леопольда и заплакал, наступило облегчение полное, и верю, что окончательное.

Днем и ночью шепчу и шепчу ему, умершему: "Благодарю, благодарю, благодарю".

Прости, что больше ни о чем другом не могу писать.

У нас лето. Ненцы отогнали оленей в тундру. Но как только выпадет первый снег, они вернуться.

Никольский – Финкельмайеру. Телеграмма.

*ПОЗДРАВЛЯЮ ПОБЕДОЙ РЕШЕНИЕ СУДА ОТМЕНЕНО
ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ ЖДИ
СПОКОЙНО ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ – НИКОЛЬСКИЙ.*

Никольский – Финкельмайеру.

Костры пылают, гремят барабаны, мы пляшем на костях врагов! Не знаю, как ты, а я, когда встретимся, уплюсь до чертиков. Сказать по правде, я и сейчас почти не просыхаю, слишком много событий. О своих делах распространяться не буду: я уволился, недельки две поваландался без дела, потом поступил в одну шарагу, из которой, наверно, тоже уйду, так как платят мало, а работенка дрянь.

Тебе передает привет Михаил Леопольдович. Ты с ним еще не знаком, как и он с тобой, но скоро вы, конечно, познакомитесь. Это сын Леопольда Михайловича и Веры. Мальчишке еще нет и месяца от роду. Вера сияет тихим счастьем. От нее не отходит ее подружка Женя, командует, будто заведует роддомом. Среди толстушек много дурочек, но и добрых тоже много. Как по-твоему?

Теперь о твоём деле. Судя по всему, адвокат достоин славы Кутузова. Свою победу он готовил исподволь. Когда его на процессе имели, как хотели, он, оказывается, закладывал фундамент будущего доблестного контрнаступления. "Отступить, чтобы победить!" Тут пришлось бы долго излагать все тонкости. Но я тебе писал, что он в своей жалобе перечислил кучу незаконных действий и нарушений процессуальных норм. То есть он избрал тактику "чем хуже, тем лучше", это был точный расчет. Кроме того, он все-таки не постеснялся тряхнуть Мэтра. Старик вспомнил молодость, он, как сам сказал с гордостью, был когда-то большим скандалистом. В писательском союзе разразился скандал. Заме-

шали всех: и борова, и Пребылова, и Манакина, и издательство. Дьявольский план адвоката заключался в том, чтобы во всю эту петрушку с надзором и проверкой твоего дела замешать солидные организации и титулованных людей. Тогда, мол, они сами начнут бить отбой. Так оно и вышло! Все свалили на Манакина. Издательство не без помощи нашего адвоката обнаружило, что на Манакина не распространяется авторское право, так как (цитирую) "созданные им произведения не были предоставлены издательству в какой-либо объективной, зафиксированной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности этого автора". Руководство союза потребовало, чтобы Манакин представил свои рукописи на тонгорском языке, он ничего не отвечал. Тогда из Москвы позвонили в его райком, где он заведует своей тонгорской культурой, и стали выяснять, кто он есть и откуда он взялся, этот их Манакин. Что уж там в ответ мычали, не знаю, но продолжение было уморительное, и сейчас я тебе опишу это в лицах. А главное, что машинка завертелась в обратную сторону, и, видимо, для всех было к лучшему дело твое похерить. Что благополучно и произошло. Уж как мы тут все ликуем, можешь представить! Ты въедешь в столицу на белом коне, топча копытами поверженного дракона.

Представь себе сейчас в воображении мою комнату. Время идет часам к девяти вечера, я только что поужинал и в одиночестве отметил (уже вторично) торжество справедливости. На столе у меня еще недопитая Столичная, банка маринованных грибочков (тетушка меня не забывает), всякий другой закусон – то да се, в общем, сам понимаешь. Как говорят китайцы, – сизу, пью чай. Звонит звонок. Иду открывать. На пороге – Манакин собственной персоной! Ах, говорю, неожиданный гость, как я рад, заходите, как раз водочка у меня, садитесь! Что ж ты думаешь? Узнал через справочную мой адрес и заявился. Сел. Я к нему под-

хожу, в стакан лью, жду, когда остановит. Ан нет, почти полный налил ему, себе только чуток оставил, чтобы чокнуться. И он, гад, не возражал! Сидит и все оглядывается по сторонам. Потом я понял, в чем дело: по его понятиям большой начальник, каким я ему всегда представлялся, не так должен жить. Во-первых, не в однокомнатной квартире, а, во-вторых, не в таком свинюшнике, какой я у себя развел за последнее время. Ну да черт с этим, неважно. Сидим, значит, едим – Манакин голодный пришел. Жрет, как собака, заглатывает колбасу, не прожевывает, мне его даже стало жалко, он и с лица как будто чуток спал. Поел он и начал рассказывать про свои несчастья. Говорит, говорит, говорит, – не то жалуется на кого-то, не то просто душу изливает. Рассказывал он мне, как Пребылов его обманул: опубликовал стихи один раз, и другой, – ”совсем панътеизъм не делал, трудовые будни тогнор тема”, – а деньги Манакину шиш с маслом дал! ”Арон Мендельч панътеизъм делал, деньги я получал однако. Пребылов современная жизнь делает, деньги не дает”. Ну, я хохочу, Манакин обижается. Но это все присказка. А сказка та, что начались все эти письма, звонки, телеграммы в связи с надзорным расследованием. Манакин, у себя в райкоме сидя, и так пытается объясниться, и эдак, – но начальство уже напугалось: Москва недовольна Манакиным! Как оно бывает? Вознесла Москва человека, она же его и сбросила. Там, на местах, быстро чуют, когда подфартит человеку, а когда перестанет. И Манакина, не дожидаясь никаких решений сверху, хлоп! Освободить от должности! А потом: за развал культработы по району – раз; за аморальное поведение, которое выразилось в систематическом пьянстве – два; за обман руководства и нечистоплотность, связанную с литературной деятельностью – три! – за все за эти грехи исключить Манакина из партии! И тут же его из писателей исключили. Кинулся Манакин в Москву жаловаться – все обошел, но нигде ему нету

поддержки. И ты знаешь? Рассказал мне все это Манакин и заплакал! Слезы размазывает и подвывает тихим тоненьким голосочком, черт знает что! Был у меня коньяк в неприкосновенности – хранил для особенных случаев, – пришлось открыть и отпаивать тонгора. Съел он милого армянского три звездочки всю бутылку разом! Малость успокоился и говорит: "Посодействуйте, товались Никоски?" А я говорю, в чем же я могу теперь посодействовать? "Вы, говорит, товались Никоски, не велели мне из писателей выходить, помните?" Ну, говорю, помню, и что же из этого? "Вы, говорит, велели, чтобы книгу с Арон Мендельчем написал. Я теперь, говорит Манакин, писатель быть не могу. Я заведующий культуры быть не могу. Я теперь уже опять назад охотник быть не могу – глаз плохой, рука пальцы дрожит, толстый жиром стал, ходить много плохо". Ну, говорю я ему, кто ж вам виноват? Это я вас в писатели назначал? Нет. И не я вас завкультурой назначал. И вдруг Манакин – мама моя! – такую матерщину понес, что у меня челюсть отвисла! А среди этого невозможного косноязычного мата слышу "Арон Мендельч, Арон Мендельч!" То есть это он тебя поносит! Так сказать, первопричину его нынешних несчастий!

Тут я не выдержал. Ах ты, блядь, говорю, сука! Ах ты!.. И так далее и тому подобное... Он смотрит на меня, как кролик, а я ему выдаю все как есть: что это из-за него, болвана, загремел Арон Мендельч в ссылку; что это он, подлец, дундук-дураком, жил, как царек, за спиной Арон Мендельча; что ты, значит, Арон, мне ближайший друг, и если он, Манакин, еще слово против тебя скажет, то я ему в морду дам; чтоб убирался к этой самой матери из моей квартиры! И чтоб начисто позабыл свое "посодействуйте", потому как этот "товались Никоски", который сейчас перед охламонской рожей Манакина сидит, никакой не начальник из министерства, а обыкновенный работяга,

каких в Москве в каждой вонючей конторе как блох недавленных!

Ох, видел бы ты его физиономию! Не знаю, все ли до него дошло. Шляпу и плащ надевал он, как лунатик. Я вызвал лифт, впихнул в него Манакина, и он там, в кабине, торчал, как истукан, пока я ему раз пять не прокричал, чтобы нажал кнопку. Потом провалился Манакин вниз, а я пошел допивать остатки коньяка.

Теперь еще об одном свидании. Я побывал у Фриды. Как только узнал, что приговор отменен, поехал к ней в Кузьминки и сообщил эту новость. Но и мне она, когда выплакалась, тоже кое-какие новости сообщила. Не знаю, как ты все воприемешь, но, по-моему, должен обрадоваться. Фрида со мной поделилась, но была не уверена, надо ли тебе писать об этом сейчас и, вообще, надо ли тебе знать об этом до поры до времени. Я думаю, что надо. Для общей, так сказать, пользы.

Ты мне рассказывал про Фридиного земляка и товарища по детдому, которого зовут Нонка Майзелис. Фрида сказала, что они оба никогда не теряли друг друга из виду, что ты об их переписке знаешь, она всегда писала ему приветы от тебя. После суда Фрида поделилась с ним случившимся, и он, оказывается, узнав, что она с детьми осталась тут одна, сразу же приехал в Москву. Он – инженер, прокладывает сейчас газопровод где-то в Белоруссии, то есть близко к родным местам. Он думал, что Фрида без денег, бедствует и т.д. В общем, приехал в качестве скорой помощи. Фрида ему сказала, что пока есть остатки твоих денег, но он все же всучил ей несколько кусков. И очень хорошо.

Потом он приезжал еще несколько раз. Благо, недалеко. Может быть, остальное тебе и так понятно? Какая-то детская любовь у них была в далекие времена, это ясно. Сам Нонка не был женат, и вроде бы (если не врет) признался Фриде, что всегда помнил ее. Далее, как мы с тобой можем дога-

даться, откровенность за откровенность, и Фрида призналась ему, что у вас счастливого брака не вышло. Как раз тогда Фрида получила твое письмо, в котором ты именно это и пытался ей втолковать, – что в будущем тебе и ей лучше не жить вместе. Я у нее был тогда же, и мы с ней все это весьма чувствительно, опять же со слезами, обсуждали. Короче говоря, эта пара благородно решила, что нельзя чело- века оставлять в беде совсем одного, что они будут держаться на расстоянии, пока ты не вернешься. А вот когда ты оклемаешься и встанешь на ноги, тогда-то они и... Но ты возвращаешься! И Фрида уже строит планы! Она вполне может уехать к Нонке! Тот зарабатывает пропасть денег, на сбер- книжке у него лежит какая-то огромная сумма, и он будет счастлив обеспечить хорошую жизнь и Фриде и девочкам. Девочкам, надо тебе сказать, и Фрида это подчеркивала особенно, он очень понравился.

Вот так, брат. Я думаю, все это к лучшему. По крайней мере, у тебя не будет комплексов по отношению к брошен- ному семейству. А Фрида – милая женщина. Плачет, гово- рит, что будет любить тебя как брата, а потом смеется и говорит, что до сих пор думала, будто этого Майзелиса любила как брата! "Мы, женщины, ничего о себе не знаем", – изрекла она.

А что мы, мужчины, знаем о себе? Ну, это мы обсудим, когда вернешься.

Финкельмайер – Дануте.

Мои документы уже высланы. Как только они придут, я смогу сразу вылететь самолетом. Человек, который покинет эти места, уже не тот, кого привезли сюда семь меся- цев назад. Я изменился внешне, – появилось вдруг много седых волос, я стал еще более худ, во рту спереди нет двух зубов. Эти перемены заметны с первого взгляда. Но я хочу сказать тебе, Данушка, что и другие перемены произошли.

Я имею в виду свой характер, мое отношение к жизни. Мне стало важно то, на что раньше не обращал внимания. А то, о чем мог прежде думать часами, совсем не интересует меня. По-другому, чем прежде, смотрю я на людей и на их повседневные дела. Объяснить это трудно, но это так: тот, кого ты знала, исчез, его нет. Почти что нет. Ты видела сама, ты всегда понимала, что мы не должны были оставаться вместе. Мы, кажется, никогда об этом не говорили, но были оба с этим согласны. А теперь я думаю: может быть, теперь все будет иначе? Я другой, Данута. Может, мы почувствуем, что нам надо быть рядом друг с другом? Ты написала мне: "Знаю хорошо, что ты хочешь быть один". Нет, я не хочу. Я больше не хочу. Я жду совсем другого.

Если ты не возражаешь, я сделаю так: прилечу в Москву, увидаю детей, встречу с друзьями и через два-три дня поеду к тебе в Палангу. Месяц я имею право не работать, а деньги одолжу у Лени. Я отдохну немного около тебя. И мы вместе подумаем о дальнейшем. Если бы ты захотела, мы смогли бы жить в Москве. Или остаться в Литве. Я ведь неплохой экономист, мог бы работать бухгалтером, счетоводом где угодно – в конторе, на фабрике, даже в колхозе. Если бы ты захотела жить в деревне, я был бы этому рад. Все зависит от тебя. А я буду надеяться и ждать.

XXXIX

В ранних вечерних сумерках заполярного сентября, когда жизнь поселка начала замирать, у крыльца местной почты появился человек и принялся стучать в запертую дверь.

– Закрыто! – крикнули ему изнутри.

– Надо, надо! Москва приехал! – крикнул он в ответ и снова постучал.

Внутри некоторое время раздумывали, потом дверь открылась.

Человек проворно внес в помещение два объемистых чемодана.

— Эй, эй? — попыталась остановить его женщина.

Но человек, склонившись над одним из чемоданов, уже раздвигал застежку-молнию и тащил за угол плоскую конфетную коробку "Ассорти".

— Москва! Бери. Кушай твое здоровье!

Женщина оторопело приняла коробку.

Человек опять нагнулся, загородил своим обширным корпусом чемодан, что-то еще оттуда взял и переложил к себе за пазуху.

— Подарки много, — сказал он и хихикнул.

Человек был пьян. Однако чему тут было удивляться? Женщина только не могла понять, зачем он пришел сюда и что он хочет от нее взамен шоколада.

— Постоять вещи. Друг искать надо, Москва приехал. А?

— Да уж... — ответила женщина. — До восьми утра дежурю, телеграф на мне. Оставляй. Кого искать будешь?

Человек слазил в карман и достал измятую бумажку.

— А-а, как же! Вон смотри, на бугре, вишь? Четыре окна, свет зажгли? Там спросишь.

Женщина заперла за ним дверь, поглядела через стекло вслед.

К бугру он не пошел. Сразу выйдя поперек улицы к задкам поселковых строений, он направился к чумам. Тесная небольшая стоянка была поодаль, и он заприметил ее, еще когда подходил к поселку со стороны самолетной площадки.

В первый же чум он не зашел, а, внимательно оглядев-шись, направился к тому, который выглядел подобротней остальных. Высоким звуком он кликнул: "И-зу, зу, э!" Полог откинулся, и вышел хозяин-ненец. Он жевал и молча глядел на пришельца.

— Табак жует, — сказал пришелец. Он шумно втянул носом воздух и засмеялся. — Духи пил. Диколон пил. Плохо, да?

Он запустил руку за пазуху и быстро поднял вверх плоскую коньячную фляжку.

— Спирт есть. Много. Москва привез.

Ненец потянулся к бутылке, произвольно он стал клониться вперед и рисковал упасть. Но владелец бутылки отвел свое сокровище в сторону. Он выжидал. Глазки его поблескивали в хитровой нетрезвой усмешке.

— Якут? — сказал ненец.

— Якут, якут! Спирт надо? Много есть. Тут есть. Тут есть. Вещи на почта принесу. Много спирт есть. Купить много надо однако. Учуг — олень хороший купить.

Ненец повернулся и пошел в чум, что означало приглашение продолжить разговор в тепле.

Через полчаса приезжий покинул чум и нетвердо направился обратно к поселку.

— Что к другу-то не ходил? — спросила на почте женщина.

— Один друг, два друг! — засмеялся человек. — Много время есть. Он подхватил свои чемоданы.

— А ты не из этих, нет? Ведь ты не из ненцев, а?

— Якут, якут! — веселым быстрым голосом ответил тот.

— А-а, — протянула женщина. — Ну давай тогда!

Когда он подходил с чемоданами к жилищу ненца, у чума стояли два крепких оленя. Поставив на землю свою ношу, он со знанием дела осмотрел оленей. Он остался доволен ими.

Вместе с хозяином принялся он укладывать в два тюка содержимое чемоданов. Но солидная доля того, что было принесено в них, — три больших темно-коричневых бутылки — предназначалась для ненца. Тот из каждой бутылки с трудом вынимал притертую пробку, опускал в горловину свой указательный палец, осматривал его, тщательно облизывал и удовлетворенно кивал головой.

Оба тюка наконец были уложены. Мужчины сели, гость достал копченую колбасу, хозяин велел жене дать им рыбы. Они выпили и поели молча. Потом приезжий стал облачаться в поданную ему кухлянку.

— Большой тут, — показал ненец на живот.

Гость не ответил. С какой-то минуты он помрачнел, пьяные глаза его блестели без прежней веселости.

— Трудно олень, — продолжал ненец. — Быстро-быстро нет.

— Утро самолет надо, — жестко сказал приезжий и подозрительно посмотрел на ненца.

— Быстро-быстро нет. Темно есть — дорога есть. Темно есть — дорога конец. Самолет солнце есть, самолет темно нет. Быстро-быстро олень нет.

Они вышли на воздух. Ненец ловко привязал тюки у боков одного из оленей, а на спине другого, ближе к лопаткам, укрепил ремнями небольшое седло. Грузно завалившись на оленя, толстый ездок затем выпрямился в седле, заставил оленя пройти несколько шагов и слез.

— Учуг хороший. Не лег учуг, — сказал он. И приказал ненцу: — Говори дорога.

Тот повернулся вокруг себя на месте, вытянул руку.

— Лед.

Там был север. Там был океан и вечный лед. Вытянул другую руку, показывая в направлении, почти противоположном.

— Вода.

— Река, — сказал приезжий.

— Вода-река, — повторил ненец. — Вода есть — дорога есть. Темно есть, дорога, дорога, есть вода, есть, — он показывал, что река все время будет слева от путника. — Близко-близко вода дорога. Солнце будет, самолет будет. Быстро-быстро нет.

Человек больше ничего не сказал. Он подхватил узкие

кожаные поводки, свисавшие с оленьих шей, и двинулся к поселку. Ненец смотрел, как он удалялся и уводил его оленей.

— О-о! — крикнул ненец.

Человек оглянулся.

— Погода, однако! — Ненец взмахнул, указывая на северное небо.

Человек не ответил ему. Ненец немного подождал и вернулся в чум.

Над поселком уже стояла полная темнота. Улица не была освещена фонарями, лишь кое-где — у складских построек, у почты, над магазином горели тусклые лампочки. Человек провел оленей вдоль всей улицы и не встретил ни живой души. Он достиг уже бугра, на котором стояла одинокая изба, обогнул бугор неторопливо понизу и высмотрел место, где можно было привязать оленей к столбу, не опасаясь, что кто-то случайный позарится на оленей и поклажу. Тропинки наверх он искать не стал, а поднялся напрямую. От быстрого подъема у него появилась одышка и у задней стены избы он постоял, успокаивая стук своей крови. Яркий свет наклонно падал из окон. Пришлось отойти подальше, чтобы заглянуть в избу уже из темноты. Но земля полово уходила вниз, и даже с небольшого расстояния сквозь окна виделся лишь белый потолок и спящая голая лампочка.

Он рискнул. Подошел к углу, ухватился за выступающий торец бревна и, вставив ногу во впадины нижних венцов избяного сруба, приподнял тяжелое тело. Держась одной рукой за сруб, дотянулся свободной до подоконника и, распластанный вдоль стены, как распятый, он заглянул в окно.

Четверо играли в карты. Они сидели вокруг ящика, поставленного торчком. Еще двое спали на койках, — один явно пьяный в одежде, другой — в майке, и его татуированное плечо туго лоснилось.

Никем не замеченный, бесшумно ступил на землю. Постав неподвижно с минуту и быстро спустился туда, где оставил оленей. Пришлось отпустить ремень, чтобы добраться до стеклянных фляжек в глубине тюка. Он достал две, спрятал их под кухлянкой и снова вскарабкался наверх, к избе.

Стук в дверь оторвал картежников от игры. Они повернули головы и уставились на вошедшего.

— Е-ти-е в ро-от! — протянул удивленно кто-то.

Человек оглядывал их узкими глазками и молчал.

— Ты, хер моржовый, тебе чего?

Он стоял неподвижно и думал, не уйти ли.

— Жопа толстая. Хочет, чтоб мы его сделали.

— А че?

— Не, блядь. Они все воняют, ненцы. Ну их.

— А он ненец?

— Кухлянка ихняя.

— Ну ты, жопа, чего пришел?

Он шагнул к их ящику и, глядя зло, протянул бумажку.

— Его надо, — сказал он и стал терпеливо ждать.

Они склонили головы, сдвинулись головами, губы у них шевелились. Они читали.

— Он самый, — буркнул один из них.

— За каким тебе хером?

Он не отвечал еще. Он знал, как он им ответит, но пока не отвечал.

Кто-то подпаливал его бумажку, тыча в нее папироской.

— Ты, чучмек! А хо-хо не хо-хо? Не скажешь, зачем он тебе, и мы не скажем. И штаны сьемем, бля, понял? Ну-ка, иди ближе.

Он не пошел ближе, а мгновенно вернулся к дверям.

— Спирт. — Он сказал это магическое слово, и все вокруг него выжидающе замерло. — Четыре стакана спирт. Два спят, хорошо спят, — быстро говорил он. — Один идет,

говорит, где найти надо; три место сидят. Вернулся четыре стакана спирт. Чистый однако.

— Врешь, сука? — Они готовы были кинуться на него, но им уже хотелось верить, они —

— Три место сидят! — громко остановил он их. — Один идет. Ты! — Он ткнул в того, кто казался ему безобиднее остальных.

— Ну, бля-а-а!.. — протянул тот и стал неохотно подниматься.

— Вали, вали! — подтолкнули его, хлопнули по спине, ударили по затылку, выкинули к дверям. — Смотри, не донесешь, бля!

Торопливо спустились с бугра.

— Че показывать, че показывать, — возбужденно бормотал провожатый, — ща покажу. Ну, бля, омманешь! А где у тебя? Спирт?

— Взять надо. Вещи. Двое пойдем будем.

Они немного прошли вдоль реки, потом провожатый свернул к самому берегу.

— Смотри! Вон там он.

Чтобы убедиться, что ошибки нет, подошли поближе. Река, а вернее широкое, невидимое пространство залива лежало перед ними. Среди крошечной тьмы квадратик света стоял, как будто висел в пустоте, и в нем, за тонкими перекрестьями рамы, видны были двое — друг против друга, локти на стол, глаза в глаза, и — разговор между ними.

— Вон тот. В ночь работает.

— Ночь работает. Утро домой уходит? Ночь не уходит?

— Ты что, блядь? Сказал — дежурит! Ему, бля, делов: вышел, позыркал, обратно сиди. Ну-у?

Угрожающее "ну-у?" относилось к спирту.

— Дом пойдем.

Он торопливо поднимался, почти бежал назад. Провожатый вполголоса матерился. У самого бугра лицом к лицу остановились.

— Неправда сказал, — хихикнул человек. — Взять не надо.
Тут есть.

— Че-во-о? — взревел малый, не понимая сказанного.

— Спирт, спирт, — прозвучало успокоительно. — Есть у меня. Один бери. Четыреста. Две бери. Четыреста.

Обе фляжки перекочевали из рук в руки.

— Девяносто? — счастливо спросил парень. Он не верил великой радости, крышка проворачивалась, тихонько обзванивая резьбу.

— Девяносто. Пей.

Тот глотнул. Застонал и со стоном, с рычанием бросился вверх к дому. Сапоги стукнули в ступеньки, вырвался свет из дверей, хлопнуло, — все стихло.

Он спешил. Он чуть не уткнулся в олени морды, развязал поводки и зашагал, обходя снова темный бугор и держа реку поближе, чтобы не пропустить место.

Навстречу ударило ветром — порывами, раз и другой. Задувало со льда, с севера. Ненец сказал, погода будет однако. Ветер — хорошо. Мало слышно. Олени идут, мало слышно. Ветер идет. Холод идет, зима идет. Зверь будет. Охота. Зверь будет. Деньги. Спирт будет. Женщина еду готовит.

Чутье подсказало нужный поворот. Стали спускаться, но он приостановился. Свет был виден и отсюда. Вдруг он забеспокоился. Какие-то невысокие палки были вбиты в землю поблизости — остатки забора или перил, он наскоро обкрутил вокруг них ремешки. Соскользил вниз, увидел, что двое сидят, перед ними книга, и тот, незнакомый, — молодой с длинными волосами, читает, опустив голову и шевеля губами. Кровь не должна стучать. Кровь должна течь. Медленно течь. Ее дело медленно течь. Тогда хорошо. Когда она хочет стучать, тогда плохо. Он сделал так, чтобы текла хорошо, медленно.

Он тяжело возвращался к оленям и осматривался. Далеко стоять плохо. Ближе огонь большой. Окно стоит. Глаза огонь видят. Совсем темно стоять плохо, большой огонь близко плохо. Олени здесь плохо, дорога идет.

Он рассмотрел чуть подальше и ближе к берегу вытянутое вдоль реки темное низкое здание. Он направился к нему, оглянулся назад и засмеялся от удовольствия. От места, прикрытого этой кирпичной стеной, избушка на берегу была хорошо видна. Свет из окна не мешал, потому что от реки оно выходило в противоположную сторону. Стало видно, что есть у избушки и другое окно, луч которого падал на деревянный настил, обрывавшийся в темноту реки. Но в эту сторону, откуда смотрел он сейчас, ничто не светило. И стена загоразживала от ветра, который выл, пролетая мимо кирпичных углов. Он прошел к оленям, перевел их под стену, привязал к нижней из железных скоб, уходивших вверх, на крышу. Оседланного учуга поставил ближе к стене, навьюченного поставил рядом, а сам поместился между ними, так что избушку можно было видеть поверх оленьей спины. Он все приготовил, как надо. И хотел замереть в ожидании — кровь медленно течет, глаз отдыхает, руки отдыхают, надо будет быстро, теперь пусть отдыхают, — но его потянуло выпить. Порылся в поклаже, нашел флягу и пил, пил, пил, и не было сил оторваться. Флягу спрятал под кухлянкой. Посмотрел на часы. Десять и еще полкруга. Он начал ждать. Он умеет ждать. Он умеет замереть, как дерево. Лучше дерева. Дерево не знает, он знает. Он как зверь. Зверь знает, и он знает. О-о, зверь хорошо знает. Но он лучше знает. Он лучше зверя. Ы-эх, та-ха, той-йохо, он лучше зверя! Зверь не все знает. А он все знает. Он спирт знает, зверь спирт не знает. Зверь деньги не знает, глупый зверь. Он знает. Он все про деньги знает. Деньги хорошо. мех лучше. Он знает больше, чем другие знают, он лучше знает. Он Москву знает. Тайгу знает. Тайга мех отдает.

Глупая тайга. Он берет мех. Он знает. Много меха берет. Москва мех берет — мало берет, много-много спирта дает. Глупая Москва. Она плохо знает. Он лучше знает...

Он знает, где самолет. Близкий самолет нельзя. Аэропорт люди знают как прилетел. Нельзя. Далекый самолет можно. Никто не видели. Утром будет. Учуг довезет. Он огладил его. Мгновенно обернулся. Огонь — свет из избушки — человек! — глаза, руки, быстро!

Нет. Ненужный человек. Пусть уходит. Глупый человек. Иди, иди. Человек не знает.

Он знает. Он умеет ждать. Тот не знает. И другой не знает. А он знает. Он время знает. Один — один, один — два. Одиннадцать. Один круг можно ждать. Больше нельзя ждать. Самолет нужен. Успеть надо. Меньше ждать можно. Больше нельзя. Свет гаснет, можно не ждать. Свет не гаснет, надо ждать. Он умеет ждать. Медленно течет кровь. Пусть течет медленно.

Он выпил еще из фляжки. Ветер свистел. Покатилась сверху по камням пустая консервная банка. Ветер гнал из океана воду, и залив уже ворчал. В сваи стучало волной. Почти невидимые лодки и катерки, свободно причаленные на цепях, стали мотаться взад и вперед, их железные и деревянные борта скрежетали и ударялись друг о друга. Ветер все крепчал и от порыва к порыву уже не стихал, а всякий раз нарастал, набирал еще большую силу и раскачивал и раскачивал черную воду и все, что моталось на ней в темноте. Волной покрывало настил, и в него что-то крупное начало бить — глухо, настойчиво, мощно, призывно.

Дверь открылась, ее отбросило ветром, в свету мелькнула тень, человек побежал по настилу, оскользаясь на мокром, нелепо взмахивая руками, но ближе и ближе, и остановился, согнулся сломанной дугой, подтягивает цепь и наклоняется над тьмой воды — ОН ХОРОШО ЖДАЛ — скользнуло по ладони холодом ружья.

Недалеко свинцу. Пусть летит. Свинец знает.

Сверху польхнуло. Сжимая железную цепь, человек подогнул худые колени и лицом вперед, вниз и ниже, в холод и мрак, где вода — во — да — во — во — да — ад — во — да ад — ад — опрокинулся, плавно ушел, и когда уже не было, пальцы разжались и освободили подводное легкое тело от ненужной ему цепи.

Олени бежали по тундре.

— Ай'н пр'иге, о-о-а! — кричал и смеялся человек. — Ай'н пр'иге, тонгор!

Олени бежали галопом, но человек не вспоминал, что говорил ему ненец: "Быстро-быстро олень нет", — говорил ему ненец. Но человек хотел быстро. Он был весел и пьян, ай'н пр'иге — удача настигла тонгора и не отпускала его, и гнала и гнала по тундре на юг, к самолету, который возьмет его утром и унесет далеко-далеко, и другой самолет, и еще вертолет привезут в тайгу, и он будет опять настоящий тонгор — ай'н пр'иге, о-о-а! — ай'н пр'иге, тонгор! Ветер бил сзади, и олени бежали, как будто ветер и гнал их, и они боялись ветра и убегали от него. Еще они боялись человека, сильный учуг под ним, под седоком вздрагивал на бегу, потому что такой тяжелой ноши на него не нагружали никогда, и еще человек сидел плохо — сползал на бок, и олень мучительно выгибал шею, но человек кричал, и ветер бил сзади, и рядом бежал еще один олень с поклажей, споткнуться было нельзя — надо было бояться грозного человека.

Он сползал на бок с седла, когда прикладывался к спирту. У него еще много было спирта — и под кухлянкой и в поклаже. Он хорошо в Москве продал мех — не взял деньги, взял спирт. Глупая Москва. Хотела обмануть тонгора. Думала, он не тонгор. Уже обманула немного. Хитрая Москва. Но он хитрее. Он больше знает. Он тонгор, и теперь его не обманешь. Это он обманул Москву и взял у нее много спир-

та, и теперь олени бегут, он поет, тундра, глупая тундра, где ненцы, беги под ногами, пугайся, беги, как один трусливый и маленький зверек, назад, и река, ты, глупая, хочешь увидеть один большой лед, беги к нему, он тебя ждет, а ветер — он знает, ветер бежит вместе с оленями, он бежит быстрее оленей, — эй, ый — оле-оло-оле-олак! — бегите, олени, быстрее глупого ветра!

Но учуг под ним остановился и лег. Второй стал рядом и вытягивал шею низко к земле. Он смотрел на них. Плохой ненец. Плохой учуг. Он потянул из поклажи ружье. Потом разделил связанные ремни. Ветер бил в лицо, не давал дышать, не давал видеть, когда он встал против морды оленя. Он выстрелил.

Потом его нес другой олень. Поклажа была оставлена там, рядом с тем, который остался лежать в холодной тундре. Он вез лишь ружье за спиной и весь оставшийся спирт в двух бутылках и немного во фляге. Но флягу он скоро отбросил в сторону. Он знал, что остановиться нельзя. Но он хотел пить. Он хотел пить. Самолет возьмет его утром. Вот он, самолет, тонгор пришел. Конец большой дороге. Дорога знает, где остановиться, дорога знает, где самолет. Большой самолет ждет его, а потом летит. Вот он стоит. Он ждет его. Быстро-быстро летит. Мимо солнца. Вот оно, солнце.

О, ай'н пр'иге, Солнце есть!

Снег есть. Охота есть. Мех. Шкура. Спирт есть. Женщина ему готовит. Тонгор ложится. Тонгор домой пришел. Ай'н пр'иге.

Олень давно уже лежал. Человек недвижно сидел на земле, раскинув ноги, привалясь спиной к вздымавшимся бокам оленя. Ветер дул с ураганной силой, и оленю плохо было лежать. Он встал. Человек опрокинулся навзничь. Олень встал и пошел, как и раньше, по ветру, но у речной

губы здесь был поворот к востоку, и олень вышел к берегу. Пройдя немного пологим спуском, олень оказался прикрытым от ветра береговым навесом. Тут было тихо.

Первый снеговой заряд, который прорвался от льдов океана сквозь тундру, с налету ударил в преграду, — невысокую горку на ровной дороге. Снежный холм наметало всю ночь — всю долгую первую ночь той ранней зимы.

ЭПИЛОГ

Долговязый молоденький парень, одетый во все иностранное, с сумкой *SABENA* через плечо, и сам похожий на иностранца-туриста, шел по одной из московских улиц. В Москве стало много туристов; еще больше стало молодых людей, которые успешно подгоняют стиль своей одежды, длинную прическу, походку и даже манеру глядеть на вас под нечто международное, эдакое американо-европейское; но все же матушка Русь, которая всегда упустит что-нибудь и сделает если и то — да не так, а если так — то не докончит, она, столичная Русь, выдает себя в этих милых юнцах и, не в обиду будь сказано, выдает себя пуще — в милых девицах... А долговязый этот паренек с женственными карими глазами, с шевелюрой вьющихся черных волос был ну совсем какой-то не наш, тем более что шел неуверенно как-то... читал названия улиц и номера домов, с любопытством осматривался. Но что иностранцу делать где-то за Серпуховкой? И обращаясь к прохожим за помощью, он говорил без акцента по-русски. И не тушевался, как цивилизованные среди варваров.

— К кому вам? — строго спросила его лифтерша, когда он вошел в кооперативную башню и чуть-чуть промедлил.

— Мне нужно в пятьдесят девятую квартиру, — с готовностью ответил он. — Вы, может быть, знаете? Никольский Леонид Павлович. Он живет в этой квартире?

— Восьмой этаж, — сказала лифтерша. И, следуя долгу своей профессии, проворчала: — Идет, а живет — не живет, не знает...

— Большое спасибо, — с такой восторженной вежливостью поблагодарил ее парень, что лифтерша глянула на него недоверчиво: "спасибо-спасибом, а вдруг ты надо мной смеешься? Все вы, длинноволосые, нынче такие... вежливые!"

Никольский среди этой летней субботы тупо бездельничал, и звонок его поднял с дивана. Кого несет? — меланхолично подумал он и прошлепал к дверям.

Никольский как следует пил. У него с этим делом в последнее время было особенно плохо. Он думал уже, что как-нибудь может сорваться внезапно, и не вытрезвителем кончится — там он уже пару раз побывал, — а зелененьким чертиком на рукаве и психушкой. Он подумал о чем-то подобном, когда вдруг возник перед ним этот парень.

— Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Леонид Павлович Никольский, — это вы, простите?

— Да, да... войдите, — прошептал Никольский хрипло, откашлялся и, как-то пятясь, пропустил его. — Вы..?

— О, я, чувствую, я, наконец, нашел... Я действительно так похож?

— Постойте... Минутку... Нет, дайте... Кто вы такой?

— Видите ли, я Бурков, Александр Бурков. Это фамилия моего отца, но... Точнее надо выразиться так: это фамилия моей матери по браку. Вы понимаете?

Парень держался непринужденно, чего Никольский никак не мог бы сказать о себе. В голове у него происходило непонятное, и из этой мешанины он выудил только одно: что впадает в маразм, рано старится, близок к распаду.

— Слушай-ка, дружок. Ты как-то это... влетел. Ну-ка,

сядь. Да куда хочешь. И давай говорить... так сказать, по порядку. Я тебя слушаю. И я как тебя буду звать — Саша?

— Если не возражаете — Алек. Я так привык. — Именно так и произнес, не "Алик", а — "Алек". Скажите на милость!

— Слушаю, Алек. А что? Недурно звучит!

— Что вы сказали?

— Я говорю, это "Алек" — очень даже неплохо звучит, хотя и малость не по-русски.

— Совершенно верно. Влияние — как там? — буржуазного Запада?

Алек весело рассмеялся, и, черт возьми, он был отличный малый, этот Алек-почти-Даглас-Хьюм!

— Так, Алек. Ну?

— В общем, то, что привело меня к вам, очень серьезно. Я должен очень волноваться, честное слово. Но я не могу! — Он опять с заразной искренностью рассмеялся. — Сейчас может решиться моя судьба! — И снова взрыв смеха.

— Слушай-ка, приятель. Я тоже очень веселый человек, но...

Алек, который сидел, привалившись к спинке дивана, выпрямился, и лицо его сразу стало серьезным.

— Извините, пожалуйста. Я повел себя глупо. Я на самом деле волнуюсь. В общем... Арон Финкельмайер — как мне спросить? Вы можете мне что-нибудь сказать о нем?

— Так, Алек, так! — Никольский схватил его за рукав. — Ну-ну? Положим, я могу?

— Понимаете ли... Я, оказывается, сын. А он...

Голос у Алека дрогнул. Никольский встал, отошел к окну. Там, внизу, по-идиотски копошились люди. Ребром ладони он ахнул по раме, и боль тряхнула его.

Он снова сел перед Алеком.

— Арон — твой отец, — тупо повторял он и тыльными сторонами кулаков тер нещадно глаза, чтобы начать понемногу соображать.

— И как же..? Ну ладно, это потом... Где же ты..? А, ну да, ну да... Ты вот что — ты... что ты хочешь узнать? Что ты знаешь?

— Я ничего не знаю. Я не знаю... Леонид Павлович, я не знаю — есть он на самом деле — мой отец? — тихо, умоляюще попросил его Алек.

Он не мог дать ему отца. Если бы мог! Подох бы вот тут, вот сейчас, и пусть бы они, Арон и Алек, были оба, сидели рядом на этом диване, проклятом этом диване!

— Алек. Он ничего не знал.

— Ну конечно, он... Подождите, как вы сказали? Вы сказали — он..?

— Нет, Алек. Его нет. У тебя нет отца. Тебе сколько?

— Девятнадцать — машинально ответил Алек. В его бездонных горестных глазах восставал Арон Финкельмайер.

— Восемь лет у тебя нет отца.

Никольский помолчал, чтобы дать парнишке привыкнуть к этой мысли. И самому привыкнуть. Восемь лет... Восемь лет назад... И значит — сводилось все в одно неожиданным образом! — Мишке, сыну Леопольда, восемь, и он, этот Веркин разбойник, Мишка, тоже с тех пор без отца! Не знал отца с рождения Мишка, и этот Алек не знал. Все до мурашек похоже — и как-то иначе все — как и было у них, у Арона и Леопольда. Была там общая ниточка, была и порвалась, и все порвалось тогда разом, и оба они пропали. И вот — сыновья у обоих! Не верь тут в судьбу, в начер... в предназначение.

— Что с ним было? Вы много можете рассказать?

— И много. — Никольский вздохнул. — И ничего.

— Мне бы хотелось... если вы будете так добры...

— Да, милый, да. Я тебе все расскажу. Но пожалуй... Не думай, что из любопытства, просто, так будет лучше...

— Вы хотите, чтобы сначала я? Кто я, откуда, как попал к вам?

Чудесная улыбка у мальчишки.

— В общем, так... В общем, оказывается, я не знал отца...

И не знал матери.

— Что-что?

— Это так, Леонид Павлович. С матерью все было правдой с самого начала, — с печальным юмором улыбнулся он. — Моя мать умерла при родах. Ну, не совсем... То есть они с отцом жили в тропиках, и... Ах, что я говорю! — И он с нарочитой жесткостью, будто читал анкету, стал объяснять: — Моя покойная мать, чьим мужем был советский торгпред Андрей Бурков, скончалась за границей через несколько дней после того, как я родился, она скончалась от заражения крови. Они жили в тропиках. Там с медициной было сложно.

Никольский переваривал все это.

— Почему он ее сюда не отправил рожать?

— Там была весна. То есть осень — я родился весной, а это было в Южных тропиках. И шел, you see, — Алек сбился вдруг на английский, — тропический ливень, и их отрезало.

— На какой же срок их отрезало? ты шутишь?!

— Я думаю, что мать очень долго скрывала. Мне потом, то есть недавно, отец... Вы видите, я все говорю — "отец"?

— Алек, не терзай себя, не волнуйся!

— Он мне сказал, что мать очень хотела, чтобы я был. Она очень любила моего отца, а второй — ну, мой отчим, да? — увез ее за границу, и там только она узнала, что должен быть ребенок.

У Никольского прорезалось:

— Я же вспомнил! — вскричал он неожиданно и второй раз уже схватил Алека за рукав. — Я вспомнил! Рассказывал — Эмма!? Ну, Алек?! Ее звали — Эмма?

— Вы знали, вы? — Алек тоже схватил Никольского, и они трясли друг друга и говорили — слушая и не слушая:

— Он рассказывал — значит отец —

— Вспоминаю, она — это первая —
— Значит, отец ее помнил?
— Она же его первая любовь, понимаешь?
— Он не бросил ее, они — ?
— Ох, там было на сплошной романтике —
— Они оба любили, и я родился, и —
— Алек, Алек, ну, продолжай, продолжай, я потом все расскажу, я — все помню!

— Продолжать, продолжать... — Он успокоился понемногу. — Я не уверен, что именно? В общем, выкормили меня, — это не интересно, — отец, мой отчим, женился. Он сейчас мне о том сказал, что тетю Иру он любил еще до того, как женился на маме. А потом, после смерти мамы, уже года, кажется, через три они смогли жениться. Некрасиво все это, правда? Мне неприятно рассказывать.

— Алек, ничего. Так бывает у людей. Ты еще очень молод.

— Надеюсь, — усмехнулся Алек. И опять в нем явился Арон.

— Почти все время я жил ”в заграницах”. — Он это сказал иронически. — Знаете, колонии наших работников? Оканчивал школу в Союзе, родственники отца следили, чтобы учился. Что-то было не в порядке, я чувствовал. Я стал понимать понемногу, что их смущало, — засмеялся он. — Внешность! Понимаете? На отца не похож, мать была рыжей! Это его забавляло, и он стал смеяться.

— Понимаю. Еврейская внешность, — мрачно уточнил Никольский.

— А! Вот-вот! — подхватил сразу Алек. — А скажите, это есть? Вы же все знаете, — это действительно — есть?

Никольский повел плечом.

— Об этом, Алек, потом. Ты еще не закончил.

— Хорошо. Теперь, в общем, я поступил в институт. Отец — ух, любимый мой отчим! приехал ни с того ни с сего, зовет меня в ресторан, представляете? И в ”Национале” —

— О, черт возьми!

— Что вы?

— Нет, нет, ничего. Конечно же, в "Национале"! И что же?

— Там, в общем, сцена была из Диккенса, you know... Вы знаете роман "The Adventures of Oliver Twist" — то есть...

— Да, да, Алек, "Оливер Твист".

Алек засмеялся.

— Я — это Оливер Твист.

Он наклонил голову и стал снимать с шеи, растрепывая шевелюру, цепочку, Никольский видел на нем сквозь распахнутый ворот рубахи эту цепочку, и думал, что на ней висит модный крестик. Но Алек подал ему медальон.

— Осторожно, пожалуйста. Там...

Никольский, кажется, знал, что он увидит там. Из медальона глянул на него наивный, совсем молоденький Арон — такой незнакомый и такой знакомый теперь, когда он сидел напротив в образе Алека. По окружности медальона лежал виток блестящих черных волос. Все, что осталось...

— Мать ему рассказала. А перед смертью отдала эту штуку. Просила сохранить для меня. Сентиментально, правда?

— Милый мой, заткнись! — с нежностью сказал Никольский.

— Извините, пожалуйста. Вот и все. Он мне поведал тайну моего происхождения, — засмеялся Алек. — И еще одно.

Алек полез в карман, достал записную книжечку, а из нее — газетный прямоугольник. Развернул его и подал Никольскому. "НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР — "ПОЭТ", — было сказано там.

— Откуда это у тебя?

— Отчим вырезал из газеты. Он был в Москве в один из своих приездов, и ему на глаза попалось. Он подумал, что, может быть, это и есть тот Финкельмайер, который отец его сына? — Алек во всю заливался. И в этом тоже был Арон, который всегда начинал дурачиться, когда ему становилось паскудно.

— А знаете? — Алек легко становился серьезным. — Эта бумажка и помогла найти вас.

— Каким образом?

— Он попросил кого-то в прокуратуре. Дал эту статью, они нашли дело, а в нем — вы, как свидетель. Это вы ему предоставили комнату — и — тут написано... что-то невозможное.

— Все, Алек, возможно! Я тебе все расскажу. Как ты думаешь, а почему твой отчим тебе все это открыл?

— В общем, он человек благородный, — Алек опять засмеялся, — это одно, и он дипломат, это другое, правда же — необходимое сочетание? У меня есть два младших братика — то есть они совсем теперь не братики. Его и тети Иры. По-моему, он хочет от меня отделаться, как вы думаете?

— Внешность?

— Может быть, и это тоже. Вы думаете — да?

— Что-то в этом духе можно предполагать. Ты своим правильным братикам ни к чему.

— Да он не знает, что я все равно!..

Алек осекся.

— Что — все равно?

Алек смущенно смотрел на Никольского, будто его уличили в обмане. И вдруг он спросил — спросил, как мальчишка сверстника:

— Вы никому не скажете? Я вам доверю!

— Что именно?

— Есть одна... Сэнди, она американка. В общем, еще год назад я решил, что здесь жить не буду. К этому можно повсякому относиться, но я просто-напросто... Я не привык, понимаете? И знаю, что не привыкну. Тем более теперь ведь все равно нет никого — ни матери и ни отца, правда? Сэнди поклялась, что вытащит меня. Она приедет на стажировку, и мы устроим... женитьбу! — Он рассмеялся и настороженно стал смотреть на Никольского.

— Здесь у тебя, действительно, нет никого. А там есть. Ты это сможешь проделать значительно проще.

— Кто?! — закричал, чуть не вскрикнув, Алек. — Кто-то есть?! Ну скажите мне!

— Есть. Арон, твой отец, был женат, и у него родились две дочери. Они помладше тебя, конечно. Но не очень намного. Их мать после смерти Арона вышла замуж. И вот это семейство — их фамилия Майзелис — в прошлом году отправилось в Израиль.

Никольский помолчал. И Алек молчал.

— Видишь, вот я и начал рассказывать. Но начал с конца, это не дело.

— Скажите, Леонид Павлович, его смерть и судебное дело — это было связано?

— Да.

— И еще скажите, пожалуйста. Мой отец — вот в этой статье — там все смеются, что "поэт"... Он был поэтом?

Алек волен был думать, что его не слышали, — так долго Никольский молчал. Потом заговорил — с усилием человека уставшего смертельно.

— Встань, Алек. Подойди-ка вот сюда, к книжному шкафу. Открой, открой, не стесняйся. Видишь, вот эта полочка с синими переплетами? Это стихи твоего отца. Полное собрание, отпечатанное на машинке. Другого издания нет. — Он еще помолчал. — Мы сделаем так. Я сейчас пойду в магазин. Ничего в доме — ни поесть, ни, главное, выпить. Мне это ой как нужно сейчас! Придется тебе подождать с расспросами, но уж потерпи. А пока, для первого знакомства со своим отцом, возьми эти синие книжицы. Я скоро вернусь. Ты сегодня многое узнаешь. Ты, может быть, сегодня станешь взрослым, а? Ну, пока. Не скучай.

Никольский вышел.

Восемь лет, думал он. Восемь лет после всего, о чем предстояло ему рассказать, вспомнить. Сейчас он был почти

опустившийся, уже близким к запойному, человеком, который в свои с небольшим сорок лет казался совсем пожилым. Он слишком часто менял работу — сам уходил, или вежливо или полuveжливо ему предлагали уйти, — сейчас Виктор устроил его в свой парк мастером в электроцех — работа для полуграмотного мужика; он уже не смотрел на женщин — вернее, старался на них не смотреть, потому что не был уверен в себе, они же редко теперь замечали его; друзья — их было мало — его не столько любили, сколько жалели, и он принимал эту жалость, он знал, что она — искренна, а много ли ее, искренности, было вокруг?

Восемь лет... Восемь лет Мишка... Все реже и реже дядя Леня бывает там, у Веры. Борька Хавкин ревнует, дурак, — почему бы не поревновать для разнообразия, слишком уж благополучно в этом семействе. И уж нет — у них нет Прибежища, мир его памяти, снесли милый домик, — у них, пожалуй, "убежище" — ну да разве же это плохо? Ты просто завидуешь. Они оба что-то нашли, Вера и Борька: каждый что-то свое потерял, а вдвоем другое что-то нашли. А он потерял — и не нашел ничего. Он потерял Дануту. Он отчаянно кинулся к ней, когда все было кончено с Ароном, он кинулся и — ах и мерзкая, подлая тварь! — в попытках утешить ее, успокоить, вдруг обезумел, паскуда, — на миг лишь, но рухнуло все! А могло быть — сама, когда он назавтра, полупьяный, плакал перед ней, сказала, что — не знает, время бы прошло, она бы продолжала считать его другом, — а теперь пусть уйдет навсегда, она его больше не знает. Он ее потерял.

Он стал думать об Ароне. Потом об Алеке. Потом опять о себе. Он подумал, что Алека мог бы полюбить. Но и Алек хочет уйти. Все как-то уходят — или как Арон, как Леопольд, как Мэтр — он умер и был похоронен с помпой — или как Вера с Борисом — в "убежище", или как Фрида с Майзелисом, или как хочет того же Алек.

И он подумал, что тоже уходит. Как многие-многие, как миллионы, которые пьют и спиваются. Почему бы и не так? Каждый уходит, как умеет, и результат один. В конце концов, когда в бутылке что-то есть, она может стоить и 3.62 и 4.12 и даже 8 с лишним. А когда содержимое выпито, цена у пустой бутылки одна – 12 копеек. Так же и человек: какой бы она ни была, твоя прежняя жизнь, когда человек уходит, он идет по единой цене, по дешевке...

Он попытался увидеть себя со стороны. Опять подумал об Алеке и об Ароне. Ему показалось сперва дурным символом, а потом подумалось, что это – обыкновенное, это одно и то же:

- он в подвале стоит в длинной очереди за водкой;
а высоко на восьмом этаже в его комнате
юный Алек сидит в одиночестве
и читает стихи Финкельмайера.

1971–1975
Москва

Содержание

	стр.
ПОСВЯЩЕНИЕ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	207
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	365
ЭПИЛОГ	585

Некто Финкельмайёр
Ответственный за выпуск **И. Д. Коновалов**
Редактор **С. А. Кондрашов**
Технический редактор **Р. И. Смирнова**

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр „Терра“.
2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, г. Москва.

Репринтное воспроизведение

Подписано в печать 21.05.1990 г. Формат 84×108/32. Бумага офс. № 2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,0. Усл. кр.-отт. 19,0. Тираж 200000 экз. Цена 10 р. 40 к. Заказ № 665.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате В/О „Совэкспорткнига“ Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

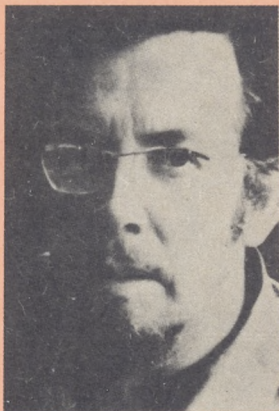
Некто Финкельмайер
Ответственный за выпуск И. Д. Коновалов
Редактор С. А. Кондрашов
Технический редактор Р. И. Смирнова

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр „Терра“.
2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, г. Москва.

Репринтное воспроизведение

Подписано в печать 21.05.1990 г. Формат 84×108/32. Бумага офс. № 2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,0. Усл. кр.-отг. 19,0.
Тираж 200000 экз. Цена 10 р. 40 к. Заказ № 665.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате В/О „Совэкспорткнига“ Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.



Феликс Розинер родился в Москве в 1936 году. Окончил Полиграфический институт, учился в консерватории, был на инженерной работе. В начале 60-х годов выступает в печати как поэт. Профессиональный литератор с 1967 года. После того, как первая его работа — обширная запись мемуаров дирижера Ю. Файера, вышедшая в России двумя изданиями, принесла Ф. Розинеру известность в искусствоведческих кругах, он начинает активно сотрудничать в музыкальной прессе. В 70-х годах выпускает шесть книг, в том числе беллетризованные биографии Э. Грига, С. Прокофьева, литовского художника и композитора Чюрлениса. Художественная проза, пьесы и стихи Ф. Розинера долго оставались неопубликованными и стали выходить в свет на Западе только после переезда писателя в Израиль в конце 1978 года.

Роман "Некто Финкельмайер" написан в 1975 году. С тех пор он широко распространялся в московском самиздате. Рукопись романа (под условным названием "Пыль на ветру") получила в Париже Литературную Премию имени Владимира Даля за 1980 год.